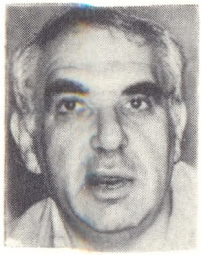
КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

90



Все, что было, дошло до предела,
а за ним — неизвестный простор.
Загустела, спеклась, поредела,
стала жизнь, как холодный раствор...

Евгений Рейн



Мы часто отговариваемся тем, что «мы молимся за весь мир». Но что миру от нашей молитвы, когда люди голодные, холодные?.. Ты накормил голодного? Одел нагого? Принял под свой кров бездомного?..

Антоний,
митрополит Сурожский



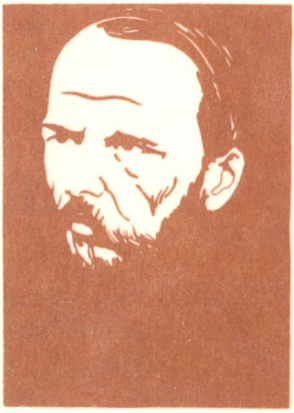
Однажды Михайлов удивился: да неужели и вправду было с ним все это — запрещенная литература, листовки, подпольщина доморощенная, слежка, доносы, обыски, демонстрации...

Юлий Ким



Сегодня я рискую предложить Вашему вниманию, уважаемый читатель, первые части романа Игоря Вацетиса «Обстоятельства образа действия». Это роман о КГБ. Роман не окончен. Да? Я не уверен в этом...

Сергей Юрский



К 175-летию со дня рождения Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО

Вольф Шмид
Игорь Виноградов
Анджей Лазари
Борис Соколов

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ» БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:

Новые стихи:

Ефима Бершина
Евгения Блажеевского
Владимира Леоновича
Игоря Петрова
Марины Тарасовой
Олега Чухонцева

Новые («пропущенные») главы из цикла «Бунт» **Евгения Федорова**
Повесть **Сергея Бабаяна** «Мамаево побоище»
Повесть **Сергея Каледина** «Тропой Моисея»
Новые повести и рассказы **Василия Аксенова, Теодора Вульфовича, Михаила Кураева, Владимира Маканина, Евгения Попова**

В разделе «РОССИЯ»

«Интервью с самим собой» **Сергея Аверинцева**
Статья **Лидии Польской** «ТВ вчера, сегодня, завтра»
Статья **Ю.Н. Давыдова** о современной экономической ситуации в России
Материалы конференции «Россия на путях правопреемства» (Москва, май 1996)

В разделе «ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ»

Повесть-воспоминание **Зои Масленниковой** «Французский оазис»
Публикации из архива «Континента» («парижского» — 1974—1992)
Материалы из архива **Н.А. Бердяева**
Из «Диктофонного дневника» **Д. Панина**

Далее см. с. 3 обложки





Финансирование
типографского и редакционно-издательского процесса
выпуска журнала «Континент» обеспечивается
ИНКОМБАНКом

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

90

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Издатели:

Редакция журнала «Континент»
Издательство «Московский рабочий»

Учредитель — И.И. Виноградов

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

Редакция пользуется автомобилем «Москвич»,
предоставленным АО «МОСКВИЧ»

© ТОО «Журнал «Континент»

© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Василий АКСЕНОВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Ежи ГЕДРОЙЦ
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Виктор СПАРРЕ
Карл-Густав ШТРЕМ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

Израиль	Юлия Эйдельман Hashaftim 22 64365 TEL-AVIV, ISRAEL ☎ (03) 69-67-375
Италия	Джулия Филиппелли Via Olmetto, 5 20100 MILANO, ITALIA ☎ (2) 86-45-47-23
Канада	Ольга Бутенко 1221, Boul. Rene Levesque SILLERY QC G1S1V8, CANADA ☎ /fax (418) 688-1221
США	Эдуард Лозанский 1800 Connecticut ave., N.W. WASHINGTON, D.C. 20009 USA ☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
Франция	Татьяна Максимова 5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE ☎ (1) 45-00-67-56
Швейцария	Жан-Филипп Жаккар 104 rue de Carouge 1205 GENEVE, SUISSE ☎ (22) 321-4052
	Нелли Биуль-Зедгинидзе 25 Malagnou 1208 GENEVE, SUISSE ☎ (22) 736-40-69

СОДЕРЖАНИЕ

Валерий КРАСКО
Чем ближе я к заветной черте... *Стихи* 9

Марианна ВЕХОВА
Бумажные маки. *Повесть* 20

Евгений РЕЙН
Стихи о поэтах 90

Юлий КИМ
Пять рассказов из цикла «Однажды Михайлов...» 99

Анатолий ПАХОМОВ
Временем тем... *Стихи* 127

Сергей ЮРСКИЙ
Загадка судьбы Игоря Вацетиса 133

Игорь ВАЦЕТИС
Обстоятельства образа действия. *Роман* 137

РОССИЯ

Юрий ЕКИШЕВ
На краю Российской земли. *Очерк* 182

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Письма на Олимп
Борис ПАСТЕРНАК — Александру ФАДЕЕВУ
и Константину СИМОНОВУ 198

РЕЛИГИЯ

Христианство — единственная последовательная форма материализма. *Интервью митрополита Антония (Блума) журналу «Континент»* 214

ГНОЗИС

Яков КРОТОВ
Первая реликвия, или Подлинная история Туринской Плащаницы 224

К 175-летию со дня рождения Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО... 274

Вольф ШМИД
«Братья Карамазовы» — надрыв автора, или роман о двух концах..... 276

Игорь ВИНОГРАДОВ
Два этюда о Достоевском
I. «Осанна» или «Горнило сомнений»? (По поводу статьи Вольфа Шмида)..... 294
II. От Шигалева — к Великому Инквизитору..... 343

Анджей ЛАЗАРИ
Достоевский в идеологической борьбе наших дней 354

Борис СОКОЛОВ
Маркиз де Сад и Достоевский..... 362

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 379

ЧЕМ БЛИЖЕ Я К ЗАВЕТНОЙ ЧЕРТЕ...

* * *

Есть горы — есть Гора
и есть крутая — в гору —
Тропа на пир парящего пера...

«Пора, мой друг, пора»,
но есть пора, не впору
Поре, которой не пришла пора.

Ты трижды прав, а я — неправ,
но трижды прав ты,
Твердя, что трижды прав не ты, а я...

«Нет правды на земле» —
есть полуправда «правды»,
Которая у каждого — своя.

Есть весть, что есть и свет, и смерть,
но есть и смета
Бессмертия — за Всеблагую Весть...

«На свете счастья нет»,
а есть несчастье света,
Твердящего во тьме, что счастье — есть.

Валерий КРАСКО — родился в 1941 году в г. Ростов-на-Дону. Окончил Московский энергетический институт, работал инженером в НИИ. Автор семи книг стихов, публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Стрелец» и многих других. Живет в Москве.

Долголетие

1

Не мни, что дюж, а трижды сплюнь через плечо —
недужен,
смурным часам потерян счет в душе-часовне:
я добрым людям не у ж е — е щ е не нужен,
дожить — довыжить из е щ е в у ж е —
ужо мне!

Какое проклятое временами бремя —
не раз в экстаз, а много-много-много раз рядиться —
не для меня, а на меня наступит Время
и трижды выматерится,
но разродится —
как перлом — истовым укором укоризне
той — Первой — Истине (она же и Вторая):

«Чтобы всю жизнь писать о жизни после жизни,
ты должен долго-долго-долго жить не умирая...»

2

Я жил в сороковых, в пятидесятых,
в шестидесятых — Господи! — в семи-
десятых — Господи! — в восьмидесятых
и в девяностых — ГОСТ меня возьми!

Я буду жить в двухтысячных, в две тыщи
десятых —
смерти без пяти минут
миную смерть: мой прах — на пепелище
две тысячи двадцатых — не найдут!

Я буду жить за тех, кто не воскресли,
и доживу до — если не совру —
две тысячи сорокового,
если
в две тысячи тридцатых не умру...

3

Через девяносто лет
никого из нас не будет,
и никто в нас не разбудит
то, чего на свете нет —
есть во тьме,
но и во тьме
снами яви не обманешь —
знаем только я да Тьма лишь,
что у Света на уме?..

Через девяносто лет
всё настолько по-другому
будет, что дорогу к Дому
не найдет бесполый след:
ГОСТом — Господом самим? —
предназначено, конечно,
жить мне долго, но не вечно,
в е ч н о — детям жить моим! —

Через девяносто лет
вдруг откроется, но лишь в них,
что ни жизни лет излишних,
ни смертей на свете нет —
есть на свете только свет
Востряковского погоста,
где и в с я — согласно ГОСТа —
и н е в с я семья Краско:

через девяносто лет
Саше будет девяносто,
а Сереже — даже сто...

Инопланетянин

В снах моих — залетный стих певцов фиксатых
из блатных сороковых-пятидесятых,
где, поя «шаланды, полные кефали»,
юдофобы-урки помнили едва ли,
что Бернес — еврей (зело заклятый ворог),

что «Катюша» — по мелодии — «семь сорок»,
но: «пролезли музыкой-мацою в массы
эти блантеры, и кацы, и покрассы...»

Старый двор, где я стонал, черняв и юрок,
от уроков, и от марок, и от урок,
где меня дразнили «греком» или «дреком»,
стал не «зоною», а звездных снов отсеком:

с веком-зэком-жмуриком играя в жмурки,
стал я стар —
теперь меня седые урки
принимают, то добрея, то зверея,
за цыгана,
за грузина,
за еврея,
только не за грека — или им не ведом
этот «этнос»? — Дело, видимо, не в этом:

отречась от скверны Беломор-канала,
не отрекся от «Интернационала»,
и поэтому и для бля-юдофоба,
и для русофоба (их любовь — до гроба!)
мой «народец» подозрителен и странен —
«инородец» я? —
Нет, и н о п л а н е т я н и н,
не по-русски и не по-еврейски грустный...

Я же — по секрету — «русский — в жопе узкий»,
веком-педерастом трахнутый до шока,
только маска — для контраста — «черножопа»...

Неужели?..

Неужели уже ни щита, ни меча,
ни коня нет?
Неужели не благоухает свеча,
а воняет?

Неужели — с гетерами наедине —
задремали
все мои идеалы нетленные —
не
из дерьма ли?

Неужели кровавые флаги души
порыжели —
ржут под ними зажравшиеся торгаши —
неужели?

Не ужи ли шипят в придорожной пыли,
словно змеи,
что достойное место пророкам Земли —
не в земле ли? —

И шепчу, в неземные спеша «дурдома»
оголтело:
«Неужели душа — из того же дерьма, аки тело?..»

* * *

К.Т.

Как мы нежно и бережно лгали:
Две главы — и его, и мою —
Украшая двойными рогами,
Мы твою укрепляли семью? —

У любви на последнем краю
Синева протрезвила, пурга ли? —
Соучастниками иль врагами —
Как мы встретим теперь Судию?

Или встретим во мраке итога
Лишь друг друга, ни в чем не виня
Ни себя, ни супруга, ни Бога? —

Не расскажет до Судного Дня,
Как ей было вдвойне одиноко —
Не любить ни его, ни меня...

* * *

Чем всё ближе я к земной черте,
за которой тьма и тишина,
тем всё чаще снятся мне не те,
кто со мной,
а первая жена:
первая любовная гроза —
вестница лже-рая грез и слез...

Тела я не помню,
а глаза —
помню, невзирая на склероз,
невзирая на маразм, извне
низвергающийся на чело...

Пусть она поплачет обо мне —
это ей не значит ничего,
пусть она — для вида — на виду
у вдовы — повоет на луну
в час, когда я выйду и войду
если не во тьму, то в тишину —
если уж не тьмой, то тишиной
наслоится на семью семья...

Чем всё ниже небо надо мной,
чем всё чище — без меня — Земля,
чем всё чаще тьмой и тишиной
похмеляюсь в горе от ума,

тем всё ближе я к черте земной,
за которой тишина и тьма.

* * *

Если я забуду, как любил,
как любовь губил в угоду блуду,
всё равно — кем был я, если был,
или кем я буду, если буду:

был ли Словом из бессонных уст,
или смехом эха-подхалима,
иль ослом, на коем Иисус
въехал в пекло Иерусалима,
клюну ли на блуда новизну
в синеве сыновнего безусья...

Будет ночь, как ночь, когда усну
и пойму во сне, что не проснусь я
и не буду, как звезда звезду,
окликать балду и обалдуя...

Будет день, как день, когда уйду
и войду туда, куда уйду я.

Однажды...

Однажды, дожив до седин,
я ночью по-волчьи завою,
оставшись один на один —
не с Богом самим, а с собою
самим, то есть с Богом в себе
самом, то есть с Богом, доныне
застрявшим в фаллопьей трубе
оплодотворенной гордыни...

И, полупророк-полугрек,
застрявший во чреве бездонном,
над Летой — рекою из рек,
прикинувшейся то ли Доном,
то ль Волгой — на колком ветру —
в пиру утоления жажды —
однажды я всё же умру,
хотя умирал не однажды...

Краток...

Краток январь мой лиловый,
алчущий взмыть к небесам,
словно главарь безголовый,
плачущий по волосам.

Краток мой май соловьиный —
порно-кино в цвете,
но
Рай — через край —
слов лавиной
Слово — одно! — сметено.

Краток мой сон о бессонной
старенькой маме моей —
мрака слезой невесомой
станет в тумане теней.

Краток мой бред о России —
вороны и соловьи
ратный мой век оросили
тьмой безответной любви:

миг озарения краток —
с Воландом наедине —
как разговор о «нитратах»
в полуголодной стране...

У могилы матери

В горней стуже, в горе от ума мы
неисповедимы как б о б о к[1],

и для Исповеди, кроме Мамы,
нам никто не нужен —
даже Бог,
даже и надежда — на исходе — на
в ночь ночей исход, в пустыню дня,

потому что только в Маме — Родина
больше, чем «народ» или «родня».

Восхожу в молитве и в мольбе
по теням, по голосам чуть слышным
гениев,
а прихожу — к Тебе:
то ль умен я сам-сусам не слишком,
то ли память все цветы истопчет
идиотским детским «почему»? —

Потому что только Ты — источник
Света на пути из тьмы во тьму,
потому что, как ни сверхчисты умы
умников, поющих гимн Уму —

не нужны в пожизненной пустыне мы
жизни — кроме Мамы — никому...

[1] См. у Ф.М. Достоевского.

Говорите...

Ах, не ждите на ходу, когда уйду
И растаю в неземной голубизне —
На санскрите,
на иврите,
на урду
Говорите, говорите обо мне,

Говорите обо мне — во сне, в бреду
(Ах, наверное, в бреду,
во сне — навряд),
Говорите обо мне, когда войду
В «Who is who», где обо мне не говорят,

А когда умчу в луче сторожевом
В никуда, летя в летальный «статус-кво»,
Говорите обо мне, как о живом, —
Либо плохо,
либо ничего...

Дожил я...

Дожил я до склеротического рая —
Даже зло не отличаю от Добра —
Заслоняюсь от Весны, кричу: «Не Ра — я!»
А она: «Ты — моя радость,
то есть Ра!»

Дожил я до пустоты, в которой блуду —
Место между сном и смертью — посередь,
Отбиваюсь от Любви, кричу: «Не буду!»
А она мне: «Будешь,
будешь,
будешь петь!»

Дожил я до приснопесенного ада,
До которого дай Бог вам не дожить —
Защищаюсь от Пурги, кричу: «Не надо!»
А она мне: «Надо,
надо,
надо жить!..»

* * *

Мама, не снись —
твоим светом слепя,
мглой переполнена тишь вся —
видно, узнала, как мне без тебя,
знать, потому-то и снишься.

Как тебе т а м — без меня, но во мне —
вне в синеву восхожденья?..

Знать бы — увижу тебя не во сне,
а наяву — до рожденья:
спать бы в утробе твоей, затая
песню, что не в бездне весь я...

Я догадался, что Саша — твоя
вестница из безнебесья,
из безвозмездья за шоры пера —
за синевы распродажу...

Мама, не снись —
мне еще не пора —
должен я вырастить Сашу.

Я живу...

Честь — жива:
есть, владея
Совестью, синева...

Есть жена,
есть идея,
что Идея — жива!

Лира — май — вира — майна:
есть Идея —
она
вовсе не идеальна,
и жена как жена.

Ни жену, ни Идею
за лже-рай не кляня,
я живу как умею —
н е с т р е л я й т е в м е н я!

* * *

Марианне Роговской

Не боимся ни козней Змея мы,
ни невежд в суете земной? —
Ветром века, увы, развеяны
все надежды, кроме одной:

мои дети — Сергей и Сашенька —
нет, не будут мстить никому
из идей и людей —
ни за щенка,
ни за глухонемую тьму,
где на аукционе чековом
нет ни акции Фонда Любви...

Будут плакать они над Чеховым
и смеяться над фордами,
будут детям — впрок и взаймы — нести
весть, с безвестьем наедине,

и ответит им Бог —
взаимности
светом, чем не ответил мне —
ни в безумие, ни в забвение
я не кану, детьми храним...
А на ваше — во мне — сомнение
отвечаю и вам, и им
верой в Бога — пусть безответно — я
и шепчу, почти без надежд:

«А погода великолепная.
Воздух чист, прозрачен и свеж»[1].

[1] А.П. Чехов, «Ванька».

БУМАЖНЫЕ МАКИ

Повесть

...Весь мир был освещаем ясным светом
и занимался беспрепятственно делами;
А над ними одними была распростерта тяжелая ночь,
образ тьмы, имевшей некогда объять их...

Книга Премудрости Соломона
Гл. 17, стихи 19 — 20

1

Мы стоим с семилетней дочкой у гроба моей бабушки и читаем заупокойную молитву. Ребенок без страха смотрит в лицо покойницы и говорит, вздохнув, когда молитва кончается: — Хорошо, что мы ее не отдали в больницу. Хорошо, что она умерла дома среди своих добродетелей, она улыбается, видишь?

Дитя имеет в виду — доброжелателей.

Дочка знает, как я боялась, что бабушке придется умирать в больнице, где она будет чувствовать себя оставленной теми, кого она любит... Она ведь никогда не лежала в больницах.

Я просила Бога: «Господи, когда кончится жизнь моей бабушки Евгении, сделай так, чтобы я сама закрыла ей глаза и чтобы она чувствовала Твою любовь».

И моя просьба была услышана. Бабушка умерла, глядя на Владимирскую икону Богородицы, перед которой горела лампада. Богородица ответила на ее последний взгляд. Бабушка не смотрела на нас. Она вся собралась в молитве.

У нас не принято говорить с детьми о смерти. Считается, что надо оберегать детскую психику. Как будто с древнейших времен дети не были свидетелями войн и разбоев. Словно детей не уводили в плен, не заставляли непосильно трудиться, и они только играли, пели и радовались...

Марианна ВЕХОВА — родилась в Москве. Окончила факультет журналистики Московского университета и Высшие сценарные курсы. Автор 15 детских книг, а также сценариев ряда мультфильмов и радиопередач для детей. Живет в Москве.

Меня некому было беречь в детстве от тяжелых впечатлений, я могла сколько угодно размышлять о смерти и ломала голову над этой загадкой. Впервые я близко увидела смерть, когда мне было пять лет. Я лежала в больнице в Омске. Шла война. Все госпитали и больницы были забиты людьми, поэтому умирающего не увозили в отдельную палату, как было принято прежде, не отгораживали ширмой от живых...

Бывало, что умершая женщина лежала на своей кровати, укрытая с головою, целую ночь в общей палате. И все больные говорили шепотом, ходячие не шаркали тапочками, входили в палату как-то крадучись. Иногда кто-нибудь особенно смелый подходил к мертвой, отгибал простыню на ее лице и смотрел, приговаривая что-нибудь вроде:

— А лицо-то спокойное, тихое, наверное, покойница правильную жизнь прожила...

Другие в страхе отворачивались, жалуясь, что теперь мертвая будет к ним ходить по ночам. Это общее чувство страха и почтения к смерти завораживало меня.

Я думала: страшно ли умереть? Как это — совсем ничего не видеть, не слышать, не чувствовать? А почему тогда глаза у покойников неплотно закрыты, словно они подсматривают сквозь ресницы? И почему при них говорят шепотом? Чтобы не подслушивали? Почему к ним относятся по-другому, чем к живым? Живых ругают, толкают, грозят, не боятся обидеть, а к покойникам подходят с таким выражением, словно очень их уважают...

Одна старушка рассказала мне шепотом, что душа улетает из тела, как бабочка из спичечной коробки, душа машет крыльями, уносится вверх и садится на ладонь Бога, если человек был хороший. А душа злодея камнем падает в ад, прямо в черный фартук дьявола, который страшно хохочет и помешивает кочергой в раскаленной печке, куда он бросает злые души, как куски черного угля...

Я воображала Бога, сидящего неподвижно на пышных белых облаках среди голубых, желтеньких, пестрых бабочек. Они танцуют над Ним, как над цветущим яблоневым деревом...

Я не пыталась перестать думать о смерти — ребенку еще не свойственна умственная трусость, дети не ищут спасения в уклончивости: кажется, вот-вот разгадаешь тайну...

Образованные больные смеялись над старушечьими выдумками о бессмертной душе и говорили, что умереть — это значит просто *не быть*. И все тут ясно. Но что такое «не быть», я никак не могла себе представить и с трепетом слушала рассказы стару-

шек и нянечек о привидениях, покойниках и приключениях на кладбищах. Длинными-длинными зимними больничными вечерами в разгар войны в сибирском городе в больнице шли эти разговоры, и они мне врезались в память.

Затаишься, стараешься не дышать громко, не скрипеть кроватью — только бы не вспомнили, что здесь я, ребенок, и не перестали говорить вполголоса в темноте... Свет экономили, и в больнице лампочки горели вполнакала или совсем гасли. Бывало, кто-нибудь расщедрится и выставит на свою тумбочку свечу, и вышивальщицы, вязальщицы с рукоделием присядут поближе к маленькому огоньку. Их тени тихо движутся по стенам и потолку, мирные, добрые, совсем не страшные, чье-нибудь лицо вдруг выступит из темноты и снова скроется, а свеча дразнится острым язычком с серым хвостиком копоти. За группой сгорбленных фигур окна сверкают от толстого инея, который луна разукрасила голубыми и зелеными елочными блестками. Когда света не было, окна не закрывали шторами затемнения и можно было сколько угодно смотреть на темные прямоугольники окон.

Неужели привидения мерзли на снегу и на ветру в своих длинных белых саванах, когда мы о них говорили? Может быть, они гуляли по земле только в старину, а теперь — их нет? Ни одно не заглянуло к нам в окно, хотя я ждала их отчаянно. Старалась не заснуть, боролась со сном, как только могла. Но всегда засыпала, не дослушав до конца очередной страшный рассказ.

Зато днем в *«мертвый час»* я могла размышлять, буду ли я после смерти привидением, или бабочкой, или черным камнем... Не хотелось пугать людей по ночам, не хотелось падать в раскаленный ад на скользкий клеенчатый фартук рогатого Черта с бородой, как конский хвост. Хотелось лететь в небо наперегонки с дымами и облаками...

Мне уже было пять лет, а я изо дня в день видела одно и то же: беленые стены палаты, кусок неба в окне, нянечек, сестер, врачей и больных. У меня был туберкулез позвоночника, я лежала в гипсовой кроватке, привязанная к кровати матерчатыми лямками.Предметы были тоже одни и те же. Тарелка, ложка алюминиевая, фаянсовый поильник с дудочкой, белый, как белок вареного вкрутую яичка. Я научилась есть лежа, поставив тарелку на грудь, и ничего не проливать, не ронять крошек.

Больше нечему было учиться. И от привычки к праздности и скуке меня спасали фантазии и размышления.

Повернув лицо к стене, покрытой неровной побелкой, я могла лежать спокойно, словно уснула, а на самом деле сочинять

историю с продолжениями о тараканьем семействе, которое живет в трещине в стене. Трещина была еле заметной, но все равно в самый светлый день внутри нее было темно. И в этой темноте жил таракан со своим семейством. Он разговаривал с детьми, касаясь усами их маленьких головок. И они в ответ поглаживали его щеки усиками. Они боялись света, но им очень хотелось посмотреть, что такое свет? Отец объяснял, что они сами все узнают, когда вырастут. Но им не терпелось хотя бы кое-что узнать уже сейчас. Поэтому они одним глазком подглядывали в щель и удивлялись... У них было много приключений. Я их придумывала сериями в каждый *мертвый час*, и этот страшный час пролетал незаметно и был для меня всегда *живым*. Но вдруг эта игра потеряла для меня интерес. Одной больной принесли «Вечера на хуторе близ Диканьки». И теперь мы каждый вечер, дрожа от страха и наслаждения, слушали Гоголя.

Да уж, мертвецы были у Гоголя не чета нашим, больничным! Наши рядом с ними тускнели, они тихо струились в темную ночь над могилами или на пустой дороге, наводя страх на одинокого позднего путника, они возникали колеблющимися видениями в ночной избе. Стучали в окно, сообщая о чьей-нибудь смерти... Самое страшное, на что они были способны — это приходить ко вдове, приняв облик ее покойного мужа, а когда она, наученная мудрой бабкой, вдруг разгадает обман и сотворит крестное знаменье, мертвец или бес обязательно исчезнет со злобным хохотом.

Совсем уж мелкие бесы хулиганили ночью в избе, как мальчишки: что-то передвигали, топали по потолку, оставляя несмываемые следы, скреблись, скрипели дверьми, дули в лицо или завывали, кликая беду. Иногда они обливали водой перепуганную одинокую бабу, оцепеневшую в темноте от страха. Или подсовывали на пути бегущего мужика грабли, которые вдруг стукали его в лоб. Роняли хомут, мирно висевший на гвозде в сарае, на старуху, выползшую ночью из избы по нужде... Но главное их занятие было — пугать несчастного путника, заманивать в болото или яму, или — еще страшнее — в заброшенную могилу, сбивать с дороги в метель. И еще развлекались, наводя порчу на девку или молодуху.

Конечно, это было страшно. Но уж если не поддашься страху или тоске, можно от любого, даже самого хитрого и злого беса откреститься. Или брызнуть на него святой водой. А дом можно освятить, пригласив священника с церковным крестом.

Но о таких чудищах, как Басаврюк и колдун у Гоголя, никто из нас и не слыхивал!

Меня больше всего поразили даже не мертвецы с когтями, вросшими в землю, с длинными бородами и волосами (живыми волосами у мертвых людей! Они растут и растут сами по себе!). Конечно, жутко даже представить себе, как мертвецы со стоном встают из разверзстых могил и смотрят пустыми глазницами на лунную реку с замершей на ней лодкой.

Но я боялась даже дышать, когда доходили до того места, где Катерина, обезумев, металась по ночному лесу, и ее волосы путались в ветвях, и души некрещеных младенцев хохотали и катались в широкой крапиве! Эта широкая крапива! Она стелилась коврами, и по ее серебряному от луны ворсу катился страшный визжащий клубок!

А я — кто? Я, оказывается, тоже младенец. Потому что немладенцами становятся, когда исполнится семь лет. А мне только пять. А я — крещеная? Если я умру, то попаду к некрещеным младенцам? Почему меня не крестили? А может быть, все-таки няня меня крестила? Не хочу визжать в крапиве по ночам!..

Когда я ходила, это было всего год назад, я видела травы и деревья, знала крапиву, ела щи из крапивы и боялась обжечь босую ногу, когда играла в прятки... Но всего за год лежания в больнице представления о крапиве и березе стали смутными. Детских книжек с картинками у больных не было. Поэтому я могла вообразить что угодно о «широкой крапиве». Голубоватая прозрачная душа Катерины, которую вызвал колдун, была для меня гораздо реальнее, чем крапива.

2

У Гоголя и у моих сопалатниц было одинаковое отношение к миру. В нем все существовали рядом: люди, русалки, домовые, черти, ангелы... За каждого человека, большого, маленького, старого, молодого, хорошего и плохого шли сражения у ангелов и бесов. Человек мог сделать выбор: или отдаться своей страсти или желанию и попасть во власть нечистого, или пожертвовать страстью и обратиться за подмогой к ангелу-хранителю, самому Богу, к святому или старцу. И тогда спасение приходило немедленно.

Конечно, такой мир был гораздо интересней, чем холодный, необитаемый мир тех, кто вечно спорил, утверждая, что Бога нет, нет и ангелов, нет нечистой силы, нет души у человека, а только тело.

И я чувствовала себя оскорбленной, как бы ограбленной, когда ученые женщины торжествовали в споре. Они говорили,

что Гоголь все придумал, потому что он — писатель. А у писателей в голове одни фантазии и верить им нельзя. На самом деле смерть — это только обрыв жизни, как обрыв нитки или бинтика. В этом обрыве — конец и больше ничего нет. *Ничего!*

У Гоголя и у простодушных женщин, окружавших меня, мир был устроен не только гармонично, но и разумно: жизнь человек проживает не зря, не для того, чтобы стать кучкой червивого праха, удобрением для трав. Человек рождается маленьким, слабым, и чтобы он выжил, нужны заботы и труды других людей. А когда он вырастает — сам трудится для своих детей, учится их любить. И после смерти все эти труды не теряют своего значения, а благодаря им душа продолжает жить. Радость или скорбь станут ее уделом — это и есть результат наших усилий...Получается, что я сама строю свое будущее существование: полет в синеву наперегонки с облаками или падение на клеенчатый черный фартук страшилища в кошмарном злобном аду. Бог излучает теплый свет, в аду кипит вечная ненависть...

Думать об этом было так интересно, что я перестала сочинять истории о тараканах.

В гипсе спина болела меньше, чем на полу в избе, до больницы, я уже не кричала от приступов, спина просто ныла то сильнее, то тише, я плакала, когда менялась погода и боль, как ночная мышь, начинала меня точить.

Одна больная сказала мне по секрету:

— Хочешь, научу тебя унимать боль?

Еще бы! Я очень даже хотела!

— Я научу тебя тайным словам. Ты их будешь повторять, когда тебе особенно больно, и тогда полегчает. Но это поможет только если ты *никому никогда* не скажешь этих слов. Если скажешь хоть одному человеку, волшебные слова навсегда потеряют лечебную силу! (Она понимала, *что* ей может грозить, если я разболтаю, *как* она меня учила молиться.Но велика была ее доброта, она взяла верх над страхами.)

А я обрадовалась, что у меня будет собственная тайна, да еще волшебная!

Она прошептала мне на ухо:

— Запоминай! «Отче наш, иже еси на небесех...», повторяй, запоминай! — велела она.

Слова были такие непонятные, я их никогда ни от кого не слышала... И я поверила, что они — волшебные. И действительно, они помогали мне перетерпеть ночь, когда все спят, а в темной палате бродят страшные сны и оживают боли. Слышны стоны и

вздохи тех, кого грызут их боли — невидимки с железными когтями и раскаленными в аду зубищами...

Да, моя боль боялась волшебных слов, которые я твердила про себя, стиснув зубы: «Отче наш...»

Мое «я» раздваивалось: одна часть повторяла волшебные слова, а другая раздумывала и фантазировала. Почему — «Отче», а не «Отец»? И кто Он? Почему Он — «наш»? Чей? Что такое «иже» и «еси»? Почему — «на небесех»? Сколько их? «Небеса» были в моем воображении похожи на многоярусную синего стекла этажерку. На самом верхнем стекле сидел, сложив по-турецки ноги под длинной одеждой, Отче, совсем как китаец с качающейся головой, я такого видела у кого-то на комоде. Отче покачивал и покачивал головой, прищурив узкие мудрые глаза. В руках он держал «хлебнашнасущный» — большую булку, белую, с хрустящей корочкой, посыпанной поджаренными орешками. Мы — длинная-длиннющая очередь из детей и взрослых — подходили к этажерке, протягивали вверх сложенные ковшиком ладони, Отче, приветливо кивая, отламывал каждому большой кусок булки и клал в ладони. Но «хлебнашнасущный» не уменьшался! Булка оставалась целой!

Та, что научила меня тайным словам, сказала, что «Отче» дает «хлебнашнасущный» только добрым, а от злых отворачивается. «Если злой — голодный, и ему не дать хлеба, он еще больше разозлится и отнимет у добрых, — думала я. — А если дать, он съест и все равно будет злиться, что хлеб уже кончился, на завтра не хватило...», — пыталась я вникнуть в проблему отношения к злому человеку и, запутавшись, засыпала... Но боль снова и снова выталкивала меня из сна, и я опять цеплялась за палец Отче, ласково покачивающего головой в темноте. Странно, когда я думала о Нем, мне совсем не было страшно одной среди спящих, и я не чувствовала себя одинокой.

Итак, мы лежали в своей тихой палате, читали Гоголя, болтали и лечились, надеясь, что когда-нибудь кончится наш больничный срок и мы выйдем на свободу... А за стенами шла голодная военная зима.

Нас старались подкармливать, ведь мы были туберкулезниками, а тогда считалось, что туберкулезникам необходимо усиленное питание. Я помню, как однажды отказалась от какой-то каши, должно быть — всегдашней овсянки, у больных туберкулезом, да еще лежачих, аппетит плохой. Нянечка стояла возле моей кровати с тарелкой в руках и уговаривала меня поесть:

— Слышь, по радио дядька голодный воет: «Хочу-уу хле-ебаа! Хочу ка-аааши-ии!» Слышишь? Так вот, ешь давай скорей, а то тетка придет и отнимет!

Но я рада была бы отдать воющей тетке мою кашу!

Радио в палате никогда не выключалось. Вечно ждали каких-нибудь сообщений. И не все люди нуждаются в тишине. Многих больных тишина угнетала бы, а радио не давало им сосредоточиться на своих бедах.

Я привыкла к радио и полюбила слушать классику, арии из опер и оперетт, народные песни. В тот раз, когда нянька пугала меня голодной теткой, по радио пела Русланова. От ее мощного голоса на меня наваливалась тоска, от которой, кажется, сейчас задохнешься или сердце остановится.

Тоска, тревога, и безнадежность, и усталость переполняли больных женщин в моей палате, и они благодарно любили Русланову, замолкали, лишь только она запоет, и слушали, пригорюнясь.

Мне нравилось то, что нравилось этим женщинам, я им безраздельно доверяла.

Заунывная русская песня связывалась в моем воображении с бесконечными снегами, сумерками над снежным полем, где нет ни огонька впереди, ни надежды согреться и поесть. По такому полю мы шли, когда наш поезд с эвакуированными куда-то исчез, растаял с печальным гудком в вечереющем морозном воздухе. А мы, несколько женщин и детей, остались со своими городскими чемоданами на нетоптанном голубом снегу.

Везде, куда ни посмотришь, только снега, бесконечные мягкие волны, белые, наливающиеся синевой. Всемогущие взрослые растерялись, всплакнули и пошли по узкой тропе через поля, изнемогая под тяжкой ношей из чемоданов и младенцев, закутанных в одеяла. Все мы оказались малюсенькими беспомощными живыми существами в огромном снежном пространстве, в тишине. Больше не стучали колеса, не гудела печка. ни разговоров, ни плача, ни стен, укрывающих от пронзительного ветра и пустоты вокруг...

Я шла по следам взрослых ног — глубоким, мне выше валенок. Снег осыпался со стенок следов, валенки быстро промокли. Трудно было вынимать ноги из бесформенных осыпающихся ям, они проваливались снова и снова. А сумерки сгущались слишком быстро, курились верхушки снежных волн — словно сдвигались вокруг невидимые дымные стены ночи... Хотелось упасть и уснуть, но было очень страшно остаться одной здесь, где шуршит сухим снегом ветер...

Больше нет нигде в мире моего дома с каменной лестницей на второй этаж, с высоким окном во двор. Окно глядит прямо на

песочницу, когда я в ней копаюсь, делаю куличи из мокрого песка. Нет дома с кроваткой, застеленной зеленым одеялом. Одноглазого медведя, всегда ожидающего меня на подушке... Нет ящика с игрушками под диваном — сейчас я бы не испугалась темноты под диваном, я бы вытащила ящик сама, я бы сидела на полу и играла совсем одна... Как я могла бояться тишины в моей комнате, тени в углу и чьих-то шагов за дверью?..

Теперь мне остался только скрип снега под тяжелыми ногами женщин, их громкое простуженное дыхание. Даже младенцы притихли, не пищат. Скрип снега удаляется, надо догонять, догонять и не падать, а то не будет сил идти...

Больные женщины любили петь. В пении была вся их душа, вся горечь, от этого пения всегда хотелось плакать громко, в полный голос, хотелось вместе с ними выводить тонкий, длинный, куда-то уносящий мотив...

Вот день и кончается. Окна наливаются чернильной синевой, а предметы в палате и лица — сереют, все тускнеет, становится печальным. Кто-то запевает низким голосом, и в нем сразу звучат слезы, песня сейчас захлебнется, но тут ее подхватывают другие голоса, и она взлетает, воспрянув, и долго и нежно кружит под темно-голубым от сумерек потолком.

Тоскует о молодой жене ямщик, умирающий среди снегов в степи, тонкая рябина не может прижаться к одинокому дубу растрепанной ветром головой, проклинает судьбу бродяга с Сахалина...

Опускались черные шторы затемнения: хоть мы и были далеко от фронта, полагалось беречься от невероятных здесь вражеских самолетов. Загоралась голая лампочка на сером проводе в центре потолка, и песни кончались, потому что на своей кровати садилась «гадалка» и раскладывала на одеяле потрепанные карты с серыми краями. Сразу выстраивалась очередь. Вокруг вздыхали зрители. У каждой женщины было горе и каждой хотелось узнать — долго ли терпеть и чего еще ожидать... Но главное, что всех волновало, — это судьба близких на фронте. Гадали чаще всего на крестового короля или «вальта». Очень боялись близости к королю или «вальту» пиковой дамы. Дама пик означала смерть. Если зловещая дама преследовала короля, та, кому гадали, расстраивалась до слез. Ее утешали, что карты «врут». Или раскладывали до трех раз. Все равно тревога не оставляла невезучую женщину, и с каким нетерпением она ждала завтрашнего гадания! На засаленные покоробленные кусочки картона смотрели с такой мольбой, с такой надеждой, что они добрели и сулили дальнюю

дорогу или важную встречу в казенном доме, что означало: «часть перебрасывают», «к начальству вызвали, может, награду получил?»

Если той, кому гадали, очень уж «не фартило», и она начинала убиваться, плакать, гадалка строго ей внушала:

— А ты не плачь! Не прикликай горя! Ты молитву Божьей Матушке читай, Она от тебя беду отведет — Заступница...— и повторяла в благоговейной тишине свою молитву:

«Пречистая Матушка Божья, Мария,
Где ты спала-почивала? —
Я спала-почивала
У Господа Бога за престолом
Под белою пеленою,
Горела негасимою свечою,
Мало спала, много снов видала:
Нашего Христа распинали,
На головушку дерновый венец надевали,
По ручкам, по ножкам гвозди убивали...
Пошла Матушка Мария во царские двери.
Заплакала-зарыдала.
— Не плачь, Матушка Мария!
Твой сын третий день на распятьи.
Схорони его во сырой земле,
Окропи горючей слезою...
И расступится мать-сыра-земля,
И твой сын из могилы выйдет,
Покровы смертные сбросит,
Матушку родную обнимет!»

Женщины пытались вспомнить приметы, что предвещали войну. Не могла же она начаться так, без предупреждения, ведь всегда перед большой бедой появляются знаки, которые надо понимать...

«А у нас перед тем, как случиться войне, вот что было! Лежит старший брат на кровати с женой, отдыхают. Жена уснула, а он смотрит — к нему подходит фигура: кто-то лохматый, лица не видать. Подошел и стал гладить брата. И гладит, и гладит... Брат не утерпел, спрашивает: — Ты к худу или к добру? — Лохматый отошел и гудит: — К худу-уу! К ху-уу-ду-уу!— и на другой день началась война. Брата сразу мобилизовали, он пропал без вести... Где лежат его косточки?»

«У нас Пеструшка, курочка бойкая такая, все по кустам неслась, мать яички искала, ругалась, так эта Пеструшка захло-

пала крыльями, взлетела на пень от яблони, да как начала кукарекать! Мать побелела, схватилась за сердце, плачет: — Ой, что-то будет! — А через час на велосипеде почтариха приехала и говорит: «Война!»

Эти и другие рассказы я запомнила много позже, тоже в больнице, тоже в туберкулезной, где взрослые женщины лежат подолгу и подробно вспоминают пережитое. Не могла я так досконально запомнить все разговоры тогда, в пять лет. Но об одной беде люди говорят похожими словами.

«Я войну знаешь за что не люблю? Война есть война, но зачем так людей мучили? У нас одна женщина бежала на мельницу, за семь километров, у ней пятеро детей ждало, она бежала муку смолоть. А у немцев машина взорвалась. Они увидели, что женщина бежит через поле, и поймали. И потом повесили. Не за шею, а — представляете — за челюсть! Чтобы подольше мучилась!»

— Мужики воюют, а зачем дети страдают?

Сколько раз я слышала этот вопрос в дни моего детства, когда в далеком от войны Омске женщины рассуждали о войне! Их глаза обращались ко мне, и они подходили ко мне, жалели, гладили по голове и задаривали кусочками сэкономленного сахара, обрывками бинтика, коробочками из-под таблеток — кто чем мог. Они считали, что Бог сразу же учитывает все добрые дела и воздает добром. Особенно если сделать что-нибудь хорошее сироте. Ведь Бог — защитник сирот! Вот женщина дает мне последний кусочек сахара, и ее мужу или сыну кто-нибудь обязательно даст гостинец. А может быть, даяние матери отведет и пулю от сына-солдата...

Я была богачкой — обладательницей коробочек, бинтиков, бумажек — всего, во что можно играть. И я научилась без ножниц, ногтями и зубами выстригать из бумаги кукол, наряды для них, мебель и в пустых коробочках устраивала уютные квартиры для бумажных жителей. Сначала я научилась делать кровати — это легко, я ставила кровати рядами — получалась палата. Множество маленьких куколок изображали больных. Из кусочков бинта изготовлялись простынки, подушки и одеяла. На этом игра кончалась. Что может происходить с больными? Все лежат на своих кроватях, укрытые одеялами, и что? Главные события дня: обход, процедуры, еда. Каждый день — одно и то же. Гораздо интереснее играть в здоровых! Они ходят друг к другу в гости, в магазин, наряжаются в разные платья, у них есть дети... Пестрые (драгоценные!) фантики, невесть откуда взявшиеся, служили в кукольных квартирах коврами и покрывалами. А если удавалось раздобыть кусочки фольги, у кукол появлялся зеркальный шкаф.

Мое мастерство росло, и я уже делала куклам резную мебель: диваны и кресла с кружевными спинками. Окна и двери в их домах открывались. Куклы могли сидеть и смотреть в окна... Больные женщины восхищались, удивлялись и засыпали меня новыми дарами. Так на практике я узнала, что с тоской можно справиться, смастерив что-нибудь такое, что понравится самой и другим...

Когда я вспоминаю детство, ясно вижу, что меня спасла доброта множества людей, с которыми сводила судьба. Больной одинокий ребенок получал любви и заботы не меньше, чем дитя самых любящих родителей. Причем, во многом эта любовь была чище родительской, в ней не было эгоизма. Чужие лица освещались улыбкой — для меня. Полуголодный больной человек отдавал лучший кусок — мне. Его сердце согревала моя радость и надежда, что Бог видит все...

3

В конце концов война откатилась от Москвы. Стали возвращаться домой эвакуированные. Уезжал и Медицинский институт, в котором работала сестра отца, моя тетя Лия. Это она случайно нашла меня в деревне под Алапаевском, умирающей от костного туберкулеза, одну в чужой избе и устроила в больницу. Тетя добилась, чтобы меня перевели в подмосковный детский костно-туберкулезный санаторий для детей железнодорожников.

Не помню, как меня везли в Москву, но зато помню ясно, как мы из Москвы уезжали в эвакуацию. Я тогда еще ходила, и никто не подозревал, что у меня начался в позвонках туберкулезный процесс. Темнота в вагоне, переполненном встревоженными людьми. Совсем непохоже на мирные, полные света поезда, в которых мы до войны ездили в гости за город. В тех, воскресных, поездах пели песни, шуршали газетами, покупали мороженое у теток с тележками, на которых стояли ящики, полные дымящегося льда и брикетиков эскимо в серебряной обертке или вафельных стаканчиков с розочкой из твердого крема на поверхности мороженого... Дети лизали мороженое и глазели в окна, подставив ветру потные вихры...

А в эвакуационном поезде тревога была живой, тяжелой, такой, что даже дети не капризничали, заразившись общим подавленным настроением. Не было никаких огней, только красные точки папирос, летающие в темноте от невидимых губ курящего на его колено и обратно. Человек затянется и уронит

руку на колено, и от папиросы вьется серый, легкий хвост дыма. А за окном долго-долго тянулся догорающий разбомбленный состав. Он лежал на земле или на соседнем пути, а мы ползли мимо. Наш поезд не ехал, а крался, словно прижимался брюхом к земле, чтобы его не заметили сверху самолеты с бомбами. И люди говорили между собою вполголоса и двигались осторожно, как будто старались, чтобы незримые летчики, стремящиеся смешать нас с землей, не догадались, что мы тут близко, беззащитные. Мне не надо глаза закрывать, чтобы и сейчас увидеть тот разбомбленный состав, похожий на длинного зверя с перебитым хребтом, красные язычки пожара, пробегающие под безжизненными черными вагонами, тяжелую темноту сверху — в ней пряталась и наша гибель... Люди вздыхали и говорили, что в догорающих вагонах тоже ехали женщины, дети, старики, инвалиды и раненые...

Конечно, возвращение не было таким мрачным. Наверное, оно по настроению было даже праздничным, ведь в оживающей надежде всегда светится праздник. Я ничего не запомнила. И как меня везли в моем гипсовом панцире, словно лежащую на спине черепаху?..

Только помню прекрасно, что я не прямо с поезда попала в больницу. Моим тетям пришлось немало побегать и поволноваться, пока они пристроили меня в санаторий.

Пока что меня приютила моя еврейская бабушка Брайна в темноватой квартире в Печатниковом переулке. Бабушка была очень старенькая, ходила с трудом и плохо видела, но все время трудилась, держа хозяйство в своих руках. Она жила в этой небольшой, но основательно уплотненной квартире с дочерью и внуком. Бабушка целый день сновала по длинному коридору из своей комнаты на кухню и в комнату дочери на другом конце коридора. Она никогда не отдыхала. Я ее не видела присевшей хоть на минуту. Ее белая голова то и дело проплывала, светясь в темноте коридора, мимо открытой двери в «мою» комнату. Лицо поворачивалось ко мне, улыбалось всеми морщинами. Бабушка старалась почаще подходить ко мне. И даже просила меня помогать ей. Я, пыжась от гордости, вдевала ей в иголку нитку и чувствовала себя нужным человеком. Только жаль, завязывать на конце нитки узелок я не умела, бабушка сама это делала на ощупь и меня учила...

— Вот видите, — говорила бабушка Брайна всякому, кто подходил ко мне, — это лежит моя помощница, мои молодые глаза! — и все меня хвалили.

Но был человек, которого мое присутствие сильно раздражало, мой двоюродный брат Андрей. У него было такое красивое, строгое лицо!.. Я вытеснила его из его собственной комнаты, теперь он с матерью должен был ютиться в маленькой бабушкиной комнате на диване. С ним я вовсю «вредничала». Он избегал ко мне подходить, а я хотела обратить на себя его внимание. Я еще в детстве подметила, что больные, несчастливые или инвалиды внушают многим здоровым людям отвращение с некоторой примесью страха, словно страдание — заразно и может перейти к здоровому... Это знакомое мне отвращение быстро промелькнуло по красивому лицу Андрея. И не исчезло, а спряталось и прорывалось помимо его воли, заставляя мое сердце сжиматься от обиды. Сейчас-то я знаю, что это естественно. Детям легче пожалеть больного котенка, чем сверстника. Но во мне закипела жажда реванша.

Месть я избрала самую для него болезненную.

Почти каждый вечер черная тарелка репродуктора над моей головой начинала, покачивая белую кружевную накидочку, ронять стекляшки позывных: «Широка страна моя родная...», пауза — и опять стеклянная россыпь: повтор фразы.

Андрей, бросив все свои дела, сломя голову несся к репродуктору.Он жадно ждал новостей, подняв к черной тарелке обеспокенное лицо. Какой город сегодня отвоевали? Будет ли салют?

Вот тут-то я и могла наконец показать гордецу, что и я не лыком шита, хоть и больная! С последним звуком позывных, перед первыми словами торжественноголосого Левитана я «включала сирену» — начинала вопить самым отвратительным и издевательским образом!

Бедный Андрей подпрыгивал от возмущения, махал на меня руками, его красивые черные брови над бархатными черными глазами грозно сближались, даже волосы, казалось, протестовали, шевелились, но я только наращивала звук. Андрей хватал табуретку, лез поближе к репродуктору, он был готов вжаться в черную тарелку. С какой радостью он поколотил бы меня, но нельзя бить бедного, закованного в гипс ребенка, хоть и противного и зловредного... Ничего себе, больная!

Я же торжествовала победу, глядя, как Андрей кипит, стоя на цыпочках на своей табуретке под репродуктором. Я жалела только, что не могу криком сбить его с табуретки.

Зато он вечером бежал смотреть салют.

А мне-то как хотелось *посмотреть* салют!

С улицы слышались крики «УР-РА-АА», смех и голоса. Пушки рявкали совсем рядом — на Красной площади, но я видела только,

как в окне вспыхивало то зеленым, то желтым или красным и гасло, и плыли по небу рваные клочья облаков, постепенно теряющие окраску.

А какой город освободили, мне было неинтересно. Война... Другие города...Сколько бы о них ни говорили, они для меня не существовали, потому что для шестилетнего человека реально только то, что происходит с ним самим или рядом, чтобы он все видел собственными глазами. И непредставимо то, что совершается где-то далеко, за порогом дома.

Андрею было уже двенадцать лет! У него была бурная взрослая жизнь, совершенно мне неведомая, протекала она где-то во дворе, вне дома. К нему приходили друзья, я слышала их голоса, шаги, мелькали в коридоре их загадочные для меня фигуры...

Еще ко мне испытывал презрение кот Дым. Но он презирал всех людей вообще, возлежа на своем троне — большом сундуке в прихожей. Впервые я его увидела, когда меня вносили в квартиру. Я подумала, что на сундуке валяется чей-то пышный лисий воротник. Но мне сказали:

— А это — Дым! Кот!

Какой он был важный! Царь котов. Из тех, что называются сибирскими из-за пышной шерсти. Кот Дым... Он действительно был, как струя дыма в морозный день из деревенской трубы, такой же мохнатый и вытянутый, только не ввысь, а вдоль по сундуку. Он мерцал таинственными глазами, он знал какую-то тайну жизни, скрытую от людей. До чего же мне хотелось потрогать его дымную шерсть и поближе рассмотреть пышные бакенбарды, уши, усы, глаза... Но он был так же недостижим, как Андрей, иногда скользил серой тенью мимо моей распахнутой двери и исчезал в темных недрах квартиры. И власти над ним я никакой не имела и ничем не могла привлечь его внимание.

Но меня любила бабушка Брайна! Бабушка Брайна... Каким красивым было ее правильное лицо в облаке белоснежных волос над смуглым лбом. Рассказывали, что в молодости она была чудесной красавицей, сероглазой, с пепельными волосами до пят. Муж не позволил ей подрезать косы, и уход за ними усложнял ей жизнь. Ее выдали замуж в 15 лет за владельца магазина белья в Бердичеве. Он хорошо знал, что он хочет от жизни и от людей. Когда я слышу словосочетание «деловой человек», я сразу представляю деда Марка. Его съедала деловая энергия. Он был полон идей и планов, которые не давали ему жить спокойно. Это был сконцентрированный напор. Но революция лишила его жизнь смысла. Ей не нужны были деловые люди. А он в бездействии не

жил, угасал... Бабушка Брайна родила ему десять детей, ни одного не потеряла, всех вырастила.

Я чувствовала любовь бабушки Брайны, как тепло солнца, батареи, печки,— физически. И боялась потерять ее расположение. Она одним своим появлением и доброй улыбкой могла унять любой мой каприз, развеять истерический накал, который я в себе «раскочегаривала» для очередного нападения на тех, кого я не желала слушаться. Вот кто мне помог потом, в другой эпохе моей жизни, в другом возрасте понять, что такое «страх Божий», страх потерять Того, Кто дорог...

В таком уединении я провела целый месяц. Лежала и слушала радио, как в больнице — все подряд. Часто по радио передавали фортепианные концерты, и многие короткие пьесы мне казались давно знакомыми, даже родными, они словно о чем-то пытались напомнить, что было когда-то в моей жизни.

Я это была или не я — маленькая, под роялем с пыльными пузатыми книгами? Он так прочно стоял на этих ногах, что я любила под него забираться и воображать, что это мой собственный дворец с колоннами... На рояле играла моя тетя, вышитый мережками подол ее полотняного платья трепетал в такт движениям ноги, энергично нажимающей на педаль. Рояль рокотал над моей головой, а пол дрожал и немного вибрировал.

Отец заглядывал в мой грохочущий дворец и смеялся, сверкая яркими белыми зубами, и его перевернутое лицо меня очень смешило. Его очки падали на пол, он пугался, ловил их и заползал за ними под рояль, но я не отдавала ему очков, потому что было так хорошо видеть его под роялем, словно он тоже стал маленьким и залез сюда играть со мною...

Как я мечтала, вспомнив об отце, что вот вырасту, выздоровею и пойду по земле искать Поле Боя, где он погиб. И найду! Обязательно! И оживлю его! И всех бойцов на этом поле оживлю! Я видела себя взрослую, красивую, в русском сарафане и вышитой кофте, с толстой золотой косой вокруг головы... Вот иду я тихо, задумчиво по Полю Боя. Оно огромно — от горизонта к горизонту... Над Полем кружат большие черные птицы, и среди исоптанных трав лежат мертвые воины, раскинув руки и глядя в небо открытыми неживыми глазами. Я наклоняюсь, смотрю в каждое неподвижное лицо. Но все они — незнакомые. Я выпрямляюсь и оглядываю Поле: сколько людей полегло!

Я спрашиваю:

— За что вы погибли?

— За землю родну-уюу-у, — отвечают смутные тяжелые голоса.

Я беру горсть земли. Она суха, крошится в пыль, развеивается на ветру.

Далеко у края Поля растет могучий дуб, широко расстеливший тень по траве. И я вступаю в эту тень.... И вижу — мой отец лежит под этим дубом!

Он лежит, не ды-шит,
И как будто спит,
Кудри зо-ло-тые
Ветер ше-ве-лит...

Я встаю на колени над ним, смотрю в его лицо, белое, как больничная простыня, неподвижное, мертвое, запрокинутое к небу, и кричу:

— И на кого же ты меня поки-ину-ул?..

Вороненок — черная живая тень — опускается на мое плечо. Я беру у него из клюва *пузырек с живой водой*!

Я брызгаю *живой водой* в *мертвое лицо.*

Отец открывает глаза и говорит: — А-аахх, как до-олго-о я спа-ал... спа-аал...

— И спал бы еще дольше, кабы не *живая вода...*

— Как ты выросла! — удивляется он. Мы идем по Полю Боя и оживляем всех убитых. Серебряные зерна воды летят с наших пальцев, огромное Поле шевелится, вздыхает, даже трава шелестит: — Как до-оолго-о я спа-ал... До-олго-о... До-олго-о... Спа-аал... Спа-а-ал...

Солдаты отряхиваются от земли, сбрасывают каски и шлемы, ржавые от дождей, снегов, крови... Люди идут... Идут... Бросают ненужные больше винтовки, страшные противогазы с хоботами, копья, мечи, щиты...

Много позже, уже студенткой, мне довелось побывать на Смоленщине на болоте среди чахлого, больного леса, где под сапогами чавкала вода, настоянная на прахе — *мертвая.* В пальцах рассыпались, ломались мокрые кости. На пригорке сохла шеренга черепов со страшными рваными дырами, некоторые черепа было трудно вынуть из касок...

Какая тоска, какая горечь напитали здесь все: каждую ветку, каждую каплю воды...

Я побывала на еще одном поле боя. На высоком берегу Днепра. Травы на нем росли редкими пучками, и земля была суха до гула, вся в трещинах. Она походила на больную, покрытую коростой кожу.

Поле только с дороги казалось ровным и просторным — зеленая равнина до горизонта. На самом деле это был хаос

заросших воронок, траншей, овражков, бугорков, пригорков, и везде перед лицом моим качались высокие волосатые стебли, летели колючие семена, и тяжелые листья татарника, и веточки чемерицы цеплялись за одежду.

Влезая на осыпающиеся бугры, я видела, как закат постепенно охватывает небо — такой яростно багровый, что мне становилось не по себе. Закат бушевал, словно за полем горел деревянный город.

Вдруг прямо из-под земли, из-под моих ног неожиданно и шумно взлетела стая ворон. Черная сажа от пожара. Свист множества крыльев. Ржавые голоса.

И снова меня залила тишина, жаркая и пустынная.

Я остановилась, огляделась и поняла, откуда мой страх, почему он гнетет меня на этой древней земле под древним небом.

Сколько крови здесь пролито! Наверное, каждая крупица сухой этой глины смешана с человеческим прахом. Может быть, притаившись здесь, и мои далекие предки глядели туда, где земля соединялась с небом, ждали: земля содрогнется, выскочат из-за горизонта черные конники, с визгом, топотом налетят, и — не миновать — задыхаясь, рубить, колоть, отбиваться... Падать, падать под ноги храпящих коней, захлебываться болью, кровью, смертным страхом, ловить взглядом тень птицы в небе, колючку на конце качающегося листа, растворяться в сухой земле, в траве... Что испытывает душа, так преждевременно и стремительно разлученная с телом? Летит? Погружается в сон? В забытье? В муки?..

Как вода в песок, ушли их голоса, их дыхание, их ярость...

Где, под каким холмом лежит мой отец? Разве узнал бы он мои шаги? Он не отличил бы их от чужих, он знал меня другой... Я для него осталась ребенком, которого надо беречь от всего: от простуды, кашля, от страшного сна, от войны...

Я не смогла бы посмотреть на него теми глазами, которые он так любил, мои глаза тоже стали другими, его лицо отодвинулось так далеко, что потеряло очертания.

Уже через год после разлуки его лицо начало стираться из памяти, сливаться с каждым встреченным добрым мужским лицом.

Первая встреча произошла в Сибири, в эвакуации.

Туберкулез разрушал мой позвоночник. Я уже ходила сильно согнувшись, упершись обеими руками в колени. Я была очень слаба, но главное, что меня мучило — боль. Изнурительная, постоянная, иногда ноющая, но чаще — взрывы и жжение в костях, внутри. Были приступы, когда я уже не кричала и не плакала, а выла, не слыша собственного голоса, только горло саднило. Я искала и нашла средство, как отвлечься от невыноси-

мой острой боли — другую боль, я искусывала свои руки, зубы у меня были острые, раны получались глубокие, из них горячо текла кровь. Тогда меня связали. Я не могла лежать на кровати, только на ровном твердом полу. И меня положили на пол на одеяло, по этому одеялу я и каталась со связанными руками, изнемогая от боли и жара. Кроме туберкулеза меня трепала малярия.

В таком состоянии меня приютила одна старушка. Она была бедная и одинокая. То ли мои вопли выгоняли ее из дому, то ли она где-то работала, но я оставалась в избе одна на весь день.

Однажды я кричала, плакала, каталась по полу, дрожала от холода и вдруг увидела мужчину, военного, который оказался рядом со мной, на полу. Он сидел возле меня и держал за руку, он гладил меня по голове, по лбу и щекам, так легко гладил, хотя рука у него была очень большая и тяжелая на вес, я ее покачала в воздухе. Он мне рассказывал что-то длинное, отвлекающее от боли. Кажется, я просила его найти на войне моего папу и сказать, чтобы он скорее приехал ко мне. Я об этом только и думала. Верила, что если папа появится, моя боль сразу пройдет, и все будет, как раньше: Москва, детский сад, где дают какао с булочкой на завтрак, по вечерам я буду сидеть дома под столом, закрытая свисающей скатертью, и устраивать там для кукол квартиру.

Потом женщины, с которыми я попала в эвакуацию, мне рассказали, что военный, державший меня за руку и казавшийся мне настоящим взрослым дядей, был совсем юный лейтенантик — выпускник военного училища. Случайно проходя мимо нашей избы, он услышал мои крики и подумал, что в доме истязают ребенка. Он как-то проник в дом и остался со мною, сколько мог. И отдал мне свой паек: масло, сахар, тушенку, крупу... И ушел. И пропал навсегда. Старушка, моя благотворительница, сказала:

— Это Бог послал тебе андела! Бог сирот не оставляет!

У андела было такое белое лицо! Оно в темноте светилось, это я хорошо помню. Зимой в Сибири темнеет рано. У нас в доме горела по вечерам свеча. Хозяйка ее зажигала и ночью, когда я, набравшись в темноте сил для плача и крика, будила ее. Она вдруг возникала откуда-то со свечою, высокая, в чем-то длинном и белом, с длинною седой косой на груди и уговаривала:

— Ну ты чо, девка? Голос-то сорвешь, как будешь петь?

Маленький огонек свечи каждый вечер сражался с огромными тенями, обступавшими меня. Мне казалось, что тени и были моей болью. Как долго потом я боялась ночных теней! Ведь они

грозились разорвать меня, протягивали ко мне длинные, бесконечно удлиняющиеся руки, бесшумно таинственно перемещались.

Только когда ко мне кто-нибудь подходил и брал за руку, тени пугались, съеживались, и даже боль утихала.

Когда появился настоящий военный, с твердым мужским лицом, взрослый, пахнущий табаком, тени совсем струсили, притворились добрыми, завели мирный хоровод на стенах и потолке, боль почти исчезла, и я смогла выспаться.

Засыпала, просыпалась, а он все сидел и держал мою руку в своей большой и жесткой.

Он заплакал, когда я тихо-тихо погладила его по щеке. А я вдруг словно вошла в его мир, не покидая свой, и начала чувствовать за двоих: за себя и за него. У *меня* была высокая температура, я горела, и кожа болела по всему телу, и мышцы ныли, наполненные сухим огнем, и боль в спине возвращалась толчками. А *за него* я ощущала, какая маленькая горячая рука легко прикасается к щеке, обдавая жаром...

Щека была колючая, как у моего папы, который сгинул где-то и не мог ко мне прийти. Нас навсегда разделили толпы встревоженных, усталых людей, гремящие вагоны, холод, снега, тьма за окном, тьма в чужом доме, боль во сне и наяву.

И моя боль, мой страх переливались в юношу, притянутого ко мне жалостью и навсегда оставшемуся в моей памяти. Может, только в ней он и живет теперь? Или, вправду, то был ангел Божий?

4

«У ангела колючая щека... значит, они в раю тоже бреются. — думала я, когда старушка-хозяйка объясняла мне, кто такие ангелы, где они живут и как относятся к нам, людям. — Откуда ангел Божий узнал про меня и прилетел с гостинцами? Он надел гимнастерку, чтобы его не узнали... Это понятно. Но раз он — ангел, он найдет на фронте моего папу и расскажет ему, что я болею, тогда папа сразу приедет!..»

Каким был он, мой отец? Моя девятнадцатилетняя мама описывала его так: «Я в экспедиции, состою сотрудником в гравиметрической партии. Нас шестеро. Бэм — начальник... Бэму 24 года. Он невысокого роста. Смугл, точно кофеинка. Черные волосы, черные глаза, глаза довольно красивые, если бы не были прикрыты окошками огромнейших роговых очков. Те же очки несколько сглаживают чрезмерную живость нашего начальника,

придавая ему оттенок некоторой степенности. А Бэм очень жив и вспыльчив. При разговоре живет все его лицо, живут руки и вся фигура, и кажется, точно даже волосы и очки принимают то или иное выражение».

Моему отцу было очень тяжело на войне, хотя он прежде ездил в экспедиции, бывал и в горах, и в пустыне. Он испытывал отвращение к любому возвышению над людьми, не умел приказывать. Начальником в экспедициях он был слишком мягок с подчиненными, они частенько делали, что хотели. Увидев, что уговоры безнадежны, он брался за их работу сам.

В студенческие годы я пошла в многодневный лыжный поход по брянским лесам, чтобы проверить себя «на выживаемость», не подумав, что эта глупость может обременить других людей. (Я скрыла, что у меня был туберкулез позвоночника. Слава Богу — все обошлось...)

Лыжные ботинки промокали через полчаса пути. А через два часа в них начинало хлюпать. Остановишься — мерзнешь, белье тоже становится влажным, ветер сразу прохватывает. У костра полегче, но: лицо горит от тепла, от варежек идет пар, а спину продирает мороз... Я думала, каково было в этих лесах зимой партизанам или солдатам, попавшим в окружение... Каждая лесная опушка может быть заминированной. Мягкий холмик снега, брошеная сторожка, лесная дорога, исполосованная следами полозьев и посыпанная сенной трухой, — все, может быть, таит смерть... Опасно разжечь костер, опасно съехать с горки, опасно войти в теплый деревенский дом, где пахнет разогретыми на печке полушубками...

А нам, туристам, было хорошо! Подумаешь, ботинки промокли, руки озябли, рюкзак потяжелел, ноги еле идут... Зато нас ждал веселый ужин в натопленном доме, разговоры и флирт, и даже, может быть, танцы, и незачем особенно спешить, можно не семь дней идти, а восемь, и у нас полно крупы, концентратов, а в деревне можно купить курицу и устроить пир... И весело наблюдать, как в лесу начинает скапливаться темнота под елями, синеет снег, зажигается серпик молодого месяца, робко затепливаются звезды на еще светлом небе...

А он, мой отец, смотрел на знакомые ему звезды из сырой ямы, *измученный, и надежды выжить у него никакой не было, и наспех вырытое укрытие ни от чего не защищало, даже иллюзии защищенности не давало, и все, чем он прежде жил, теряло значение*... Он в ноябре 1941 года писал бабушке Жене: «...возьмите девочку к себе, воспитайте и расскажите правду о маме и папе». Он знал, что сам уже ничего мне не расскажет...

5

Нянечка внесла меня в палату, полную детей.

Все головы на кроватях повернулись ко мне, и много голосов сразу спросило: — Девочка, как тебя зовут?

И я вместе с нянечкой громко назвала свое имя.

— Марианна! Марианна! — полетело по палате, и я обрадовалась, что у меня такое красивое имя.

Палата была светлая и показалась мне огромной. Дети держали в руках настоящие пестрые игрушки и книжки, а в простенке между двух окон стояло черное важное пианино! Я почувствовала себя очень счастливой. Начиналась веселая детская жизнь...

Один из первых вопросов, которые дети задавали тогда друг другу при знакомстве, был: «А где твой папа?»

Как обидно было тому, кто не мог гордо ответить: «Конечно, на фронте!» Потому что следующая фраза нового знакомца была: «А мой — на фронте! Он — командир!» Я радовалась, что могла с достоинством отвечать: «Мой тоже на фронте! Он тоже командир! Самый главный!»

У нас — пяти-шестилетних собеседников самое героическое, самое опасное связывалось почему-то с командирской должностью. Как будто простому солдату было на войне легче. Странно это, но дети стыдились говорить, что их отцы — обычные солдаты. Каждому хотелось украсить своего отца ореолом особенности. Поэтому все придумывали, что их отец кем-то командует. Кто был похитрей, хвастал, что его отец — разведчик или танкист. Все завидовали детям летчиков! А на счастливчика, отец которого служил в кавалерии, смотрели, как на героя. Как будто не отец его, а он сам скакал на горячем коне, размахивая сверкающей саблей, в гуще поверженных врагов. (Враги валялись, как тряпочные куклы, набитые ватой или опилками. Представление о фронте было у нас романтически-открыточное.)

Мы в больнице не понимали трагизма своего положения. Просто жили день за днем, играли, ссорились, плакали от боли или обиды, учились, фантазировали, болтали — жили, привязанные к кроватям, не думали о своих будущих горбах, хромоте, парализованных ногах...

Вот — моя белая кроватка в палате. В головах к спинке кровати привязан конверт для игрушек. Я могу просунуть руку между прутьями спинки и достать мелкую игрушку. Если нужна крупная вещь, надо просить няню дать куклу, или медвежонка, или книжку. Я прочно привязана к кровати, чтобы не прыгала на ней

и не нагружала разрушенный позвоночник. От подмышек до колен я в гипсовом лотке. Плечи прижаты к жесткому матрацу «баранками» — мягкими ватными жгутами, к которым пришиты прочные лямки, завязанные на раме кровати. Гипсовая кроватка тоже привязана к раме, а я зашнурована, как ботинок, длинными шнурами в матерчатом корсете вместе с гипсом. Ноги привязаны к кровати «баранками» в коленях и на щиколотках. Головой можно вертеть направо и налево, можно контрабандой подсунуть под голову кулак или свернутое в комок полотенце. Подушки на полагается. На подушках лежат счастливчивки, у которых туберкулез суставов...

Тем не менее я вспоминаю о своей больничной жизни в Москве как о череде веселых светлых дней. Как будто в те три года никогда не было пасмурно, не шел дождь, не летели за окном низкие темные тучи, полные снега, не было холодно, сыро, темно, а сияло все время долгое теплое лето, и мы лежали на застекленной веранде и смотрели, как ветер возится во взлохмаченных кронах деревьев, чешет их и ворошит, и птицы спускаются на ветки из синевы, качаются, уцепившись коготками и снова исчезают... Шлепались на одеяло тяжелые усталые шмели, и мы могли их разглядывать, затаив дыхание от страха (вдруг укусит?) и почтения: шмель вперевалку, как медведь, лез по складкам одеяла, казалось, он пыхтит и ему жарко в его шубе с длинным рыжим ворсом, сильно запыленным вокруг головы... Ветер налетал сильнее, катил по деревьям шумные зеленые волны, и по нашим одеялам пробегали солнечные блики, сверкая на складках, их мгновенно гасили маленькие округлые тени листьев.

Хорошо было летом на веранде!

И ночи были прекрасные, тихие, когда деревья стояли теплые, умиротворенные, они радовались, что прожитый день был такой счастливый, и верили, что завтра тоже будет хорошо. Темнота и тишина устанавливались не сразу. Еще птенцы что-то сонно чирикали в гнездах, а их мамы тоже сонно и коротко отвечали, и мы шептались, засыпая. Наши кровати стояли близко, можно было взяться за руки, повернуть лица друг к другу и пошептаться. Радостно было чувствовать особое доверие друг к другу и нежность, и радость от того, что тебя слушают, тебя впускают в свой мир, закрытый для посторонних.

Помню, как мы, три семилетние девочки, разговаривали о том, сколько мы родим детей, и спрашивали подошедшую ночную няню, сможем ли мы родить детей, когда вырастем, или нет. Она отвечала, что, конечно, сможем. И мы мечтали, какие у наших детей будут имена, одежда, какие волосы, глаза, как мы будем с ними играть...

Мы смотрели в темноту широко открытыми глазами — их приходилось таращить, чтобы не заснуть во время интересного разговора.

Ребенком быть труднее, чем взрослым, дети самоутверждаются откровенно за счет друг друга. Особенно — больные одинокие дети, издерганные, нервные и предоставленные самим себе. В таких детских коллективах клубятся темные страсти, не сдерживаемые ничем, кроме страха перед наказанием и силой.

К счастью, все злые чувства (как и добрые) у детей недолговечны и неглубоки. Жгучая ненависть может смениться пылкой дружбой с бывшим врагом, а прочная, казалось бы, дружба вдруг обрывается, тонет в дрязгах. Дети учатся друг на друге всем чувствам, пробуют варианты всех отношений.

Я перешла из взрослого окружения в детское, и это оказалось трудным испытанием. Там я была центром внимания, центром приложения добрых и нежных чувств. Взрослые избаловали меня добротой... И между собой взрослые ссорились гораздо реже, чем дети. Взрослые стеснялись ругаться и всегда делились друг с другом передачами. Для детей я долго была чужой — ведь их коллектив уже сложился. Симпатия, вспыхивавшая между детьми, гасла быстро, иногда без причины, просто от смены настроения, от желания покапризничать, почувствовать себя несчастным, незаслуженно обиженным. Для этого требовалось напасть неожиданно на кого-нибудь, кто подвернется, и спровоцировать ссору... Кроме того, дети оказались жадными. Они страшно дорожили своей маленькой собственностью: игрушками, гостинцами, карандашами для рисования, бумагой. А с тем, кому никто ничего не приносил, делились только после долгих упрашиваний воспитателя, огорченного такой черствовстью. Зато с человеком, который тоже что-то имел, сами стремились завязать деловые отношения по принципу: ты — мне, я — тебе.

Взрослые же тревожились о своих близких, сочувствовали друг другу и стремились помочь тем, кому особенно плохо.

Дети обычно думали только о себе и зорко блюли собственные интересы.

У нас долго тянулась «эпоха» хитрой ходячей девочки Тайки. Она умела разжечь склоку и устраниться, когда в разгар страстей ворвется воспитатель с испытующим взором и обличением на устах. Кара всегда доставалась не Тайке, а ее очередной жертве.

Тайка торжествовала... Она морочила нас своими сексуальными фантазиями, устраивала ночные танцы и бои подушками, подбивала лежачих вставать из гипса — что строго каралось,

потому что могло свести на нет результаты долгого, кропотливого лечения. Я не участвовала в бурной ночной жизни только потому, что так крепко спала, что меня невозможно было разбудить. Все самое интересное ночью говорилось и пелось шепотом, танцы исполнялись на цыпочках, подушки летали, как пузатые духи, бесшумно, я ничего не видела, не слышала, не знала, но по утрам весь пух, бумажки и потерянные полотенца оказывались под моей кроватью. Улики были против меня, и мое неведение выглядело как особое упорство и лукавство. Поэтому наказание было неотвратимо, Тайка веселилась. Палата молчала.

Тайка получила громадную власть над всеми. Она не терпела ничьей дружбы, стремилась ее разрушить, испортить. Она натравливала девочек друг на дружку, разжигала ссоры, плела искусные интриги. Еще лет пять после выписки из больницы я вспоминала Тайку с ужасом, она мне снилась, и я боялась проснуться и увидеть ее в своем доме с этой ее ухмылочкой, словно она знает про меня что-то стыдное, тайное, такое скверное, что если расскажет людям, все от меня отшатнутся. Я эту ухмылочку ненавидела.

Я помню Тайкино худенькое личико с большими скулами и острыми черными глазками-угольками, ее черную блестящую головку, в которой было что-то змеиное... Не часто я встречала людей с разрушительным темпераментом такой силы. Наверное, Тайку сильно раздражало наше неповоротливое простодушие, наша детская глупость. Вероятно, ее добольничная жизнь была полна таких впечатлений, о которых мы не имели ни малейшего представления. Она явно развилась раньше нас, и мы были для нее неподходящей компанией. Таким детям, опережающим свой возраст в опыте или развитии, нужен равный им друг-соперник, нужен авторитет. В более подходящей компании нашей Тайке не пришлось бы испытывать свои силы в интригах и утверждать власть над малышней.

Тайка была моим смертельным, могучим врагом. Не знаю, почему я ее раздражала больше всех, но это было так...

Мы лежали и лежали в своих гипсовых кроватках, а Тайка проворно шкандыбала на костылях по коридору, свободно выходила из палаты, входя с таинственным и важным видом, словно узнала в коридоре что-то необыкновенное... Ах, как нам хотелось побывать в том волшебном коридоре! Оттуда являлись к нам на свидания родственники с воли! Иногда у медсестры в волосах блестели капельки дождя или растаявшего снега, когда она входила в палату, еще вся овеянная ветром, веселая от движения и

розовая, со свежими щеками... Когда дверь открывалась, тем, кто лежал к ней ближе, видна была ковровая дорожка и туманная даль больничного коридора...

Мы вечно боялись что-нибудь уронить. (Сочинили поговорку: «Что на пол упало, то пропало».) Придет нянечка и выметет в мусорное ведро упавшую вещь, потому что на полу (всегда вымытом до блеска) много вредных микробов и нельзя брать в кровать то, что лежало на полу. С вещи микробы перепрыгнут на руки, потом попадут в рот, а изо рта перейдут в живот, и придется делать уколы, чтобы вылечиться от опасных болезней.

Мы ловко перекидывали с кровати на кровать мелкие вещи, угощения. Надо было хорошо нацелиться и так кинуть, чтобы попало прямо в руки или на одеяло на уровне груди, не дальше бедер, ведь если посылка упадет на ноги, все равно не достать без мучений: надо стягивать кверху одеяло, а как потом расправишь? Так и будут ноги торчать голые... А уж если брошенная вещь шлепнулась на пол, от досады, бывает, и всплакнешь... Ничего не поделаешь, надо бить челом тому, кто ближе всех к упавшей вещи лежит, если он сможет поднять, пообещать что-нибудь за труды.

Сначала надо было прикинуть, сможет ли кто-нибудь дотянуться до оброненного. Если оказывалось, что дотянуться можно, для чего надо только пододвинуться на самый-самый край кровати и вытянуться, как червяк, то предприимчивый «ближайший» начинал под одеялом тайно, но быстро выпутываться из всех своих обвязок. Ни врачи, ни медсестры и представить себе не могли, как быстро и ловко большинство из нас могло освобождаться от всех хитроумных пут. Они-то воображали, что без посторонней помощи это невозможно!

Наконец, освободившийся скатывался на самый край кровати, тянулся, тянулся, сползал, рискуя свалиться на пол, но чудом держался на одних лопатках, весь — в воздухе, и все же дотягивался растопыренными пальцами одной из ног до упавшего предмета, хватал — и ура! — все болельщики переводили дыхание и начинали улыбаться и возбужденно болтать, ликовали, что удалось такое опасное предприятие. Ловкача награждали уважительными взглядами и одобрительными возгласами.

У нас были и другие занятия.

На музыкальных уроках мы пели песенки и учились играть на инструментах, на которых можно играть лежа: на бубне, трензеле, цимбалах, губной гармошке.

Нас учили шить мешочки, обшивать и обвязывать носовые платки, вязать крючком, плести коврики и корзинки, делать

искусственные цветы. Все это могло пригодиться в жизни. Многие из нас должны были остаться инвалидами, а что за жизнь без какого-нибудь интересного и полезного дела!

Однажды воспитательница сказала, что скоро будет Праздник Победы, потому что война вот-вот кончится. Наши войска идут по Германии, и нам пора готовиться к великому празднику!

Мы с радостью стали готовиться. Учили стихи и песни, подходящие к случаю.

Но главным номером нашей программы была песня о маках. Мы должны были петь ее и сами себе аккомпанировать на наших бубнах, трензелях и губных гармошках. А в конце — только воспитательница повторяла мелодию на пианино. Нам же следовало поднять руки с бумажными маками, которые мы сами сделаем, а ходячая Тайка соберет букет, обойдя все кроватки. Букет она отнесет к портрету товарища Сталина, увитому алыми лентами.

Недели две мы делали маки. Не сразу они стали получаться хорошо. Надо было вырезать из гофрированной красной бумаги лепестки. Из зеленой — листья. Каждый лепесток мы тщательно расправляли так, чтобы он стал выпуклым, похожим на ложечку. На конец проволоки-стебля наматывали светло-зеленую папиросную бумагу, стягивали, отступя сантиметр, ниткой — это был пестик мака. Его обклеивали настриженными черными ниточками — получались тычинки. Потом уже приклеивали один за другим лепестки. Пестик с черными тычинками не должен был далеко высовываться из цветка, но и слишком прятать его в чашечку не следовало. Угадать, насколько высунется пестик, когда прикручиваешь первый лепесток, удавалось далеко не сразу. Сколько приходилось переделывать!

Наконец, узкой зеленой ленточкой из папиросной бумаги, крашеной зеленкой, закрепляли чашечку и обматывали стебель, прихватывая основания зубчатых листьев, приготовленных заранее. Эта работа требовала много терпения и внимания. Чуть поторопишься, и все идет вкривь и вкось, и совсем не похоже на прекрасный идеальный мак, который сделала сама воспитательница. А плохой цветок нельзя дарить товарищу Сталину!

Все липнет к пальцам, перепачканным клеем, теряется на одеяле то проволочка, приготовленная для стебля, то лепесток...

И все же мы сделали много маков!

Провели репетицию и сами пришли в восторг: так красиво у нас получилось.

И пришел Праздник Победы!

Весь день торжественно говорило радио и передавало марши и веселые песни.

К нам обещал прийти настоящий боевой командир! Он был ранен в бою, а теперь вылечился, и у него много орденов! Мы очень ждали его. Хотелось посмотреть на живого командира. Не в кино, а прямо в нашем коридоре. Кроме того, многие из нас мечтали спросить командира: «Вы не встречали на фронте моего папу? Его зовут...»

Наконец, нас всех вывезли в коридор. Из всех палат. И малышей, и старшеклассников.

Кровати выстроились вдоль стен в длинный ряд.

Каждая палата приготовила свои номера для большого концерта.

Вот и командир, улыбаясь, прошел по проходу. Он был еще не очень старый и немного прихрамывал. Вот он встал в конце коридора, где пальма распушила листья под большим портретом Сталина. Рядом с командиром встали доктор Ваграм Петрович, все врачи, сестры и нянечки. Воспитательницы, волнуясь, бегали вокруг кроватей артистов.

Конечно, я плохо помню, что было на том концерте. Помню, как мы волновались и ждали, когда придет наша очередь. Под простынями мы прятали свои маки и боялись их измять. Песня о маках должна была завершать концерт.

Воспитательница тревожилась, как бы Тайка не перепутала: надо было поднести букет маков сначала к портрету товарища Сталина, а потом — отдать командиру, потому что он защищал нас от немцев.

И пришел долгожданный момент, когда ударили наши бубны и трензеля, запели губные гармошки, и мы начали:

Вот какие маки!
Вот какие маки!
Вот какие маки
В поле расцвели!

Мы постепенно поднимали руки с цветками, и в коридоре становилось все веселее, краснее , и наши голоса крепли:

Налетает ветер,
Налетает ветер,
Тоненькие стебли
Гнет он до земли...

Мы стали размахивать маками, получилось поле маков, волнующихся под ветром.

Воодушевленные, мы продолжали:

Маленькая Майка
Вышла на лужайку...

Из-за кроватей вышла, стуча костылями, Тайка.

Она начала собирать цветы, и пока она обходила кровати, мы все повторяли, как застрявшая пластинка:

Маленькая Майка,
Маленькая Майка,
Маленькая Майка
Вышла на лужайку...

Вот Тайка доковыляла до последней в ряду кровати и «сорвала» последний цветок.

Букет скрывал ее лицо и едва помещался у нее в руке. Ей пришлось теперь идти на одном костыле. Зато цветы очень красиво колыхались от ее неровной походки.

И мы, торжествуя, с силой ударили свободными теперь руками в бубны и трензеля и грянули:

Сталину родному
Собрала букет!

Тайкин костыль, прислоненный к чьей-то кровати, поехал по скользкому полу и с грохотом упал. Но она даже не оглянулась и подошла к портрету, опираясь на оставшийся костыль и крепко прижимая к себе проволочные стебли наших маков.

Она отдала костыль нянечке, которая стояла к ней ближе всех, обеими руками, покачнувшись, протянула букет портрету.

Мы дружно повторили:

Сталину родному
Собрала букет!

Тайка стояла, не шаталась, и мы загремели хором:

— Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство!

Теперь Тайка сунула букет командиру прямо в лицо, она устала стоять на одной ноге без костыля.

А командир взял букет и вдруг заплакал! И опустил лицо в цветы.

Маленькая взъерошенная Тайка стояла перед ним, подняв лицо и разинув рот. Ее серый халат всегда сбивался из-за костылей, на груди и на спине получался мешок, как будто там были горбы.

И командир, наверное, подумал, что она и с хромотой и с горбами, и ему стало ее жалко...

Мы все же были поражены, что настоящий боевой командир ни с того ни с сего, да еще на празднике, да еще перед всем честным народом, заплакал! Как же так? Ведь он — взрослый, военный, командир...

— А мой папа никогда не плачет! — говорили мы друг другу потом, когда нас развозили по палатам. Мы притихли, как мыши.

Но тут доктор Ваграм Петрович улыбнулся Тайке, обнял ее, поцеловал в щеку и захлопал.

И все няни, сестры, врачи, воспитательницы и старшие дети захлопали. Тогда и мы принялись бить в ладоши, и Тайка, раскрасневшаяся и гордая, вернулась к своему упавшему костылю.

Наш номер с маками оказался лучшим! Нам дольше всех хлопали!

Нас очень хвалили за маки.

Но почему Ваграм Петрович улыбался так грустно?

Да, наши маки были совсем как настоящие. Но никогда их не грело солнце, не качал ветер, в них не забирались пчелы, на них не падала утренняя роса.

Теперь они будут стоять у портрета Сталина на полочке, пока не покроются толстым слоем серой пыли и их не выбросят на помойку... Ведь их даже водой промыть нельзя. Бумага расползется, вылезет голая проволока и повиснут нитки в катышках сухого клея...

Моя радость тоже быстро потускнела, как будто я кого-то обманула, — песня звучала, полыхали алые маки, а душа молчала...

Но вот позвоночник мой окреп, и мне разрешили вставать.

Сначала меня ставили около кровати на пол- на две минуты (так кружилась голова, что я не успевала ничего почувствовать), потом — на четыре, на шесть — до десяти минут, и снова: на две, на четыре... (С утра готовишься к великому моменту вставания!) Голова больше не кружится почти, только ноги слабые дрожат, зато все видишь совсем по-другому. Весь мир открывается с иной стороны. Какое блаженство — стоять!

И вот уже я встаю на двадцать минут.

Приходит медсестра, развязывает лямки, снимает «баранки» с рук и ног, я быстро-быстро расшнуровываюсь, на меня с завистью глядят с соседних кроваток. Меня втискивают в толстый гипсовый корсет и плотно зашнуровывают. Наконец ставят на тряпичный коврик, который я сама для этой цели сплела. Я стою, ухватившись за холодную железную спинку кровати, и рассматриваю

заново такую знакомую палату. Оказывается, стоящий на ногах человек видит мир совсем не таким, как лежащий. Сдвигаются стены, пространство становится меньше и доступнее. Мечты могут сбываться: вот я научусь ходить и дойду до пианино, я сама дотронусь до клавиш... А если кто-нибудь из ребят уронит игрушку, я подниму!

Я научилась ловко елозить на тряпичном коврике вокруг своей кровати, держась то за ее спинки, то за железную раму.

Наступил великий день, когда медсестра вывела меня в коридор! В тот самый, таинственный, бесконечно длинный, где всегда шла деятельная жизнь, откуда слышались шаги несущих нам еду, лекарства, новости, развлечения... В коридоре лежали красные ковровые дорожки, стояли цветы.

У меня кружилась голова. Как далеко от стены до стены! А сестра говорила: «А ну-ка, иди сама...» Разве я когда-нибудь смогу пройти такое расстояние? Невозможно! Пальма в конце коридора казалась окутанной голубой дымкой. Ноги у меня дрожали и подламывались от страха.

И тут, слегка толкнув меня острым локотком, из двери нашей палаты выскочила Тайка. Скользнула по мне с презрением черным взглядом, гордо вскинула голову и лихо заковыляла прямо по середине коридора, по красному ковру. Костылики ее сухо постукивали.

Эх, если бы мне дали костыли! Я бы тоже не побоялась ходить по середине коридора. А без них... Не на что опираться... Нет, не могу...

Я завидовала Тайке, даже под ложечкой сосало. А Тайку ждала тяжелая хромота на всю жизнь...

Уже через месяц я настолько окрепла, что могла разгуливать по палате, не держась за спинки кроваток. Перестала завидовать Тайке. Костыли больше не были для меня предметом мечтаний. И страх перед Тайкой у меня прошел. А она вдруг начала почему-то передо мной немного заискивать. И, наконец, пообещала показать мне свою тайну, которую никто не знает. Все в палате уже давно говорили об этой тайне, спорили, ссорились, пытаясь угадать, что прячет Тайка под одеялом, что она там подолгу разглядывает, накрывшись с головой и сделав маленькую щелку для света. Редкие посвященные почему-то упорно молчали, краснели и даже отворачивались, когда у них пытались что-то выведать самые любопытные Тайкины недруги.

Я уже была отчасти нездешней, меня готовили к выписке. Я должна была уехать к новой бабушке Жене далеко на Север.

Говорили, что там — дома из оленьих костей и покрыты шкурами, и живут там дикие люди, закутанные с головы до ног в оленьи шкуры. Рассказывали эти удивительные вещи самые начитанные, самые авторитетные люди нашей палаты. Им бы тоже хотелось пожить в доме из оленьих костей! Они смотрели на меня с уважением, и я вырастала в собственных глазах: я еду жить в дом из оленьих костей! Такой дом, покрытый шкурами, должен быть уютным и тихим, как шалаш в том, полузабытом саду в детстве...Только шалаш был под зелеными деревьями, в нем пахло сеном и жужжали шмели. А дом из костей и шкур, наверное, тонет в мягком снегу, и надо плотно закрывать за собой дверь, чтобы на постель не налетели снежинки...

Никто из нас представить себе не мог, что вместо домов, покрытых шкурами, я увижу высокие заборы, над ними колючую проволоку в несколько рядов, зловещих солдат в длинных, словно картонных, тулупах на скрипучих вышках — то ли домиках на курьих ножках — жилищах Кощея, то ли скворечниках для Соловья-разбойника — погубителя мирных людей... Встреченные на дороге, эти солдаты были обычными людьми, отцами ребят из школы, куда я пошла учиться. А на вышках они превращались в нечеловеков, даже пробегать мимо вышки было очень страшно: вдруг стрельнут?

Бабушка Женя прислала с Севера валенки и носки из кусачей серой шерсти, меховую шапочку и варежки. Нянечка принесла и разобрала при мне посылку! Я долго с наслаждением нюхала каждую вещь. Все они пахли путешествием!

В день моей выписки утром Тайка, почему-то смутившись, все-таки позвала меня смотреть «тайну» каким-то странно заискивающим голосом. Оказалось, никакой тайны нет. Обычные сексуальные выдумки. Кое-кто из детей занимался этим, других не захватывало, третьи боялись, потому что все знали: это нехорошие дела, стыдные. Почему нехорошие и стыдные, нам никто не объяснял, но наказывали строго тех, кого заставали за таким развлечением с самим собой. Обычный детский онанизм в нашем сознании вырастал до размеров чудовищного порока. Запретное манило. Я тоже попробовала, но не втянулась в исследование тайн собственного тела потому, что меня захватила другая страсть — чтение. Оно поглотило всё мое время и все силы воображения. Я так уставала к концу дня, что засыпала сразу, как только гасили свет. И в «тихий час» стала спать. (Здесь «мертвый час» назывался «тихим», чтобы дети не пугались: уснешь и умрешь.)

А Тайка с ее темпераментом, независимостью от мнения взрослых, незанятостью ума погрузилась в свои сексуальные

переживания всерьез. Ее ничто не отрывало от них. Но новизна впечатлений иссякла, и она стала искать партнеров...

Разочарованная, чувствующая себя обманутой, я сбросила Тайкино одеяло с головы и вслух сказала всем, что никакой тайны нет.

Бедная Тайка злобно посмотрела на меня, сузив блестящие от слез глаза, и отвернулась к стенке. Так рухнул ее авторитет.

Вместо торжества я испытывала смущение и тревогу. Мой злейший враг лежал, отвернувшись от всех, и был он маленькой искалеченной девочкой, которую дома никто не ждал, которой никто не припасал к выписке шерстяных носков и красивого платьица. Никто не приносил ей гостинцев. Медсестры иногда покупали ей что-нибудь вкусное из своего скудного заработка, и мы, сытые домашними приношениями, уступали ей свой кисель или печенье от полдничного чая...

6

Сестры, няни, воспитательницы, врачи— все прощались со мной ласково, словно я была им родной. А я-то сколько их мучила! Не слушалась, упрямилась, плохо себя вела, вредничала, «доводила до белого каления»...

Я больше никогда не увижу лицо доктора Ваграма Петровича? Смуглое, доброе армянское лицо с мохнатыми седыми бровями...

Так и помню его, склоненного надо мною, или внимательно разглядывающего рентгеновский снимок, или идущего по палате на обходе, когда его лицо, обращенное к нам, так и светилось лаской. Да, на нас он смотрел совсем не так, как на взрослых из персонала. С ними он был строг и требователен. Но взглянет на больного ребенка, морщины на лбу разглаживаются, даже колючие заросли бровей, кажется, смягчаются, глаза светятся... Для нас, детей, Ваграм Петрович был красивым и очень значительным человеком, значительным во всех отношениях: всемогущим, большим, сильным, умным, все знающим, важным, вызывающим трепет...

Перед обходом каждое утро бегали встревоженные нянечки, все в десятый раз протирали, поправляли, обмахивали, проверяли: Ваграм Петрович требовал чистоты и порядка. Сестры контролировали нянечек, все ли сделано, как нужно.

В ослепительном халате, высокий (как я потом удивилась, убедившись, что он невысок!), стройный Ваграм Петрович входил в палату, как король, в своей белой шапочке на пышных седых кудрях, коротко подстриженных, но завивающихся, как пружин-

ки. Все сверкало к его приходу, и мы лежали, тихие, как мыши, слегка ошеломленные торжественностью момента. За королем шла почтительная свита...

Тогда я вела себя почему-то скверно. Никого не слушалась и доводила самого Ваграма Петровича чуть ли не до сердечного приступа. Например, начну громко петь в «тихий час», когда все только-только наконец угомонились. Прибежит нянечка, начнет испуганным шепотом уговаривать, чтобы я перестала, а я еще громче завоплю. Придет медсестра, воспитательница, доктор. У меня сердце от страха готово остановиться, я сама в ужасе от того, что так плохо поступаю и всех раздражаю, но что-то словно несет меня... Властный злой вихрь... И я начинаю все делать назло окружающим. Наконец, меня с моей песней вывозят в коридор. Все в палате украдкой с изумлением наблюдают за происходящим, колесики повизгивают, потолок плывет надо мною, поворачивается, а я ору все песни, какие знаю, подряд. Отделение маленькое, в палатах слышно, что делается в коридоре, особенно в «тихий час», когда все шумы затихли.

Чтобы я всех не переполошила, меня увозили в какую-то белую официальную комнату, наверное, изолятор, и оставляли одну, закрыв двойные стеклянные двери и еще белую глухую дверь. Мне было страшно. От страха я еще некоторое время бушевала. Умолкала от усталости. Прислушивалась. Стоило мне услышать за дверью шаги или даже шорох, я снова начинала свой концерт, если не засыпала... Самой было неприятно, что смотрят на меня сердито, негодуют, злятся. Я словно испытывала терпение людей: а что вы со мной сделаете? А я все равно не боюсь! Ощущение опасности, ощущение власти опьяняло. Может быть, так брала я реванш за постоянное чувство зависимости от всех, беспомощности, одиночества, боли? Доказывала себе и другим, что я что-то значу и могу? Испытывала свою храбрость? Довести взрослых, здоровых, сильных до того, что они стоят в растерянности с искаженными от раздражения лицами и не знают, что со мной делать, насладиться своей властью и успокоиться до следующего срыва... Вероятно, это был тот темный опыт, через который я должна была пройти, познать его, чтобы преодолеть. Мне пришлось испытать и другие злые искушения: злобу, жадность, властолюбие, жестокость... И потом, в период взросления, я с отвращением отвергала знакомое искушение, а если застревала в нем, то знала, что должна его преодолеть...

А что творилось на душе у взрослых, чью жизнь я вдруг ни с того ни с сего начинала отравлять, а они не могли даже отшлепать

зловредное существо, потому что существо это было и без того наказано судьбой: жалкое, маленькое, раздавленное болезнью и тяжелыми переживаниями... Во всяком случае, Ваграм Петрович не переставал верить, что я не озлоблюсь, не переставал меня любить и радоваться, что я расту потихоньку, прибавляю в весе, что у меня округлились щеки и пропадает чернота под глазами...

...Вот его кабинет! Когда-то — святилище, куда мы являлись с трепетом, вносимые на руках могучей санитаркой! Но прошло два года после моей выписки, и мы с бабушкой Женей переступаем порог обыкновеннейшей комнатки, тесной, с прозаичным конторским столом, некрасивыми казенными стульями и белой кушеткой, покрытой простыней.

И коридор, которым мы сюда шли... Неужели это тот самый, таинственный, роскошный, с ковром и пальмой, невероятно широкий и длинный? Это его я боялась пересечь? Это его стены были для меня так далеко раздвинуты, что голова кружилась от одного предложения дойти от стены к стене? А эта чахлая пальма в старой кадочке — та самая, что была деревом моей мечты, с пушистым стволом и блестящими кожаными листьями? Неужели именно к ней я так стремилась, чтобы потрогать и ворс на стволе, и поверхность листьев, и готова была совершить неимоверно тяжелый путь по середине ковровой дорожки, колеблющейся под ногами? Дорожка тогда казалась бархатной, ее тоже хотелось потрогать... Из окон, всегда полных неба, света, на алый бархат ложились темные крестообразные отпечатки переплетений рам, на темных местах ворс гуще и колючей, чем на светлых...

Оказывается, пальме нехватает в этом больничном коридоре ни солнца, ни воздуха, она еле жива и похожа на блеклую декорацию. А ковровая дорожка выцвела, полысела.

А от стены к стене-то — не больше четырех шагов!

Зато Ваграм Петрович еще лучше, чем был в моих воспоминаниях. Что за чудо его лицо! Все в нем светится добротой: кустики бровей, улыбка, глаза, хоть небольшие, но как они умеют вдруг осиять нежностью, печалью, мудростью...

Когда я проезжаю на электричке мимо станции, где был тот санаторий, мне всегда хочется сойти, пробежать по асфальту мимо длинных приземистых корпусов к нашей веранде, к шумящим деревьям (какой это был шелковый, какой свежий, волнующий шум!) и увидеть, как между детских кроваток идет по солнечной дорожке в белоснежном халате (ризе?), в высокой накрахмаленной шапочке бессмертный Ваграм Петрович с его доброй улыбкой...

7

Когда Ваграм Петрович сообщил моим родственникам, что меня можно готовить к выписке, в один прекрасный осенний день после нашего переезда с веранды в палату, отремонтированную за лето, ко мне приехала бабушка Женя. Она хотела познакомиться со мною и спросить у Ваграма Петровича совета, где лучше мне выздоравливать — на юге, у моря или в средней полосе России. В зависимости от этого она собиралась выбрать место жительства.

Она приехала в Москву на три дня, рискуя своей свободой из-за нарушения паспортного режима. Ей запрещен был навсегда въезд в Москву, Ленинград, столицы союзных республик, а также в крупные города. Опасной для больших городов личностью она стала в 1934 году 4 декабря, когда, прочитав в газете об убийстве Кирова, сказала: «Как это страшно — политические убийства! Они всегда тянут за собой множество невинных жертв...» Как в воду глядела! Сама же на следующий день, вернее — ночь, стала такой жертвой, хотя жила в Москве, а Кирова убили в Ленинграде. Но она — из «кировского» набора. Отсидев свои пять лет, она застряла на Севере из-за войны...

Обвинение бабушки Жени формулировалось как «подозрение в шпионаже». Возникло подозрение по двум причинам: из-за немецкой фамилии и пятилетнего пребывания в Германии.

Ваграм Петрович посоветовал ради меня не уезжать с Севера, потому что юг мне вреден.

И бабушка Женя осталась в добровольной ссылке.

Она смотрела на меня еще ласковее, чем Ваграм Петрович. Она разглядывала меня с восторгом, и я видела, что ей очень нравятся мои глаза, улыбка, нос, брови — вся я нравлюсь, и все мои слова почему-то приводят ее в состояние блаженства. Она так радовалась каждому моему жесту, гримаске, что я почувствовала себя любимой и больше не одинокой.

Я не догадывалась, что мне повезло, как Золушке, у которой крестная оказалась всемогущей феей. В моей смуглой фее, разглядывающей меня с печальной нежностью, был такой запас душевного тепла, что возле нее можно было отогреться, как возле хорошей русской печки. Вся моя душа так и потянулась к ней! Она на меня смотрела, как на ларец с драгоценностями, который она, было, утратила, но вновь неожиданно обрела, и не верит своему счастью. Я понятия не имела, сколько ей пришлось перестрадать, пока она получила возможность вот так держать

меня за руку и вглядываться, искать в моем лице, мимике, голосе черты своей единственной дочери...

Не знала я и того, какие отчаянные письма мой отец писал бабушке на Север с фронта: «Заберите ребенка, спасите ради памяти нашей Тамары». Из-за немецкой фамилии бабушку отправили на лесоповал вместе с другими русскими немцами, ей удалось чудом застрять в Сыктывкаре, но, подневольная, беспаспортная, она не могла приехать, чтобы забрать меня к себе...

Я глядела на новую бабушку, неожиданно возникшую из неизвестного мне большого суетливого мира здоровых. Глядела и удивлялась. Под белым халатом, наброшенным на плечи, у бабушки Жени оказалось красивое платье, шелковое, совсем не старушечье. От нее пахло духами. А волосы были уложены блестящими черными волнами. На смуглом лице не видно морщин, носик вздернут, глаза блестят, движения совсем молодые, легкие... А я-то считала, что бабушки должны быть такими, как бабушка Брайна — маленькими, сгорбленными, слабенькими, с неуверенной походкой и медленными движениями. Даже мне, привязанной к больничной койке, бабушка Брайна казалась слабей меня. Она так тихо, слабо держала меня за руку... А у бабушки Жени ладонь была крепкая, пальцы — сильные. Из-за того, что бабушка Брайна плохо видела, ее лицо выражало тревогу и беспомощность. Все оно состояло из мелких морщинок. Белоснежная волна волос была собрана в тугую булочку на затылке. В руках она всегда держала потрепанную сумку, которую торжественно именовала ридикюлем. Честно говоря, этот самый ридикюль был для нее слишком громоздок и тяжел... А у бабушки Жени блестящая сумочка торчала из-под мышки. Бабушка разрешила мне раскрыть сумочку и покопаться в ней. У сумочки оказалась блестящая же внутренность, скользкая и пахнущая духами. Все, что в ней лежало, тоже пахло духами: белый платочек из тонкой, воздушной ткани с вышивкой в уголке — венок из крошечных розочек. Пенсне в плоском футляре. Я никогда не видела пенсне! Конечно, я попросила бабушку показать, как его носят. Я и сама его надела, но ничего не увидела сквозь мутные стекла. Гораздо больше мне понравились блокнотик и карандаш. Их я выпросила себе. А застежка сумочки сверкала, как золото, и очень громко щелкала!

Когда я наигралась сумочкой, бабушка Женя взяла меня за руку и рассказала, что у меня была мама, звали ее Тамарой, она была добрая, умная, веселая, все умела делать, за что бралась. И показала мне фотографию девочки с коричневым бантом в воло-

сах. Потом показала мне саму меня в маленьком зеркальце. Я удивилась: у девочки на фотографии было точно такое же лицо, как у меня! Только я была лысая, меня стригли под машинку.

— Я тоже хочу носить бантик! — сказала я, ощупывая свою колючую макушку.

— Все у тебя будет,— пообещала бабушка Женя. — И бант, и платье, и блестящие башмачки...

С какой жадностью я разглядывала фотографию своей мамы! Вот она, с большим бантом в волосах стоит у какой-то белой стены, скрестив тоненькие легкие ноги в коричневых туфельках. Они даже на снимке блестят, совсем новые! Она раскинула руки по белому фону стены — держится за стену или собирается побежать и обнять кого-то? Но смотрит печально, серьезно, как будто все знает, что будет с ней, что будет со мной...

Когда она разглядывала меня в роддоме и радовалась, что у нее появилась дочка, у отца уже лежала в кармане бумага с Лубянки об административной высылке ее из Москвы в Сибирь. Он, получив эту бумагу, бросился на Лубянку и добился, чтобы высылку отложили на три недели после выписки жены из роддома... Что у него было на душе! Как ему удавалось скрыть тревогу, чтобы не омрачить ей праздника возвращения домой?..

Вторая бумага о высылке, уже и моей тоже, пришла через 15 дней, когда мне стукнуло 25 дней.

Моя мама заболела малярией с температурой 40, с ознобами и слабостью. Это в центре Москвы, летом... Я прочла в терапевтическом справочнике, что это — симптомы сепсиса от недобросовестной работы акушера...

Но болезнь не освобождала от высылки.

В *таком* состоянии — поспешные сборы! Папа уволился со всех своих работ, он даже на минуту не мог себе представить, что его высылка не касается, что он вправе устраниться... Пока он в глазах власти не был «социально опасен», он мог оставить «опасную» жену...

Он ее очень любил. Вот когда любовь стала — «к гибели»! Самая главная ценность жизни превратилась в угрозу жизни. В письме моего отца маме я прочла: «Я живу для тебя, дышу для тебя. Возьми мое Я — оно твое».

Мои родители искренне хотели строить социализм! И вот теперь ехали в ссылку...

Никогда я не могла даже предположить, что придет такое время, когда я смогу взять в руки «Дело» моей мамы и прочесть все бумаги в обычнейшей канцелярской картонной папке...

Ее лихорадочное, безумное письмо — мольбу отсрочить высылку, заменить Сибирь глухой деревней, где живут родственники...

РЕЗОЛЮЦИЯ: «По рассмотрению т. Леденса предложить выехать в Омск.

4/VI-37 г. *ЛЕДЕНС*».

Даже по почерку видно, какое безнадежное отчаяние ею владело.

Много раз я вместе с папой мысленно шла с этим письмом сначала со Сверчкова переулка на Лубянку, потом — обратно. Я чувствовала за него, как дома, и булыжники мостовой, и трамвай, ползущий мимо, — все стало сразу чужим, изъятым из его жизни, может быть — навсегда. Словно взяли и палкой вдруг перебили позвоночник жизни. Все поломано. И хочется бежать из города, бежать от опасности, спрятать любимых, беззащитных...

Как жаль, что у них нехватило духу бежать, жаль, что они были такие законопослушные... Можно было вызвать «Скорую» и положить нас в больницу, можно было потихоньку уехать в деревню, кто стал бы искать?

Такое отчаянное письмо... Мольба к бетонной стене, у которой расстреливают всех подряд, не разбирая возраста, пола, вины...

Я горевала над этим письмом, пока не поняла, что Бог — милостив. Он — не «тов. Леденс», Он видел, что творится в сердце несчастной женщины, и жалел ее. И простил ей ВСЁ! Даже то, что за этим письмом последовало... Он ее пожалел и принял, я в этом уверена! Ведь мои родители выросли в языческую эпоху. Они ничего не знали о грехах, об искуплении и надежде...

Конечно, я пыталась представить себе, как они добирались до места ссылки. В Омске, в большом и благоустроенном городе, их оставлять не собирались. Им велели ехать в маленький городок Тару, а оттуда Бог знает куда. О подобном мучительном пути я прочла у Надежды Яковлевны Мандельштам. Только мои родители были не вдвоем, а с грудным младенцем. И ехали они на Иртыш, гораздо дальше места мандельштамовской ссылки — Чердыни. На карте Тара не больше Чердыни. Значит, там жизнь была устроена подобно чердынской...

Для моей двадцатитрехлетней мамы испытание оказалось не по силам. Высокая температура по вечерам, изнурительная лихорадка, слабость после лихорадки такая, что трудно поднять руку, трудно сжать пальцами чайную ложку... Я знаю, что такое малярия... А тут еще полная безнадежность, чужой, холодный городишко, нет жилья, работы, в магазинах — пустые полки...

Грудной ребенок — это забота о пеленках, кормлении, о сне... А какая пытка — каждая кормежка младенца, когда вся грудь в трещинах, распухает и гноится и даже прикосновение рубашки к ней так болезненно, что трудно удержаться от стона... В дороге не уберечься от инфекции... Так моя мама мучилась со мною в прокуренном вагоне и на палубе грязного суденышка на глазах чужих людей и терзающегося собственным бессилием мужа.

После тяжелейшей дороги, которая длилась почти месяц и вымотала все силы, — вот он, город Тара. Место ссылки.

Наверняка все было там похоже на мандельштамовскую Чердынь: «жилищный кризис, и ссыльные ютились по углам...» Каждые три дня — отмечаться у коменданта: ставить печать на бумажке, которая заменила все документы. Комендант наверняка из той же когорты, что ставил печать на бумажку Осипу Эмильевичу Мандельштаму: «Это был человек гражданской войны... Он всегда прислушивался к своему классовому чутью ... а это к добру не приводило, ведь никогда не угадаешь, на что оно толкнет...»

Каково моей больной матери было стоять в этих очередях к коменданту, которые выстраивались раз в три дня у конторы, где властитель судеб решал в соответствии с указаниями классового чутья, кому жить, кому умереть.

Эта очередь, где все говорят от страха шепотом, все подавлены и измучены тяжелым бытом, неизвестностью, нищетой... И — неприязненные взгляды проходящих мимо местных жителей, которым не нравится это скопление чужих бездомных людей в их бедном городишке. Наверняка — всякие реплики, может быть, и угрозы...

Чердынские ссыльные — знакомцы Мандельштамов поставили перед собою одну цель: «сохранить человеческое достоинство».

Однако Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич оставляли за собой и право ускользнуть от своих мучителей в... «самоубийство»: «Мысль об этом последнем исходе всю жизнь утешала и успокаивала меня...»

И эта же мысль все больше овладевала моей мамой. Ей казалось — это выход! Для нее такой «выход» был тем привлекательней, что она хотела спасти отца и меня от тягот своей участи. Она думала, что она — тот камень, который тянет на дно всю семью... Ее любовь и ее гордость восставали против жалкой участи в дремучем захолустье для такого талантливого человека, каким был мой отец. Она видела, что он здесь надорвется, пытаясь прокормить нас, будет страдать и гибнуть... Любое бремя он был готов взвалить на свои плечи ради нее, а она не могла принять его жертву...

Прежде чем окончательно решиться, она упрашивала его оставить ее одну в ссылке и уехать с ребенком, пока тепло и не начались дожди и холодные ветры. Он писал об этом дяде Ване, ее дяде, доброму религиозному человеку: «Оставить ее? Я ее люблю больше жизни. И не могу так подло поступить...»

Потом он написал, как все случилось: «Состояние Тамары еще ухудшилось только что перенесенной малярией с температурой 40. Последний удар — этот отъезд. Психиатр признал у нее пограничное состояние шизофрении. Во время сборов состояние было...» — письмо он не смог закончить.

Но почему же вдруг «шизофрения»? Молодая женщина, только что родившая, едет в ссылку с младенцем в неизвестное ей место на неизвестный срок. Из дома и из родного города, где живут родные и близкие, ее вдруг изгнали безо всякой вины. У нее лихорадка, мастит, каждое кормление — пытка. Бесконечная дорога, мучительная, с грязью, бестолочью, суетой, толпами сорванных с мест усталых и озлобленных людей... Где стирать и сушить пеленки? Где укрыться от чужих взглядов, где, наконец, расслабиться, отдохнуть? Тяжело вечно быть на людях тому, кто любит одиночество. Даже для нее, привыкшей к аскетизму экспедиций, это — слишком...

«Шизофрения»... Наивный московский психиатр! Мандельштамам в Чердыни попалась врачиха, лучше понимавшая, в чем дело. Она дала Надежде Яковлевне добрый и очень разумный совет — не показывать Осипа Эмильевича, который вдруг «сошел с ума», психиатрам и не отдавать его ни в какое лечебное учреждение. Надежда Яковлевна замечает: «Этот совет я приняла и хорошо сделала: «это» у них действительно проходит... Но я бы хотела знать, как «это» называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных...»

Не только подследственных «это» поражало, ссылаемых тоже.

Мудрейшая Надежда Яковлевна задает вопрос: «Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью?» Опытные ссыльные объяснили: «Беспокоиться однако не надо: «это» проходит бесследно... Длится болезнь от двух до трех месяцев. Главное — внутренняя дисциплина: нельзя заглядывать в будущее — ничего хорошего не сулит... Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия».

У Надежды Яковлевны был в запасе еще один секрет равновесия: «Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с этой надеждой: самоубийство — это тот ресурс, который мы держим про запас, и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть...»

У того, кто убивает себя, есть иллюзия, что он нашел выход. Он уходит с этой иллюзией, но удар обрушивается на близких.

Один священник с большим духовным опытом сказал мне, что он воспринимает самоубийство, как падение в пропасть мчавшегося на полной скорости автомобиля. Погибает не только водитель. Погибают или калечатся те, кто оказался рядом: близкие...

Бабушка Женя чуть не умерла от горя. Я записала ее рассказ:

«Я послала ей посылочку: кофточку вышитую, она так любила вышитые мною кофточки. Еще что-то из вещей, такой ящичек... Твой папа писал, что устроился там на какую-то работу временную, комнату сняли...

Однажды я сижу, работаю, приносит секретарь почту, я ее всегда сама разбирала и раздавала, и среди казенных писем лежала телеграмма, ее секретарь засунул подальше, чтобы я не сразу увидела. Он дал пачку и ушел быстро.

И вдруг я прочла эту телеграмму. У меня в глазах потемнело. Я не знаю, что со мною было. Только сказала начальнику:

— Отпустите меня. Я не могу работать.

Меня сразу отпустили. Я пришла домой, легла. Главное, сделать ничего не могу. Ни поехать, ни похоронить, ни тебя забрать. Если бы не догадался твой папа написать в телеграмме: «Завещала тебе свою дочь», я бы не осталась жить. Зачем?»

Мне очень хотелось увидеть мою маму во сне. Но никогда она мне не снилась.

8

Смерть стояла рядом, когда я только появилась на свет. Она присутствовала в снах, ощущениях, страхах, болезнях младенчества. Она не хотела отпускать свою добычу.

Сны о том, как я умираю, как мучаюсь...

Первую тяжелую операцию — трепанацию черепа из-за запущенного воспаления среднего уха я перенесла, когда мне не было еще года... Потом началось балансирование между жизнью и смертью, растянутое на много лет. Что-то тянуло меня в тьму небытия, кто-то выталкивал из боли, беспамятства, слабости в пестрый, движущийся, полный радости мир...

Вдруг просыпаешься после болезни и чувствуешь, что вернулись силы. И хочется пробежать по теплому паркету к окну, взобраться на круглое сиденье деревянного кресла, потом — на письменный стол, на зеленое сукно — обширный луг с темной чернильницей из мрамора и бронзы на горизонте. Бронзовые

медвежата карабкаются на бронзовые пни, в которых стынут радужные зеркальца чернил... А дальше — окно, а в окне — серый двор с единственной пыльной и кривой липой в центре. Пыль я не замечаю, это я позже замечу и запомню, когда вырасту. Листья-то на липе — зеленые! И солнце их просвечивает настоящее! И тени бегают по песку в песочнице точно такие же, как на большом бульваре на Чистых прудах... Как я рада, что липа кривая. Значит, я когда-нибудь смогу на нее залезть! И залезу, и сяду высоко, и посмотрю далеко. Правда, вокруг только окна, окна, окна... Внизу — вонючие мусорные баки с полуоткрытыми крышками, из под которых торчат старые газеты и тряпки. Между булыжниками кое-где высовываются вихорки пыльной травы...

Прикосновения вещей, бумаг, одежды так приятны! Бумаги пахнут стариной, а платья — магазином. Стулья приготовились скакать на своих гнутых ножках, диван готов плыть по паркетному морю, а занавеска над форточкой выгнулась, как парус на картинке. До чего весело жить!

Моя мама хорошо знала эту радость — жить. Когда ей было 14 лет, она в дневнике писала: «Все так красиво, чудно! Смех, воздух, воля! Долой шубы, долой последние остатки зимы! Весна! Так приятно ехать в школу, когда в трамвае открыты окна, тепло, весело... В школе уютно и тоже солнечно, светло. Вот звонок. Входит Вася. Что-то говорит, спрашивает, кто-то отвечает. Но я ничего не вижу, не соображаю, только чувствую что-то розовое, светлое, прекрасное. Это солнце, весна! Вот муха ползет по подоконнику, сонная, жужжа расправляет крылья после долгой сердитой зимы. И она чувствует весну, рада ей, наслаждается солнцем, счастьем, собираясь с головой окунуться в это море тепла...»

То же в восемнадцать лет в письме моему будущему отцу: «Как все прекрасно! Какая изумительная жизнь! Как мне нравится жить и чувствовать, что живу. Может ли быть что-либо поразительней и логичней, чем связь маленького электрона, необъятной Вселенной и меня? Разве не изумительно, что ты такой же, как и я? Что ты видишь то же, что и я, так же желаешь и чувствуешь? И несмотря на это веруешь иначе, чем я? И сознаешь себя иначе?..»

Не удивительно ли, что я так люблю их, живших до того, как проклюнулось мое «я»?..

Отца я хоть сколько-то знала, мы с ним успели стать друг другу дороги, и когда он исчез из моего мира, его любовь осталась со мною и вместе со мной росла, менялась, строила мой внутренний мир... Но любовь к маме — тоже живая, тоже развивалась, становилась все богаче, глубже...

Растаявшее облако? «Влажный след в морщине»? Выцветшие фотографии? Почерк на истлевшем листке? Что я люблю? Ее — человека — я не знала! Но именно эта, невидимая, но ощутимая, *живая* любовь всю жизнь меня согревает, бережет, учит, одаривает... Растит...

Она в записке, наверное, заранее обдуманной, а написанной наспех (записку едва можно прочесть, хотя почерк у нее был четкий и твердый)— она хотела успеть, пока мой отец ходит на почту — послала его на почту специально, в записке она требовала: «Срочно вернись с ребенком в Москву. Когда мама освободится, отдай ей ребенка. Работай. Женись. Живи!»

В самом начале всего этого ужаса она словно бы на самом деле была на грани помешательства. Не могла ни на минуту остаться одна, то плакала, то металась... А потом вдруг успокаивалась. Но все о чем-то размышляла и молчала. Может быть, вспоминала одну свою давнюю, почти детскую идею: «Я люблю жизнь. Странная и непонятная, она безмерно хороша... Я люблю еще жизнь потому, что не боюсь ее. Она мне подвластна, не я ей. В любой миг, когда захочу, смогу прекратить жить. Я не боюсь смерти, а потому люблю жизнь. Мне интересна смерть. Я хочу знать ее, быть может, узнаю что-либо через нее...»

Отец рассказывал и рассказывал всем, кто хотел его слушать, так больно ему было. Он не мог носить эту боль в себе. А людям казалось, что он свихнулся и бредит. Особенно всех пугала его идея «фикс» — выкопать ее из могилы и оживить...

Я его спасла. Ему пришлось все время обо мне помнить и заботиться. Я ему не давала сосредоточиться на его боли. Он от горя и усталости с ног валился, но не мог спать. Говорят, он не мог спустить меня с рук. Смотрел мне в лицо и плакал. Он в реке стирал пеленки, положив меня в какую-нибудь ямку, защищенную от ветра...

Когда я смотрю на воду большой реки, я так и вижу моего отца, склоненного ко всему этому движению, влажному дыханию, шевелению, переливу множества разных голосов: журчанию, плеску, шуршанию... У реки всегда есть цель, к которой она неуклонно движется. И смотреть на это движение — целебно для души...

Наверное, именно на реке он вдруг обрел надежду, что всё еще можно изменить. Когда-то он, лектор московского планетария, смеялся над идеей странного философа Федорова, что человечество должно оживить всех умерших предков и вместе с воскрешенными строить новую жизнь на планете... А еще Циолковский проповедовал, что сила чувства — это непрерывная лестница,

нисходящая от живого мира до мертвой материи, не исчезающая даже на границе живого... Так разве не может сила чувства вернуть мертвое в состояние живого?..

И — у Стивенсона во «Владельце Баллантре» индиец Секундра выкопал из могилы своего господина, пролежавшего в ней несколько дней, и пытался оживить, но у него не получилось всего по двум причинам: воздух был слишком холодный, и Баллантре был злодеем...

Отец вспоминал, как моя мама читала Стивенсона по-английски, когда ждала меня — в счастливейшие дни, весенние, мирные. Тогда не было еще никаких бумаг о высылке, и даже в голову не приходило, какие могут сгущаться на горизонте тучи... Да,она читала (вот счастье было: неторопливо читать, ничего не бояться, смотреть друг на друга в чистой уютной комнате) и с листа перевела ему эту страшную сцену. Они тогда еще поговорили о смерти, об идеях Федорова, о Циолковском... Им казалось это все бесполезными фантазиями...

А теперь ему хотелось встретить такого индийца Секундру и узнать у него... методику оживления...

Отец так упорно думал об этом, что представлял, как найдет способ оживить ее, вернется, выкопает гроб, отдерет крышку, снова увидит ее лицо и оживит! Распад остановится и пойдет вспять! И жизнь к ней вернется, наполнит ее и будет продолжаться...

Все знакомые в Москве слушали с жалостью, кивали, сочувствовали и уверялись в его безумии. Он жил этой идеей, и снова и снова ее обдумывал. Идея стала мечтой. Заветной.

Он добирался до Москвы очень долго и давал телеграммы начальникам пристаней и железнодорожных станций по пути следования, что везет осиротевшего грудного младенца и просит помочь с кормилицей.

И женщины, которые жили по маршруту нашего передвижения, приходили к пароходу или поезду и кормили меня.

Моя жизнь состояла из сна, а промежутки бодрствования были заполнены чувством голода, жажды, холода, противного мокрого беспокойства и блаженно сухого покоя и сытости... Но я знаю, если младенца родители не ограждают от чужих людей и он привыкает, что от чужих лиц и рук к нему исходит только добро, тепло и ласка, он вырастает дружелюбным и доверчивым...

На каждую кормящую мать, на каждую встреченную им женщину с грудным ребенком отец смотрел теперь, как на друга. Он мог подойти и протянуть своего младенца. Не надо было никаких объяснений. Взглянув в его лицо, женщина без слов понимала,

что у него горе, и брала меня и прикладывала к груди, когда чувствовала, что ее собственный ребенок уже сыт.

Отец глядел, как я вцепляюсь в сосок чужой женщины жадным ртом и плакал, не замечая слез. Об этом рассказала мне няня Даша, которую пугало, что у него слезы сами текут, как только заговорят о его умершей жене или выпадет из чемодана ее старое платье...

Сколько у меня молочных братьев и сестер на Иртыше, на пространстве от Омска до Москвы, каких они разных национальностей,вер, обычаев... В буквальном смысле — народ меня выкормил, и я ему обязана жизнью! И я не могу предпочитать одну национальность другой. У всех матерей молоко — как в сказке *живая вода* — питает жизнь.!

А мой отец лелеял свою мечту, прижимая меня к себе, может быть, он шептал о ней, вглядываясь в мое лицо. А я, спустя восемь лет, точно так же страстно желала оживить его, пристально разглядывая его лицо на маленькой измятой фотокарточке...

9

У отца моего была комната в коммуналке в Сверчковом переулке.

Вернувшись в Москву, отец стал работать в школе, преподавал астрономию, физику, математику. К научной работе его сначала не допускали, ведь он скомпрометировал себя, уехав в ссылку за своей женой .

А у меня после калейдоскопа разнообразных нянь появилась няня Даша. Я ее полюбила. Лицо ее, руки, объятия, словечки, теплый запах волос и платья...

В детстве у человека другие измерения времени и пространства. С завтрака до обеда, с обеда до ужина проходят целые эпохи, от двери комнаты до окна помещается моя Вселенная. Все вещи живут, как люди, у них свои интересы. Они умеют менять обличья. Занавеска на книжной полке может зловеще шевелиться в сумерки, угрожая выпустить из своих малиновых складок что-то страшное, что наполнит душу ужасом. А может, наоборот, — дружелюбно прятать меня в своих пыльных объятиях, когда в передней раздеваются, смеясь и громко разговаривая, гости, а у меня начинается жестокий приступ смущения — до слез...

Одиночество в детстве... Когда страшно спустить ноги с дивана: кто-то выскочит, плоский, темный из-под поддиванного

пространства, выскочит и схватит плоскими пыльными лапами... Короткие перебежки со стула на стул — круглые спинки стульев и круглые сиденья, на которых хочется покрутиться, но деревянные ручки обнимают-берегут от падения на пол, и каждый стул — маленькая надежная крепость...

Там, в коридоре, за плотно закрытой белой дверью идет своя жизнь: чьи-то шаги, голоса, телефонный разговор, стукнет парадная дверь, и сразу моя белая дверь распахнется, и появится няня Даша, румяная, пахнущая городским ветром и дождем, с тяжелой сумкой на сгибе руки, а в сумке — всегда что-нибудь вкусное.

Я умоляюще смотрю на белую дверь, но она неподвижна...

Когда нет няни Даши, вещи молчат и выжидают — им хочется пожить без людей...

Папина кровать такая важная! Владелица блестящих шаров, всегда холодных на холодных блестящих спинках из столбиков и перекладин. Торжественно лежит простое белое покрывало, его нельзя мять. (Попробуй, влезь на кровать без разрешения, покрывало сразу выдаст!) Подушка лежит на нем углом, она знает все папины сны и ночные мысли! У нее торчат мягкие уши, в которые можно шептать свои пожелания, чтобы она передала их папе.

А моя кроватка с сеткой — в углу за шкафом. Днем она выглядит таинственно: там, за сеткой прохладно и сумрачно, хочется туда забраться и играть, но нельзя, потому что кровать — только для сна... Засыпая, я долго смотрю на коврик с тремя гномами под мухомором. От него пахнет клеем и холстом. Гномы хитро глядят из-под колпаков, надвинутых на глаза. Это мамин коврик, из ее немецкого детства. И она на него смотрела перед сном.

И вообще все тут — мамино. Ее руками вышиты чехлы на кресла, диванные подушки и грелка на чайник. Она все здесь устраивала для нашей общей жизни... Но мамы нет, вместо нее — няня Даша. У нее есть свои дети, она рвется к ним, но всегда целует меня, уложив спать, уговаривает меня съесть еще ложку манной каши, утешает меня, когда я ссорюсь с ребятами во дворе или набиваю шишку. А если я болею, сидит рядом и держит меня за руку. Она дает мне лекарство и кладет на лоб холодный компресс и рассказывает, рассказывает о своих детях, о жизни в деревне, о поросенке Ваське и корове Любимушке...

Каждое лето до самой войны я проводила у брата бабушки Жени Николая Кузьмича и его жены Елены, которую называла Туполеся: соединенное — тетя Олеся... Жили они на Лесостепной, опытной станции в Орловской области, где Николай Кузьмич Вехов был

заместителем директора по научной части. Это сюда моя мама умоляла непреклонного товарища Леденса отпустить ее.

Здесь был дом, рояль в доме, цветник под окнами и сад. Елена Владимировна сначала работала на станции, потом стала заниматься только хозяйством, которое требовало много сил и времени. Кормить ей приходилось много народу: кроме семьи (себя, мужа, двух сыновей и сестры) еще и приезжих сотрудников, аспирантов Николая Кузьмича, к тому времени — профессора. За продуктами ездили то на лошади, то на машине в ближайший город Ефремов...

«Наконец-то малышка у нас (...) Приехала она к нам с няней и с отцом (...) Сейчас у нас много цветов, цветник я в этом году уладила как следует. И розы есть, и пионы, и гвоздики и т.д. Так когда к малышке поднесут цветы, она не вдыхает запах, а носом делает выдох и при этом цокает: вкусно!»

Конечно, я очень полюбила тетю Олесю.

Вот как она меня воспитывала:

«Если она падает, мы не жалеем, советуем встать, посмотреть, где это она дырку носом сделала?» (До сих пор помню кусок крашеного желтого пола, который я, по-видимому, тщательно рассматривала. Помню его прохладу, чистоту и гладкость. Наверное, меня сильно поразила мысль, что не только мне больно, что я могла пол продырявить носом. Я трогала нос пальцем и убеждалась, что он только сверху мягкий, а под кожей — твердый. Вполне мог пробить в полу дырку... Неужели полу тоже больно? Как это узнать? Ведь он никогда не плачет!)

Тетя Олеся не боялась давать поручения мне, двухлетней. Предлагала что-то отнести, передать, поставить на место... Около дома был обширный цветник, там у меня была своя клумба, куда я сажала палочки и была уверена, что из них вырастут цветы. Для меня в цветнике расчистили дорожку и посыпали желтым речным песком. Я рисовала на этом песке большие черные каляки, под песком земля была черная. У меня был свой гамак. Он висел низко над травой, я доставала ногами землю и могла сама раскачиваться.

«Она говорит: «гамак мой». Свое местоимение она знает, других нет пока. Есть своя лавочка маленькая. И там, как-то сидя на своей лавочке, она углядела дым из трубы и была поражена в особенности тем явлением, что это связано с самоваром. Я целые сутки с ней. Ухитряюсь рукодельничать, (не бросила этой страсти), вот только играть никак не удается, так как соперница не терпит моей музыки, находит, что она лучше играет, и тут же лапками шлепает по клавишам. Я с трудом догадалась однажды: «Тюполися, аяяи!» Оказывается, она хочет играть на рояле...»

Это под «тетиолесиным» роялем я сидела и слушала ее игру, которую вспоминала в эвакуации и больнице как самое чудесное переживание в моей жизни. Музыка грохотала и гудела вокруг, в каждой половице и во мне самой, а к распахнутой настежь двери подходили из темноты любопытные деревья и кусты и заглядывали в светлые комнаты, и прохладно дышали. И хотелось, и боязно было выйти к ним, переступив границу света и тьмы...

Но вот началась война.

Я была у тети Олеси.

Все боялись каких-то парашютистов. Я, конечно, не понимала, кто это, думала, это — страшные чудовища, раз взрослые их испугались.

Но тут начались перемещения, скитания, бегство от бомбежки.

Почему-то жили в сарае, где я радовалась обществу поросенка, овец и кур и не страдала от блох в отличие от взрослых. Я стала совсем деревенским ребенком. Нянчила полено, запеленутое в тряпку, называла его своей дочкой.

Все это тетя Олеся красочно описала бабушке, как и вообще весь хаос эвакуации, безумие внезапных срочных сборов.

...Рояль, оставленный в пустом доме, как живое, обреченное существо..

Я же в конце концов оказалась в больнице в Свердловске.

Открытка бабушке Жене от сестры отца, той, что меня спасла, поместила в больницу, Лии Марковны:

«4/1-43 г.

Многоуважаемая Евгения Кузьминична!

Марианночка находится в костно-туберкулезном санатории. На крестец, спинку наложен гипс. В таком положении ей придется лежать года два. Понятно, что Вам ее взять к себе невозможно, ибо она должна лечиться. Когда процесс прекратится, ей придется носить шесть лет корсет... Я у нее бываю по воскресеньям, так как она от меня находится в 5 км. Она поправилась по отношению к тому времени, как я ее увидела в деревне...»

Тетя Олеся тоже приехала в Москву. И пришла ко мне. Это был уже 1944 год...

«*Дорогая Женя!* Наконец-то я добралась и до Марианночки. Они находятся летом на крытой веранде, вывезли ее мне на кроватке. Ручки тоненькие и маленькие, мордочка — поджаренная на солнышке. Подбородочек остренький, Тамусин, глаза черные... С гордостью мне сказала, что ей уже 7 лет, умеет читать, и когда выздоровеет, пойдет учиться в школу... Игрушки мне

показала... Под головой у нее не подушка, а сложенное полотенце... Я принесла ей булку с маслом, она принялась уничтожать ее, но не смогла всю съесть, оставили в запас, принялась за печенье и конфеты,— остаток в запас, отдали няне, на свертке написали: «Марианночка».

Я ее спрашивала — плачет ли она? Оказывается, плачет, когда обижают мальчишки. Я ей посоветовала грозно кулак сжать и отдубасить как следует обидчика, научила ее складывать кулак. Вдруг она спросила меня, помню ли я, как я спасала одну девочку, которая ножку себе косой порезала, сколько тогда крови из ноги лилось!

Уцепила меня за платье (белая вставка привлекла ее внимание), отнимала у меня портфель...

Я пообещала достать ей карандаши и бумагу — в этом у них всегда нехватка.

Перецеловала я ей каждый пальчик, щечки...

Болит ли спинка? — спросила. Оказывается, болит, только мало, а раньше, в другом городе, очень болела.

Лежит она в гипсовом лотке, в таком, как новорожденных взвешивают, и привязана вдоль к кровати.

Не хотела меня отпускать, но тут начал дождь накрапывать, и я умчалась, пообещав еще к ней приходить...»

До чего же мне хотелось умчаться вместе с ней в ее чудесную, *подвижную* жизнь! Почему те, кто могут ходить, не понимают, какие они счастливчики?

А зимой в палате прочли «Каштанку» Чехова.

В моей «лежачей» жизни чтение книг было таким же важным событием, как встреча с людьми из «внешнего» мира. Все, что происходило в книге, врастало в мой опыт как реально мною пережитое.

«Каштанку» читали светлым днем при веселом солнце, при движении вокруг. Но рассказ о смерти гуся Ивана Ивановича наполнил меня таким ужасом, как будто я слушала об этом в темноте, одна... Все так просто! Ничего необычного: комната, свеча, встревоженные кот, пес и человек, в комнате нет никого чужого, только гусь Иван Иванович почему-то не спит, а сидит на полу, распластав крылья и раскрыв клюв. Человек уносит свечу с ее маленьким светом, прыгающим по грязным обоям и потолку, и собаке кажется, что в комнате стоит кто-то чужой, невидимый и бесформенный, кого нельзя укусить... И собака, и кот полны тоски.

Эта обыденность смерти, то глядящей в темное окно, то стоящей совсем рядом, так, что можно почувствовать ее присут-

ствие, а прогнать ничем нельзя, простая обыденность и испугала меня больше всего. Я привыкла к мысли, что смерть приходит сразу, только когда человек этого заслужил каким-нибудь грехом, как у Гоголя в «Страшной мести». А так она таинственными знамениями или долгой болезнью должна дать знать о своем приходе заранее, чтобы человек успел приготовиться. И если он не совершил никакого злодеяния, ему не будет особенно страшно. Только неприятно, как перед операцией или болезненной перевязкой... Он знает, что переходит в другую жизнь... А у Чехова нет здесь предчувствия другой жизни, и смерть — не *переход*, а страшное *ничто*! Остается только холодный труп с вытянутыми лапами, с оскалом, и все на него смотрят с ужасом...

И в таком ощущении мира была своя отвратительная убедительность. Убедительным его делала простота. Значит, и в эту комнату, где лежу я, может ночью прийти *она* или *оно*?.. Теперь я не решалась спать с открытым лицом, пряталась под одеяло с головой, чтобы смерть меня не заметила, не узнала, не посмотрела на меня, чтобы прошла мимо... Я старалась дышать совсем незаметно, чтобы мое дыхание не привлекло *ее*...

В темноте, когда гасили свет, мне вспоминалось под одеялом самое страшное.

Вот папа увозит меня из Лесостепной, потому что началась война... Он — в белой рубашке без пиджака. Жарко. Папа держит вожжи, как настоящий возчик, нервно понукает лошадку и все время тревожно оглядывается, поворачивает ко мне молодое очкастое лицо и вопросительно смотрит и морщится. Ему жалко меня — он знает, что мне больно, когда телега подпрыгивает на колдобинах... Мы думали, что я где-то расшибла спину. Ничего не знали еще про туберкулез.

Мы едем по узкой аллее, которой нет конца. По сторонам ее стоят кусты с ярко-ярко-красной листвой. Мы едем, но словно стоим на месте, у телеги скрипят колеса, а не движутся, лошадь перебирает ногами — но напрасно: всё те же красные кусты по обе стороны дороги замерли, задохнувшись в пыли, жаре. Давно не было дождя, и в воздухе висит пыль. Она похожа на туман, но нет в ней влаги, плотная, едкая мгла затопила мир... Полыхают узкие листья. Больно. Спина болит. От каждого толчка обжигает боль. Тоскливо. Белая рубаха слепит, как февральский снег...

А потом — серый город. Серая пыль. Черная штора на окне. Пыльная квартира, где вещи вдруг обезумели и выскочили из своих углов, выползли из шкафа, лежат мертвыми грудами...

Полоски на окне из пожелтевшей газеты с блеклыми буквами. В доме напротив — все окна в длинных желто-блеклых буквах Х...

А еще — противогаз!

Отец принес домой противогаз и вдруг надел его. На меня смотрела, вытаращившись, резиновая голова с тусклыми стекляшками — глазами, висячим ребристым хоботом. Это мертвое резиновое существо в папином костюме мотнуло резиновым хоботом и протянуло ко мне папины руки!

Я завизжала так, что у самой уши заложило. Папу подменили!

А он снял противогаз и засмеялся. Он мне говорил:

— Это я! Я! Смотри же на меня!

Но я боялась его весь день: вдруг он опять превратится в того, без человеческого лица!.. А лежащий на стуле противогаз только притворился безобидной вещью. Он мог ожить, прилипнуть к чьему-нибудь лицу, когда захочет...

Папа унес противогаз в коридор.

А там висели рядом с нашей дверью страшные черные пальто с длинными пустыми рукавами. В рукавах прятались невидимые руки. Они всегда пытались меня схватить, когда я с воплем бежала мимо них в кухню к папе или няне, когда они там задерживались и не было сил больше ждать.

Меня мучили кошмары.

Снилось, как я вслед за эвакуированными женщинами лезу под поезд, чтобы перейти на другие пути, где стоит наш вагон с нашими вещами и теплой печкой. И вдруг поезд надо мною дергается, колеса бесшумно крутятся, что-то лязгает над головой. Сейчас меня разрежет! В лицо бьет колючая угольная пыль. А за пазухой у меня хлеб. Жалко, пропадет! Лучше бы я его съела...

Я кричала от кошмаров каждую ночь, всех будила, и меня увезли в изолятор и стали лечить.

Когда кошмары прошли, мне стало сниться, как я бегу по большому лугу к тетиолесиному дому. Там окна открыты, освещены и гремит рояль. Уже темно, я бегу по темной траве, бегу все легче и легче, потом лечу, не касаясь земли, лечу над травой и могу, если захочется, погрузить в нее ноги, как в прохладную ночную воду...

От того ли, что счастлива, я лечу? Или счастлива от полета? Меня переполняет счастье, как летучий воздух наполнял довоенный воздушный шар. Я поднимаюсь над крышей дома, где плещется музыка, а небо оказывается летним, синим, с легкими ватными облачками...

Но дребезжит стеклянная дверь изолятора, гремят колеса столика, на котором медсестра везет термометры и лекарства,

что-то звякает — медицинский неприятный звук, предвещающий укол или какую-нибудь другую напасть... Чужие жесткие руки суют мне под мышку ледяной термометр...

Я открывала глаза и видела больничное, еще полное непроглядной тьмы окно, белый потолок с голой резкой лампочкой.

По контрасту с летним сном грубо напоминает о себе зима с ее длинным темным утром и острыми набегами холода: от термометра, от воды в тазу, от распахнутой форточки и даже от жесткого, как картон, полотенца...

10

И все же в изоляторе мне было хорошо, потому что я обнаружила однажды, что умею читать и теперь у меня всегда был рядом источник радости с растрепанными листами и бледными скупыми картинками...

Однажды в палате соседка дала мне посмотреть картинки в своем новеньком букваре. Я разглядывала картинки: мальчик куда-то идет с флагом в вытянутых руках, девочка играет с кошкой, мама поливает из кувшина воду на сложенные ладошки малыша... Я всматривалась в буквы и — узнавала их! И вдруг прочитала слова!

Когда мне было около четырех лет, отец стал учить меня азбуке. В тоске я стояла перед стулом, на котором отец складывал из картонных букв: па-па, ня-ня... Как это было скучно! За мои занятия я получала что-нибудь вкусное, если узнавала буквы. Такой простой способ дрессировки, казалось бы, ничего не давал, кроме отвращения к занятиям.

А потом — война, эвакуация, болезни. Все, что было в довоенной жизни, постепенно растаяло в памяти. Только иногда выплывали какие-то эпизоды, как забытый сон.

И вот оказалось через три года, что те уроки в предыдущей жизни, которая как будто снилась, а не была, не пропали даром. Я могла прочесть все, что было в букваре! Ура! Соседка по кровати, владелица букваря, сначала не поверила, что я умею читать. Ведь ей принесли букварь потому, что ей уже исполнилось семь лет и осенью у нее начинались школьные уроки. Мне тоже немного оставалось ждать семи лет — всего осень, зиму и весну, мне тоже обещали купить букварь весной и подарить на день рождения...

— Ты не читаешь, ты по картинкам догадываешься, что там написано! — сказала соседка. — Так каждый дурак может! А ты

попробуй, без картинок почитай! — и она кинула мне в кровать какую-то книжку без конца и без начала, истрепанную, как мочалка. Слова в ней были написаны не длинными строчками, а столбиком.

Я громко прочитала:

В синем море волны плещут,
В синем небе звезды блещут...

Это было так прекрасно, что перехватило горло. Я немного подождала, чтобы волнение улеглось, и стала читать все подряд. Я почему-то решила, что читать надо вслух и непременно громко. Не догадывалась, что можно — про себя. У меня от возбуждения голос звенел, я почти кричала и очень скоро всем надоела. Но я не могла остановиться, расстаться с этой волшебной книжкой, с ее запахом — пыльной бумаги, с буковками, которые так пелись, кричались, так очаровывали... Попробовали отнять у меня книжку, но я начала реветь, скандалить, спрятала книжку под одеяло и готова была скорее расстаться с жизнью, чем с нею. Тогда меня просто вывезли в изолятор вместе с моей драгоценной книжкой и оставили в покое. Я смогла наслаждаться, сколько хотела. Я несколько раз прокричала все сказки Пушкина, напечатанные в этой книжке, пока совсем не охрипла. Сам процесс чтения доставлял необыкновенную радость. Я читала все более бегло, запоминала стихи наизусть, словно катилась с высокой горы, и вера моя в свои силы укреплялась. А музыка стиха захватывала воображение, чувства, как та, настоящая синяя волна из синего моря, и уносила под огромное ночное небо, на котором звезды блещут. И обиженную напрасно царицу, летящую вместе с ребенком в темной и тесной бочке неизвестно куда, было до слез жалко, какая радость, что все хорошо кончилось!

Мое бессилие, бессилие человека, уже два года буквально привязанного к кровати, было побеждено! Я попала под власть могущественного, таинственного владыки — слова, и это наполнило меня гордостью. Как скучно принадлежать только себе — своим потребностям и желаниям! Как прекрасно принадлежать тому, что выше меня — Слову, Духу, звездам, идеям!.. Я не могла наслаждаться только внешними впечатлениями, движением, сменой форм, цветов, запахов... Я нашла другой источник счастья: музыку стиха. Для меня стало реальностью очарование слова. Открытия шли одно за другим. Я как будто пробовала слова, держала их во рту, отдаваясь играм воображения. Вот слово *гром*! *Г* — это что-то, надвигающееся издалека, уже угрожающее, потом

тянется, перекатывается долгое, гулкое *рррр-рр*... И завершается все вздохом: о-оммм! Вздох глубокий, всею грудью, с гулом дождя по железной крыше тетиолесиного дома... А как прелестно слово *капля*! К — это проклюнулась влажная, светящаяся почка на конце ветки за окном. Потом она росла, растягивалась: а-ааа. И, наконец — сверкая, летит вниз: *пля*!

Я лежала одна, читала все, что мне давали, и смотрела в окно на ветку дерева, на тающие в синеве облака, на птицу, осмелившуюся погулять по карнизу, и счастливей и богаче меня не было человека на свете. Ведь я теперь *по-другому* видела и облака, и ветки, и лица людей. Все оказалось полно тайны. Все можно *назвать*, отчего в предметах, явлениях, людях проявляется иная их суть. Вот, ко мне приближается лицо медсестры, густо-густо-чернобровое, с большой родинкой на щеке. На верхушке родинки растет кустик черных жестких волос, на носу видны поры, а белки глаз покрыты красными тонкими жилками. Но глаза — живые, влажные, что-то в них светится, светится, они смотрят на меня из какого-то другого мира, смотрят тревожно, вопросительно, они спрашивают: «Ты кто? Ты какая?» А я шепчу: «медсестра»! И воротничок платья выглядывающий из ворота халата, — тоже из другого мира, в этом мире меня никогда не было. Мне очень любопытно его узнать, но я никогда не узнаю. Медсестра впускает меня в свой мир только на несколько секунд, я не успеваю ничего рассмотреть, дверь захлопывается. Глаза гасят вопрос, смотрят отчужденно, сухо, ворот халата застегнут, сестра протягивает мне тарелку с кашей. Ее лицо далеко от меня, как луна, затянутая облаками. И мне грустно от этого превращения.

Зато музыка слова щедро открывала мне себя и щедро отдавалась. Я пела стихи, говорила вслух и про себя, и они щекотали мне горло. Я засыпала и просыпалась со стихами на губах, и во сне я их пела и сочиняла сама. Жаль, что они забывались, когда я просыпалась, оставалось только ощущение счастья и печали, как у Золушки, проснувшейся на куче угля утром после бала в королевском дворце.

11

Нельзя сказать, что до этого я не знала стихов. И стихи и песни в больнице учили во множестве. Мы дружно распевали и «Тень-тень-потетень, выше города плетень...», и «Снова замерло всё до рассвета», и «Кипит наш разум возмущенный». Особенно трога-

тельными нам казались стихи о несчастных детях. Одно из них я читала на каком-то утреннике:

Глаза девчонки семилетней,
Как два померкших огонька,
На детском личике заметна
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней — молчит в ответ,
Как будто ей не семь, не восемь,
А много-много горьких лет...
И вдруг, как будто ветер свежий
Пройдет по детскому лицу,
И, оживленная надеждой,
Она бросается к бойцу.
И, глядя ясными глазами,
Защиты ищет у него:
— Они ломали руки маме!
Убей их всех, до одного!

Хотелось тут же схватить винтовку — и в бой! Я представляла себе очень ясно ужасную картину, как дюжий немец — солдат ломает руки слабой маленькой женщине, как кричит и плачет испуганный ребенок... И от ненависти скрипела зубами. Мы все яростно ненавидели немцев. Наша ненависть питалась множеством стихов, песен, рассказов о мучениях детей и взрослых героев. Наслушавшись их, мы кипели праведным гневом и все, как один, хотели быть героями. В нас рождалось стремление к мученичеству! Мы приучались к мысли, что быть героем — лучше всего на свете. И, конечно, считали себя способными совершить великий подвиг.

О, если бы мне сказали тогда, что во мне течет немецкая кровь! Что родной отец моей мамы, мой дедушка — немец... Что я стала бы делать? Наверное, никто не стал бы со мной дружить. Меня бы дразнили и били. Наверное, я бы изобрела деление немцев на хороших и плохих, причислила бы себя к хорошим. Но все же во мне поубавилось бы ненависти, я бы поняла, что не все немцы — враги. Наверное, я скрывала бы свою тайну, как потом, в школе, скрывала, что отец мой — еврей, хотя моя фамилия Машбиц громко заявляла об этом. Как коварно желание быть не хуже других! А голос совести такой тихий, еле слышный и всегда неразборчивый... Я не могла идти против всех, защищать то, что все ненавидят почему-то...

Бабушка Женя рассказывала о еврейских погромах, которые были в Саратове в ее детстве. Ей было 4—5 лет, когда это происходило. Но всё врезалось в память, потому что потрясло...

Ее отец, мой прадед, жил в центре Саратова на втором этаже просторного дома. Первый этаж занимал магазин, которым он владел. Семья была старообрядческая. В дни погромов во всех окнах моя прабабушка с няней выставляли старинные иконы, опускали шторы, и в широкой темной передней, и на лестнице, ведущей в магазин, тесно сидели, прижавшись друг к другу на узлах с одеждой и постелями, черноглазые дети, женщины и живописные старики в ермолках и с пейсами. Их приводила няня на рассвете, еще затемно, вела проулками через двор и черный ход. Они сидели молча, перепуганные дети не плакали, старики не кашляли, женщины не шептались. Казалось, что они боятся дышать, чтобы их не услышали. Бабушка Женя с братьями смотрели в щелку, отодвинув край прохладной шторы, вниз, на улицу.

Там текла возбужденная толпа, в воздух грязными брызгами взлетали пьяные выкрики, мелькали палки, железные прутья... Там был жаркий ветер, швыряющий пыль в стекла, тяжкий топот грубых сапог, темные пятна пота на ситцевых спинах...

Бабушка Женя рассказывала, что от страха она начала вся дрожать и убежала от окна, спряталась под стол, в темноту, низко опустив угол тяжелой бархатной скатерти.

А няня приговаривала у окна:

— Вот радость для нечистого! Вот его пожива! Черти-то в аду от радости скачут!

Тринадцатилетний Гриша, ученик реального училища, козыряя перед няней своим, только что обретенным атеизмом, ворчал:

— Откуда ты, няня, знаешь, чему рады черти? Никаких чертей нет! Это все выдумки!

— Если бы да не было... А кто же этих дуроломов подзуживает? — горевала няня. — Кто толкает на всякое злое дело?.. А ветер-то, ветер какой горячий, я давеча шла, так лицо обжигает, словно не из степи, из ада ветер... Черти крови жаждут...

Маленькая дрожащая девочка под столом, моя будущая бабушка Женя, верила няне, а не Грише, хотя ей очень хотелось, чтобы никаких чертей на самом деле не было. Но кто же насылает безумие на всех этих больших, сильных мужиков, кричащих в пыли внизу?

А потом — пролетит полжизни, и дочка бабушки Жени, моя будущая мама, приведет к ней своего избранника, черноглазого, живого, веселого еврея.

А он привел ее знакомиться в свою семью.

В квартире в Печатниковом переулке был накрыт стол на сорок персон! Родители, шесть сестер с мужьями и детьми, три

брата с семьями, приезжие родственники разговаривали, жестикулировали, смеялись, ели и поглядывали на светленькую невестку с фарфоровым румянцем на нежных щеках.

Бывшие маленькие девочки, присутствовавшие на этой встрече, мои двоюродные сестры, рассказывали, что моя мама показалась им красавицей, потому что была светленькая, хрупкая, такая... нездешняя...

Итак, за столом сидела большая семья, много молодых, здоровых, энергичных людей — врачи, инженеры, биологи, литераторы...

А в 40-х годах бабушка Женя, рискуя свободой, будет подкармливать зека — «братишку» Бэма, бывшего литературоведа, бывшего «красного профессора», в лагере — сапожника. «Братишка» отдаст свою комнату в Сверчковом переулке молодоженам — моим родителям в 1933 году. Сестры отца спасут меня от гибели в 1942 году...

За столом, накрытым на сорок персон, завязывался один из узлов судьбы...

А что касается немцев...

У бабушки Жени на столе лежали две тяжелые линзы с наклеенными на обороте картинками — память о ее жизни в Германии. На одной картинке — сельский, на другой — городской пейзаж.

В глубине толстого стекла такими объемными, живыми кажутся деревья, дома. Переменив наклон линзы, я могла устроить рассвет над городом или полем. Из-за гор, кудрявых от лесов, выкатывалось солнце. Склоны гор теплели, деревья радовались... Блики заката я могла зажечь в окнах опрятных домиков с башенками, с красными крутыми крышами. Я разглядывала в линзах чужую прекрасную страну и мечтала сделаться крошечной, как мошка, и улететь туда, к чистым белым домикам. В них живут, наверное, добрые люди, как Карл Иванович из «Детства» Толстого...

А бабушкины книги из Германии... Готический шрифт, тонкая бумага, гравюры, которые так интересно разглядывать — чего только там нет: и замки, и сады, и дамы в длинных платьях...

Я высыпала фотографии из большого конверта. Вот моя семилетняя мама, длинноногая, высокая, стоит в группе разношерстной детворы от четырех до десяти лет. Все худые, одеты бедно. Это дворовые ребятишки, с которыми она дружила в Берлине. Она очень быстро выучилась говорить по-немецки и говорила правильно. Своих дворовых друзей она увлекла игрой в театр, и эта группа на выцветшей нерезкой фотографии на самом

деле — труппа. Я не знаю, показывали ли они свои спектакли кому-нибудь или просто сами для себя наряжались и что-то представляли в квартире, которую сняла бабушка Женя.

Тогда в Германии была инфляция, люди жили голодно. Бабушка Женя устроилась на работу в советское торговое представительство, получала зарплату в долларах и могла себе позволить подкармливать дочкиных друзей. Для этих детей в их ветхих одеяниях с обвисшими подолами и с заплатами на штанах настоящим праздником была возможность завернуться в белую тюлевую накидку с подушки и воображать себя принцессой, надеть на голову алюминевую кастрюльку, взять в руку палку-меч и нож для разрезания бумаги с фигурной длинной рукояткой и превратиться в рыцаря — защитника прекрасной дамы...

Рыцари и принцессы окружают на старой фотографии длинноногую девочку, мою будущую маму, немку-русскую...

Неужели эти маленькие рыцари с изможденными личиками через пятнадцать лет надели настоящие каски, а может быть, и черные мундиры с черепом на рукаве?.. Или стали обыкновенным «пушечным мясом», и их погнали в мою страну завоевывать ее...

В эвакуации в Сибири меня били не за то, что еврейка, а за то, что москвичка. Там ребятишки давали обидные прозвища эвакуированным горожанам и демонстрировали свое презрение.

— Вы, москвичи с..., войну затеяли! — гневно говорил мне какой-нибудь сопливый абориген и махал перед моим носом кулаком. — Всех бы вас — к стенке! Из пулемета: тах-тах-тах-так-так-так!..

Я помню какой-то бесконечный пол в большой избе, который я мыла, пока могла ходить, пока туберкулез потихоньку тлел и разгорался в костях. Помню какого-то тяжелого капризного младенца, я его нянчила,таскала на руках, а он не хотел ходить сам и вопил, как только я пыталась спустить его на пол, чтобы дать отдых уже ноющей спине... И ведро с водой, плещущей на ноги... Я его тащила на огород, где грядки были — до горизонта. Ведро за ведром... Наверное, это было небольшое ведро, пятилетний ребенок не может поднять полное настоящее ведро. Но у меня даже сейчас начинает болеть спина, как только я вспомню, как, перекосившись, несла очередное ведро и плакала от отчаяния, что огород такой большой.

Потом картошку надо было окучивать. После нескольких ударов тяпкой о землю ее уже не поднять, а боль в спине звереет...

Хозяйкин сын был горбатый мальчик. Он на мне вымещал свою обиду на жизнь. Однажды он меня сбросил с печи, куда

меня послали достать веник. Я упала спиной, а он смотрел на меня сверху и смеялся:

— Горбатая будешь! Как я! Горбатая!

От боли я не могла не то что вскрикнуть, вздохнуть. Пол словно ринулся мне навстречу, когда я летела вниз, и на нем я долго корчилась, пока восстановилось дыхание.

Помню, что когда я попала в больницу, меня отучали от привычки быстро втягивать голову в плечи и поднимать над ней скрещенные руки, чтобы руками принять удар, — когда ко мне кто-нибудь подходил и протягивал руку, чтобы погладить или что-нибудь дать... Я ждала только удара.

И еще одно тяжелое, почти кошмарное воспоминание... Казнь гусеницы.

У меня в спичечной коробке жила гусеница Катя. Мне было совестно держать живое существо в плену, но очень уж хотелось увидеть волшебное превращение гусеницы в бабочку. Я беспокоилась: хватает ли ей воздуха, не слишком ли ей темно, тесно и жестко. Сделала подстилку из самого мягкого листика. Оставила щелку для воздуха — фортку, в которую нельзя протиснуться, но дышать — можно. Я держала коробок в кармане и поминутно опускала туда руку, щупала коробок, вынимала, подносила к уху, слушала таинственный шорох... Срывала самые сочные на мой взгляд травинки и листки и засовывала их в коробок, чтобы гусеница ела, толстела и быстрее превращалась в бабочку. Иногда я пыталась угадать по шороху: уже бабочка там или еще гусеница. Я мечтала о моменте, когда вдруг открою коробок, и больше не увижу гусеницы — двоюродной сестры противного червяка. Вместо нее, ползающей по увядающим листкам, на волю выпорхнет бабочка с большими крыльями, она полетит, а я буду смотреть и бежать за нею по траве...

— Чего это у тебя? — заинтересовался мой горбатый хозяин, заметив, что я что-то держу в кармане рукою.

— Гусеница в коробочке. Она скоро превратится в бабочку...

— Давай сюда! — он вывернул мне руку, разжались сами собою пальцы, и коробок выпал ему под ноги.

Мой мучитель позвал двух мальчишек, и они, хихикая и поглядывая на меня, как я буду реветь, казнили гусеницу на большом камне. А я стояла столбом, оцепенев от горя, ненависти и бессилия.

В Москве в больнице мы с девочками тоже выводили бабочку из гусеницы, но у нас не получилось — коробок однажды оказался пустым. Гусеница ухитрилась выползти и потеряться на щелястом полу веранды...

12

Всякий раз, когда я думала о гибели моей мамы, безнадежная жалость приводила меня в отчаяние, пока я не стала просить Господа согреть ее душу, принять к Себе, пожалеть, простить... И — как в детстве, в больнице, моя физическая боль слушалась молитвы и исчезала, так и теперь душевная боль теряла остроту, и я чувствовала, что молитва что-то меняет во мне и вне меня, пришло ощущение какого-то теплого контакта, словно молитва — это мостик через пропасть времени и пространства, разъединившую меня с человеком, с которым я очень тесно связана...

Я же не была настоящей верующей, я еще только размышляла о вере, о смысле моей собственной жизни, как каждый человек размышляет, когда обстоятельства выталкивают его из рамок сиюминутных задач и нужд... Я начинала свои молитвы такими словами: «Господи, Творец мира, если Ты действительно есть и если Ты слышишь человека...»

Рассуждала я так: предположим, «там», за гробом, ничего нет. Тогда моя молитва ничего не значит, тогда — это средство для успокоения себя. А если есть? Две тысячи лет люди молятся в церквах «о упокоении»... Что же, это — вековая привычка, пустое заблуждение, невероятно живучее?.. Если существует хотя бы крошечная возможность, даже — тень возможности как-то облегчить «ту» мамину участь, послать ей весть о том, что я ее люблю, как же я могу не воспользоваться этой возможностью?

Я решила, что должна отпеть ее в церкви. Но как это сделать? Можно ли входить в церковь некрещеной? Женщины в больнице много говорили о том, как именно церковная молитва помогает душам умерших и как она им нужна:

«А плакать по покойникам нельзя, им вредно! У нас умерла сестренка, Душка, мы плакали-плакали, все ее вспоминали, однажды сидим на крыльце, поглядели на коврик, который Душка соткала, и ну плакать. И вдруг слышим ее голос: «Перестаньте плакать! Затопили меня! — и замечаем две ее руки на заборе, а самой не видать, будто спряталась за забор...»

«У моей снохи что было! Она долго оплакивала сыночка, все Господа просила: — Господи, дай мне хоть во сне увидать моего сыночка!

Ее молитва дошла до Господа.

Во сне идет она длинным коридором, своды высокие, как в русской печи — полукругом. И вот подымается перед нею заслон-

ка. Большая комната. И много-много детей. Играют, бегают между кроваток.

— Нет здесь моего сына, — сказала мать, поглядев на детей и пошла дальше.

И опять поднялась заслонка, снова — комната больше прежней, полная детей, и тут не было ее сына.

Только в третьей комнате за заслонкой нашелся ее сыночек. Был он — в чем хоронили. Повел мать, показал свою кроватку: — Вот здесь, мама, я теперь живу.

Она смотрит, он достает из-под подушки и грызет сахар.

— Кто же, детка, приносит тебе сахар здесь?

— А это, мама, когда ты меня *там* поминаешь, мне всегда что-нибудь приносят.

Кроватка оказалась у него хорошая, да сырая.

— Почему у тебя сырая кроватка, сынок?

— А это потому, что ты обо мне слишком много плачешь, мама...»

Зачем я всё это записывала? Мне казалось, что я должна всё собирать: прозрения и догадки философов, свидетельства и рассказы людей. И когда много материала соберется, сложится некая картина, и для меня что-то определится. Мне хотелось понять, что происходило с моими родителями, что значит их гибель и как я смогу облегчить их посмертную участь, если она у них есть...

Значит, вековой опыт говорит о том, что за умерших надо молиться, надо отпевать в церкви тех, кто был крещен. Моя мама была крещеная...

А я? Крещеная ли я? Как мне это узнать?

Я решила: «Раз мне ничего не известно, я пойду и крещусь сама».

А зачем вообще это надо — креститься, я не знала. Даже много позже, когда я поняла, что я — верующая, я еще думала так: «Если я, наконец, узнала достоверно для себя, что Бог есть, что Он меня любит, если почувствовала, что я Его люблю, то зачем креститься? Я же с Ним разговариваю в молитвах, а Он мне отвечает, Он знает, что я к Нему привязываюсь все больше и больше и только о Нем и думаю... Я, как тот человек из притчи, который нашел жемчужину, радуюсь, потому что обрела настоящее сокровище моей жизни! И ведь Он, конечно, знает, что я за каждый знак Его внимания благодарна Ему всем сердцем... Но люди крестятся две тысячи лет, а главное — Христос Сам попросил Иоанна Его крестить!

Сам!

Попросил!

Решено: я сделаю так, а потом узнаю когда-нибудь, для чего это нужно».

Когда я неожиданно попала в больницу, одна больная тайком дала мне свое Евангелие, маленькую тамиздатовскую книжку с мелким шрифтом на тончайших страницах. Я читала его в «тихий час», закрывшись с головой простыней, как в детстве — в белом саркофаге... У моей благодетельницы уже конфисковали одно Евангелие, теперь она боялась потерять и это. Она ходила читать его... в туалет. Там же она и молилась у окна, замазанного известкой. Ведь можно было закрыться на задвижку, а когда раздавались чьи-нибудь шаги, книжка исчезала в кармане серого больничного халата... Мне казалось кощунственным читать Евангелие в туалете. Я вспомнила свои детские проделки с книгами и устроила себе читальный зал под белой простыней.

В своей белой палатке я читала, принимая каждое слово как обращенный ко всему моему существу рассказ о жизни Того, Кто меня любит. Особенно меня поразило, как Петр отрекся трижды, вышел за ворота дома, где сидел у ночного костра, услышал крик петуха и заплакал. Мои слезы слились со слезами Петра...

Потом пришла ночь. Я проснулась от страшного храпа моих сопалатниц. Они оглохли от стрептомицина, и у них что-то разладилось с дыханием, храп звучал неестественно, надрывно и слушать его было тяжело, как громкий плач... За окном в темноте горел фонарь, в конусе света крутился снег. Там было какое-то волнение света, тьмы, близко от окна снег падал вниз мягко, влажно, задевал стекла, а дальше — все летело снизу вверх, клубилось и бесконечно испарялось в темноту. Вдруг я поняла, что это — театр для меня одной: белый фейерверк, круженье, мягкие хлопья, бросаемые горстями в стекло...

Потом я ощутила, что весь мир окутывает меня добротой. Я лежала в теплом помещении и смотрела в окно, которое для меня кто-то чисто вымыл. Меня укрывала простыня, а ее соткали для меня чьи-то руки. Конечно, люди, которые растили хлопок, собирали его, обрабатывали, пряли нити, не знали обо мне, но их труды соединились сейчас, чтобы согреть меня... Я почувствовала себя очень счастливой и решила — я пойду в Церковь и крещусь, чтобы быть ближе к Нему...

Но в какую церковь мне идти? Бабушка Женя — из семьи старообрядцев, ее муж, мой дед,— лютеранин, мать мужа — моя прабабушка — католичка, отец мой — атеист, а его родители — правоверные иудеи. Кто же я?

Я крестилась в православной церкви. Женщина, которая молилась в туалете у молочно-белого слепого окна была православной. Она и открыла мне свою родную церковь.

Была эта женщина крошечная с сильным искривлением позвоночника в грудном отделе, с парализованными ногами. Она ходила на костылях, в сущности — на руках, потому что на ноги не могла опираться, они висели, как тряпочные. Вес тела приходился на руки и плечи, отчего руки стали длинными и сильными, а плечи поднялись на уровень шеи. Женщину звали Анечкой. Я не могла называть ее Анной или Аней, только Анечкой, потому что на лице у нее всегда сияла кроткая детская улыбка, не бессмысленно детская, а — радостная, светлая.

А поводов для радости у Анечки в жизни не было. Она заболела туберкулезом позвоночника, как и я, в годы войны, когда ей было три года. Но у нее не было возможности попасть в больницу и туберкулез сгрыз ей позвоночник очень быстро. Теперь она страдала от болей и мышечных судорог, под мышками у нее часто образовывались фурункулы и нарывы, и она ходила на своих тяжелых костылях с большими муками, каждое прикосновение к костылям вызывало ожог боли. Анины родители умерли от туберкулеза, когда ей было 14 лет, а ее сестре — 6. Девочки остались вдвоем в своей шестнадцатиметровой комнате в коммуналке. Соседи, которым захотелось забрать себе эту комнату, предложили Анечке перебраться в дом инвалидов, а сестру отдать в детский дом. Но Анечка твердо решила воспитать ее сама. Она брала в артели инвалидов работу — вышивала распашонки для новорожденных и получала маленькую пенсию. И вырастила сестру, дала возможность ей учиться в техникуме, выдала замуж...

Навещали Анечку церковные пожилые женщины в темных платках, очень тихие. Они скользили вдоль стен так осторожно, словно хотели сойти за призраки или тени. Другие больные их называли с презрением «церковницы». Они приносили Анечке варенье и фрукты, шептались, пригнувшись к ее подушке, провожали в туалет... Я знала, что они там вместе молились, когда Анечку слишком мучили боли и фурункулы.

Анечка рассказала мне о другой России, которой я не знала: о России монастырей, старцев, святых источников и богомольцев, кочующих по всей стране в надежде обрести исцеление или истину. Параллельно с нашей привычной жизнью, добыванием квартир, еды, книг, работы, хождением в гости, дрязгами и примирениями, изменами, болезнями шла жизнь совсем другая, с другими драмами и радостями, другими ценностями... Я была

ошеломлена. Мне трудно было представить путешественницей Анюту на костылях с мешочком на горбатой спине, такую слабую, что ей страшен был любой сквозняк, любая выбоина в асфальте...

Однажды, уже после больницы, когда я шла с Анечкой по улице, все люди откровенно разглядывали ее, смотрели из окон проносящихся мимо автобусов. Из магазина вышла роскошная раскормленная пара. Дама была крупная, нарядная, от нее издали пахло дрогими духами. Все перед нею расступались. Поровнявшись с нами, дама кивнула своему приятелю на Аню и громко и непринужденно спросила:

— Ну, скажи, зачем такие живут на свете? Только настроение людям портят! Я бы их всех ликвидировала!

Анечка опустила голову и даже шаг не замедлила, всё так же, как прежде, равномерно бросала вперед костыли, опираясь на ватные скрюченные ноги, как на русалочий хвост, подтягивала волоком ноги по тротуару и снова — бросок... Тук...тук... Она прошептала мне:

— Не отвечай! Не обращай внимания. Я уже привыкла... Все люди разные...

С Анечкой происходили чудеса. Однажды она заблудилась в чужом городе в метель и гололедицу, поняла, что упадет и замерзнет, потому что были сумерки, безлюдье. Она начала громко звать святителя Николая, покровителя паломников и путешественников. Она молилась и плакала, и вдруг кто-то взял ее за плечо и повел сквозь метель. Привел к какому-то крыльцу, сказал: — Постучись, тебе откроют.— Она посмотрела на своего благодетеля. Это был старичок, светлый и строгий, лицо показалось ей знакомым. Он улыбнулся и исчез в метели. Она постучалась в указанную дверь. Ей открыли. Оказалось, там жила уборщица местной церкви. В красном углу над столом висела большая икона святителя Николая Мирликийского, убранная вышитыми полотенцами и бумажными розами. Анечка посмотрела на икону и сказала:

— Это он! Тот старичок, который меня к вам привел...

Мое крещение и всё, что было потом, сопровождалось такими переворотами в моей душе и судьбе, что словами объяснить ничего невозможно. Словно я вернулась на родину, и мне рады, спешат показать свою радость, любовь, одарить, обласкать, утешить...

Вот это была радость! Она пришла ко мне в тяжелое и смутное время моей жизни: вдруг распахнулось окно и, как подарок, хлынули тепло, синева, все голоса и краски мира в мою внутрен-

нюю темноту и тесноту... Я словно встретила взгляд, полный любви, ко мне протянулась дружеская рука...

Но я еще хотела получить ответы на множество вопросов. Я ведь была тем страдающим безвинно ребенком, одиноким в мире страха, крови, войны, о котором можно было вопросить: каков смысл этой боли, одиночества, этого надвигающегося калечества — безысходного горя до конца дней?..

Кто меня спас из бездны? За что Он меня спас, полюбил, стал нянчиться со мною, спасать еще и еще?..

Ответы на мои вопросы стали приходить... во снах!

Вот — я еду на велосипеде по нагретому солнцем сосновому лесу. Тропа ныряет в песок, и я спрыгиваю с седла и веду за руль велосипед, увязая в горячем песке по щиколотку, сандалии полны горячего и колючего песка... И снова еду, подставляя лицо лесному ветру, пахнущему разогретой смолой.

Велосипед прыгает по сосновым корням, ползущим через тропу, я попадаю из тени в свет, по плечам то плещется прохлада, то обдает их сухим жаром.

Сосновый лес, как строгий храм — без украшений. Одни колонны и игра света и тени. Свет льется из купола, с громадной высоты, стоит клубящимися столбами меж стволов. Ароматы сухой хвои, смолы — лесной ладан наполняет величественный храм...

И вдруг колонны расступились.

Я выехала на поляну, заросшую высоченной дикой травой.

Посреди поляны стояла ветхая кривая изба. Я прислонила велосипед к завалинке, на которой грелась ящерка, растопырив лапки. Блестящие круглые ее глазки пристально следили за мной. Я поднялась на крыльцо. Ступени прыгали и скрипели под моими шагами. А трава, проросшая в щели между досок, торчала неподвижно.

Я открыла дверь, обшитую старыми телогрейками и замурзанной клеенкой, давно превратившимися в лохмотья, и очутилась в комнате. Там стоял только старый канцелярский книжный шкаф с дверцей, печально висящей на одной петле.

В пыльное окно были видны и лес и поляна, но теперь они казались серыми и унылыми, какими могли бы сделаться в конце безнадежной осени.

В сумраке посреди комнаты стояла моя бабушка Женя и, улыбаясь, смотрела на меня. Я, было, кинулась к ней, но заметила вдруг, что ее лицо раскалывает тонкая, как шелковая нить, змеящаяся трещина. Части лица на долю мгновения разрывались

на разломах и тут же вновь соединялись. И я поняла, что это не бабушка Женя. Но не испугалась. Только остановилась.

— Подойди к шкафу, — сказал тот, кто прикинулся бабушкой Женей.

Я подошла.

— Видишь на полке книгу?

В пыльном чреве шкафа на грязной полке лежала роскошная огромная книга. Наверное, сплошной сафьян и пергамент — толстые желтоватые листы, шелковистый и бархатный на вид переплет — какая дивная выделка, какой глянец, какие бронзовые застежки!..

— Возьми книгу и раскрой, — услышала я спокойное приказание, в котором мелькнуло скрытое торжество. Почему — торжество?

Огромная книга, раскрываясь на лету, сама тяжело ложится на мои протянутые руки, ее листы с жестким шорохом переворачиваются, обдают меня ветерком старины, на них непонятные знаки...

— Если ты прочтешь вслух то, что написано на этой странице, все твои детские страдания исчезнут из твоей жизни, сотрутся твои ошибки, метания, все поступки, которые стыдно вспоминать — ты от них освободишься, как и от боли, страхов, крови, бреда, гипса, операций, тоски, одиночества... Прочти, только прочти вслух, и у тебя будет другое прошлое, другая судьба, благополучная, полная радостей, подарков, везения, счастья, — журчал за моим плечом голос бабушкиного двойника.

Меня так и обдало горячей волной искушения.

Я догадалась: стоит *захотеть* прочесть, знаки тут же станут мне понятны, и язык сам произнесет неведомые мне сейчас сочетания древних звуков.

Но тут же почему-то почувствовала, что нет, нельзя ничего менять в своем прошлом, ни от чего нельзя отрекаться.

Но почему я не могу убрать страдания из моей жизни? Она же — моя собственная? Зачем нужны они, все эти страдания?

Но... мне нельзя отсекать себя теперешнюю от прошлой, зачеркивать мои победы, такие тяжелые, давшиеся такой ценой, и отворачиваться от поражений, которые мне так много помогли понять... Я даже чувствую, что это была бы не просто болезненная, а смертельная операция, что того одинокого ребенка в чужой избе, которым я была, она обрекла бы мучиться вечно.

Я страдала вместе со всеми страдавшими: на фронтах, лесоповалах, торфо-угле, в переполненных бараках, промерзших

цехах, «столыпиных», тюремных камерах, в детских домах, похожих на тюрьмы, в голодных ссылках, на этапах, в госпиталях, в землянках, вырытых на месте сожженных домов...

Христос прошел через страдания, чтобы одухотворить всех нас и каждого по-отдельности, Он добровольно взвалил на Себя самый тяжкий крест. Ему ничего не стоило отвергнуть и одиночество, и глумление, и саму казнь. Он не уклонился ни от чего, всё вынес. А ведь Он был совсем безгрешен! Что же мне-то с моим грузом отталкивать чашу?

Я увидела, что нельзя вырвать ни одного кирпича из здания судьбы. Здание рухнет... И тогда я сказала:

— Нет, я не хочу ничего менять в моей судьбе.

В книге, лежащей на моих руках, коротко громыхнуло, словно что-то взорвалось или прокатился гром вдалеке.

Я вернула книгу на полку. Как тяжело было сделать это! Руки на мгновение окаменели... В лицо мне из шкафа дохнуло серым облачком пыли.

Я оглянулась на того, кто притворился бабушкой Женей. Лицо его было расколото на части, каждая часть жила сама по себе. Один угол рта кривился, другой ухмылялся, один глаз пронзительно смотрел, словно гипнотизировал, другой — плакал... Двойник пылал гневом, как раскаленная железная болванка. Сейчас все здесь вспыхнет от него, как от смоляного факела...

И я снова на велосипеде в сосновом лесу — храме. Я кручу педали и смотрю на переливающиеся столбы солнечного света между стволами...

Как же я попала в этот свет, такой живой, подвижный и душистый, в храм, полный тепла, в радость, покой? Я здесь, но я растеряла близких...

Обычно, когда человек умирает, он уходит от тех, кто его любил, уходит по частям, постепенно... Блекнут в памяти живых его привычки, поступки, исчезают его вещи — старятся или теряются.

Мои же умершие, наоборот— все глубже и больше входили в ткань моей жизни, все напряженнее существовали в моем сознании. Оживали, снова наполнялись чувствами их письма, дневники, записочки, фотографии. воспоминания тех, кто их знал...

И в конце концов получилось, что мои родители живут со мною вместе. Словно они здесь, только в другой стране и могут вот-вот вернуться. Растет наша любовь, крепнет дружба, растет близость...

И, конечно, я все думала и думала о стране, в которой они теперь находятся.

Мне не хотелось ломиться туда через черный ход — заниматься спиритизмом, оккультизмом. К этим вещам я относилась с неприязнью и даже ужасом, как и мои больничные собеседницы. Я знала, что тайна должна оставаться тайной. Поэтому стала искать ответ в Библии. В ней есть всё, что человек может вместить в себя, не разрушаясь сам и не нарушая запреты своей природы... В Библии собран и мистический опыт человечества, он так естественно сливается с житейским опытом, что воспринимается как здоровый разумный подход ко всем проблемам бытия...

Мой отец хотел вырвать маму у смерти... Но ему не на кого и не на что было опереться.

Что, если бы последователям Федорова, которые думали, что вполне возможно «будущее воскресение на почве естествознания», удалось оживить миллиарды умерших землян?..

Встали бы воины, сжимая в руках ржавую труху, в которую превратилось их оружие, и продолжили бы свои битвы кулаками, камнями, палками, потому что вместе с ними ожили бы их ненависть, страх, гордыня, корысть... Болезни, уродства встали бы из могил, навечно слитые со своими жертвами... Многие из умерших вновь ужаснулись бы жизни, потому что не находили в ней блага, встречали лишь несправедливость, не знали, как перенести страдания, выпавшие на их долю. Страдать вечно — невыносимая перспектива. А это было бы предопределено, ведь вместе с людьми ожило бы царство насилия, потому что такое воскресение не преобразило бы внутренне (да и внешне) воскресших...

Я пытаюсь представить, что случилось бы, если бы отец оживил маму... Она оказалась бы в том же безвыходном положении: ссылка, нет надежд на будущее, нет будущего, нет возможности самой строить свою судьбу, и участь близких — пугает... А ожидали ее война, новая ссылка в лучшем случае, в худшем, но вполне вероятном, — арест, тюрьма, лагерь...

Если бы она была христианкой, она бы внутренне была защищена, и всё могло сложиться по-другому... Лавина зла всё равно накрыла бы ее, но как многое зависит от того, в каком ты находишься состоянии, когда на тебя летит лавина...

Я читала у пророка Иезекииля о воскрешении множества людей, чьи кости покрывали равнину. Как Господь Сам положил пророку на плечо руку и вывел его на эту огромную равнину, покрытую сплошь белыми костями, высушенными солнцем и промытыми дождями... И предложил призвать кости соединить-

ся, а потом — вызвать дыхание четырех ветров — от четырех сторон света, чтобы оно вошло в лежащих на равнине. Иезекииль выполнил повеления Господа, и давным-давно истлевшие воины ожили на поле боя, встали и...

И куда же двинутся эти несметные рати?

Сам Бог поведет их в обещанную землю, в тихую землю, где текут реки с водой, сладкой как мед, а на берегах стоят по колено в траве сытые коровы, из их переполненных сосков падают капли молока, и молочный туман стелется над речными долинами...

1970—1996

СТИХИ О ПОЭТАХ

* * *

Памяти Б.П.

Через участок к магазину
по целине наискосок,
минуя ели и осины
и вправо завернув чуток,
я проходил, и шла за мною
блаженная лесная тень,
и клен листвою вырезною
закладывал мой трудодень,
и маковки вдали светили,
когда я двигался назад,
и все, кого сюда водили
и приглашали в этот сад,
все ожидали, что хозяин
сойдет и сядет на скамью,
и свет небесный был державен
назло вороньему вранью,
что разносилось с голых веток
наверняка и наугад,
и ровно десять пятилеток
существовали дом и сад,
и он сидел перед террасой,
надвинув кепку на глаза,
и уходила растеряхой
громокипящая гроза,

Евгений РЕЙН — родился в 1935 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил Ленинградский технологический институт. Автор книг стихов «Имена мостов» (1984), «Темнота зеркал» (1990), «Береговая полоса» (1990), «Непоправимый день» (1991), «Против часовой стрелки» (1991).

и бил ручей в весенней чаще,
и золотился листопад,
он приходил всё чаще, чаще
на это место в этот сад.
И, наконец, мела поземка,
скамью сугробом перекрыв.
Зима, как будто иждивенка,
плясала под чужой мотив,
но он владел здесь всем и всеми —
лесами, травами, водой,
и только в рифме и поэме
остался белый и седой.
И вот сейчас, когда другие
распашут этот огород,
он видит, словно бы впервые,
в последний раз, в последний год,
глядит на церковь и на сосны,
в корнях которых он зарыт,
и затихает шум несносный
незабываемых обид.
Он был здесь богом и пространством,
он временем и словом был —
вот потому-то с постоянством,
но явно на исходе сил,
он видит, как из магазина
выходит молодой жилец,
он сам подсказывает вина,
да и закуски, наконец.
Они идут одной дорожкой
и не понять, где тень и свет,
и лишь в походке осторожной
его земной натуги нет.
И это место будет пусто,
как всё на горестной земле,
и только снежный вал искусства
еще светлеет здесь во мгле,
и лишь воздушная тревога
в неярком воздухе зимы
затрагивает нас немного,
чтоб небо не забыли мы.

1983

Истинный путь вокруг света

И.Б.

Отправиться узенькой речкой, притоком огромной реки.
Там сладкого дыма колечки, буфеты, каюты, звонки.
Сидеть в парусиновом кресле, разглядывая берега,
и мачты спасательный крестик на фоне небес теребя.
А тент мой то скрипнет, то вскрикнет, сирена завоет слегка,
о, я, уплывающий скрытно, зачем моя жизнь не сладка?
Зачем не мужицкая драка, зачем не фамильный запой,
не лета цветущая арка, построенная зимой.
Я рупор возьму капитанский, а губы сердечком сложу,
вдыхая металл скипидарный, я всё на прощанье скажу.

Прощай, мой приятель, ты ешь или спишь,
но утром такая туманная тишь, что ты, вероятно,
услышишь.
Прощай, мой приятель, я рад повторить
всё то, что случилось, дотошно, подряд.
Когда я отчалю, поедешь и ты
от черной печали до твердой судьбы,
от шума вначале до ясной трубы.

И вот наступает слиянье обеих пленительных рек,
сиянье, сиянье, сиянье, отныне и присно-навек!
Река меня катит вторая, и рыбы глядят изнутри
и, плавно хвостом ударяя, они повторяют — Смотри.

Тут воды, как духи бесплотны, а мы и не рыбы совсем,
а твой пароходик нескладный в реке, точно в тверди
засел.
— Прощай же, домашнее диво, мой идол, прощай, меховой,
спасибо, ты слышишь, спасибо, что я не любил никого,
что, если я стану терзаться, не вынесу если стыда,
одна ты воздушным трезубцем погубишь меня навсегда.

И вот я сбегаю по трапу, сажусь в голубое авто,
и всё, что имею, я трачу и плачу в крахмальный платок.
Стеклянные улицы эти, коричневый старый кирпич,
как слезы в сургучном пакете, песок под ногами хрустит.
Под куполом вьется Спаситель в сандалях и робе своей,
Спаситель, который насытил своих сокрушенных детей.

— Спасибо, Спаситель, спасибо, ты честное слово
сдержал,
тут очень, Спаситель, красиво: и купол, и фрески, и зал.
Когда Тебе будет угодно, зови, я прикрою дела,

С Тобою, ты знаешь, охотно, коль надо, в чем мать
родила.
Однако теперь, понимаешь? Всё это устроил Ты Сам!
Зачем Ты часы вынимаешь и жутко стучишь по часам?
Пора мне, должно быть.
И снова в авто голубом на бегу.

Как первое ясное слово, я это лицо берегу.
Пади же, железная штора! Я вижу на мягкой стене,
как скоро, предательски скоро, лицо переходит ко мне,
в стекло поглядится и словно помадой подводит губу.
Как самое темное слово, я это лицо берегу.
А ночь наступает внезапно, и в мутной ее духоте
вплывают и жалость и жадность, две рыбины в пресной воде.

— Глядите, отважные рыбы, — аквариум, спальня, дворец!
Всё в жизни сбывается, ибо всегда наступает конец.
И та, что к подушкам приткнулась, зарылась в любовь
с головой,
не знает, что вновь окунулась в теченье реки круговой.

1964

* * *

Памяти Б.С.

Спустились в нижнее кафе,
он был почти что в галифе,
ну в чем-то старом и военном,
с притворной миной мой дружок
глядел, как лидер и божок
в своем юродстве откровенном,
купил бутылку коньяку,
пирожных, яблок и сырку,
на чистый столик всё поставил.
Присаживаясь, он сказал,
оглядывая полный зал,
что слово гостю предоставил.
Тот что-то глухо пробурчал,
видать кого-то обличал

и опрокинул полрюмашки,
а тот сказал: «Была беда,
и не простится никогда,
как близко подлость от промашки.
Я три минуты говорил...»
А зал заглатывал и пил,
питалася литература.
Я видел, как больной поэт
перед юнцом держал ответ.
Вдруг прыткая влетела дура
и крикнула: «Борис Абрамч,
кончайте ваш приятный ланч
(ей так казалось остроумней),
уж секция давно сошлась
и ожидает только Вас
и что-то из поэтских будней».
И я подумал — нездоров
поэт от горя и трудов,
от подлинной и мнимой боли,
а он воистину поэт,
за то и снисхожденья нет,
он сам так думает, тем боле!
Почти что через двадцать лет
в вагоне мягком, бит и сед,
я мчал в Тбилиси через Тулу
и вспомнил этот разговор,
и стыд, и ужас, и позор
на миг затмил литературу.
Под залпы крови и судьбы,
под звуки боевой трубы
прошел он гордо до трибуны,
где всё сломал за пять минут...
Но мне не разобраться тут,
да и не мне метать перуны
в него, а где же мой сосед
по столику — и близко нет,
иных уж нет, а те далече,
и я налил себе вина,
чья правда здесь, и чья вина,
и кто кому подставил плечи?

1984

Борис Леонидович и Михаил Алексеевич

Погляди на Москву с высоты пирамиды Хеопса,
ведь не выше она, чем девятка таких этажей.
Что мелькает на дне? Это времени черная оспа,
запестреет в глазах и погонит из дома взашей.

Там темно в этой комнате, и отлучился хозяин,
и, когда выхожу я на узкий, опасный балкон,
за полтысячи верст темнолицый учтивый волжанин
из окна своего посылает посильный поклон.

Так и жили они, на восьмых этажах, на девятых,
ничего, никогда, ниоткуда ни впрок, ни взаймы,
между белых и красных, веснушчатых и бесноватых,
диктатуры и придури и среднерусской зимы.

В этот поздний рассвет наплывали горячие окна,
восставал вавилон, припорошенный первым снежком,
но об этом они написали легко и подробно —
не пора ли на улицу, вниз, в суматоху, пешком?

Я всегда понимал, прикасаясь к огню и железу,
людям, словно судам, надлежит поднимать якоря.
Крови полон стакан, броненосец пошел на Одессу,
по суровому кряжу оранжевым крапом горя.

1982

* * *

Памяти А.Т.

Эту книгу я когда-то
в зале, убранной богато,
молча подарил ему —
между волком и собакой,
между водкой и солянкой
дня, ушедшего во тьму.

Он сидел надменно резко,
в профиль плоский, словно фреска,
четкий, что морской конек,
всем заметный, всё простивший,
до изложницы остывший,
одинок и одноног.

1990

* * *

Татьяне Бек

...Жизнь, кажется, висит на волоске.
А. Ахматова

Второпях, второпях —
уходила невнятно и грубо, —
постояла в дверях
и цедила сквозь сжатые зубы
два-три слова.
Я так их пытался понять и не понял...
Подошел, потоптался, взял за руку, все-таки обнял:
— Ну, прощай...
— Ну, прости...
— Навсегда?
— Знаешь сам, не иначе.
— Подожди.
— Отпусти.
— Будь здорова. Желаю удачи. Подними воротник.
— Не твоя это больше забота!
...Этих плеч подкладных и пальто из того коверкота
я не видел сто лет и теперь никогда не увижу.
— Что ты шепчешь «в столе»? Что в столе?
Мне не слышно, поближе
подойди. А? Но это пустяк,
фанфаронство, бирюльки.
— Что поделать? Пусть так!
— Я пойду постою в переулке.
Посмотрю, как смешаешься с темной осенней толпою.
Что ты маешься? Что ты? Не плачь, я не стою
этих слез. Просто ты — моя жизнь,
а не женщина,
что иногда называют этим именем...

1978

* * *

Е.Р.

Вот и кончился день предпоследний...
Глядя в белую зимнюю тьму...
О, каких незадачливых бредней
моему не хватило уму.

Всё, что было, дошло до предела,
а за ним — неизвестный простор.
Загустела, спеклась, поредела,
стала жизнь, как холодный раствор.

Но из форточки тянет прохладой,
снег уже завалил полсела.
Пусть была ты дурной и проклятой,
хорошо, что чужой не была.

1995

* * *

Блоку

О, мой демон с лазоревым бантом,
жил ты вольно, но трудно почил.
Долго был ты моим консультантом
и серьезно меня обучил.

Но профессор Замойский-Демидов
рассказал нам подробно о том,
что подкрасил ты комплекс эдипов
материнским больным молоком.

Как ты гнал лихача пожилого
белой ночью, над Невкой летя.
Как безумного, полуживого,
Люба с Борей любили тебя.

Как рыдал ты в мятеж ошалелый,
возведенный, что храм на крови,
как носил ты сюртук порыжелый
и снега разгребал на пари.

И пока тебя не закопали,
все играл ты заглавную роль, —
точно черную розу в бокале,
принимал за судьбу алкоголь.

О, любовник из жгучих и лживых,
ты со мною, покуда живу,
в кабаках, в переулках, в извивах,
в электрическом сне наяву.

1981

* * *

Анне Ахматовой

У зимней тьмы печалей полон рот*,
Но прежде, чем она его откроет, —
Огонь небесный вдруг произойдет:
Метеорит, ракета, астероид.

Огонь летит над грязной белизной,
Толпа глядит на казни и на козни,
Так человек глядит в стакан порожний —
Уже живой, еще полубольной.

Тут смысла нет, и вымысла здесь нет,
И сути нет, — хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
Я Ваше имя вспоминаю сразу.

1966

---

* Стихотворение было передано А.А. Ахматовой в феврале 1966 г., незадолго до ее смерти.

ПЯТЬ РАССКАЗОВ ИЗ ЦИКЛА «ОДНАЖДЫ МИХАЙЛОВ...»

1. ЛЕША ВТОРОВ И ФИЛЕРА

Однажды Михайлов удивился:

— Да неужели и вправду было с нами всё это: запрещенная литература, листовки, подпольщина доморощенная, слежка государственная, доносы, обыски, демонстрации, аресты и суды с гордыми «последними словами» — словом, все эти из далекого прошлого атрибуты героической революционной романтики, изображенные во множестве произведений, от «Овода» до горьковской «Матери» или фадеевской «Молодой гвардии»? Неужели все это было в жизни по-настоящему? Пронзительное чувство неестественности: как это? Я — здесь, а Илья — в тюрьме? Я здесь, в Москве, сижу в театре «Современник» и вместе с залом смеюсь над абсолютным совпадением Щедрина с советской властью, а Илья — в трех шагах от меня, бритый, в камере, и этот говнюк-следователь кричит на него? Хотя о б р а з м ы с л е й, за который Илья и сидит, у смеющегося вместе со мной зала точно такой же! Словно встали дети в круг, посчитались: «вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана» — и кому выпало водить, пошел из круга, только не за угол, а на Колыму, лет на семь.

Юлий КИМ — родился в 1936 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Московского пединститута им. Ленина. Девять лет преподавал русский язык и литературу в школе. С конца 60-х гг. начал выступать как поэт и драматург, но из-за участия в правозащитном движении вынужден был вплоть до 1985 г. публиковаться под псевдонимом Ю. Михайлов. Автор текстов многих известных песен к кино- и телефильмам («Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Бумбараш», «Собачье сердце» и др.). Опубликовал несколько книг стихов и пьес — «Я клоун» (Дания, 1989), «Волшебный сон», «Летучий ковер», «Творческий вечер» (все — М., 1990), «Своим путем» (Израиль, 1995).

Причина подобного впечатления понятна: эти слежки, погони и обыски, то есть всё то, что совершенно необходимо при охоте на воров и убийц, здесь превращалось в бурную имитацию деятельности, в демонстративное махание кулаками — потому что преступления-то не было, никто ведь, по сути, и не прятался. Это же уму непостижимо, сколько денег было угрохано, сколько народу задействовано для слежки за нескрывающимися, для погони за неубегающими — ради важных отчетов перед старцами с мавзолея, и эти старцы важно собирались и на основании андроповских докладов решали, что мне читать, чего не читать... бред, мерзость.

Михайлов тогда трудился с режиссером Лешей Второвым над сказкой в Детском театре. До сих пор они с наслаждением вспоминают эту работу, в которой, кстати, блестяще себя заявила будущая наша кинозвезда Ирина Вадимова. Это был праздник, завершившийся тем, что Ирина вышла за Лешу замуж.

Однажды Михайлов с Лешей договорились встретиться в театре, чтобы подумать о дальнейших планах. А утром к Михайлову заглянул приятель с целой кучей свежей антисоветчины, включая «Технологию власти» Авторханова, за которую давали срок. Это сейчас она свободно лежит на книжных развалах, никто ее не читает. Приятель попросил приютить на время опасный багаж, словно нет надежнее места на свете, чем квартира оголтелого антисоветчика Пети Якира, у которого Михайлов тогда жил. Петю и его квартиру с обитателями круглые сутки пасли сотрудники ГБ. Отказать приятелю было невозможно, хотя бы потому, что его на выходе могли остановить дежурные пастухи и, отведя в участок, обыскать, что имело бы для него предсказуемые последствия. Михайлов с досадой принял груз, но тут же решил отнести его в другое место, дабы не увеличивать и без того значительные запасы крамолы на Петиной квартире. А так как осаждающие по пяти раз на дню видели, как Михайлов входит и выходит, то имелся шанс, что опекать его они не станут, тем более что он давно уже вел себя благонамеренно.

Михайлов придумал отнести заветные папки в Детский театр, к режиссеру Второву: помещение огромное, авось найдется темный уголок для запретной литературы.

А тут еще позвонил вежливый мужской голос и напомнил, что у них через час встреча на частной квартире по поводу «Станционного смотрителя». Эту пушкинскую повесть собирались экранизировать для телевидения, а музыку к ней заказали у композитора Исаака Шварца, которого Михайлов очень уважал

за его работу с Окуджавой. Справедливо полагая, что якировский телефон прослушивается, Михайлов решил, что из-за Пушкина органы тем более преследовать не станут. И, застегнув объемистый портфель, Михайлов бодро вышел на улицу.

При виде его со скамьи на бульваре с готовностью поднялся молодой человек, старательно смотрящий вбок. Объемистый портфельчик сразу потяжелел. Значит, не подействовал «Станционный смотритель». Досадно.

Михайлов, однако, продолжил автономное плавание, делать нечего. Внутреннее напряжение усиливалось еще неловкостью тащить за собой хвост к незнакомому и, судя по телефонному разговору, весьма интеллигентному человеку, известному питерскому композитору, который ни сном, ни духом... Поэтому Михайлов изо всех сил старался идти непринужденно, чтобы, упаси Бог, хвост ни на секунду не насторожился, не почувствовал тревогу за портфельчик. И когда, опаздывая на троллейбус, Михайлов побежал к остановке, то, вспрыгнув на подножку, он предупредительно придержал дверцу для своего запыхавшегося опекуна: мне, мол, от вас скрывать нечего, я, как видите, никуда бежать не собираюсь. Якобы.

Доехав до места, Михайлов вошел в подъезд — топтун остался на улице и проверять, на который этаж отправился объект, не стал. Объект позвонил. Дверь отворил очень красивый маленький изысканный армянин, и хотя его звали Исаак Шварц, Михайлов так и остался в этом убеждении. Положив портфельчик под стул в прихожей, он вошел в квартиру.

Дело оказалось для него необычное: его пригласили принять участие в фильме не как автора песенных текстов, что было бы понятно, а в качестве певца. Кому-то показалось, что именно этот голос способен спеть пушкинские стихи на шварцевскую музыку. И, не откладывая в долгий ящик, композитор подсел к пианино и своими изящными пальчиками тут же и наиграл эти простые мелодии. В другое время Михайлов, с его слухом, выучил бы их в секунду, но тут его томил молодой чекист, топчущийся где-то за стеной, а возможно, уже только и ждущий, когда Михайлов выйдет, чтобы подкатиться с их вечным «пройдемте». Не у Шварца же оставлять проклятые бумаги. Между тем композитор терпеливо повторял и повторял мелодию, так что Михайлов уже и поневоле ее усвоил и, помычав-помурлыкав, наконец спел, стараясь с выражением:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом —

даже не чувствуя, насколько текст соответствует обстоятельствам:

Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид... следопыт...

Старательное «выражение», видать, не вполне устроило Шварца, и он еще и еще раз просил Михайлова повторить, отчего «выражение» не улучшилось. Согласились на том, что надо бы встретиться еще раз, попробовать, созвонимся попозже — и Михайлов, как в прорубь головой, двинулся с портфелем на улицу.

Топтун благодушествовал невдалеке, никакой засады не предвиделось. Из-за угла показался нужный трамвай. Михайлов, не торопясь, шел к остановке, игнорируя приближающийся вагон, как не имеющий отношения. Следопыт не спеша двигался в том же ритме, сохраняя приличный интервал. Внезапно для самого себя, Михайлов резво вскочил в захлопывающиеся дверцы и на сей раз придерживать их не стал. Топтун в растерянности кинулся было, пробежал несколько шагов, вдруг остановился, открыл свой кейс — и стал в него что-то возбужденно кричать. Михайлову еще не доводилось встречаться с таким способом связи. Трамвай несся вдоль бульвара, незадачливый спутник остался далеко за углом, и через несколько остановок Михайлов с легкой душой выскочил на тротуар, а там уже, знакомыми задворками, добрался до служебного входа в театр, еще раз оглянулся по сторонам и шмыгнул, прижимая портфель, к двери (на вахте его знали) и — прямо к режиссеру, к Леше Второву. Тот уже освободился для встречи и был у себя один.

Михайлов показал портфель и, понизив голос, объяснил ситуацию. Леша спокойной рукою, как будто ему принесли пьесы Островского, принял опасные папки и сунул куда-то в недра письменного стола. Михайлов было забеспокоился, не чересчур ли легкомысленно — Леша и слушать не стал:

— Ничего с твоими папками не случится. Когда понадобится, тогда и заберешь. А вот потрепаться здесь не придется: мне надо в одно место, можешь проводить? По дороге все и обсудим.

— А ну как за мной слежка?

— Да черт с ними, даже интересно.

Михайлов положил в портфель какие-то журналы, чтобы незаметно было, что портфель похудел, и они вышли. И Леша в двух словах пояснил, куда им предстояло ехать.

У него от первого брака остался любимый сын. Разрыв же был настолько решительным, что бывшая жена захлопнула перед ним

все двери, и в свиданиях с сыном ему было не то что отказано — отрезано. И вот он, как Анна Каренина, крадучись, время от времени отправляется хотя бы посмотреть на своего Олежку, а если удастся, то и поиграть с ним сколько-нибудь. Михайлов очень проникся. Ехать было — автобусом и электричкой.

На улице Михайлов огляделся: никого. Леша добродушно пошутил:

— А был ли мальчик-то?

Михайлов разгорячился:

— Не веришь! Думаешь, я в игры играю! Революционер, мол, хренов!

Леша замахал руками:

— Да ради Бога! Я просто подумал: а был ли мальчик-то, и всё! И тогда Михайлов злорадно и даже торжественно воскликнул:

— Вон они!

Неподалеку, в самом деле, обозначился его давешний преследователь и при нем миловидная девица. Оба старательно смотрели друг на друга, добросовестно разговаривая. Леша посмотрел:

— Это и есть твой мальчик?

— Он. А девочка, скорей всего, твоя.

— Да ладно!

— Убедишься в движении.

Плечом к плечу Леша с Михайловым зашагали по тротуару, а шагов через двадцать резко остановились и оглянулись. Парочка, по-прежнему разговаривая и глядя друг на друга, шла следом. Леша хмыкнул:

— Не убедил.

Двинулись дальше. Поравнявшись с автобусом, живо впрыгнули и жадно приникли к заднему стеклу. Парочка стояла, откровенно глядя на них, при этом кавалер, как и давеча, что-то быстро говорил в открытый кейс: сообщал, наверное, номер автобуса и маршрута.

Леша сказал:

— Мда. Похоже, ты не ошибся.

Через некоторое время Михайлов сообщил:

— Вон они.

Впрочем, и без сообщения видно было, как откуда ни возьмись, вывернула чуть ли не из подъезда серая «Волга» и пристроилась к автобусу. Кавалер сидел рядом с водителем, равнодушно смотря по сторонам. Леша уже не хмыкал: как это бывает с новенькими, им овладел азарт, совершенно погасивший чувство опасности, и он даже забыл о цели поездки, равно как и про

обсуждение планов. «Ну-ну, — приговаривал он, вливаясь в привокзальную толчею, — ты смотри, нет, ты смотри: идут! и девка уже другая! Понимаешь? Он дежурный, а они при нем сменяются!» Леша на глазах превращался в профессионала. «Ну что? Вошли они в вагон? Ладно! Доезжаем до остановки, выходим и внезапно вскакиваем обратно».

— Да черт с ними. Вскакивали уже, в автобусе-то. А главное, зачем? Мы же чистые.

— Да все равно противно.

Доехали до места. Дачные сосны, мир и летний уют Подмосковья как-то незаметно обратили в шутку их подконвойное путешествие, и филера воспринимались уже как понятный и безобидный довесок: люди на работе. Вспомнилась цель поездки, и Леша по дороге к дачному поселку с эпической грустью стал рассказывать о своих предыдущих экспедициях к сыну, с какой дьявольской проницательностью враждебной стороне удавалось предугадать его внезапные появления и за минуту уводить ребенка в дом.

— Здесь пойдем медленнее, вон до той бузины, — сказал Леша. — В это время они обычно гуляют (и Михайлов подивился его дьявольской осведомленности).

В тени огромной бузины они остановились: два заслуженных человека — Алексей Второв, известный московский режиссер, и Михайлов, писатель земли русской, как он сам себя называл. А в полсотне шагов от них, на садовой скамеечке примостились два человека совершенно не заслуженных и, вероятно, недоумевающих по поводу этой внезапной остановки.

На той стороне улицы за штакетником весело зеленела обширная поляна с кудрявой березой посредине, а подальше виднелся домик с верандой, на которой не было никого. И на поляне никого. И так никого и не было час. Наши партизаны вздохнули и поплелись восвояси. Лет через пятнадцать дьявольски осведомленный Леша сообщил Михайлову:

— А они там были, и Олежка, и теща. Но она нас заметила, и все подглядывала, когда мы уйдем. Надо было пойти, а потом вдруг вернуться.

Это говорилось уже вполне добродушно, так как подросший за это время Олежка уже сам папу разыскал и подружился.

А тогда, возвращаясь на станцию, огорченный Второв вдруг развернулся и пошел прямо на расслабившихся филеров, буравя злобным взглядом каждого поочередно, словно намереваясь от души врезать за бесполезное сидение под бузиной. Те смотрели

растерянно, не успев приготовить нейтральное лицо, Михайлов в ужасе застыл — но Леша только молча прошел между откачнувшимися в стороны топтунами, резко развернулся, вновь пронизал и уже тогда, довольный, поднялся с Михайловым на платформу...

А лучше всех от слежки уходил Володя Буковский — уходил, убегал, уезжал — с его знанием московских проходных дворов и закоулков. Азартнее всех переживал преследование Петя Якир: казалось, чем больше народу за ним ехало, тем в больший восторг он приходил. Что до Михайлова, то за ним, конечно, так не следили, как за первыми двумя, но один изящный у х о д за ним числится.

Как было уже сказано, подъезд якировского дома находился под круглосуточным присмотром. В тот день была насущная необходимость срочно и непременно передать французскому корреспонденту пару машинописных листков с горячей информацией об очередной гадости режима. Открыто проделать это было опасно даже для Михайлова, но у него был запасной вариант на такой случай. Дело в том, что внешние наблюдатели, не сводившие закоченевших глаз с подъезда, не учли: с лестничной площадки между первым и вторым этажом можно было сигануть через окно во двор — размеры окна позволяли. Михайлов и сиганул. Во дворе не было никого, кроме детского сада, галдящего в своих песочницах. Михайлов задами прошел в метро и в назначенный срок был в условленном месте. К Якиру он вернулся с н а р у ж и и был вознагражден, увидя, с каким недоумением вскочил со своей скамьи дежурный наблюдатель. Однако на том и кончился запасной вариант: утром лестничное окно было наглухо замуровано кирпичом. И сейчас, через четверть века, так замурованным и пребывает. Желающие могут убедиться, если наведаются к дому № 5 по Автозаводской улице и, пройдя в левую арку, посмотрят на правую стенку. Московский мэр имеет все основания присобачить к кирпичам табличку с надписью:

Одноразовое окно в Европу.
Отсюда 12 марта 1971 года направилось к мировой общественности
очередное сообщение о преступлениях Кремля.
Да здравствует гласность!

2. ДВА РАССКАЗА ВИКТОРА НЕКРАСОВА

Однажды Михайлов познакомился с Виктором Некрасовым, автором первой правдивой книги о войне. Это был общительный веселый человек, любитель выпить и побродить по окрестностям. Больше всего он любил и знал два города: Киев и Париж. Он и сам по себе был французский гранд и киевский босяк одновременно.

Он был совершенно ненавязчив и неотразимо обаятелен. Друзья называли его Вика. Михайлов не мог себе этого позволить. У него вообще к фронтовикам было трепетное почтение младшего. Давида Самойлова он тоже Дезиком называть не мог. Давид, вы. Булат, вы. К Некрасову — Платоныч, вы.

Платоныча из начальства хвалил только Сталин. Да, вот так: Фадееву за 1% правды в верноподданном романе «Молодая гвардия» — жестокий разнос, Некрасову за 100% — премию имени себя. О таких говорят: от соткан из противоречий. Хрущев не был соткан и последовательно разносил Платоныча за независимость характера и речи. А при Брежневе его достали так, что не вздохнуть. И он эмигрировал.

Между тем за Платонычем ничего такого особенного не водилось. Все-таки Галич сочинял прямую крамолу. Войнович учинил непростительную свою «Иванькиаду». Уж не будем говорить об Исаиче. Платоныч же просто позволял себе жить непозволительно свободно: читал, что хотел, говорил, что хотел, дружил, с кем хотел. В Москве бы его не тронули — Киев же никак стерпеть его не мог: провинция всегда злее казнит (и быстрее прощает).

Но два вполне диссидентских поступка Михайлов за Платонычем знал.

В 67-м году, осенью, узнав, что киевские евреи собираются на стихийный митинг по случаю 25-летия расстрела в Бабьем Яру, благо официальный митинг власть не разрешила, — небольшая московская компания друзей славного диссидента Пети Якира вдруг легко встала из-за стола, за которым сидела, и в одно мгновение оказалась — сначала на Киевском вокзале, а наутро и в самом Киеве. Ибо Петя Якир был человек азартный. Вместе с ними и Михайлов оказался в этой незаметной лощине, где приютился небольшой казенный камень с обещанием «на этом месте воздвигнуть памятник жертвам», — лишний раз подчеркивая своей сиротливостью органическую неспособность Софьи Власьевны (псевдоним советской власти) к благородным поступкам. За четверть века она еле снесла этот камешек. Скорей всего из желчного своего пузыря.

Собралось много народу. И огромное количество госбезопасности с милицией, готовые накинуться. Но команду все-таки не дали.

По толпе прокатывалось: «Будет Некрасов... будет Некрасов...» Показалась группа людей, в центре медленно шел Платоныч. Вот он приготовился говорить. Ни трибун, ни микрофонов, ни хотя бы матюгальника. Михайлов пробился поближе. Все замерли, чтобы расслышать. Некрасов сказал (как запомнилось Михайлову):

— Четверть века назад на этом месте фашисты расстреляли 140 тысяч мирных жителей. Среди них были русские, были украинцы. Но первые сто тысяч были евреи.

Впоследствии Михайлов навестил Бабий Яр, когда там поставили-таки эту общенациональную скульптурную группу — и подивился, как это начальство умудряется даже и с помощью интернационализма выразить свой антисемитизм.

Через некоторое время за Платоныча взялись как следует: со слежкой, прослушиванием, перлюстрацией, обыском и увольнением отовсюду (когда его исключили из партии, он говорил: «Положил партбилет — и даже удивился, какое испытал облегчение, словно гора с плеч. Оказалось, 40 лет таскал на себе гору!»), но главное — полностью закрыли возможность печататься. Его книги изымались из библиотек, а имя — изо всего, где оно было. И ведь ни в какие сахаровские комитеты не входил, никаких листовок не расклеивал — он просто чихал на Софью Власьевну, и в этом-то и состояло всё его диссидентство, для нее нестерпимое.

И он уехал. На прощание навестил друзей, побывал и в Москве, где попрощался с Михайловым.

— Понимаешь, — сказал он, — мне моей капитанской пенсии, 120 рэ, вот так бы хватило, я бы ни за что не уехал — но сознавать, что ежедневно, да просто каждую секунду могут войти и грязными своими лапами выдрать прямо из машинки то, что ты только что сочинил, — с таким сознанием жить невозможно.

А накануне отъезда, в лучших традициях романтических революционных историй, у х о д я темной ночью о т с л е ж к и на старой «Победе» друга, Платоныч увез вместе с ним куда-то во тьму свои архивы, и два седых фронтовика закопали их в надежном месте. И так и неизвестно, выкопал ли их кто-нибудь в новейшие времена...

Друг его, физик-атомщик, доктор наук Илья Владимирович Гольденфельд тоже был человек необычный. Он всё гордился: и

докторскую защитил — и в партию не вступил; и ядром занимался — и без секретности обошелся, свободно выезжал за рубеж, пока не коснулась и его опала некрасовская. И когда друг сердечный Вика уехал — немного погодя и он — вдруг, разом, всем своим обширным гнездом — снялся и улетел в Израиль. И там ему так как-то вольно зажилось, что однажды он написал Михайлову: мне кажется, что я до сих пор и не жил. Михайлов даже обиделся.

Илья с Викой там, конечно, виделись, и не раз, и гуляли по Парижу: это было любимое занятие Платоныча — знакомить заезжих приятелей со столицей мира, он и Михайлову в открытках всё обещал свою, некрасовскую, экскурсию. Он тоже воспользовался вовсю внезапной возможностью ездить, куда захочется, и если, например, Илья только собирался пересечь Средиземное море на собственной яхте, то Михайлов еле успевал удивляться, из какой еще Гонолулы напишет ему Платоныч.

А теперь лежат два друга, два закоренелых киевлянина: один — под Парижем, другой — в Иерусалиме. Правда, и Софья Власьевна не намного их пережила. Жаль, что не они — ее.

Булат как-то сказал Михайлову:

— Знаешь, что такое счастье? Это когда в Париже лежишь в номере, а перед тобой на диване растянулся Вика и — ля-ля ля-ля...

Году не хватило Платонычу с Михайловым вот так же поляклякать...

А второй диссидентский подвиг Некрасова был чисто писательский.

Накануне его 80-летия Михайлов пришел в «Общую газету» к Егору Яковлеву и сказал:

— Хотите сенсацию? Я, Михайлов, лично слышал здесь, в Москве, в начале 70-х годов, как Некрасов читал вслух два своих крамольных рассказа. С тех пор ни там, ни здесь их никто не публиковал. Пошлите своих людей в Париж, пусть свяжутся с наследниками, у них наверняка сохранилась рукопись.

К изумлению Михайлова, Егор Владимирович повернулся в кресле, потыкал в кнопки телефона и сказал в трубку:

— Париж? Юра? Привет, это Егор. Послушай — и изложил всё сказанное выше. Юрой оказался наш посол во Франции. Но, видно, Юра не справился. Либо у наследников ничего не нашлось. Оба рассказа Платоныча так и остались, таким образом, для Михайлова только в его памяти. Две совершенно криминальные новеллы, которые Платоныч сочинил з д е с ь и т о г д а, и

опубликуй он их тогда же на Западе — вполне мог послать в сторону, Парижу противоположную. Назывались они: «Ограбление века» и «Король в Нью-Йорке».

Ограбление века

Речь ведется от лица Некрасова В.П. Лауреат Сталинской премии, орденоносец-фронтовик, член КПСС и Союза писателей Украинской ССР заявился как-то утром к не менее знаменитому орденоносцу и лауреату, драматургу и академику, да что там — к самому Председателю Верховного Совета Украины Корнейчуку А.Е. Последний удивился неожиданному визиту и еще более удивился, когда Некрасов В.П. предложил ему собрать и положить на стол всё ценное, что есть в роскошной квартире малороссийского Шекспира. Попытка свести дело к шутке ни к чему не привела, так как Некрасов вытащил свой фронтовой пистолет и всем видом и тоном показал, что шутить не намерен. Корнейчук, конечно, собрал, что набралось, а набралось, хотя главные деньги лежали на книжке, всё равно немало. Среди прочего — золотой портсигар.

Некрасов сложил ценности в балетный чемоданчик и двинулся было уходить, как вдруг его осенило. Он снял с полки свежую книгу Першего письменника Украины и повелел сделать дарственную надпись ему, Некрасову, причем пометить ее завтрашним числом. Засим удалился.

Через день раздался звонок из Писательской спилки от секретаря — не то Коваленко, не то Козаченко. Смущаясь и хихикая, Коваленко чи Козаченко сообщил, что старик Евдокимыч совсем с ума зъихав, говорит, что ты его ограбил. Надо как-то реагировать, Виктор. Заходи, будь ласка.

Некрасов зашел и посоветовал дело замять, показав книжку с дарственной надписью, сделанной вчера. Так и поступили. И дело заглохло, за вопиющей нелепостью иска.

Помучив Евдокимыча некоторое время, Некрасов пригласил его на берег летнего Днепра для разговора. Там орденоносец-фронтовик лениво раскинулся в плавках на золотом приднепровском песочке и так пребывал, когда среди пляжной публики показался унылый Евдокимыч в костюме с головы до ног. Раздеться и позагорать отказался. Некрасов перешел к делу. Он обещал вернуть награбленное в обмен на две вещи: Корнейчук все эти ценности жертвует в фонд защиты мира; а во-вторых, выступает в защиту Синявского и Даниэля. Тот согласился. Но

впоследствии выполнил только первое условие. Правда, и Некрасов вернул ему не всё: золотой портсигар все-таки отложил для друга Борьки, собирателя портсигаров.

Платоныч читал оба рассказа у своих друзей Лунгиных. Когда кончил про ограбление, Михайлов не удержался:

— Платоныч, покажите портсигар.

Настолько достоверно всё было описано!

Король в Нью-Йорке

О том, как Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин проснулся в своей резиденции в Нью-Йорке, куда он прибыл на Генеральную Ассамблею ООН. Он проснулся и стал вспоминать вчерашнюю беседу с Линдоном Джонсоном, Президентом США. Как они сидели друг против друга, два почтенных джентльмена, в чем-то похожие: оба стрижены бобриком, у обоих одинаковые мешки под глазами. Линдон приглашал к задушевному разговору, Алексей же Николаевич, проклиная себя, натужно отвечал ему цитатами из выступления на Ассамблее.

Помощник Косыгина, он же приставленный чекист, лейтенант Гончаренко принес почту. Разбирая ее, Косыгин заметил на конверте слово «Керенский» и обратный адрес. В самом деле: лично Александр Федорович, то есть бывший российский премьер, приглашал нынешнего, то есть Алексея Николаевича, на рюмку чая. Косыгин отнесся к этому с раздраженным недоумением, однако письмо засело, пустило корни и вскоре заполнило голову, и он не выдержал искушения. Гончаренко повез его по адресу. За два дома Косыгин приказал ему остановиться и пошел один, заметая следы от Гончаренки. Поднялся на должный этаж и позвонил. Открыла опрятная старушка — супруга — и Алексей Николаевич был встречен лично Александром Федоровичем, препровожден в кабинет, и, слово за слово (и по рюмочке, по глоточку), беседа завязалась.

Они сидели друг против друга, два старика с одинаковыми седыми бобриками и дряблыми подглазьями. Однако в отличие от посиделок с Джонсоном, напрягаться и цитировать речи не надо было, и вскоре оба заговорили запросто:

— А Китай-то вы просрали!

— Китай, не спорю, да, просрали, но Куба — наша.

Уходить было неохота, да куда ж денешься. Угрюмо добрел советский премьер до Гончаренки, тот, не говоря худого слова, отвез восвояси. Наутро неугомонная дочь, бурно знакомящаяся

с Америкой, утащила его смотреть Ниагару. Алексей Николаевич стоял на смотровой площадке, но ни великолепие пейзажа, ни вид мощного и непрерывного низвергания огромной массы воды не трогали душу Председателя Совета Министров СССР: одна мысль томила его — до чего же ему в с ё э т о смертельно надоело.

Вот всё, что сохранила память Михайлова (не самая сильная его сторона). И я предлагаю эти записи в надежде (слабой), что все-таки найдутся где-нибудь, всплывут оригиналы двух прелестных новелл Платоныча. Ведь им уже без малого 30 лет.

3. ДЕЛО № 24

Однажды Михайлова вызвал следователь КГБ Александровский. Имя-отчество его было легко запомнить: Павел Иванович, как у Чичикова. Однако на Чичикова наш Павел Иванович никак не походил: у него было совершенно мужицкое, с грубыми чертами лицо — то есть скорее Собакевич, уж если на то пошло. Но от Собакевича наш Павел Иванович категорически отличался в сторону разнообразной и широкой образованности. Михайлов даже как-то раскланялся с ним — не где-нибудь, а в театре на Таганке, куда Павел Иванович пришел совсем не по службе, а по культурной потребности (впрочем, не исключено, что и по службе). Видели его люди и в Консерватории, в Большом зале, и в Ленкоме у Захарова. Говорят, за успешное доведение известного диссидента Вити Красина до кондиции (то есть до полного раскаяния в содеянном) был он произведен в майоры и написал будто бы диссертацию «Методика допроса по 70-й статье». Не то сначала диссертацию, а после уж в майоры.

70-я статья Уголовного кодекса в Советской России полагалась за хранение, изготовление и распространение крамольной литературы, например сочинений Солженицына. Наказание было до 7 лет лагерей плюс 5 ссылки. Приложив статью к интеллигенции, можно было всю ее немедленно отправлять на каторгу: кто же тогда не читал крамолу и не передавал товарищу? Однако начальство статью прикладывало лишь к чересчур деятельным. Поэтому в новейшие времена бывший шеф госбезопасности, прямо глядя публике в глаза, с легкой душой отчеканил:

— Мы исполняли закон. Какой был закон, такой мы и исполняли.

За этим угадывалось продолжение:

— И скажите спасибо, что прикладывали выборочно.

Наш Павел Иванович как раз и был талантливым прикладывателем 70-й статьи к нашим диссидентам. Ему мало было справлять должность, ему нужно еще было чувство справедливости и превосходства, а то иначе он выглядел бы Держимордой и душителем всего живого. Ну, какой же Павел Иванович душитель? Да Боже упаси. Да он и сам несомненно был не чужд критической мысли, но право ее выражать оставлял всецело и исключительно за начальством.

Размышляя дальше, Михайлов усматривал, что в этом пункте следователь КГБ и рядовой свободомыслящий гражданин полностью совпадали. Оба они как бы с гневом обращались к диссиденту:

— Я не глупее тебя: я не хуже тебя вижу гадости и недостатки, но я молчу, ибо заявлять себя противу начальства бесполезно. А ты заявляешь, думая, что тем самым ты храбрее меня. Но от такой храбрости нет никакой пользы, кроме вреда. Следовательно, я разумнее тебя. И твоя смелость, если покопаться, идет не от ума или совести, а от истерики, тщеславия или психопатии. Так что, как выражался штабс-капитан в записках Печорина:

— Дурак ты, братец, пошлый дурак. Ну, и пропадай, как дурак.

Михайлов был не дурак, но не сказать чтобы этим очень гордился. Хотя, по правде говоря, в разгар уникального следствия по делу № 24 ему не раз мерещилось и даже в какой-то (небольшой) степени желалось собственное попадание в каталажку. При этом больше всего его смущали не допросы следователей с их криками и угрозами, не суд и приговор, а уголовники, с которыми его вдруг да посадят. Он совершенно не представлял, сумеет ли с ними обойтиться. А следователей — нет, их он не боялся и к Павлу Ивановичу шел хотя и уныло, но бестрепетно.

Оказалось, что его позвали на очную ставку с Красиным Витей. Цель была — объяснить Михайлову, а через него многочисленным московским диссидентам, какое это особенное дело — № 24.

Формально оно касалось только «Хроники текущих событий». Это Наталья Горбаневская и Илья Габай придумали в 68-м году — выпускать регулярный бюллетень о текущих преступлениях Софьи Власьевны (так любовно именовали в обществе советскую власть) и Галины Борисовны (госбезопасность). Идея витала в воздухе и сразу стала плодотворной. «Хронику» — два-три десятка страничек на пишущей машинке — собирали по всему Союзу самые разнообразные граждане — крымские татары, питерские

студенты, московские учителя, прибалтийские священники — кого когда взяли, кого обыскали, кого сослали, арестовали, засудили, выдворили — за чтение Авторханова, за пение Галича, за письмо в газету, за анекдот о Брежневе, за баптизм, сионизм, национализм, антисоветизм... «Хроника» повела этот счет и вела его 16 лет. Сначала ее выпускала Наташа Горбаневская, пока не арестовали; затем Тоша Якобсон, пока его не выперли в Израиль; потом Шиханович, Ковалев и другие, пока не пересажали всех. Все-таки последний ее номер вышел в 84 году. А тогда, в 72-м, на 26-м выпуске, решено было капитально покончить и с «Хроникой», и с диссидентством. Завели дело № 24, взяли двух видных бунтарей — Якира и Красина (матерые сидельцы, еще сталинского призыва) и дали понять всему их обширному окружению: прекращайте и «Хронику», и вообще всё — тогда, кроме этих двух, никого не тронем, даже если у вас руки по локоть в самиздатских чернилах. Не делайте из нас кровавых жандармов. Побаловались — и хватит. Но, конечно, если не перестанете, то и мы не прекратим. Получите кровавых жандармов, раз вам так хочется. Конкретно: если выйдет 27-я «Хроника», возьмем Ирину Белогородскую. Так вот прямо и передали.

Матерых сидельцев удалось расколоть и сломать. И сидя с Михайловым на очной ставке, Красин, с несчастными глазами, внятно излагал эту жандармскую установку, упирая на то, что хватит бессмысленных жертв, что, надо сказать, было Михайлову близко. Александровский сидел в стороне, укрывшись за «Литературной газетой». Михайлов сказал:

— Витя, а что ты меня агитируешь? Ты же знаешь: я уже давно этим не занимаюсь. Ну, а раз тут у вас такое необычное следствие, всё так прямо, откровенно, возьми да изложи всё это на бумаге — кому надо, пусть сами прочтут.

Здесь Александровский встрепенулся и сказал, что мысль интересная, что надо подумать. Впоследствии она была осуществлена. Витя такое обращение написал. Кому надо собрались, прочли и заклеймили Витю презрением.

После очной ставки Павел Иванович попросил Михайлова задержаться. Он уселся на край стола и сказал:

— Есть такая притча. Попали на тот свет убийца и писатель, автор крутых детективов. Предстали они перед Господом. Он ознакомился с прегрешениями каждого, разбойника простил, а писателю назначил геенну огненную. Тот взмолился: «За что, Господи? Убийцу Ты прощаешь, а я ведь пальцем никого не тронул. Почему же мне геенна?» А Бог ему отвечает: «Твой грех

тяжелее. Тот — однажды убил и покаялся, а твои книги до сих пор ходят по земле и сеют кровь и зло». Как говорится: habent sua fata libelli.

«Книги имеют свою судьбу» — до такой степени латынь Михайлов, слава Богу, еще помнил. Но каков Павел-то Иванович! Между тем он продолжал:

— Всю эту вашу «Хронику» можно представить себе в виде большой машины. На поверхности мелькают, шумят какие-то детали, блестят шестеренки, вроде Белогородской, они первые и бросаются в глаза. Но мы-то с вами понимаем, что там, внутри, вдали от посторонних глаз, работает главный двигатель, незаметно и бесшумно, но именно он вращает эти детали и крутит шестерни, а значит, он и должен отвечать за всю машину, вы понимаете меня?

«Так-с, — подумал Михайлов. — Бочка явно катится на Тошу Якобсона. Ваши тонкие намеки ясны и слепому. Вы уже давно на Тошу глаз положили. Могли бы и без этих обиняков». Вслух же он сказал:

— А что, Павел Иванович, следствие у вас такое необычное, откровенное, прямое — может, вы так прямо и скажете, кого вы имеете в виду, а я ему передам?

Павел Иванович поколебался, помедлил, да и махнул рукой:

— А! Ладно. Так и поступим. Передайте этому человеку: нас интересует — как, когда и при каких обстоятельствах были изготовлены 11-й, 15-й и 18-й выпуски «Хроники», а фамилия человека вам хорошо известна: Михайлов.

Михайлов уставился на Александровского в полнейшем изумлении: вот так номер! Ведь это же прямо сцена из Достоевского: «А ведь убили-то вы, Родион Романыч». И в развитие этого шока, почти непроизвольно, Михайлов спросил:

— Но почему 15-й?

Александровский рассмеялся, мигом вышел и вернулся с бледной ксерокопией 15 номера «Хроники» из эмигрантского журнала «Посев». Михайлов полистал и вздохнул:

— Понятно.

И, вставая уходить, пообещал передать Михайлову вопросы Павла Ивановича.

Александровский сказал:

— Да, пожалуйста. И просьба долго не задерживать с ответом. Скажем, недели две Михайлову хватит?

Все две недели Михайлов пытался придумать какой-нибудь убедительный небанальный ответ, лишь бы не общепринятый:

— Я не буду отвечать на ваши вопросы, так как считаю следствие неправосудным.

Ничего более жалкого нельзя было придумать, тем более для Павла Ивановича. Он же тут же насмешливо спросит:

— Ну-с, и почему же оно вам кажется неправосудным?

— А потому, что я не вижу криминала.

— Так вот и помогите следствию в этом убедиться.

— Нет, я знаю, что это бесполезно.

— Если вы невиновны, никто вас судить не станет. Слава Богу, не 37-й год.

Еще и обидится. Нет, надо что-нибудь посолиднее, вроде: «Эта презумпция не в моей компетенции».

Через две недели Михайлов пришел в Лефортово (следственный изолятор КГБ) и сказал Александровскому:

— Я не стану отвечать на ваши вопросы, так как считаю это следствие неправосудным.

Александровский поморщился:

— Да я особенно и не рассчитывал. Пока свободны.

Михайлов не был героем. И 11-й и 18-й он делал потому, что больше некому было, и он делал их, внутренне чертыхаясь и досадуя на друзей, заставивших его рисковать службой, которой он дорожил. А 15-й номер «Хроники» он делал на паях, кажется, с Якобсоном, поэтому сразу и не признал.

Через некоторое время все-таки вышел 27-й выпуск. На квартиру, куда вечером принесли первые 4 экземпляра, утром нагрянули с обыском. Вошедшие прямиком направились к шкафу и выдвинули именно тот ящик, где лежал свежий оттиск. ИХ машина работала не в пример лучше. Вскоре, как и было обещано, взяли Иру Белогородскую.

Уже в горбачевские времена Михайлов, как-то проходя коридором Верховного Совета, столкнулся с Павлом Ивановичем нос к носу.

— Здравствуйте, Павел Иванович! — почему-то радостно сказал Михайлов. Однако Александровский ответного энтузиазма не проявил:

— По-моему, мы незнакомы.

— Но я же Михайлов. Помните?

— Ну, кто же не знает знаменитого Михайлова.

— Да вы же меня еще по 24-му делу вызывали.

— Нет, — сказал Павел Иванович, — по-моему, вы что-то путаете.

Повернулся и ушел!

4. ПОДВИГ МИХАЙЛОВА

Это сейчас Вячеслав Иванович Бахмин важное лицо, ответственный сотрудник МИДа, а лет 30 тому он был учеником известного колмогоровского питомника для вундеркиндов: 18-й физматшколы при МГУ, как раз когда Михайлов там работал. У Бахмина литературу вел другой педагог, но всё равно Михайлов знал Вячеслава Ивановича, поскольку тот пел у него в ансамбле. Михайлов сочинял целые мюзиклы на местные темы для колмогоровских гениев, что, кажется, не очень нравилось самому Колмогорову: все-таки Андрей Николаевич, один из первых математиков мира, интеллигент европейского класса, стремился воспитывать вкусы будущих ученых на Моцарте и Стравинском. Однако воспитанники легко делили любовь к музыке между Моцартом и Михайловым, отчего их художественный вкус только развивался.

Знакомство Бахмина с Михайловым продолжилось и далее, когда их объединило уже нечто более серьезное, чем школьные спектакли, а именно: общественное политическое негодование в конце 60-х годов.

В 1969 году исполнилось 90 лет со дня рождения Сталина и 16 — со дня его смерти. За этот последний период стало ясно, что хотя с деспотом разобрались, деспотия осталась. К славной годовщине подоспели — одно за другим — процесс Синявского—Даниэля (66 г.), крымско-татарские волнения (67 г.) и весь 68-й: процесс Гинзбурга—Галанскова, оккупация Чехословакии, демонстрация семерых на Красной площади против оккупации, первые выпуски «Хроники текущих событий», брошюра Сахарова и т.д. Ожидалось, что н а в е р х у реакционеры и мракобесы воспользуются 90-летием Усача для полной его реабилитации. Естественно, возникла идея превентивного удара. Михайлов услышал ее от Бахмина.

Заговорщиков было шестеро. Михайлов знаком был со всеми, кроме одного самого главного конспиратора — Володи. Бахмин таинственным голосом поведал, что Володя находится в надежном подмосковном месте и у него-то всё и подготавливается.

Юбилей вождя собирались отметить так. Написать листовку о безобразиях сталинщины — прежней и текущей. Приготовить несколько сотен экземпляров. Наполнить ими коробки из-под обуви, зарядив на дне простенькое выбрасывающее устройство с пружинкой. Вы небрежно идете по 2-му этажу ГУМа среди толпы озабоченных граждан и как бы невзначай забываете коробку на широких перилах. Нажимаете тайную кнопку, смешиваетесь с

толпой и через шагов двадцать с наигранным удивлением оборачиваетесь на шум: что такое? — Да вот, лежала коробка чья-то, из-под обуви, вдруг как щелкнет, и оттуда веером — представляете? — листовки против Сталина! — Ах, ах, какой ужас! — и с лицемерной досадой на лице вы пробираетесь к выходу и растворяетесь в сумерках. Приблизительно так мерещилось дело Бахмину и его команде.

Они были чрезвычайно увлечены замыслом. Некоторые из них еще в школьном возрасте расклеивали листовки по телефонным будкам. Тогда обошлось. Но теперь они все были студентами, и это уже была не игра, а то, за чем могла последовать настоящая тюрьма, без дураков. От сего сознания душа сладко замирала и неслась всё быстрее дальше: будь что будет. У таинственного Володи уже хранился первый тираж. Обсуждался еще один текст. Главным автором была Ира Каплун, девушка своевольная, черноглазая и азартная. Команда знала, что Михайлов от революционного дела отошел ради своего сочинительства, но по старой памяти и из уважения к заслугам они приносили ему свои тексты на редакцию, и он, морщась, правил пунктуацию и стиль. Морщился же он главным образом не от их грамматических ошибок, а от собственного позора: дети идут на риск, жертвуют собой для высшей цели, а он, со своим сочинительством, наскоро расставляет запятые в их не очень складной листовке — лишь бы отделаться, лишь бы уж совсем не опускаться до откровенного отказа. Поэтому Михайлов почти обрадовался, когда Ира, блестя глазами, сообщила:

— А за мной — хвост! — и поспешно добавила, — нет, нет, не беспокойтесь, я от него удрала. Я его отправила малой скоростью.

На революционном языке это означало: заметив за собой следопыта, не подавать виду, что тот замечен, спокойно войти в вагон метро (в салон автобуса, троллейбуса, трамвая), дождаться, когда хвост втянется следом внутрь, и в последний миг, прежде чем двери захлопнутся, выскочить наружу, провожая ликующим взором бледного от злобы хвоста.

Михайлов сказал:

— Схожу-ка я за сигаретами, погляжу заодно.

На углу дома стояла телефонная будка. Молодой человек в штатском что-то горячо кричал в трубку. Михайлов, проходя, придержал шаг, и до него донеслось:

— Это ужас что такое, Виктор Иваныч! Ведь она что делает! То в вагон — то обратно, то в вагон — то обратно, не знаю как успели!

Успели все-таки. Хотя и малой скоростью, но груз прибыл. Вернувшись с сигаретами, Михайлов вынужден был революционерку огорчить. А вскоре известно стало, что и Бахмин, и остальные — тоже з а с в е т и л и с ь. Кроме таинственного подмосковного Володи. За него Слава по-прежнему ручался, что там всё чисто. Однако Михайлову ясно было, что госбезопасность компанию засекла, и добраться до конспиративного Володи ей теперь плюнуть раз. Можно было со спокойной совестью отказываться от замысла, и Михайлову надлежало лишь навалиться на конспираторов всем своим авторитетом и отговорить.

До славной годовщины оставалось недели три, когда он собрал всю команду, кроме подмосковного Володи, у себя дома, и стал рисовать перед ними мрачную картину их ближайшего будущего, напирая на практическую бессмысленность затеи: и взять возьмут, и до подвига не допустят. И так уже сколько народу пересажено — так хоть за совершенные «злодеяния». А тут — ни деяния, ни свободы. И вообще, кадров всё меньше, а дела всё больше, и эдак расходовать иссякающие силы просто бездарно. Красноречив был Михайлов в этот вечер и очень просил компанию проникнуться его вескими доводами и непременно довести их до Володи из Подмосковья, которому, в силу его столь вызывающей конспиративности, достанется, может быть, больше, чем остальным.

Заговорщики приуныли, однако доводами прониклись и даже не то чтобы обещали подумать, а прямо тут же согласились подвига не совершать и 21 декабря на головы посетителей ГУМа ничего со второго этажа не обрушивать. На том и разошлись.

Славу тут же взяли в метро. Иру и Олю днем позже. А к Михайлову наутро явились с обыском.

Это был первый шмон в жизни Михайлова. Потом он пережил еще один — у себя, и три на стороне. Однако, наслушавшись рассказов от опытных людей, он был психологически готов. Но организационно — нет. Не предвидел и загодя не почистился, так что крамольной литературы накрыли у него немало.

Галину Борисовну представлял майор Бардин. Он был сух, официален, неприязнен и противен. Поэтому Михайлов, не ожидая от майора ничего хорошего, испугался и спас его портфель от сраму. За это его долго презирали родные и близкие.

У Михайлова был кот Паша. Будучи котенком, он как-то прыгнул за пролетающей птичкой с пятого этажа. Внизу его принял сугроб, но что-то такое в нем навсегда отшибло. В итоге он стал мочиться мимо надлежащей ванночки по произвольно выбранной цели. Больше всего его устраивало постельное белье,

только что принесенное из прачечной. Михайловскую кузину он навек лишил пары импортных сапог, нассав в один из них неизгладимо. Никакие ванночки с отборным, только что не золотым, песком его не соблазняли. И еще он до страсти обожал открытые портфели. Таким образом немало было погублено бумаги у Михайлова, включая школьные сочинения и тетрадь с либретто двух мюзиклов. Поэтому, заметив, как Паша устроился в полураскрытом портфеле майора Бардина, Михайлов злобно вздрогнул. В одно мгновение представилась ему вся красота предстоящего: майор, изгнав Пашку из портфеля, вдруг замирает, поводя носом. Чутье профессионала неизбежно приводит его к ядовитым следам пребывания кота среди документов. Майор наливается яростью — и тем не менее он бессилен: не обвинять же кота в злонамеренности мочеиспускания. Не орать же на молча ликующего хозяина: «Я знаю, чьих это рук дело!» — размахивая влажным портфелем. Нет, майор не станет орать. Промолчит в холодном бешенстве. Зато в финале обыска отрывисто бросит: «Собирайтесь, поедете с нами» — да и засунет в камеру дня на три, как задержанного, имеет право. Вот что, к сожалению, вытекало из Пашиного недержания. И Михайлов молча вытянул кота за шкирку из майорова портфеля, так и не дав мечте осуществиться.

Меж тем бойцы невидимого фронта готовили найденные материалы к занесению в протокол, т.е. собирали в стопочку на столе всё, что постепенно находили: книги, тетради, записки, письма. Бардин был на сортировке: всё подозрительное описывал и складировал в бумажный мешок, а всё благонамеренное отодвигал в сторону. Иногда возникали мелкие дискуссии.

Михайлов. А это зачем? Это же стихи Ахматовой.

Бардин. Да, но американское издание.

Михайлов. Ну и что, что американское? Джинсы вы же не изымаете?

Бардин. Вы предисловие читали?

Михайлов. Да вырвите его, мне не жалко.

Бардин. Ну зачем же книгу портить.

В очередь к майору один за другим выстроились на полу четыре ящика из книжного шкафа, полные бумаг. Пока майор описывал первый, Михайлов окинул взором остальные три и вдруг похолодел: в последнем ящике, с самого верху, во всем своем наивном бесстыдстве, лежал черновик юбилейной листовки, написанный рукой Иры Каплун четким ученическим почерком, — вопиющая улика, совершенно непростительная для

конспираторов: рукописные материалы прямо вели к уголовной статье, поэтому их во что бы то ни стало надлежало по получении немедленно перекатывать на машинку и предавать огню или унитазу. И вот на тебе: лежит как ни в чем не бывало, прямо сверху в четвертом ящике, и очередь неумолимо приближает улику к майору.

Михайлов подошел к столу, указал на уже проверенные папки, спросил: «Можно убирать?» — «Да, пожалуйста». Он взял папки и, пронося над четвертым ящиком, уронил нижнюю на него. «Пардон», — сказал Михайлов, и когда поднял папку, листовки сверху уже не было. С бьющимся сердцем Михайлов стал ждать разоблачения. Его не последовало. Подвиг был благополучно совершен.

Следующий обыск Михайлов пережил в начале 70-го года. Процедурой руководил симпатичный капитан с многозначительной фамилией Губинский. Видна была явная неохота, с какой он перебирал михайловские архивы и половину бы, точно, оставил, если бы не мордатый ветеран щита и меча, злой и въедливый его помощник. Увидев в руках Губинского Евангелие своего прадеда, Угодско-Заводского священника Василия Павловича Всесвятского, крестившего самого Жукова, Михайлов занервничал и попросил не трогать. Губинский листнул и отдал. Но сволочь мордатая перехватил и указал на изнанку обложки, где рукой предка аккуратно было начертано: «Евангелие свящ. Всесвятского Василия Павловича». Губинский вздохнул и опечатал. Собственноручные надписи на книгах рассматривались жандармами как самостоятельные тексты и подлежали проверке. Мало ли какой-такой «свящ.»

Славу и Иру продержали в Лефортовском следственном изоляторе КГБ несколько месяцев. Убедившись, что они отказались от замысла еще ДО ареста, их отпустили. Оле досталось хуже всего: ее отправили в Казанскую спецпсихушку (психиатрическая больница-тюрьма). После освобождения она эмигрировала во Францию. А Ира и Слава через некоторое время организовали комитет, разоблачавший советскую карательную психиатрию. На сей раз Вячеслав Иванович загремел в лагерь, честь по чести, на 4 года. Взяли бы и Иру, но она погибла в автомобильной катастрофе в 80-м году.

Что касается подмосковного Володи, то по ходу следствия выяснилось: за месяц до ареста компании главный конспиратор явился в КГБ и сдал их со всеми потрохами. Так Михайлов ни разу его и не увидел.

5. ВАЛЕРА

Он был строен, от природы изящен. У него были красивые глаза с длинными ресницами, они постоянно блестели доброжелательством и юмором. Его любили все. Бабушка, мать, родные тетки обожали его, единственного, и это Валеру не испортило. Его любил весь наш девичий пединститут, равно как и немногочисленное мужское институтское братство. Это тешило самолюбие, но ничуть не раздувало тщеславие. Профессора Валеру тоже любили. Он замечательно учился, причем науку постигал не усердием отличника, а непринужденностью таланта. Умница, эрудит, он отличался еще и той утонченной иронией, которая была непременной составной в характере образованного шестидесятника, почитающего Хармса. Ко всему прочему он был еще и просто компанейский малый и хлебосол. О-о, вот это он любил: созвать и угостить. Тут все его тетушки бывали мобилизованы. И кто только у него не кушал водочку под разнообразную закусь!

Он дружил с Визбором, с удовольствием ему подпевал и даже сам сочинил одну песенку — так, для смеху, чтоб от моды не отстать:

В нашем городе пыль,
пыль да жара.
Там я, как Гарри Пиль,
пил с утра до утра.
Там машины бегут, гуталином дымя,
Там сапожники ждут
с черной щеткой меня.
Побегу за овин — ах, какая краса!
Буду петь, как раввин... —

ну и дальше в том же духе.

Однажды он, Михайлов и Юра Коваль решили продолжить традицию знаменитых институтских капустников, душой и авторами коих еще недавно были хорошо известные люди: Юрий Визбор, Юрий Ряшенцев, Петр Фоменко. От тех знаменитых представлений осталось немало блестков в памяти народной: «Сегодня ты изменил группе — завтра ты изменишь Родине»; «облить презрением и поджечь!»; «словно по сердцу ножом жизнь детей за рубежом!»; «поздно ночью тьма окрест, к нам в ярангу вор залез. Хорошо, что он залез не в родную МТС!» Это был юмор, вышедший из Ильф-Петрова, которых Ряшенцев, например, знал наизусть.

Продолжатели традиций шутили несколько иначе. Они собрались у Валеры с неимоверным количеством пива и прохохотали всю ночь. В результате образовалась масса чудовищной чепухи.

Была там инсценировка «Трех мушкетеров», где между Д'Артаньяном и Рошфором происходил такой дуэт:

Д'Артаньян

Я иду со станции
От девушки Констанции,
От девушки Констанцьи Бонасье.

Рошфор

Напрасно шел от станции
От девушки Констанции:
Уж ей не принесешь ты монпансье!

Была экспедиция диалектологов, распевающая такой марш:

Мы с тобою не геологи,
Мы с тобою не биологи,
Мы с тобой не археологи —
Мы с тобой диалектологи.
Ни дать, ни взять
Мы ищем букву «ять».
Найдем,
Возьмем
И дальше мы пойдем.

Единственной стоящей шуткой была такая: студент проводил по полу указкой и возвещал:

— Вот здесь проходит граница между «ге» взрывным и «ге» фрикативным!

Мало того, что они заходились со смеху над этим бредом — они его еще и исполнили перед недоумевающей публикой, которая хотя и понимала, что перед нею резвятся интеллектуалы, но специфику юмора оценить не могла. Недаром же в свое время проваливались попытки публичного исполнения пиес Козьмы Пруткова.

В походы Валера хаживал, но туристом, как Визбор, не был. Все-таки спорту он предпочитал книжки. В нем уже ясно виделся аспирант—кандидат—доктор, судьба прямо выносила его на столбовую научную дорогу, и всё в нем гармонично развивалось в этом направлении, причем не было никаких сомнений, что Валерий Сергеич будет, кроме прочего, и блестящим преподавателем—доцентом—профессором.

По питейной части он был как все, особым гусарством не отличался. Числилась за ним лишь одна удалая выходка: в час пирушки холостой, будучи в восторге, вдруг вознес он одним махом тяжелую тумбочку на открытый подоконник третьего этажа, а друг его Илья Габай, завершая замысел, тут же кулаком

отправил ее за пределы помещения. Слава Богу, никого в этот момент внизу не было.

Он закончил институт всеобщим любимцем с обширным кругом друзей и наилучшими перспективами.

Конечно, он был в курсе всей нашей тогдашней общественной жизни, но от рискованного участия в ней был хорошо отгорожен Уралом и всей Сибирью: он работал на Сахалине, в пединституте.

Он был счастлив тогда. Кумир студентов — и уже и кандидат, и доцент. Областное телевидение в нем души не чает. И семейно благополучен: подрастают две обожаемые дочки. Обозначилась и главная тема научных занятий: польская литература. Польская! С ее гордым вольнолюбием.

Московский круг вел с ним оживленную переписку. Раза два в году Валера навещал родную столицу, обнимал матушку с тетушками, созывал друзей и сходу погружался в нарастающие новости.

А они становились всё тревожнее. Процесс писателей (Синявский и Даниэль); съезд писателей и небывалый шум вокруг него; первый арест Ильи Габая; первые демонстрации на «Пушке». И всем этим Валера жил, дышал, каждый раз набирал полный чемодан всяческой крамолы, да и там, на Сахалине, где «Голос Америки» ловился, как родной, он постоянно был в курсе. Но на Сахалине он все-таки как бы сидел на галерке, а всё представление шло в Москве, и ему оставалось лишь взволнованно переживать. Впрочем, у себя, на Сахалине, перед обширным кругом новых знакомых и студентов он мыслей своих не скрывал и содержимым полного чемодана делился. В провинциальной дали это ему вполне сходило с рук. «Имеет сельская свобода свои счастливые права».

В 68-м году Михайлова за написание и подписание нескольких резких обращений, разошедшихся и у нас в самиздате, и широко оглашенных у них, за рубежом, начали выпирать из школы, из его замечательного университетского лицея, где он вел литературу и историю среди молодых физико-математических гениев. 5 марта, как раз в годовщину смерти Сталина, он предстал перед завмосгороно Асеевым, говорившим «блага́» и «средства́», который потребовал от Михайлова публично отказаться от всех своих подписей. Затем его песочили и у себя, в школе (со слезами), и в парткоме МГУ (вежливо — «вы же интеллигентный человек, должны понять»). И он подал на увольнение по собственному желанию.

Тем временем расцветала Пражская весна, на которую наваливалась московская зима. В начале года засудили Галансков, Гинзбурга и Лашкову за книгу о процессе Синявского—Даниэля.

По весне вдруг объявилась совершенно диссидентская брошюра самого отца водородной бомбы академика Сахарова. Лето проходило для Михайлова в напряженном ожидании: войдут они в Чехословакию или не войдут? Если нет — тогда есть надежда, что вообще всё переменится и возьмут обратно в школу.

В начале августа арестовали — уже в третий раз — Толю Марченко, самого непримиримого из московских диссидентов. Суд назначили на 21-е. Утром «судного дня» советские танки поехали по Праге. Под их аккомпанемент Толя получил год «за нарушение паспортного режима», и ежу было ясно, что на зоне срок продлят (что и произошло). Когда его уводили, Зампира Асанова, крымская татарка, бросила ему цветы.

Против вторжения решили протестовать, и не письмом, а демонстрацией. Михайлов знал, но сам не собирался и других отговаривал. Утром 25-го к нему забежал Вадик Делоне, самый красивый и молодой из московских диссидентов. Узнав, что в полдень наши собираются на Красной площади у Лобного места, улыбнулся и сказал:

— Ну, пгощай, стагик, чегез тги года увидимся.

И пошел на площадь. И через три года они увиделись. Не раньше.

Итак, осенью 68-го года Михайлов оказался без работы и сильно нервничал. Тут еще его позвали на Лубянку и вдобавок к его безработице запретили (т.е. порекомендовали не) выступать с концертами под гитару, чем он широко занимался до того. Изо всех источников жизни ему оставлялось сотрудничество с театрами и кино, куда он, со своим антисоветским именем, никуда и соваться-то не мог. Так что позже пришлось обзавестись псевдонимом. Но это позже.

Тут-то и донеслись до него черные вести с Сахалина. Загремел наш Валера, загремел по всей форме: с угрозами, распеканиями, общественным осуждением и последующим увольнением. Не вынесла Лубянка его московских знакомств с известными диссидентами и дала отмашку своим сахалинским коллегам — те озверели и накинулись.

Валеру вызвали и положили перед ним подробный донос от близкого к нему человека — о том, что и когда Валера говорил, что и у кого взял в Москве почитать и кому давал на Сахалине и т.п. Хранение Валера отчасти подтвердил, распространение не отрицал. И кончилась его сахалинская идиллия.

Осенью семья возвратилась в Москву. Сразу по приезде Валера предупредил свой обширный круг, что вынужден воздерживаться

от встреч, так как находится под пристальным наблюдением Лубянки (так она и не оставила его своим вниманием до самой его гибели). Это вполне совпадало и с положением Михайлова, так что они увиделись нескоро. Но не только поэтому.

Дошли до Москвы слухи, будто во всей этой сахалинской истории Валера повел себя не лучшим образом, и повинился, и покаялся, а главное — **назвал** тех, кому давал читать крамольные книжки. То есть не то чтобы предал (о н и ведь и без того прекрасно знали, кому давал книжки), но и не защитил.

Это был для Валеры страшный удар, сильнее, чем сама катастрофа. И собственно слухи, и то, что некоторые друзья в них поверили.

Среди них был и Михайлов. Нельзя сказать, чтобы это известие его поразило: он и сам не был героем, и от других геройства не требовал — о н и и не таких обламывали. И он не собирался ни судить Валеру, ни винить. Но он и не пришел к нему. Не помог ему размыкать это дело. Да и сам Михайлов был кругом в опале. Не до Валеры ему было. Вот и не хватило души для друга.

Преподавать Валере не дали. Он работал в Иностранной библиотеке научным сотрудником. Но всё же раздобыл себе два часа в неделю в Библиотечном институте на краю Москвы, куда одной езды было полтора часа. Зато любимое дело, можно дышать.

Но тут в Иностранку пришла директором дочь Косыгина и вычистила, дрянь, всех бывших диссидентов. Всё мало им было, людоедам. И у Валеры рухнуло всё. Он перешел в Книжную палату. Но это была уже не работа. Началась агония.

Он еще в Иностранке начал попивать. То есть он и раньше не уклонялся, но теперь всё больше и чаще. Они с Михайловым к тому времени возобновили отношения и не часто, но виделись, как бы условившись не трогать тему. Впрочем, Валера каждую минуту был готов к разъяснению. И конечно, до разъяснения дело дошло.

Однажды они с Михайловым поехали во Фрязино навестить могилу Геры Фельдблюма, может быть, самого яркого из них, в 35 лет в одночасье съеденного лейкемией. С собой, разумеется, было. Пошли, конечно, студенческие воспоминания. Как Гера сдавал латынь, не зная ни аза, а сдал. Как Гера всю армию провел на футбольном поле. Как Гера играл на виолончели, а Фоменко (тот самый, великий Петр Фоменко) на скрипке. Как Гера пришел голодный в общежитие, похитил полную кастрюлю чужого киселя и, сказав Михайлову: «Ты можешь меня презирать» — взял ее за уши и приник, пока не опустошил. Как Гера подошел к Михайлову и, нарочито заикаясь, сказал: «К-как-ким ты б-был, т-так-

ким остался» — и залился счастливым смехом. Вот и теперь Михайлов с Валерой счастливо заливались, как прежде, и им было хорошо.

Всю обратную электричку они, обнявшись, простояли в тамбуре, и Валера, в слезах и ярости, рассказывал Михайлову, как там, на Сахалине, 10 лет тому назад, о н и вызвали его и положили перед ним полный перечень, что и кому он давал читать, и как он, Валера, настаивал на том, что НЕ ДАВАЛ, а — МОГ ДАВАТЬ, а это, согласитесь, разница, и как, выйдя от них, тут же и обошел всех шестерых, кто был упомянут в перечне, и всё им рассказал, как есть, чтобы они в случае чего легко сослались на это его МОГ. Мало ли что МОГ. МОГ, но не давал. И Валера всё плакал и страшно клял тех, кто так опозорил его. И Михайлов всю электричку твердил ему: плюнь, разотри, забудь, это всё НА НИХ, а не на тебе, глупо же ИЗ-ЗА НИХ расстраиваться, доставлять им такое удовольствие — но в то же время он понимал, что это уже тысяча первый рассказ про одно и то же, что Валера с этим встает и с этим ложится, и что это навсегда. До гробовой доски.

А к тому и шло. Девочки из Книжной палаты, где он числился, из симпатии к нему, по сути, работали за него, пока он пропадал. Где? Да просто: пропадал, и всё. Однажды он позвонил Михайлову: вот веревка, жить надоело, прощай. — Подожди, я приеду.

Михайлов приехал, позвонил, дверь открылась. На пороге стоял человек без лица: так оно плавало, подергивалось, разбегалось. Какой-то чудовищный блестящий лиловый нос между двух багровых волдырей с утонувшими в них жидкими исчезающими глазами. Губы, кривясь, еле выговорили: здравствуй. Это был бывший любимец института, красавец с нежными ресницами, наш Валера собственной персоной — страшный автошарж.

Вскоре с циррозом печени был он положен в клинику и там, ночью, мечась по подушке, сорвал капельницу, и спасти его не успели.

Он лежал спокойный, помолодевший, со свежим прежним лицом и длинными ресницами, без единой страдальческой складки, словно и не было ничего — с легким сердцем уснувший человек, наш Валера.

А теперь бывший шеф КГБ сидит в телевизоре и говорит с выражением сдержанного достоинства:

— Мы исполняли закон. Какой был закон, такой мы и исполняли. Добросовестно и честно.

Как и положено палачам.

ВРЕМЕНЕМ ТЕМ...

Я еду к бабушке, я ростом невелик.
Начало лета. Стук колес подробный.
Стояло утро. Шаркал проводник
по коридору, веяло ознобом
от стекол, от деревьев, желтых стен
прекрасно-желтых зданий станционных.
Я просыпался, наступала лень
прекрасная. В сознанье полусонном
я помню мамин аккуратный рот,
слова смешные, головокруженье,
и шорох платья, и душистый мед
ее волос, и в тамбуре движенье.
Стояло утро. Мы на полпути
до белозубой украинской речи.
И я впервые не хочу расти,
хочу быть маленьким и ехать бесконечно.

* * *

В тысяча девятьсот семьдесят втором году,
В сентябре, в ночь на среду,
На двадцать седьмое число,
Как снег на голову — выпал снег, —
Белоснежный, правдивый...
Но все, да, увы, все, и без исключения,
Вместо того, чтобы собраться
И как-то обсудить этот факт,
Я бы даже сказал — приключение, —
Сделали вид, будто ничего такого не произошло,
И пошли на работу, учебу
И в детские учрежденья.

Аркадий ПАХОМОВ — родился в 1944 году. Учился на филологическом факультете МГУ. Публиковался в «Знамени», «Континенте», альманахе «Поэзия».

И забыли б об этом,
Так уж бывало не раз,
И на этот раз так же бы все и произошло,
Если бы не нашелся один умный и трезвый человек
И не написал бы об этом
Вполне приличное стихотворение.

* * *

Осенним листьям следует кружить,
и расправлять морщинистое небо,
и, завершив в пространстве виражи,
ложиться навзничь бережно и немо.

Затем им должно затвердить урок
о сущности продуктов эфемерных,
с осадками смешаться равномерно
и набираться силы тихо, мирно,
чтобы из них произошел росток.

Так поступать пристало им судьбой,
однако же резонно их стремленье
откладывать прекрасное паренье
и продлевать, и пестовать мгновенья
ушедшей жизни, начатой весной.

* * *

Закутан в плащ, я знаю — я не прав,
я сухо отстраняю ветви хвои.
А ты, легко на цыпочки привстав,
срываешь лист губами. Нам с тобою

свежо в пустынном, смешанном лесу,
умеющем скользить глубокой тенью
по моему, по твоему лицу,
и с плеч на грудь, и дальше на колени.

Плотнее запахнув полу плаща,
в лесу, наполненном холодным светом,
я ничего не смог пообещать
тебе, но ты не думаешь об этом.

Да, я не прав, я не имею сил
на влажность глаз и забытья величье,
за всё, что без прощения простил,
раскинуть руки недоступно нынче.

Открытый, необузданный размер,
свободы ветра явная примета —
прошла весна, теперь проходит лето,
вот мертвый лист — живой тому пример.

Временем тем...

Временем тем, когда был я как раз возле окон,
Ждал я прихода любимой и улицу вплоть до угла
Видел, тем временем странным, не знающим сроков,
Временем тем, как любимая не приходила, не шла.

Возле окна проносили венок похоронный,
Люди, одетые в черное, тихо касались земли,
Будто боялись осыпать лавровую крону,
Возле окна проносили венок, пронесли...

Не различал я людей этих стертые лица,
Лица, которым неведомы были уроки судьбы,
Взгляды безмолвней пустыни, бесцветнее ситца,
Выцвели взгляды и лица, я не различал их, забыл.

Нет, мне ничто не казалось таинственным знаком,
Шторы задернув, проник я в их мягкую тьму,
Мысль беспокойная одолевала, однако,
Только о ней никогда не скажу, ни за что, никому.

Так, оставаясь один, размышляя над этим виденьем,
Долго любимую ждал и губами бескровными, ртом
Все про себя повторял я, нечленораздельно,
Временем тем, возле окон, — не мог различить я —
ничто.

* * *

Je ne parlerai, je ne penserai rien *.
Arthur Rimbaud

А когда катерок прислонился к причалу кормой,
Я пошел на озера, где, слышал я, водятся утки,
шутки ради взошел на один из ближайших холмов,
а потом был не рад этой шутке.

Все, что было направо, и все, что лежало вдали,
если прямо смотреть, если руки послать к горизонту,
называлось закатом и знать не желало земли,
и пылало, и плыло, смещая расплывчатый контур.

Я решил, что сейчас все идет к первородной поэме
оснащения ночи, и я, кто причастен извне
к величайшей загадке, обязан постичь это время,
эту редкую честь, разрешенную смертному, мне.

Я смешался с природой: с листвой и воздушною массой,
я стал тенью и камнем, безликим и глухонемым,
я впитал в себя все, что возможно охватывать глазом,
и познал посвящение вечера в траурный дым.

Я увидел, как парус заброшенный маленькой лодки,
откликаясь на луч, что скользил параллельно земле,
треугольною тенью накрыл водоем без остатка
и распущенной ряби разгладил кочующий след.

Я узнал, как холмы начинают качаться и падать,
и мелеть на глазах, а потом исчезать навсегда,
как безропотно лес отдает сокровенную подать
и зеленый порыв сокрушает глухая слюда.

А закат в это время освоил пустынное место,
отдуваясь, ворча, из себя выпускал он валы,
и они надувались тугим и резиновым тестом,
и ползли наугад наподобие едкой смолы.

Мне казалось, вот-вот образуется брешь в мирозданье,
и, прожженная, рухнет тогда горизонта стена,
упадет небосвод, и начнется слепое скитанье
безысходных трущоб по вселенной, не знающей дна.

---

* Ни мысли в голове, ни слова на устах.
Артюр Рембо

Я уже не могу описать ни малейшего звука,
помню хлопанье крыльев, невидимый рокот воды,
крик животных и птиц, помню невероятную муку
шелестящей листвы при явлении первой звезды.

А тем временем шар опустился на край горизонта,
и тогда я почувствовал, как откровенно легко
пошатнулась земля и рванулась всем корпусом,
фронтом,
перевешенным грузом в ночное ушла молоко.

Наступила пора невесомого вольного мира,
протяженного воздуха — мне показалось, что я
стал парящим крылом, стал дыханием, сном
равномерным
темных волн, что прическу любимой колышут, храня.

Между тем леденели закатные душные горы,
темнота индевела, являлся законный конец,
и суконная ночь опускала густые подзоры
на широкую даль, опадавшую медленно ниц.

Оставалась минута, и я бы опомнился, чтобы
заниматься делами, наметить удобный ночлег,
выбрать место охоты, а также на случай озноба
для костра заготовить валежник. Затем без помех

выпить флягу вина и, укрывшись плащом, до рассвета
подремать под хрустящего пламени звук,
иногда, поднимаясь, сухие подбрасывать ветви
в белозубый огонь, чтобы он не поник, не потух.

Но случилось иначе, поскольку внезапно оттуда,
где тускнел полумесяцем хрупкий закатный мазок,
вдруг, прорвав облаков серобокую жирную груду,
прянул огненный столб, как гигантский предсмертный
цветок.

Это было, как птиц погибающий яростный клекот,
так, как в горло ножом... Или нет... не могу, не могу,
не могу объяснить, не умею, не стану, и все тут,
никогда не смогу — не хватает ни легких, ни губ.

О, высокая ясность свидетеля смерти, и всё ж
я бы проклял себя, если б стал дожидаться, покуда
так случится, — я бросил ружье, потерял патронташ,
и охотничье платье я в клочья порвал безрассудно.

Я пустился с холма, я бежал — так во веки веков
невозможно бежать, я ругался, я падал стократно...
Я спустился к причалу и там упросил рыбаков,
чтоб меня увезли, чтобы мне разрешили обратно.

ЗАГАДКА СУДЬБЫ ИГОРЯ ВАЦЕТИСА

Об исчезновении на пути из мирной Женевы через совсем не мирную Боснию в довольно спокойный город Скопье (Македония) российского (тогда ещё советского) журналиста Игоря Вацетиса и наша, и зарубежная пресса писали достаточно много. Не были обойдены вниманием и достаточно скандальные, порой просто сенсационные встречи Вацетиса с разными людьми, предшествовавшие исчезновению. Результатами этих встреч были поражавшие воображение интервью, подхваченные западной (к великому сожалению, по большей части — жёлтой!) прессой. Удивления достойно, как люди, не будучи замеченными ни в чём сколько-нибудь интересном ни до интервью, ни после, открывались Игорю с такой полной, можно сказать — бесстыдной, откровенностью, что на время это делало их предметом напряжённого внимания всей читающей части общества в цивилизованных странах. Нам, россиянам, как всегда доставались, если можно так выразиться, «крохи с барского стола». Не более чем одна сотая (не преувеличиваю!) часть работ Игоря Вацетиса попала в нашу печать. Пишу это не для упрёка. Запретный плод, как известно, сладок. Может быть, именно вследствие некоторой таинственности, не полной разрешённости, журналистские работы и само имя Вацетиса стали столь у нас популярны. Жаль только, что — опять же, как всегда, — популярность Игоря мы приняли из рук Запада. Остаётся надеяться, что, раз приняв, мы её, эту популярность Игоря, из рук своих уже не выпустим.

Факты его исчезновения общеизвестны. Но, может быть, стоит для сегодняшней (прямо скажем — далеко неординарной публикации) их кратко перечислить:

1991 год.

17 февраля. Вацетис встречается в Париже с Кондаковым.

18 февраля. Манифестация промусульмански настроенных жителей парижских окраин на Place de la Concorde против войны в Ираке. Вацетис и Кондаков наблюдают манифестацию.

21 февраля. Президент Миттеран объявляет о повышенных мерах безопасности в связи с возможными актами терроризма. Вацетис встречается с Кондаковым в кафе «Des deux Magot».

22 февраля. Во время спектакля «La Tempête» в парижском театре «Bouff du Nord» происходит скандал между Вацетисом и

Кондаковым. Кондаков отказывается от интервью, заявляя, что ему «нечего сказать». Того же — 22, ночью, Кондаков вылетает в Москву и оттуда в Новосибирск.

23 февраля. В газете «Известия» опубликована статья о многотысячном митинге в Лужниках. Вацетис покупает газету и вместе с ней выезжает в Женеву.

23 февраля—11 марта. Вацетис запирается на вилле «Les Crêtes» и пишет неизвестно что. За 18 дней исписано более 300 (!) страниц.

12 марта. Все тексты, помещённые в 8 пакетов, отправлены с оказией в Москву на адрес А. Симонова. Того же — 12, вечером, 4 пакета из 8 не пропущены таможней в Москве.

16 марта. Вацетис собирается взять интервью у Антуана Дмитриевича, издателя и националиста. Того же — 16, вечером, Дмитриевич, узнав, что Вацетис собирается взять у него интервью, вылетает в Загреб.

18 марта. Вацетис в Загребе около 16 часов покидает отель «Esplanada» и до 2-х часов ночи общается с подонками общества, надеясь взять интервью.

19 марта. Посылает телеграмму в Париж знакомому с сообщением, что вернётся не позднее, чем через неделю. ЭТО БЫЛО ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ ОТ НЕГО.

21 марта. По свидетельству портье отеля «Esplanada», Вацетис покупает билет на поезд Загреб—Скопье через Сараево. Прощаясь, говорит: «Хочу поглядеть, что там у братьев-славян» и берёт у портье интервью. ЭТО БЫЛО ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ ИГОРЯ. В Скопье его ожидала полиция, но поезд пришёл без Вацетиса.

Таковы факты. Но всем давно уже пора понять, что факты эти НЕ ИСЧЕРПЫВАЮТ судьбу и труды Игоря Вячеславовича Вацетиса. И то, и другое (и судьба, и труды) остаются загадкой для нас — загадкой тревожащей и манящей. На родине исчезнувшего журналиста мало кто знает, что Игорем написаны несколько романов, громадное количество рассказов, повестей и стихов. Две его пьесы: «Parbleu» (Чёрт побери) и «Попытка провокации» переведены на несколько европейских языков. «Попытка провокации» была поставлена в Польше на камерной сцене варшавского театра «Закостельни». Спектакль и пьеса были удостоены специального приза «За неожиданность в постановке вопроса» Польской Ассоциацией Критиков в защиту современной драматургии от нападок (ПАК ЗСДоН). В рейтинге пьес, «освеживших европейскую сцену», который открывают такие имена, как Бруно

Шульц, Виткевич и Гомбрович, Игорь Вацетис замыкает первую десятку, переместившись после «Parbleu» сразу со 162-го места на 11-е.

Для россиян же, повторюсь, И. Вацетис остаётся недосягаемой туманной неопределённостью.

Чем могу помочь я, человек другого поколения, поколения шестидесятников? Прежде всего важным для установления правды признанием: это я был тем человеком, которому Вацетис адресовал свою последнюю телеграмму. Тогда, в 91-м, я играл в Париже в театре Bobigny. Мы частенько встречались с Игорем. Несколько раз он приходил к нам на репетиции. Всегда весёлый, оживлённый, с громадным количеством маленьких бутылочек водки и коньяка, рассованных по всем карманам. Он угощал водкой молодых актрис, шутил и очень много пил сам, никогда при этом не пьянея. Я останавливал его, а он отвечал обычно: «Нет, дядя Серёжа, я свою дозу знаю. Только доз у меня несметное количество».

Дядей Серёжей он называл меня с детства (с его детства, разумеется, а не с моего). Я дружил с его отцом — Славой Вацетисом, замечательным рижским искусствоведом и историком янтаря. Ещё в пятидесятые я играл в театре Ленинградского университета, а Вацетис-старший пел в хоре. Вольнолюбивый характер рано или поздно должен был привести Славу в тюрьму. И это случилось. Ещё подростком Игорь узнал, что такое очередь к тюремному окошку. Он решил во что бы то ни стало вызволить отца. Ему удалось окончить школу милиции и внедриться в КГБ. Кстати, отсюда его тонкое знание психологии общения следователя и подследственного, или вербуемого. Тут грянула перестройка, и отец Игоря был полностью реабилитирован. Ему предстояло стать во главе всего янтарного промысла республики, но... здоровье было безвозвратно подорвано. После смерти отца Игорь сперва стал пить, а потом писать, писать, писать.

Несколько раз мы говорили с ним долго и серьёзно. Могу гордиться тем, что он ценил во мне не только актёра, но, как он говорил — «человека театра». Мне он доверил свои первые драматические опыты. Был терпелив, выслушивая мою критику. Должен признаться, я не сразу осознал, с талантом какого масштаба я имею дело. Много было в его писаниях чепухи. Масса чепухи. Но порой мелькали такие куски, что невольно задумывался я — не бросить ли всё посреди дороги? Не уступить ли дорогу молодёжи? Когда я вполне оценил его, он был уже далеко — работал то в Скандинавии, то в Германии.

89-й год стал для него переломным. Он поселился в Париже и стал с неимоверной скоростью брать у всех интервью. По-настоящему овладел французским и стал писать на нём. На русском же писал только ночами — романы, повести, пьесы. Я был первым читателем всего, что он создавал. Без конца он слал мне пакеты с рукописями. Я уже не справлялся. Он писал и отсылал быстрее, чем я читал. Да, честно сказать, ведь были у меня и свои дела, кроме этого чтения, — была работа и была личная жизнь. Короче — теперь, когда его нет, у меня лежит громадный неразобранный его архив. Там очень много неоконченного. Он присылал романы отдельными главами, группами глав. Советовался со мной. Бросал. Снова возвращался к начатому и продолжал.

Сегодня я рискую предложить Вашему вниманию, уважаемый читатель, первые части романа «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ». Это роман о КГБ, который так хорошо, так обстоятельно знал автор. Роман не окончен. Да? Я не уверен в этом! Я абсолютно не уверен в том, что Игорь Вацетис погиб. Напротив — я уверен в обратном. Я знаю этот удивительный характер! Право распоряжаться рукописями у меня есть: много-много раз он говорил мне по телефону: «Дядя Серёжа, делай с этим г..... всё, что захочешь».

Я хочу познакомить читателей с этим автором. Хочу познакомить с той невероятной паутиной отношений, которую описал Игорь в романе. Я свято верю, что роман окончен! Игорь жив и рано или поздно объявится! Тогда — я верю, верю — он сам выложит на редакторский стол продолжение, которого с таким нетерпением будут ждать читатели. А я... может быть, тогда я рискну рассказать всю правду, всё, что знаю о грешной и поразительной жизни автора этого романа и о чём нынче умалчиваю, в силу природной деликатности.

Москва, сентябрь 96 г.

P.S. Рукопись «Обстоятельств образа действия» датирована 81—82-м гг.

Игорь ВАЦЕТИС

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ

Роман

Глава первая

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

Внешне бумага была самая обычная— почтовая, в линейку, 9 1/4 х 12 3/ 4, без водяных знаков. Двойной лист. Исписано две с половиной страницы. Полторы страницы пустые. Но всё же стоило проверить и саму бумагу. Лейтенант Никитин зашёл к криминалистам.

Нэлли Кожевникова провела осмотр под сильной лупой, потом под микроскопом. Без результата. Впрочем, Никитин и не ждал тут открытий — это было бы слишком элементарно. На всякий случай прогладили утюгом. Тоже без результата. Рентген — экспертизу пришлось отложить — аппаратура была на профилактике, 3-я пятница месяца. Никитин поморщился — отметил свою забывчивость. Надо было помнить про профилактику и зайти вчера, а он занялся другими делами. Нехорошо! Потеряны дни! Варианты? Быстро!

Первый! Поехать к медикам!

Отпадает — нельзя показать секретный документ.

Второй! Поехать в лабораторию в Москву! Так! Быстро! Решение?

Сейчас 13.40. Утренний поезд уже ушел. Машина! Нет, только к вечеру доберемся. Самолёт! Так! Где расписание? Быстро! 16.50. Ну, считай 17. В Москве в 18. Час до города. Лабораторию закроют. Спецразрешение не успеть получить. Отпадает!

Третий! Повезти Нэлли и Миронова в институт рентгенологии, отстранить тамошних специалистов и провести закрытую рентгенэкспертизу. Для этого надо обучить Нэлли и Миронова работе с ихней аппаратурой, отсечь возможность контроля и дублирования со стороны ихнего начальства. Можно! Но сложно! Не успеть, и излишек шума. Отпадает!

Четвертый!.. Дальше!

Никитин думал очень быстро, всего несколько секунд, и вот уже готов точный ответ: ничего сделать нельзя, придется отложить до понедельника.

Нэлли четкими движениями бритвы, оправленной в костяную рукоятку, отсекла небольшую (1 см ширины) полоску чистой части письма, рассекла ее на пять долей. Совершенно одинаковые квадратики.

Первый сожгли. Горение обычное — по времени, по яркости, по цвету пламени. По вкусу пепла.

Второй был опущен в натуральный крепкий кофе. Намок, но не растворился.

Третий положили в сильный раствор проявителя, ящичек закупорили на сутки, и Никитин поставил на нём свою контрольку. Нэлли поместила ящичек в отделение специального герметичного шкафа и на дверцу наложила свою контрольку.

Два оставшихся квадратика Нэлли ухватила длинным пинцетом, положила квадратики на стекла, сверху придавила другими стеклами, стиснула металлическими зажимами с резиновыми наконечниками. Потом она приклеила на стекло полоску бумаги и написала на ней: «НИКИТИН 4/V. Запас».

— 14.00,— сказал Никитин. — Значит, завтра в 14.00 я зайду, и вскроем ящик.

— Ага, — сказала Нэлли.

Никитин вышел из кабинетика. Цокая новенькими каблуками, он стремительно и вместе с тем без излишней поспешности двинулся по коридору.

— Андрей Александрович!

Никитин оглянулся. Нэлли стояла в дверях.

— Так ведь... — сказала Нэлли и замолкла, хлопая громадными круглыми глазами на широком лице.

Никитин скрипнул зубами и покраснел. Он сразу понял всё. Какая оплошность! Вторая подряд! Завтра лаборатория выходная — извлечь пробу можно будет только в понедельник. Раствор разъест материал. Всё зря. Потеряны дорогие минуты. Каблуки процокали по паркету обратно.

Нэлли сняла контрольку, достала ящичек. Никитин ликвидировал свою контрольку, и опять явился на свет бачок с проявителем, а в нем бумажка. На всякий случай глянули в микроскоп, но ничего не обнаружили.

И в третий раз лицо Никитина едва заметно покривилось — изуродованное письмо с отрезанной полоской лежало на столе. Он забыл его! Совсем нехорошо. Никитин достал из кармана

пакет из мало прозрачного полиэтилена. Нэлли протянула ему письмо. Пакет приоткрыл свою узкую пасть. Пш-ш-ш-ак! Письмо легло на дно.

— До понедельника, лейтенант! — сказал лейтенант Никитин.

Нэлли вскинула голову и привстала.

Глава вторая

РАБОТА С ЛЮДЬМИ

«Маслом кашу...» — сказал сам себе лейтенант Никитин и снял телефонную трубку.

Солнце заливало кабинет, ломилось в стёкла, плясало отсветами на полированной мебели.

Трубку взяли после седьмого гудка.

— Алло!

— День добрый, Михаил Зиновьевич! Евгений Михайлович беспокоит.

— Да, да, слушаю. Здравствуйте.

— Как у нас, всё нормально? Задержечек, опозданий не намечается? Я, собственно, напомнить...

— Да, без четверти четыре.

— Ну, спасибо. Поздравляю, Михаил Зиновьевич! У дочурки сегодня ведь день рождения? Помню! Я потому звоню, чтоб без опозданий — вам ведь дома пораньше надо быть. Так что поздравляю!

— Спасибо, Евгений Михайлович.

— Подарок за мной.... Вы на метро поедете?

— Да... наверное, на метро.

— Конечно. Успеете. Сейчас 14.48. Нормально успеете.

— Угу...

— Всего доброго!

— Спасибо.

Никитин достал письмо, аккуратно распял его на столе. «С Фесенкой мы всё дальше и дальше. Вроде кошка никакая не пробегала, а охлаждение есть и уже заметно обоим. Мне кажется, на него давит какой-то груз. У него беспокойные глаза. И руки. Но в разговоре всё отрицает. Говорит, как всегда — Не бери в голову! С Лизой тоже контакта нет. Все они чего-то суетятся, не знают покоя».

Никитин вздохнул и отложил письмо.

Он запер дверь кабинета и снял штаны.

Руки аккуратно привычно пристраивали брюки на вешалку в шкафу, а глаза косили в письмо на столе (Никитин одинаково хорошо видел далеко и близко):

«С Лизой тоже контакта нет»...

Рванули дверь.

Никитин вздрогнул.

Постучали.

— Кто там?

— Откройте, Никитин! — окнул голос подполковника Громова.

— Одну минуточку.

— В чем дело? Немедленно открыть! Почему на замке? Быстро!

Дверь рвали. Подполковник Владимир Иванович Громов был крут и скор на выводы. Раздумывать было некогда. Никитин распахнул дверь. Громов вбежал в комнату, не поворачивая огромной лысой головы, установленной на плечах напрямую, без применения шеи.

— Кто позволил? — грозно окал на ходу Громов. — Под замком допрашивать запрещено. А одному сидеть запершись — погано. Ты что, онанист?

У окна подполковник развернулся всем телом, с трудом повернул тяжелую голову... и осекся...

— Ондрей! — сказал мягко, по-отечески. — Ты почему без штанов?

— У меня встреча по письму... надо в штатском...

— Это двенадцать дробь одиннадцать?

— Да, двенадцать дробь одиннадцать.

Громов погряз в глубоком кожаном кресле:

— Закройте дверь, Никитин.

Никитин двинулся к дверям — как был, в носках, не надевая ботинок. Громов сказал:

— Сними китель, Ондрей, а то больно глупо глядеть.

Не объективен, совсем не объективен был на этот раз подполковник Громов и сам это знал. Вовсе не глупо выглядел лейтенант Никитин даже без штанов и в кителе. Полный набор ножных мышц всех наименований. Ноги в меру волосатые, в меру мужественно кривоватые. Живот плоский. Кожа гладкая, в меру жирная. Даже не в меру, а очень жирная. Или нет, в меру, нормальная кожа. Кожа, что надо. По крайней мере, не сухая, как у подполковника. Не глупо, а отлично выглядел Никитин. Отлично!

Громов сидел неподвижно, утонув в кресле по плечи включительно, и смотрел, как Никитин переодевается. Подполковник

потел под прямыми лучами солнца, пучками жалившими сквозь линзу неровного оконного стекла. Лысина сверкала, ореолила. Складки лица подполковника набрякли, и выражение лица стало печальным.

— Ты каким спортом занимаешься?

— Теннис, Владимир Иванович. — Никитин заправлял низ свежей сорочки под брюки, натягивал, разглаживал ее. — И утром сорок минут пробежка.

— Сорок... — Громов горестно покачал головой и посмотрел на зеленый арбуз своего живота под кителем. — Андрей Александрович, я вот что... мне тут... предстоит возглавить большую работу... проверка по всему отделу... отчет по идеологической обстановке... приказ... сверху спустили... по сравнению с прошлым годом по всем показателям...

— Это сентябрь? — Никитин вывязывал галстук.

— И октябрь — до праздников надо кончить. Мне тут где-то через недельку надо доложить о составе группы.

Громов сам себе удивлялся — откуда этот просительный тон? Почему вообще он пришёл сюда, а не вызвал Никитина к себе, не сообщил коротко и по-деловому, что забирает его к себе в группу. Конечно, тут есть загвоздка — Никитин на сентябрь назначен в Грецию с ветеринарами, три недели. Но это поправимо: можно оговорить с Клещом, нажать на Пустырева и всем вместе выйти на доклад генералу Лушину. В чем дело? Поедет в другой раз. А сейчас он нужен тут. Интересы дела! Громов знал, что Никитин, как никто другой, умел находить формулировки итоговых отчётов. А без этих крепких, приятно обволакивающих и факты, и слух начальства формулировок любая проверка гроша ломаного не стоит, всё равно все в дерьме — и те, кого проверяли, и те, кто проверял.

Никитин чистил себя щеточкой.

— Как лучше для дела, — сказал он. — Я готов. В отпуск всё равно не пойду — буду заниматься 1002-м и вот двенадцать дробь одиннадцать... А что касается ветеринаров... (Никитин, не сгибая ног, сложился пополам и принялся чистить абсолютно чистые, без единой пылинки обшлага кремовых брюк)... что касается ветеринаров... то Помоев в курсе. (Громов вздрогнул.) Я его введу, проинструктирую... а съездить может и он... Если... (Никитин разгибался — ноги совершенно прямые, а верхняя половина туловища равномерно поднималась) если Петр Геронтьевич решит, не о чем говорить (Никитин стоял в рост — 189 см.)

Во как! — уныло подумал Громов. — Он уже генерала Лушина просто Петром Геронтьевичем называет. Во как! Может, без него

обойтись? Хорошо бы, да не обойдёшься. Во вырос парень!.. Быстро. Слишком быстро. Как это он так незаметно вырос?.. Помоев! А!? Как он это ввернул: «Помоев может съездить». Помоев самостоятельно разве что в сортир сходить может, да и то обмарается. Да... ловко!

— Мне сейчас, Андрей Александрович, хотелось только в принципе с вами оговорить... а остальное ты, Ондрей, сам, конечно, если сможешь... приказ, он будет, но как повернуть, а ты и Помоев — тут, как говорится, две большие разницы,— замямлил, путаясь в словах и намерениях, подполковник. — Только в принципе, если всё совпадет...

Никитин улыбнулся широко и хищно. Наклонился над Громовым:

— А в принципе вы, Владимир Иванович, всегда на меня можете рассчитывать.

Никитин взял со стола письмо и запустил в мало прозрачный полиэтиленовый пакет — шш-ш-ш-а-а-х!

— А как по письму дела идут, хорошо? — почти умоляюще проокал Громов.

— Да, работаем... Непросто... — Никитин снял трубку и набрал короткий номер. — Помоев? Никитин. Машина у второго подъезда. Через 5 минут. Всё, — повесил трубку. — Извините, Владимир Иванович.

Громов ухватился за высокие подлокотники кресла и трудно выжал свое рыхлое тело. Поплелся к выходу.

Никитин прикрыл дверцу шкафа, глянул на себя в полуростовое зеркало. Тряхнул головой, и светлые пряди волос очень естественно легли, хорошо увязались со штатским кремовым костюмом. Прямые довольно длинные волосы, прямой нос, голубые глаза, хорошо очерченный подбородок — было в Никитине что-то несовременное, что-то даже от прошлого века. Был он похож на, может быть, есаула что ли — гвардейского уланского ее высочества полка.

Глава третья

УЛАН У ДЕШИФРОВАЛЬЩИКОВ

Никитин пробежал по стеклянному переходу в подсобное здание и упруго взлетел на четвертый этаж. Он знал шифр шифровальщиков. Поэтому, не постучав, набрал нужную ком-

бинацию цифр на дверном замке и отодвинул обитую железом дверь. В комнате было полутемно. Окна зашторены. Но ослепительно яркие двухсотсвечевки горели над рабочими столами.

— Здравствуйте, товарищи!

— Как хорошо, Андрей Александрович, что вы зашли. Здравствуйте. — К Никитину двинулся завлаб Воронов, высокий, узколицый, в золотых очках.

Крепко пожали друг другу руки и не торопились кончить рукопожатие. Смотрели испытательно — глаза в глаза.

— Есть? — выдохнул Никитин.

— Да, вроде, — Воронов пытался высвободить свою руку, но Никитин не выпускал.

— Хайло! — негромко рявкнул Никитин, не спуская глаз с Воронова. В глубине комнаты вскочил за столом криволицый носатый человек. — Позвоните, Хайло, на второй подъезд, пусть Помоев подождёт меня у машины.

— Есть! — Хайло склонился над аппаратом.

— Показывай, Сережа, — сказал Никитин, а руки Сережиной всё не выпускал. Воронов еще вежливо подергал и застыл. Никитин выпустил руку.

Воронов прошел к своему столу, предложил Никитину свое место — напротив лампы. Никитин сел. Воронов придвинул другой стул и присел рядом. Стол был совершенно пуст. Пустая поверхность ярко светилась.

— Докладывайте, Хайло! — не оборачиваясь сказал Воронов. Хайло обежал вокруг стола и положил в яркий светящийся круг стопку одинаковых двойных листов.

— Докладывайте, — сказал Никитин.

— Копия, — сказал Воронов.

Никитин осторожно читал знакомый наизусть текст:

«С Фесенкой мы всё дальше и дальше...Мне кажется, на него давит какой-то груз ... Но в разговоре всё отрицает. Говорит, как всегда — Не бери в голову! С Лизой тоже контакта нет. Все они чего-то суетятся, не знают покоя.

Помнишь, Маркуша, охоту в Елизово? Небо, звезды, огоньки на дамбе. Нехитрая еда, портвешок. Родничок около дома Захара Ефимовича, рыжую суку Жучку. И невыносимо скучно, когда еду теперь по этим местам и думаю, что никогда больше ни тебя не увижу и вообще никогда...»

Хайло снял верхний лист. Под ним был точно такой же с тем же текстом. Но несколько строк были обведены красным каран-

данном: « ... Но в разговоре всё отрицает. Говорит, как всегда — Не бери в голову! С Лизой тоже контакта нет. Все они чего-то суетятся, не знают покоя.

ПОМНИШЬ, МАРКУША, ОХОТУ В ЕЛИЗОВО? НЕБО, ЗВЕЗДЫ, ОГОНЬКИ НА ДАМБЕ. НЕХИТРАЯ ЕДА, ПОРТВЕШОК. РОДНИЧОК ОКОЛО ДОМА ЗАХАРА ЕФИМОВИЧА, РЫЖУЮ СУКУ ЖУЧКУ. И НЕВЫНОСИМО СКУЧНО, КОГДА ЕДУ теперь по этим местам и думаю, что никогда больше ни тебя не увижу и вообще никогда...»

— Ну? — сказал Никитин.

— В отмеченном куске интересная особенность. Долго вертели и нашли. Сегодня.

— Показывайте.

Хайло сорвал очередной лист, и под ним опять такой же, но красный карандаш поработал больше — в красных квадратах заключались буквы :

«ют покоя.

П омнишь, М аркуша, О хоту В Елизово? Н ебо, З везды, О гоньки Н а Д амбе. Н ехитрая Е да, П ортвешок. Р одничок О коло Д ома З ахара Е фимовича, Р ыжую С уку Ж учку. И Н евыносимо С кучно, К огда Е ду теперь по этим местам и думаю, что никогда больше ни тебя не увижу и вообще никогда...»

— Ну? — сказал Никитин.

Воронов взял лист в руки. Пальцы дрожали — то ли от волнения, то ли сказывалось еще каменное никитинское пожатие.

— Разрешите закурить?

— Да кури, Сережа, только не тяни.

Воронов рванул ящик стола, но слишком резко. Ящик трахнулся об пол, и всё содержимое вывалилось набок. Штук двести копий всё того же письма, пачки сигарет, зажимы, резинки, кисточки, ножички, порошки... Хайло кинулся. Подбирали вдвоем. Воронов совал сигарету в рот, но не тем концом. Выплевывал табачную крошку. Хайло чиркал спички. Воронов затягивался, но не раскуривалось, губы дрожали.

Никитин упрямо смотрел на лист перед собой:

«ют покоя.

П омнишь, М аркуша, О хоту В Елизово? Н ебо, З везды, О гоньки Н а Д амбе...»

— Ну, давайте там! — гаркнул он хрипло. — Потом соберете.

Воронов снова сел рядом.

— Поняли, Андрей Александрович?

— Ну?

Воронов выдохнул дым. Никитин замахал рукой, отгоняя дым.

— Поняли?

— Ну?

— Давай, Хайло!

Хайло выхватил лист. Под ним был следующий, и на нём только одна фраза — каждая буква в красной рамочке:

П. МОВЕНЗОН ДНЕПРОДЗЕР ЖИНСКЕ

— Первые буквы слов... — прошептал Воронов. — Крутили, крутили — нашли! Видите? «П. МОВЕНЗОН ДНЕПРОДЗЕР ЖИНСКЕ»

— Ну? А дальше?

— Дальше пока не очень.

— Ну, прочти дальше.

ТПЭМИД ЧНБНТНУИВН

— Дайте текст, — сказал Никитин.

Он поводил пальцем по бумаге, потом поднял голову.

— Почему у вас ДНЕПРОДЗЕР перерыв ЖИНСКЕ?

— А тут, видите ли...

— Вижу. Ясно вижу. У вас сука не влезла, и вы ее пропустили. Так?

« ... О коло Д ома З ахара Е фимовича, Р ыжую СУКУ Ж учку» А у вас просто Жучку. Почему? Потому что не лезет? Потому что получится ДНЕПРОДЗЕР С ЖИНСК?

— Но там могла быть ошибка. Остальное сходится.

Никитин встал.

— Ерундой занимаетесь, Воронов!

— Андрей Александрович, это не может быть случайностью, это не простое совпадение... а СУКА как раз описка отправителя, — Воронов был очень бледен. — Не «рыжая сука Жучка», а просто «рыжая Жучка» и всё сходится. А возможно это добавочная защита шифра. Андрей Александрович, надо запросить Днепродзержинск. Есть ли там П. Мовензон?

— Мовензон есть везде, а что такое «ТПЭМИД ИНБНТНУИВН»? Ерундой занимаетесь!

Никитин резким жестом отогнал клуб дыма.

— Это не работа, товарищи! Кто это открытие сделал?

—Хайло!

— Ерундой занимаетесь, товарищ Хайло! Продолжайте поиск!

Глава четвертая

КОМНАТА СВИДАНИЙ № 317

У второго подъезда стоял Олег Помоев в синем блейзере и брюках цвета близкого к оранжевому, но с сереньким завитушечным рисунком по диагонали. Никитин выбежал из дверей и застыл, как вкопанный.

— Я ведь говорил, Олег Иванович, я ведь заранее говорил, — плачущим голосом проскрипел Никитин. — Обычный серый костюм — двойка, производства ГДР. Галстук нейтральный с тонкой красной полосочкой. И всё! И все дела, Олег Иванович. И у Марии Игнатьевны есть эти костюмы, и я ее предупреждал, и вас там ждут...

— У нее размера моего нет. Всё разобрали. Самый ходовой размер, — Помоев вертел головой, оглядывал синий блейзер, пожимал плечами. — Этот нормально вроде сидит.

Никитин почувствовал, что у него заныли сразу два зуба — сверху и снизу.

— Слушайте, Помоев! Значит, так — быстро наверх, и взять у Марии Игнатьевны макинтош. Серый, или бежевый. Только не черный, чтоб людей не пугать. Длинный. Обязательно длинный, до ботинок. И снимать макинтош нигде не будем. Договорились, Олег Иванович?

— Жарко будет в макинтоше.

— Жарко. А вам еще за ним наверх бежать, и у вас на всё четыре минуты.

Действительно, припекало крепко. Внутренний двор был втиснут между высокими зданиями, которые обступили его с трех сторон. С четвертой стороны шла глухая стена, украшенная поверху пятью нотными линейками колючей проволоки. Солнце уже отклонилось от зенита и теперь било не в темя, а прямо в глаза сквозь проволоку над стеной. Двор казался глухим — ни выхода на улицу, ни выезда. Но это только казалось.

За левым выступом дома была арка, за аркой туннель и в конце его пост и автоматически открывающиеся ворота.

Никитин предъявил на посту документ и вышел через боковую дверь на улицу. В тенечке под деревьями стоял зелёный «жигуленок». Из-за угла (сообразил! — через пятый подъезд быстрее), путаясь в длинном плаще, бежал Помоев. Никитин сел за руль. Олег Помоев неловко и как-то по бабьи задирая подол влез на соседнее сидение.

Рванули с места. Времени было в обрез.

— Меня зовут Евгений Михайлович, его — Михаил Зиновьевич, — втолковывал Никитин, ювелирно втискивая машину между трамваем и гигантским контейнеровозом. — Вас, Олег, зовут Василий Васильевич. Запомните? Но это на самый крайний случай. А вообще-то ваше дело молчать и наблюдать. Курить можно сколько хотите. Но прикуривать сигареты одну от другой не следует. Сигарету каждый раз гасить в пепельнице и следующую закуривать заново. Держите, Помоев! — он протянул ему зажигалку. — Спрашивать разрешения у меня не нужно. И запомните основное, Олег Иванович, вы — главный, а я подчинённый.

Никитин круто взял вправо и одновременно резко нажал на газ, под самым носом злобно рычавшего грузовика сменил ряд и идеально вписался в поворот, ни на йоту не нарушив правил.

— Несколько раз, — продолжал Никитин, — несколько раз Михаил Зиновьевич будет говорить: «А какие у вас ко мне претензии?» Так вот, два раза вы промолчите, а на третий глубоко вздохнете, погасите сигарету... вы слушаете внимательно, Помоев? — на третий раз глубоко вздохнете, погасите сигарету и потом тихо скажете, глядя в пепельницу: «Претензий у нас к вам, Михаил Зиновьевич никаких нет, а вот дружба у нас с вами, кажется, не получается». Запомнили, Помоев?

Помоев послушно повторил фразу.

Никитин заложил последние два виража — налево, направо — и четко припарковался носом к тротуару между датским автобусом и интуристовской «Волгой».

— 317, — сказал Никитин дежурной по этажу и предъявил карточку.

Коридор длинный, в три колена, метров четыреста. Когда Никитин и Помоев — оба вспотевшие — вбежали в прохладный полулюкс, часы на башне — прямо перед окном — сыграли три четверти. 15.45.

В дверь тотчас постучали. Никитин ткнул пальцем в сторону дивана у окна и сделал Помоеву резкий приказательный жест, означающий: «Садись!» Пошел к дверям встречать.

— Привет, привет, Михаил Зиновьевич! Вы, как граф Монте-Кристо, — точно с боем часов. Входите, пожалуйста, — улыбался Никитин, кружа возле жирноватого сутулого человека в темном костюме. — Руки помыть, или ещё что-нибудь более личное не требуется? — Никитин раскрыл стеклянную дверь ванной, нажал на клавиш в стене. Неон гостеприимно загудел и, чуть поднату-

жившись, залил ярким светом чёрно-белое пространство, пахнущее недавним ремонтом.

Сутулый человек нерешительно топтался на пороге, поглядывал в зеркало над умывальником и видел в нем свои воспаленные тревожные глаза на несвежем лице, а отворачиваясь, упирался в гладко выбритое, пахнущее одеколоном «Рижанин», сверкающее клавиатурой ровных белых зубов лицо Никитина, и за ним, за лицом, смутно различал фигуру там, в комнате, на диване возле окна. Солнце било в окно, и фигура смотрелась силуэтом. Человек с тревожными глазами встревожился еще больше. Утирая платком потный лоб, косым взглядом осмотрел фигуру у окна. И понял, что на фигуре, несмотря на жару, надет плащ и что фигура курит. А больше ничего не понял.

Никитин закрыл тяжелую дубовую дверь, отделявшую переднюю от гостиной. Легонько взял гостя за талию и ввел в черно-белую роскошь ванной комнаты, зашептал на ухо:

— Мне одному, Михаил Зиновьевич, больше не доверяют. Начальник со мной приехал посмотреть, как наши дела. Мужик неплохой, но по душам, конечно, уже не поговоришь.

— Евгений Михайлов ич! Я как раз сегодня собирался вам сказать... мне кажется, вы попусту теряете со мной время. Я откровенно вам скажу... я ведь... — Фесенко говорил хрипло. Стоял, опустив голову, обеими руками держась за массивный холодный край раковины. — Я так не могу больше.

— Как попусту? — Никитин отступил в изумлении и всплеснул руками. — Вы же мне объективную картину раскрыли! Вы же мне истинное положение в вашем институте разъяснили! Я новый человек, я профан, я без вас мог таких дров наломать! Да что вы, Михаил Зиновьевич, опомнитесь! И сейчас мы должны вместе убедить Василия Васильевича, что они неправильно смотрят на положение дел в институте. Мы должны с вами помочь и Бугову, и Словохотову, и Корсунскому, и Ройзману... всем нормальным людям. Ну, что, что вы... пойдемте.

— Я в последний раз, — пробормотал Фесенко. Пальцы его так сильно сжимали край раковины, что сами стали цвета фаянса — обескровились. — Поймите, Евгений Михайлович...

— Да, может, и в последний, Михаил Зиновьевич! Может, и в последний... решительный, так сказать. Пойдемте, пойдемте... Василий Васильевич ждет... обидится!

Василий Васильевич, видно, и впрямь обиделся — так и сидел в профиль. Даже не повернул головы, чтобы взглянуть на вошедших. Курил.

— А вот, Василий Васильевич, и наш Михаил Зиновьевич! — сказал Никитин и усадил Фесенко в кресло возле стола. Достал из шкафа две бутылки боржоми, стаканы. Пробочник был приделан к грузику ключа от номера. Крепко зашипело и немного пролилось на стекло. Боржоми был тёплый.

— Василий Васильевич интересуется обстановкой в институте. Я-то благодаря вам, Михаил Зиновьевич, теперь больше в курсе, но Василий Васильевич, естественно, хочет из первых рук, из чистого, так сказать, источника напиться. Так что давайте вместе как-то высветим...

Василий Васильевич поперхнулся дымом, дико и надрывно закашлялся. Изо рта полетели какие-то кусочки, ошметки... Никитин кинулся к нему, пошлепал вежливо по спине. Василий Васильевич не утихал. Никитин взял повыше — в районе шеи — и шмякнул довольно сильно — уже не до вежливости было. Василий Васильевич резко смолк, но голову так и не повернул, сидел в профиль. Обида, значит, что заставили его ждать, не проходила.

— Я уже говорил Евгению Михайловичу... — Фесенко отхлебнул теплой шипучей влаги, и тотчас такая же теплая шипучая влага выступила у него на лбу. — Я говорил Евгению Михайловичу, что все мои впечатления абсолютно субъективны... я уже рассказал, как мне видится...

— Вот-вот, именно! Как вам видится! Это очень важно, — подхватил Никитин. — Так вы, значит, полагаете, что авторитет Бугова как руководителя на должной высоте?

— В общем, да. Бугов серьезный ученый... умелый администратор...

— Но вот почему-то не все им довольны. Так ведь?

— Извините, а вы представляете себе ситуацию, чтобы начальником абсолютно все были довольны? Это было бы против диалектики.

Никитин громко захохотал.

— Ну, а кто особенно недоволен? Словохотов? Может быть, Ройзман? Вы же каждый Божий день общаетесь — должны чувствовать. Вот, скажем, за последнее время...

Фесенко вдруг встал.

— Евгений Михайлович! Василий Васильевич! Я хочу вам сказать... я очень уважаю вашу работу...

— Это правда? Действительно уважаете? — Никитин спросил очень серьезно, снизу вверх, глаза в глаза, и брови поднялись, даже рот слегка приоткрылся, так ждал ответа.

— Да, я уважаю, — Фесенко на каждом ударном слоге мелко утвердительно кивал головой. — Уважаю! И прошу вас... уважайте и вы мое дело, которое ... мое призвание... Я не могу так. Я не собираюсь следить за моими коллегами, за моими друзьями... и за теми, кто мне не симпатичен тоже... не имеет значения... И за собой! Я просто болен уже.... Я контролирую каждый свой шаг... так нельзя работать... и жить так нельзя...

В комнате что-то тихо жужжало.

— Мы встречаемся с вами раз за разом... проходят месяцы... и я начинаю чувствовать, что меня подменили... я другой человек... Я замкнулся. Уже и другие это замечают. Теперь меня уже сторонятся. И хотя бы поэтому наши с вами разговоры всё более бесполезны — я ничего не знаю.

Жужжание в комнате усиливалось. Фесенко тревожно оглядывался и продолжал:

— Я готов выполнить всё, что требует от меня закон. Но кроме этого... я не хочу... я не могу... больше... Я вас прямо спрашиваю, какие у вас лично ко мне претензии?

Жужжание перешло в приглушенный вой. И только тут обнаружился его источник — жужжало внутри Василия Васильевича. Оказывается, кашель не прошел совсем, а был только временно подавлен. Помоев сдерживал его силой воли. Но физиология была сильнее. Что-то рвануло в горле у Василия Васильевича, и он рявкнул так, что даже железный Никитин вздрогнул. А о Фесенко и говорить нечего — он дернулся всем телом, открыл от испуга рот, ловя воздух...попробовал продолжить свою речь, но сбился, скис и обмяк.

Никитин поднес начальнику стакан с боржоми. Тот выпил, сразу опять закурил и, что особенно давило на Фесенко, так и не изменил положения головы. О, этот профиль начальника, о, этот каменный профиль! Фесенко безнадежно вздохнул, вяло махнул рукой и сел.

— Продолжайте, Михаил Зиновьевич, мы вас внимательно слушаем.

— Я просто не знаю, о чем говорить. Уж лучше спрашивайте.

— Вы читали Виктора Конецкого последнюю повесть?

— Нет.

— В журнале «Звезда»?

— Нет, не читал.

— Как она называется-то? Какие заботы?

— Не читал.

— Почитайте. Смело пишет. Ядовито. А ведь печатают — даже удивительно. Очень я его люблю. Откровенный человек. А вот интересно... слыхали, в Москве писатели затеяли журнал какой-то. Все члены союза, все с именами, а журнал... хе-хе-хе... (Никитин посмеялся) самодеятельный. Интересно. Не думаю, чтоб они лучше Виктора Конецкого написали. А вы как думаете?

— Я ни то, ни другое не читал.

— Но мнение-то свое у вас должно быть?

— О чём?

— Жалко, что вы не хотите с нами прямо говорить... открыто.

— О чём, о чём?

— Ну, ладно. — Никитин проницательно прищурился. — Сколько дочурке вашей сегодня?

— Восемь.

— Невеста моему. Моему в сентябре шесть.

— Старовата для вашего.

— Ничего, ничего... сгодится.

Никитин полез во внутренний карман пиджака, долго там нащупывал что-то и вдруг, как фокусник, вырвал и высоко поднял плоский прямоугольник в размер открытки. Фесенко даже слегка отшатнулся от слишком резкого взмаха. Никитин положил прямоугольник на стол. Оба посмотрели на него.

— Голография, — сказал Никитин.

— Вижу, — сказал Фесенко.

— Здорово делают, черти.

В рамочке была изображена массивная золотая цепочка — она, казалось, имела объем, хотелось потрогать. Ее толщина была настолько реальна, что опровергала очевидную плоскость картинки. Взгляд невольно прыгал: смотришь сверху — объём, глубина, смотришь сбоку — плоско, лист картона. Снова сверху — объём. Это утомляло.

— Дочке вашей, — Никитин протянул картинку Фесенке, но ещё не отдавал. Разглядывал. — Вот ведь и мы научились делать. Специалисты говорят, получше, чем японцы. А вы как считаете? Вы японские видели?

— Видел.

— Ах, ну да! Что это я! Это же по вашему профилю. Ну, и как по-вашему, какие лучше?

— Да японские пока покачественнее.

— Вы так считаете?

— Считаю. В этом они пока впереди.

— Если бы только в этом, Михаил Зиновьевич, дорогой, если бы только в этом!... Дочке! — он толкнул ногтем прямоугольничек, и тот скользнул через лаковое поле стола к противоположному краю.

— Спасибо.

— А что вы скажете о Корсунском?

Фесенко очень долго и как-то неудобно укладывал открытку во внутренний карман пиджака.

— А что?

— Вот я и спрашиваю. Что скажете? Хороший работник, талантливый?

— Очень.

— А человек хороший, откровенный? Вы ведь друзья, кажется?

— А что такое? Почему он вас интересует?

— Ну, Михаил Зиновьевич, что же это — я вам вопрос, вы мне два! Давайте кто-нибудь один будет спрашивать, а другой отвечать.... И почему вы так недоверчивы ко мне? Ведь не первый день знакомы... Разве я вас в чем-нибудь подвел? Нет ведь?! Это ведь всё между нами остается. Только между нами. Надеюсь, и с вашей стороны тоже?! А с моей — можете быть уверены. Или, может быть, у вас есть ко мне какие претензии?

И тут, как гром среди ясного неба... как сорвавшийся с вечной неподвижности кусок скалы ... как заговоривший сфинкс... человек у окна пошевелился, крепко вдавил окурок в пепельницу и повернулся к Никитину:

— Претензий у нас к вам нет, — сдавленным голосом сказал ему Василий Васильевич. — А вот дружбы у нас с вами не вышло.

Конечно, объяснить можно всё — очевидно, кашель ослабил внимание Помоева, он сбился со счета и не дождался, когда слово «претензия» будет произнесено в третий раз. Но и никитинская вина тут была — была вина! — нельзя было ему самому эту фразу произносить. Так кого хочешь запутать можно!

В комнате наступила гробовая тишина. Выпучив глаза, все трое смотрели друг на друга. Часы на башне пробили четыре.

Глава пятая

БУНТ

Василий Васильевич резко встал (так резко, что Фесенко дёрнулся от испуга в кресле) и, четко печатая шаг, пересек комнату. Шваркнул дверью. Из ванной донесся трудный, выстра-

данный кашель — со взвывами, со звучно засасываемым в перерывах воздухом.

Никитин облокотился на низкий полированный стол, опустил голову в чашу сильных широких ладоней.

— Трудно работать, — грустно сказал он.

Фесенко вздохнул и промолчал. Никитин вдруг ухватил обеими руками его запястья, притянул к себе и близко-близко, почти в поцелуе, зашептал:

— На волоске вишу, и сам этот волосок оборвал бы! Я же химик по образованию. Неорганический... Зачем мне это всё? Ну зачем, Михаил Зиновьевич? Мы ж с вами одних кровей, я же чувствую, вы поймете — меня уберут, вам же хуже будет! Жалко мне вас — и Карымова, и Ройзмана, и Корсунского — всех талантливых людей, совершенно неважно какой национальности, этих ученых Божьей милостью. Штейнгауза жалко... и Бугова...хотя его меньше всех. Мне же раз плюнуть — бросить всё и заняться опять родной моей химией... неорганической. А вам посадят на шею (Никитин теперь говорил почти беззвучно, губы в губы и при этом тыкал пальцем в сторону ванной) такого Василия Васильевича... и задохнетесь!

Василий Васильевич визгливо кашлял в ванной длинными очередями.

Никитин разжал правую руку, сунул её в внутренний карман пиджака и опять — стремительно, по мушкетёрски — вырвал оттуда новый прямоугольник — ПИСЬМО! Фесенко отшатнулся. Но левая-то — никитинская левая — по-прежнему держала его, и Фесенко хоть и отшатнулся, но недалеко.

— Корсунский дурак, — шелестел Никитин, тряся письмом перед фесенковским носом. — Кому он пишет?! С кем передает?! Кто такой Марк? Марка знали? Марк, Корсунского приятель, за границей живет, во Франции? Как его фамилия? Ну?! Марк, Маркуша... Фамилия?!

— Залцберг что ли... — не двигая губами, произнес Фесенко.

— Залцберг?

— Марк Залцберг уехал... но давно уже...

— Физик?

— Не совсем... он по патентному делу специализировался... но в общем... да, прикладная физика.

— Так, Михаил Зиновьевич, так, дорогой! Давно бы так!

— Что такое? В чем дело? — Фесенко всё-таки вырвал руку.

— Вы близко его знаете?

— Да ничего подобного! Давным-давно отдыхали вместе...

— Втроем?

— Ну, втроем. Но это было в 61-м... нет, даже в 59-м что ли...

— В Елизово! — дискантом пропел Никитин.

— В каком Елизово? В Судаке. В Крыму.

— А Елизово где?

— Понятия не имею.

— Михаил Зиновьевич, мне хуже делаете, и себе хуже. Вся ваша жизнь сейчас в ваших собственных руках. Куйте! Не выпуская бразды... Сейчас не старые времена... Всё для блага! Ваша позиция устарела. Индифферентизм не проходит. Себе дороже! Сделайте шаг нам навстречу, и мы к вам бегом прибежим... мы вместе с вами перевернем все представления, заставим понять ИХ — Никитин тыкал большим пальцем правой и в сторону ванной, и в потолок, он стоял в рост и говорил громко, не стесняясь, — а Залцберг писал Корсунскому? Через кого?

— Спросите у Корсунского, так просто.

— Спрошу, обязательно спрошу, дорогой! Но я от вас хочу услышать! Сделайте себе подарок — у вас же дочкин день рождения сегодня! У вас же всё иначе пойдёт в жизни! Я-то от всей души хочу, чтоб всё иначе было, чтоб наоборот, чтобы всё вывернулось!

С треском распахнулась дверь.

— Разрешите присутствовать? — Василий Васильевич стоял в дверях по стойке «смирно», правая рука четко опущена вдоль ярко-синего блейзера, на согнутой левой аккуратно сложенный макинтош.

— Да что вы в самом деле, Василий Васильевич! — плачущим голосом вскричал Никитин и изо всех сил трахнул тяжелым кулаком по столу. Всё подпрыгнуло от удара — стакан, боржомная бутылка, ключи на столе и Фесенко в кресле. — Вы думаете, вам всё позволено? — кричал Никитин с рыдающими интонациями в голосе. — Вы мой начальник, и запомните это... то есть ... не запугивайте нас! Не надо запугивать нас с Михаилом Зиновьевичем, не надо! Не те времена, мы должны бережно... соображать... хоть немного... что к чему... А если вы, Василий Васильевич, будете нас запугивать, я вас так пугану, что своих не узнаете.

Василий Васильевич окаменел, черты лица заострились, взгляд совершенно потух, хотя глаза были широко открыты. Василий Васильевич живо напоминал покойника, стоящего вертикально, с глаз которого только что сняли пятаки. Мертвенную серость лица изысканно подчёркивал пронзительно синий воротничок блейзера и фиолетовый галстук с сиреневой олимпийской эмблемой.

Никитин продолжал с надрывом:

— Я готов подчиняться... я ко всему готов, но есть же предел, в самом деле! Ну что вы побелели, как унитаз, прости Господи! Идемте, Михаил Зиновьевич, идемте отсюда. Мы не дадим запугивать себя. До свиданья, Василий Васильевич! Я вам завтра доложу о результатах в вашем кабинете.

Никитин двинулся на своего начальника, как танк, увлекая за собой Фесенко. Василий Васильевич четко, хотя несколько деревянно, отшагнул — уступил дорогу. Никитин даже не взглянул на него — рванул к входной двери.

У Фесенко в душе сквозь привычную отчуждённость и страх колыхнулась теплая волна восхищения перед дерзостью этого человека. «Нет, если ТАКИЕ люди... — думал он, — то тогда... вообще говоря... еще можно...» Он не додумал мысль до конца, но зафиксировалось в сознании, что это была какая-то добротная твёрдая мысль, на которую в случае чего можно будет опереться.

Они вышли в коридор (стиль модерн, самое начало века) и остановились возле довольно крупной голой бронзовой женщины, которая одной рукой поддерживала светильник с электрической лампочкой в виде свечки, а другой, левой, собственную левую же бронзовую грудь, весьма миловидную. Помолчали, дружелюбно понимающе поглядывая друг на друга. Поглядели на женщину (тоже понимающе). И она на них поглядела. Никитин положил руку на ее плавно согнутое колено, а Фесенко на талию с другой стороны.

— Вот такие дела, — Никитин значительно и грустно покачал головой, пошлепал рукой по приятно холодному шершавому колену. Бронза легонько позванивала. — Съездить бы нам с вами на рыбалку, Михаил Зиновьевич! Закатиться дня на два, забыть про всё это... а заодно бы и о деле поговорили. Чтоб никуда не спешить, чтоб никто не мешался... Ээ-х-х-х!

Фесенко тоже поглаживал женщину. Но робчее. До звона не доводил.

Глава шестая

ЛАТЫШСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Дежурная по этажу Лайма Борисовна Граупиньш по прозвищу «Латышский Стрелок» сидела на своем снайперском месте. Три коридора (стиль модерн, самое начало века) сходились к ее столу.

Прямо — коридор двойных номеров, правее — номера одиночные; оба коридора — перед глазами. Линия полулюксов плавной дугой шла от её правого плеча назад, но легко просматривалась через овальное зеркало, остроумно повешенное чуть левее серванта с посудой. Не поворачивая головы, Лайма Борисовна могла держать под прицелом все три направления плюс два пролёта мраморной лестницы с красной ковровой дорожкой.

В настоящий момент Латышский Стрелок видела хозяина 317-го (в светлом костюме) и его гостя (темный костюм). Они стояли в коридоре полулюксов, опираясь на голую бронзовую женщину с лампой в руке. В правилах внутреннего распорядка гостиницы был пункт, категорически запрещавший трогать произведения искусства, щедро расставленные и развешанные по всем нишам и простенкам. Вещи ничуть не хуже музейных, и нечего их лапать. А кроме того, изящные экспонаты скрывали под собой, за собой и внутри себя весьма специальную радио- и фотоаппаратуру. Вмонтировано было всё аккуратно, но... мало ли какой проводочек, уголочек высунется... нечего трогать и нечего глядеть, это не для посторонних. Короче, пункт о неприкасаемости был, и Лайма Борисовна не раз делала замечания постояльцам на этот счет. Но с этой — голой, смуглой, с лампой (инвентарный номер 3578/367) — было что-то особенное. Ни один из проживавших в гостинице советских или иностранных граждан не мог спокойно пройти мимо. Её хлопали по спине, по заду, по ляжкам, хватали за руки, за коленки, за грудь, гладили по голове, щипали за подбородок. Однажды был просто скандал, когда финский гражданин Курринен в половину первого ночи завалил статую (вес без пьедестала 230 кг), порвав к чертовой матери все проводочки и разбив себе в кровь башку.

Центром внимания Лаймы Борисовны было сейчас зеркало, через него коридор полулюксов и пара любителей бронзы. Но боковым зрением Граупиньш не упускала и два других коридора. И еще краешком глаза захватывала парадную лестницу.

Обстановка на 16.28 была следующая: двое из номера 317 (спец. броня 4) отцепились от голой с лампой и тронулись к столу Лаймы Борисовны, то есть к выходу. Из 317-го появился третий в синем блейзере и пошел вслед за ними. Услышав шаги, блондин в светлом костюме резко развернулся и двинулся на блейзера. Видимо, что-то сказал, и блейзер дал задний ход, убыстряя шаг. Оба скрылись в спец. броне 4. Темный же костюм шел, не меняя курса, прямо к столу Латышского Стрелка, понуро глядя себе под ноги.

В это время в коридоре одиночных номеров из 359-го появилась владелица номера Виолетта Трахова, длинноногая блондинка из кордебалета на льду с постоянной пропиской в Симферополе. Чуть сзади нее шел, развязно выбрасывая ноги в стороны, одетый во всё заграничное, но мятое, небритый нахальный мужчина с сигаретой, подрагивающей в толстых губах полураскрытого рта (вошел в 359-й минут 40 назад). У небритого всё было полураскрыто — рот, глаза, ширинка и молния на сумочке, болтающейся в руке.

По коридору двойных номеров двигалась группа финнов, но они не интересовали Латышского Стрелка. Финны занимались обычным делом — несли двух своих, допившихся до полного воспарения над действительностью. Финны тихонько и почти без акцента пели: «Жилл-билл убабушки/сэрэнки козлик/Водка! Водка!/Сэрэнки козлик!»

В зеркале — в самом конце коридора — опять появился Светлый Костюм из 317-го, а Темный Костюм уже подходил к её столу, по-прежнему глядя под ноги.

Кордебалет из Симферополя и толстогубый нахал (Лайма Борисовна позавчера уже выставляла его из 359-го после двенадцати ночи) подошли к ее столу одновременно с Темным Костюмом, но с противоположной стороны.

Глаза Лаймы Борисовны разбежались в буквальном смысле слова, потому что произошло сразу несколько событий — и в зеркале, и в холле, и в коридоре двойных номеров.

Темный Костюм поднял голову, увидел толстогубого с сигаретой, дернулся, как от удара током, и застыл. Волосы на его голове слегка приподнялись.

Толстогубый, наткнувшись глазами на Темный Костюм, тоже остановился. Не изменив нахального выражения полуприкрытых припухших глаз и не вынимая сигареты изо рта, пророкотал сипло: «АХ ТЫ, ТИХАРЬ! АХ ТЫ, БАБНИК! НАКРЫЛИ МЫ ТЕБЯ, МИШОК!»

В этот момент финны уронили одного из отключенных от действительности и сами попадали вслед за ним, поочередно ударяясь ногами и головами в дверь номера 336.

Дверь 336-го в ту же секунду открылась, и на пороге появился пенсионер из ФРГ Гюнтер Блауц, в нижнем белье и в очках (поселился в понедельник, очень нервный насчет шума).

В тот же момент Светлый Костюм в зеркале сделал резкий шаг вправо, развернулся и прилип к окну, так что лица его стало не видно.

Глава седьмая

АНАЛИЗ МОМЕНТА

Корсунский шел за Виолеттой, смотрел на ее бронзовые плечи и думал о том, что, пожалуй, слишком он с ней выматывается и хорошо бы сегодня не тянуть волынку до ночи, а сорваться одному на дачу, покупаться, а может, и поработать... а может, забежать к Нателле, которую давно уже не видел... а может, просто расписать пульку с соседями и выпить, наконец, водки без ресторанной наценки.

Они приближались к столу дежурной. За столом сидела с совершенно почему-то скосившимися глазами старая сволочь (позавчера она скандально вышибала Корсунского в полпервого ночи от Виолетты, даже червонец не подействовал, а позавчера Корсунского еще не тянуло от Виолетты на дачу). Корсунский отвел глаза от перекошенной старухи и прямо перед собой увидел того, кого никак не могло быть здесь — Мишку Фесенко. Мишку, который после рождения дочки вообще никуда не ходит, только из дома в институт, из института домой. Мишка Фесенко стоял неподвижно и был сильно похож на собственную статую. Статуя была сработана топорно и с ненужным натурализмом — этот жуткий костюмчик, аляповатая разноцветность лица, эти крупные с голубиное яйцо капли пота на лбу, этот ужас в глазах.

«АХ ТЫ, ТИХАРЬ! АХ ТЫ, БАБНИК! НАКРЫЛИ МЫ ТЕБЯ, МИШОК!» — сказал Корсунский.

Фесенко внимательно смотрел на чистый малоисхоженный зелёный ковер, плывший под его медленно шагавшими ногами. Горячо болел затылок. Ему казалось, что голова его неподвижно висит где-то высоко-высоко и с удивлением смотрит на отделившиеся от тела болтающиеся ноги, под которыми равномерно ползет зеленая дорога ковра. Он втянул носом воздух, покрутил головой, чтобы отогнать наваждение, оторвал глаза от пола и тут... тут было еще хуже. Прямо на него двигался призрак того, о ком он именно сейчас мучительно думал — призрак Липы Корсунского. Полная неправдоподобность явления Корсунского именно здесь и сейчас была подчеркнута фантасмагорическим музыкальным сопровождением — невидимые голоса тихо и стройно пели белиберду: «Водка! Водка! Сэрэнки козлик!»

Но тут в поле зрения Фесенко еще более крупным планом, чем Корсунский, попало смутно знакомое лицо... Маргариты, или

Лоретты, ну, в общем, год назад... на даче... балерина она, что ли? ... на этой квартире у профессора — венеролога, в их компании... когда пели Галича и читали машинописные листки, передавая друг другу... и она крутилась там одно время... называли её ещё «скипидар», и она ко всем лезла, даже к Фесенко, и к ней все лезли. Щелкнуло в мозгу, и Фесенко понял вдруг, что всё это наяву — вот он, Корсунский с этой... балериной... А вот он, Фесенко, в гостиничном коридоре, и сзади идет Евгений Михайлович, и идут они оба из 317-го номера.

Фесенко почувствовал, как в его правую подошву сквозь зеленый ковер ударила молния. Прошла снизу вверх, через пах, низ живота, сердца не задела, а сильно стрельнула в левый глаз и вылетела вверх, поставив дыбом волосы на голове.

Корсунский с привычной самоуверенностью, не вынимая из губ брезгливо покачивающейся сигареты, сказал: «АХ ТЫ, ТИХАРЬ! АХ ТЫ, БАБНИК! НАКРЫЛИ МЫ ТЕБЯ, МИШОК!»

После молнии, прошившей насквозь тело, грянул и гром. Но почему-то не здесь, а за углом, в правом коридоре. Что-то загрохотало, посыпалось. Песня оборвалась. Открылась невидимая дверь, и, как в страшном сне, визгливо закричал голос по-немецки с ненавистными фашистскими интонациями.

Никитин загнал Помоева в номер, быстро телеграфно объяснил, что в понедельник они поговорят подробно, что Никитин уходит, а Помоеву следует посидеть ещё минимум десять минут, а потом сдать ключ и катиться к едрене матери.

Никитин вышел из номера и расстроился. Фесенко уже подходил к столу дежурной — не подождал. На людях говорить не хотелось, а парой слов еще надо бы перекинуться. Никитин сделал ускорение и вдруг орлиным взором увидел вдали Корсунского с бабой. Никитин дал полный тормоз и... резко право руля! Почти пробил головой стекло в окне коридора. «Ну и денек выдался!» — подумал лейтенант. «АХ ТЫ, ТИХАРЬ! АХ ТЫ, БАБНИК! НАКРЫЛИ МЫ ТЕБЯ, МИШОК!» — проговорил голос Корсунского.

В районе холла раздался грохот. «Не оборачиваться!» — приказал сам себе Никитин и стал разглядывать через окно, как во внутреннем дворе гостиницы у чёрного хода в ресторан пьяные люди разгружают машину с мясом.

Лайма Борисовна Граупиньш косила глазами всё больше и больше. События разворачивались с такой быстротой, что даже скоростные повороты головы повсеместного присутствия не обеспечивали. Надо было работать зрачком, только зрачком!

Лайма Борисовна левым глазом держала под прицелом зеркало и коридор одиночек с толстогубым на первом плане. Правый контролировал лежбище финнов с орущим немцем над ними. На периферии зрения остались застывшие Темный и Светлый Костюмы. Но тут появился еще один объект — и какой! По красномраморной лестнице спускались пять крепких, но шатких на походку генералов. Генералы шли звездой, и каждый протянул руку вовнутрь звезды, к центру, почтительно поддерживая там крупную, но тоже шаткую фигуру народного артиста Советского Союза Ш., прославленного исполнителя во многих фильмах ролей генералов. В данный момент Ш. был в штатском, но на голове красовалась высокая генеральская папаха. Это соблазнительное зрелище заставило перестроить все прицелы. Левый глаз Латышского Стрелка видел получше, правый — похуже. Любимого Ш. хотелось видеть пояснее, и Граупиньш вертанула левый глаз на все правые объекты, а правый — на левые. Получился обратный перекос внутрь. И, главное, недопустимо резко. Лопнула в глубине какая-то тонкая ниточка, и Лайма Борисовна поняла, что без врачебного вмешательства не обойтись. Заскочило! Точь-точь как в 1962 году во время международного кинофестиваля, когда ей были даны под присмотр сразу четыре делегации.

Финский гражданин Тойво Оттиранки очнулся от грохота собственного падения на пол. Несмотря на большой жизненный опыт, в первый момент он вообще не смог сориентироваться. Но уже во второй ухватил нить реальности: всё ясно! — 43-й год, он, Тойво, лежит в укрытии на линии Маннергейма. Напротив, через поляну, — русские, а немецкий офицер делает ему внушение в грубой форме визгливым голосом. Странно было только, что немецкий офицер стоит над ним в трусах. В третье мгновение господин Оттиранки схватился за свою наполненную гулом голову. Голова оказалась лысой. Юный солдат Оттиранки удивился и тут же перелетел на 35 лет вперед, прямо в свою пьяную и не очень опрятную старость — в коридор русской гостиницы. Слезы навернулись на глаза.

Он хотел боднуть лысой головой обкрученные синими жилами ноги визжащего немца. Но вдруг, через щель между ногами, старый снайпер Тойво Оттиранки взял на мушку сидевшую за столом в холле этажа старуху с невиданно закошенными глазами. Финну показалось, что глаза эти вылезли из орбит и смотрят друг на друга. Мутная тошнота поднялась к горлу. «Один глаз на нас, а другой в Арзамас!» — подумал Тойво по-фински.

Пять крепких генералов благополучно спустили народного артиста Советского Союза Ш. вниз, отправили на машине с двумя адъютантами и благополучно вернулись в 415-й люкс, чтобы продолжить и не торопиться кончать давно начатый праздник. За время их путешествия вниз и вверх ничего существенного не произошло.

Глава восьмая

БОРИС И ИППОЛИТ

«Всё, всё, всё... завтра, завтра, завтра... всё... в жопу... Ветку выгоню, телефон отключу... стопка бумаги, пять ручек, открытая форточка, одна сигарета в час... всё, всё, ... завтра, завтра... в жопу!» — думал Корсунский, стоя под холодным душем.

— Чэ, мадам? — крикнул он, услышав невнятные звуки Виолеттиного голоса из кухни.

— Ничо ! Я пою!

«Всё.... завтра, завтра....» — Корсунский совсем отключил теплую и стоял под ледяными брызгами.

Корсунский не был в восторге от своего тела. Вместо желанных с юности, квадратных плиток мышц — вяловатые округлости в складках, крупные веснушки, с возрастом проявившие какой-то сиреневатый оттенок. В меру волосатая, пристойно загоревшая грудь тут же опровергалась молочно-белым широким животом. Ноги... и особенно лицо... эти губы..... Корсунский не любил себя. Много лет он прятался всеми возможными способами — носил громадные темные очки, отращивал бороду и усы, чтобы скрыть эти ненавистные толстые губы. Избегал пляжей. Женщин любил в темноте.

Ипполит Корсунский был талантлив и знал это. И вокруг него все это знали. Но от этого не легчало. Он был напряжен в общении. Скрывая мучительную застенчивость, он нацепил на себя маску презрительной скуки. Маска почти приросла. Но... — почти! Он задыхался под ней, потому что всё-таки это была маска. Ипполит Борисович Корсунский мечтал как можно скорее постареть, чтобы выйти из соревнования, чтобы не сравнивать себя с другими, чтобы возраст скорее скрыл тайну неполноценности.

На самой глубине, на дне его муки лежало самое стыдное — он ненавидел своего отца.

Всем умом и всей душой сознавая, что отец — человек прекрасный, ненавидел за то, что тот наградил его еврейским

телом и еврейским выражением лица. Сколько часов юности провёл он в запертой комнате перед зеркалом, ища в себе дорогие черты матери-польки. Не находил! И плакал от отчаянья. Он завидовал русским. Завидовал евреям. Особенно завидовал людям Кавказа — кривость и разнообразие лиц не мешали им. У них была Родина, был свой язык. За ними стояли «свои». Им было спокойно. У всех была определенность, и у всех были «свои», казалось ему. Все естественно сходились в группы. Даже у евреев — настоящих, полноценных евреев — всё было естественно: они страдали от антисемитизма, от обид, от страха и на этом сходились, обретали единство. И только он был одинок.

Полукровка. Скрытный неполноценный человек с нелепым именем Ипполит (с вечным прозвищем Липа, мазохистски принятым им) и с ненастоящим отчеством. Ненастоящим — потому что отец его в паспорте значился Борухом. Липа Корсунский никогда не говорил об этом. И не думал об этом. Он мучительно жил в этом. Ежесекундно. С утра до вечера. И ночью. Во сне.

Умерла мать. Болела недолго и не мучительно, и злость брала на врачей, которые единодушно говорили — конец скоро и неизбежно. И не соврали. Когда очередной врач после очередного легкого приступа вышел из комнаты матери и сказал: «Всё!», — отец потерял сознание, а пришел в себя внезапно и абсолютно глухим.

На похоронах сидела польская родня, сидела еврейская родня, сидели сослуживцы. Поминали по-русски. Липа смотрел на спокойные грустные глаза отца — одинокого, чужого всем в своём неизмеримом горе и в своей глухоте, и вдруг... вдруг прорвалась в Ипполите какая-то плевра инфантильности — целомудренное прикрытие мерзости души. Они вышли с отцом на набережную. И Липа трезво и ясно рассказал глухому о своей ненависти к нему. О том, что ненависти пришел конец и теперь будет любовь на всю жизнь. Рассказал о том, что только сегодня он стал сыном Боруха и что сегодня ему спокойно. Он обрел родство, и да будет так!

Глухой обнял его и долго глядел светлыми грустными глазами. Он понял. Сын впервые обнимал его, и он понял, догадался.

— Это наша беда. Это наша беда, — сказал глухой.

В тот год всё изменилось в Корсунском. Он определился. Неведомыми путями первыми узнали об этом женщины. Самые красивые, самые желанные отдавали ему свою страсть. Боясь поверить перемене, он бросал их — искал новых доказательств. И находил! Его желали, из-за него страдали!

Работа шла блестяще. Вдохновение не покидало его. По анкетным причинам его не баловали ни наградами, ни должностя-

ми. Но молчаливое признание его первенства было всеобщим. Ему этого было достаточно. Маска презрительной скуки, наконец, приросла к лицу и перестала быть маской. Душа его действительно стала спокойной и черствой.

Ипполит слыл веселым легким талантливым человеком. И был им. Бороду и усы он сбрил — грим был не нужен больше. Всё стало органичным.

Ненавистное тело доставило ему за последние десять лет столько удовольствий, что он смирился с ним, и сейчас, стоя под ледяным душем, разглядывал себя с любопытством и даже некоторым одобрением.

Корсунский растерся жестким полотенцем, щедро облился хорошим одеколоном, разложил на голове редеющие волосы и — босой, в трусах — вышел из ванной. Виолетта пела. Он пошел в кухню. Виолетта стояла у плиты спиной к нему и, покручивая что-то на большой жирношипящей сковороде, пела. Было жарко, но не душно, потому что ровно и мощно сквозило из распахнутого окна. За окном было только небо — двенадцатый этаж!

Виолетта легко пританцовывала босиком на прохладном линолеуме. На ней были совершенно несущественные трусики и его, Корсунского, зелёно-коричневая ковбойка. Виолетта пела. Корсунский не стал выводить ее из кухни. Он прижался к ее крупу, руками наперекрест крепко придавил маленькие упругие груди и повалился вместе с ней назад в широкое кресло, успев выключить газ под шкворчащей сковородкой.

Дверной звонок оглушительно рявкнул, когда Корсунский достиг высшего восхищения ею и собой.

Глава девятая

РОВЕСНИКИ НЕ УПУСКАЮТ ДРУГ ДРУГА ИЗ ВИДУ

«А что такого? — думал Миша Фесенко, кандидат наук, сорока двух лет, беспартийный. — А что такого? Мы еще со школы знакомы. Раньше встречались чуть ли не каждый день. Я и жил у них временами. Борис Ефимович и Татьяна Станиславовна, покойница, были мне, как родные. И Липа мне был, как брат».

Был! Боже мой, как ясно и радужно смотрелось прошлое из сегодняшнего путаного настоящего!..

Михаил Зиновьевич трижды прошел мимо двенадцатиэтажного дома, повернул обратно и снова вышел под жгучие, хоть и

закатные лучи солнца, на раскаленную сковородку площади «Имени 31-й дивизии». Рубашка насквозь промокла от пота, и теперь он чувствовал, как начинает намокать подкладка пиджака. Глазницы наполнились горячей нечистой влагой. Он не стирал ее. Он ее вытряхивал из глазниц, резко, как-то по-лошадиному дергая головой. Фесенко сделал полный круг по лишенной тени площади и вошел в кабину телефона-автомата. Ему показалось, что в горло и в ноздри ему влили сухой кипяток. Михаил Зиновьевич задержал дыхание и осмотрелся сквозь стекла будки. Редкие одинокие прохожие, как всегда в этот час в этой, спальной, части города. Ничего похожего на слежку он не заметил.

И опять он шел между двумя высотными домами в духовой печи улицы Генерала Микрюкова. Здесь была густая тень, но воздух, казалось, был выкачан до полного вакуума. Было не просто жарко, было горячо. При взгляде на кирпичные стены высоток в затуманенном мозгу Михаила Зиновьевича тошнотно вспыхивало нелепое слово «огнеупоры». Длинный двенадцатиэтажный дом не имел ни ворот, ни дверей. Вообще не имел никаких входов. То есть входы были, но с другой стороны. Со двора.

«А что такого?» — строптиво думал Михаил Зиновьевич, слизывая с верхней, чуть обросшей к вечеру, губы крупные капли. — «А что такого?» — думал он, не ускоряя шага.

Со школьных лет их дружба, почти братство, были в то же время жестким соревнованием, непримиримой борьбой. За лидерство? Нет, пожалуй, не за лидерство. За что-то другое... За избранничество! Вот правильное слово. Дело было не только в том, чтобы достичь наилучшего результата, победить. Надо было еще победить максимально легко, выиграть с колоссальным отрывом от противника. Борьба шла не за первое или второе место, а за то, кто Моцарт, а кто... не-Моцарт. И сражались на равных — с переменным успехом. Финал школы и первый курс матмеха выиграл Миша — выиграл без всяких сомнений. А дальше все годы в институте победа была за Липой. Когда оба попали в лабораторию к Бугову (лучшее время, ах, лучшее время жизни были первые годы у Бугова), ослепительные идеи вспыхивали то у одного, то у другого. Они вдвоём играли в блестящий теннис, всех остальных сделав восторженными зрителями.

Так им казалось. Оба не заметили нараставшего раздражения окружающих. Не заметили, что они зарвались. Когда однажды Бугов стал им нудно выговаривать, что они своих товарищей ни в грош не ставят, они темпераментно отрицали и приводили

доказательства. Но это была правда. Давно уже все окружающие годились им только как предмет для насмешек. В том числе и сам Бугов.

И наступила расплата. Разными способами их прижали, ограничили, оттерли. Некоторое время можно было объяснять самим себе, что всё это козни завистников. Да так оно и было. Но потом... усталость что ли?... или годы пришли? Тяжелее как-то всё стало даваться. И дружба была уже с кислинкой. Этим воспользовались. Их единство для многих было почему-то, как кость в горле. Единство треснуло — их разнесло в две разные компании.

Ипполита с его гонором, честолюбием и склонностью к пижонству подхватила компания «прогрессистов» из высшей части комсомольского руководства. Миша Фесенко оказался среди диссидентов, склонных к модернизму в искусстве и глобальным построениям в теории. И в той, и в другой компании крепко пили и устраивали оргии.

«Прогрессисты» снимали для этого теплоход «Карл Либкнехт» и проводили там четырехдневные конференции, тщательно обеспечивая себе все удобства в каютах люкс. Модернисты пользовались роскошной квартирой частника-венеролога, отца одного из членов компании, а водку и закуски приносили с собой. В обеих компаниях были свои барды. Бардов слушали молча, утвердительно кивая головами и постукивая ритмично пальцами по столу. А потом, разогревшись, хором пели Окуджаву. Комсомольцы пели: «Мама, мама, это я дежурю», а диссиденты — «Возьмемся за руки, друзья...» И тех, и других «пас» Комитет Государственной Безопасности. Поэтому в обеих компаниях были стукачи. Стукачам очень нравилось пребывание в этих компаниях. Они растворялись и млели, путая долг и удовольствие. В КГБ рос компромат, но до поры до времени никто не собирался разрушать установившееся равновесие сил.

Пора пришла, и пришло новое время. Количество стукачей в компаниях зашло за 50 % и превысило критическую массу. Пошла неразбериха. Уже стукачки спали со стукачами и пытались их разговорить. Уже стукачи стучали на других стукачей. Диссиденты стали перебегать в комсомольцы. Но случалось, что и комсомольцы переходили в диссиденты. Партия окончательно окостенела, разъеденная бюрократизмом и подхалимажем. Она в совершенстве овладела искусством принимать кардинальные решения, но совершенно разучилась хоть одно из них осуществлять. Единственной опорой, подлинной реальной силой оставался только

Комитет. Он пронизывал всю страну и наращивал свою проникающую силу. Но и тут появились прорехи. От безмерного расширения числа сотрудников страдало качество. КГБ начал снижать компетентность. Появилась острая нужда в истинных рыцарях Государственной Безопасности. И они нашлись. Они пришли спасать Комитет и страну. Только талантливая молодежь КГБ могла удержать от распада впавшую в маразм, внезапно одряхлевшую империю.

Вот тогда-то и ухватил блестящий тайный офицер Андрей Александрович (он же Евгений Михайлович) Никитин отставшего от стаи М.З. Фесенко за жопу.

А от стаи действительно оторвались. Оба. Наличие вкуса и чувства юмора заставило Липу Корсунского опомниться и попытаться отвалить от прогрессивных комсомольцев. Они в это время были увлечены ловлей тунеядцев, что было очень непростой задачей, ибо тунеядцами в полном смысле этого слова были только они сами. Липа высказал это наблюдение в пьяной дружеской беседе. Высказывание было замечено. Как и многое другое. И прежде всего непорядок с отчеством. За глаза его теперь иначе, как Боруховичем, не называли. Была и главная, совсем непростительная вина — то самое «избранничество», за которое он так боролся, которое очень даже ощущалось и ой как раздражало. «Ну, что, Липа, всё глаза портишь, всё имя свое обессмертить надеешься? — как бы шутливо кричали комсомольцы, вбегая к нему в комнату еще в той, родительской квартире в самом центре города на улице Жуковского. — Завтра выезд в Выборг — дискуссия с финскими молодыми учёными на тему «Мы все северяне». И сразу в Хельсинки — союз молодежи профсоюзов. И оттуда в Берлин с большим заездом в Западный Берлин на тему «Все мы европейцы!» Быстренько, быстренько, две рубашки, трусы и плавки в чемодан, презервативы на месте! С шефом всё оговорено. Ты отпущен».

Какие мягкие были диваны в двуспальных купе скорых поездов! Как услужливы были богатыри-шоферы, готовые в лепешку для тебя расшибиться! Как милы и сговорчивы были девушки, случайно зашедшие «на огонек» в трехкомнатный люкс выборгской гостиницы! Э-э-х-х! Хорошо быть молодым! И нигде молодость так не ощутишь, как в разъездной группе обкома комсомола!

А какие шашлыки были в Сехешфехерваре! А сыр под «изабеллу» на Ахуне! А какая стайка полек набежала на нас в гостиницу Бристоль в Варшаве, да так и осталась по номерам на целую неделю — на всё время конференции!.. И — вот не поверите —

всё от души. Ничего они от нас не хотели и ничего не просили. Правда... — нельзя исключить в целях познания — может быть, их заранее кто оплатил? Но это, ей-Богу, уже не наша забота. А как пили в Йыэсуу-Нарве трое суток подряд, то в сауне, то на берегу?! Говорят, эстонцы к нам как-то не так относятся. Не знаю. Не видал. Всё у нас нормально было с нашими эстонцами. И пили они нормально — ничуть не меньше, а может даже и больше. Нормальные эстонцы, нормальные абхазы... вообще нормальные отборные ребята... Кроме румын, конечно, — румыны говно. Но что делать — ихний фюрер их запугал. Трусливые, гонористые... прижимистые... нет, о румынах и говорить не хочется. Но зато болгары... ё-моё! Что день, что ночь, что столица, что колхоз — сплошная гулянка. Как в Грузии! Что хочешь — всё бери.

И вот при всем при этом собственный же жидёныш Борухович прямо мне в глаза говорит: «Да не в шефе дело. Я сам себе сроки устанавливаю. Но сейчас, деваться некуда, надо одну штуковину закончить. Хорошо бы, конечно, катануть беззаботно... но сейчас никак...» Ну, не жидовня? Ну, а что тогда? Мы к нему уже притерпелись, мы к нему принюхались, а он нос воротит. Они уже накушавшись и на чистый воздух хотят. Им надо творчеством заниматься, и с нами им как-то несподручно. Они с нас уже всё получили, а теперь они эйнштейнов начитавшись, и мы для них слишком примитивны. Ну? Я ж ему дорогу открыл, я ему доступ дал, а он ? Сколько раз зарекался — ну, не имей с ними дела, пусть сидят и ждут, когда их всех в Израиль выпустят. Нет! Пожалел. Вытащил. Вот теперь хлебай, Глеб Глебович!

Ипполит Корсунский вылетел из всех к власти приближённых структур, как пробка из шампанской бутылки. Удивительное дело, но общественное мнение — а оно существовало, существовало вопреки всем разумным основаниям, — общественное мнение простило ему временное сближение с комсомольцами. Он стал тайным героем. Большая наука осталась где-то за холмом. Липа блестяще решал прикладные задачи. Но не в этом было дело. Любые успехи не могли поколебать равнодушия к нему начальства. И в то же время насмешливость, пьянство, открытый блуд сделали его тайным героем. Липа сам не заметил, как общественное мнение назначило ему быть диссидентом, и стало так.

Борьба с инакомыслием (то бишь с диссидентством — это одно и то же) дело совершенно пустое. Всегда и везде начальство думает одно, а быдло совершенно другое. И любое начальство (если только оно не состоит из кромешных идиотов, а такие случаи

тоже не редки) знает это и не особенно волнуется. Ведь у самого начальства тоже есть начальство — более высокое, и по отношению к нему низшее начальство составляет быдло. Это такая нормальная лестница. Но лестница должна куда-то вести. Иначе зачем она? Поэтому должна быть определенная точка, или площадка, выше которой уже ничего нет. Для тех, кто находится в этой точке, или стоит на этой площадке, ВСЕ, абсолютно ВСЕ являются быдлом. Очень важно, чтобы тут не было никаких исключений. Тогда Стоящие Наверху твёрдо знают, что ВСЕ их подданные являются инакомыслящими.

А теперь простой и важный вывод: ИНАКОМЫСЛИЕ ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БЛАГОНАМЕРЕННОСТИ. Все говорят одно, а думают другое. ВСЕ! Кроме Стоящих На Самом Верху. Великая глупость и пустые хлопоты приставать к людям с расспросами: а вы действительно так думаете? А вы не притворяетесь? Конечно, не думают они так, конечно, притворяются. И это абсолютно нормально. И пусть В СВОЕМ КРУГУ высказываются с любым инакомыслием. И пусть даже круг этот расширяется. Единственное, что нам нужно, это ЗНАТЬ — кто, что и где говорит. Больше ничего! Только знать! Вот на это не жалеть никаких средств. Потому что опасность существует. Опасность самая серьезная. Опасность от тех, кто помалкивает. От тех, кто разными способами мешает нам ЗНАТЬ, что стоит за их помалкиванием.

Разве мы не слышим и не анализируем анекдоты? Разве мы не знаем, что анекдоты — это народная мудрость, то есть мнение быдла? В коммунизм не верит никто. Абсолютно никто — кроме тех, кто уже сейчас живет при коммунизме или рассчитывает жить при нем в самое ближайшее время. То есть кроме наивысшего начальства. Все ругаются — матом или без мата, в голос или вполголоса — неважно, но все ругаются. Если посылают письмо за границу, обязательно стараются не через почту, а с оказией. Почему? Думают, что с оказией — значит, мимо нас. Вот с этим надо бороться. Вот это опасно. И бороться с этим трудно. Но тут кроется другое — пошло письмо с оказией, и автор уверен, что миновал нас. Хорошо! Но вот мы получаем копию этого письма, и что же? А ничего ! Если бы там любая ругань, любое инакомыслие — да ради Бога! Так нет же! Там — ничего! Просто письмо как письмо. Спрашивается, а зачем же тогда с оказией? А зачем вообще тогда писать за границу? К чему рисковать-то? Чтобы сообщить, что, дескать, Лиза что-то не та и Миша что-то не тот? Нет, господа-товарищи, тут есть тайный смысл, и открыть

его ни сил, ни средств не жаль. И эта зараза уже становится эпидемией.

В опасности равновесие всего нашего общества, благополучие народа. Наш народ един в своём инакомыслии. А эти молекулы, отделяющиеся от общего настроения, могут превратиться в раковую опухоль ослабшего организма. Власти, опившиеся и обожравшиеся на вершинах коммунизма, не понимают этого. Они совершенно лишились чутья. Требуют карать тех, кто им противоречит. Маразматики! Не видят, что на данном этапе развития ТОТ, КТО НЕ ПРОТИВ НАС, НАШ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВРАГ.

Как трудно работать среди не понимающих этого! Какие тупицы засели на всех уровнях! Какие узколобые лентяи! А ведь спасти страну можем только мы. Нужна мощная скрытая психологическая реформа органов. Нужны свежие талантливые люди. И никогда Россия не была бедна на них. Но почему же, почему приходиться работать с Олегом Ивановичем Помоевым и подобными Помоеву? И нет им числа!

Пока Корсунский на лекциях ругает наши порядки и трахает комсомолок из верхнего обкомовского аппарата — всё нормально, и ситуация контролируется. Пока Фесенко поет хором Галича, читает по ночам «Хронику текущих событий» и обменивает № 6 «Хроники» на № 8 с нашей сотрудницей, работающей под диссидентку, — можно быть спокойными, и не надо его тревожить. Но когда Фесенко спрятался в раковину, когда его вообще нигде не видно, когда на него не поступает вообще никаких сигналов, я бью тревогу. Я беру его за жопу и начинаю его трясти. Когда Корсунский с еврейской оказией посылает письмо через Иерусалим в Монреаль, я не жалею, что мы платим людям, доставившим нам копию этого письма. И когда оказывается, что в письме ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, меня это не успокаивает, а настораживает.

Могу я ошибиться? Могу. В данном случае оба могут оказаться пустышками, из которых вышел весь пар. Но вряд ли! Корсунский имеет ИМЯ. Как образуется ИМЯ, как создается несанкционированный авторитет, как может быть скомпрометировано несанкционированное ИМЯ — это всё вопросы серьезные, но изучение их дело будущего. А пока... пока мы должны, по крайней мере, жестко контролировать людей, имеющих ИМЯ.

Страна меняется. Партия сопьется. Комсомол погубят карьеристы. Крыша падает на голову. Только Комитет может поддержать её и подставить свои могучие плечи. Власть может и обязан взять Комитет. Иначе через десять лет рухнут все границы и в

стране будут распоряжаться империалисты. Только мы, новое поколение Комитета, не в соперничестве, а в тесном союзе с лучшими офицерами армии, поганой метлой погнав выдохшихся стариков типа Громова и блатных идиотов типа Помоева, только мы можем и должны сохранить величие державы.

В глазах стоял туман, и в этом тумане запрыгали вдруг нехорошие мелкие серые шарики. Никитин понял, что он накануне обморока. Жара в машине, давно уже неподвижно стоявшей на солнцепёке, была совершенно невыносимой. Это была уже не сауна, это была внутренность мартеновской печи. Никитин почувствовал острую боль в запястье. Сорвал металлический браслет часов и увидел — на руке был круговой ожог. Никитин несколько раз резко выдохнул ртом воздух. Держаться! Рано или поздно этот говнюк войдет в дом, и тогда можно будет вылезти из машины и размять ноги. Но терпеть стоило. Один тот факт, что Никитин угадал, и Михаил Зиновьевич вместо дня рождения любимой доченьки приперся по жарище сюда, на улицу Генерала Микрюкова, один этот факт о многом говорил. Нет, нет, интуицией Никитина Бог не обидел.

Дойдя до конца дома, Фесенко, узко щурясь, оглядывал совершенно пустой длинный двор, пустые, какие-то нежилые с виду дыры окон. Ржавые железные гаражи. Отвратительные полураскрытые пасти переполненных мусорных баков. Двое толстых детей вяло играют в футбол мячом для ватерполо. Ничего подозрительного. Желтый с ржавчиной «москвич» стоит напротив корсунского подъезда. Но он тут давно. Еще когда Фесенко в первый раз подходил к дому, машина уже стояла. И всё же... Михаил Зиновьевич был очень осторожным человеком. Он сделал несколько шагов к «москвичу». Да, нет! Стекла какие-то кривые, за ними ничего не видно. И кто это выдержит — сидеть в машине в 40 градусов с поднятыми стеклами. Фесенко утер пот и вошел в парадную. Хлопнула дверь лифта, и послышались голоса. Фесенко развернулся и, всеми силами стараясь не побежать, быстрым шагом пошел прочь.

И опять его вынесло на раскаленную сковородку «Площади имени 31-й дивизии». Ссутулившись, он застыл на солнцепёке у автобусной остановки. «Но ведь подписку о неразглашении я не давал, — думал он. — Расписку не давал, но ведь предупреждали», — думал он же. Красный с белой полосой автобус подошел и распахнул ободранные двери. Из них никто не вышел, и в них никто не вошёл. Автобус тяжело вздохнул и уехал.

«А что такого?» — подумал Михаил Зиновьевич. Он распрямил плечи, перехватил портфель из правой руки в левую и тронулся к двенадцатиэтажному дому по улице Генерала Микрюкова.

«Всё правильно! Никогда не давать себе поблажек! И правильно, что машину сменил на этот жуткий «москвичок», и что окна не дал себе открыть, хоть чуть не сдох от духоты. И что стекла вазелином замазал, чтоб непрозрачно было снаружи. Всё правильно! Никуда он не денется. Вернется», — шептал себе Никитин, борясь с наплывавшими кошмарами.

Фесенко по хорде пересек круглую детскую площадку, описал широкую дугу вокруг гаражей, и тревожная чернота распахнутой настежь двери подъезда № 3 засосала его.

Лифт равнодушно принял одинокого пассажира и равнодушно выпустил на верхнем этаже. Фесенко решительно приблизился к кожаной с глазком двери квартиры № 163 и надавил кнопку звонка. Звонок оглушительно рявкнул.

Глава десятая

ЖИЗНЬ АРТИСТА

Николай Николаевич Браконье быстро приближался к пенсионному возрасту. Трудовой стаж его был длинным и абсолютно непрерывным. Он прожил совсем недурную, но незаметную для других жизнь. Впрочем, Николай Николаевич вовсе не собирался финишировать. У него было здоровье. Была большая разветвленная семья, неожиданные полдома с большим участком под Приозерском, доставшиеся ему после того, как младшая сестра жены с мужем и двумя детьми-двойняшками погибли в автомобильной катастрофе (разбились, когда ехали на своей машине на эту самую дачу под Приозерском). У Николая Николаевича были: старший сын Юрий — военный, служит в Казахстане под Джезказганом, отломился от семьи, семь лет ни одного письма, дочь Надежда — разведённая приемщица в автосервисе с внуком Алькой, умным и грубым мальчиком восьми лет с врождённым пороком сердца, и младший сын Володя — мастер по телевизорам и перворазрядник по лыжам. Была еще жена — хромая учительница биологии, многолетний донор общества «Красного Креста».

Николай Николаевич Браконье не был французом, хотя не раз страдал от своей идиотской фамилии. В 49-м году ему по этому

поводу чуть не пришили космополитизм. Но Браконье не дрогнул. Любых иностранцев он ненавидел всегда и сильно. Когда его записали в низкопоклонники, он испытал ненависть не к обвинителям за несправедливость, а к себе самому: «Значит, где-то что-то было!» — думал он и на общем собрании такое понёс на себя, высказал такие подозрения относительно себя самого, что его оставили в покое. Это не было расчетливым ходом. Не было это и глупостью. Восторженный порыв верноподданничества, вплоть до жертвы, вплоть до самоистребления — вот что это было. Взлет! Высшая точка духовного подъема, безоглядная самоотдача. Раньше, на фронте, и потом, после этой вспышки, Николай Николаевич был человеком крайне осторожным — пожалуй, даже трусливым. Вперед никогда не рвался и рвущихся не одобрял. Но тогда (это случилось уже после собрания, в беседе с одним из серьезных людей, направлявших кампанию по выявлению) Николай Браконье прямо и недвусмысленно предложил взять на себя роль идейного врага... притвориться поклонником западной мерзости и... быть подвергнутым... по всей строгости... для примера... чтобы разворошить гнездовье, окопавшееся... «и пусть меня покарают для общего дела, — говорил он. — Только прошу, чтоб на жене и сыне Юрке не особо сказалось».

Собеседник, высоко вздернув над столом маленькую головку на длинной шее, смотрел на него, выпучив круглые глаза сквозь большие, тоже круглые, очки. И Николай Николаевич тоже выпучил глаза, потому что ему вдруг показалось, что очкастый сейчас вот, немедленно, разинет свой жутко длинный тонкогубый рот и съест его. Было очень страшно. И в то же время мучительно приятно.

Его не съели. Его вызвали к большому секретному человеку. Разговор был добрый и рассудительный. О планах на будущее — и самого Николая Николаевича и учреждения, в котором происходил разговор. Заходила речь и о перемене фамилии. Можно было вернуть потерявшиеся три буквы и стать Браконьеровым. Но Николаю Николаевичу показалось, что как-то длинновато. От варианта взять фамилию жены он гордо отказался, хотя фамилия была бы хорошая — Стрельцов. Славная фамилия. Встал вопрос о двойной фамилии: Стрельцов-Браконье. Но подумали и оба решили, что звучит как-то издевательски. Оставили как есть. Договорились снова повидаться. И видались. И строили совместные планы. И кое-что осуществляли. Но тут большая история свернула с большой дороги и пошла вбок.

Разоблачение культа Николай Николаевич перенес тяжело. Внешне всё было нормально: как всегда, он оставался незаметной

частицей большинства. Но душа не пела. Всё свободное время он стал огородничать — сперва на родственном участке, а потом уж стал он и своим. Талант земледельца был у него несомненный. Всё у него росло. Всё вырастало, наливалось и набухало. Но, конечно, не само собой. Браконье вброд переходил мелкую речку, позвякивая пустыми ведрами, в одном из которых мягко погромыхивал совок, и долго кружил возле стада. Навоз доставался ему свежий, отборный. Лошадиный был ещё лучше, но за этим деликатесом надо было топать подальше, а ведра с навозом нелегки. «Тяжела ты, шапка Мономаха!» — любил кряхтеть Николай Николаевич, поддевая на совок тяжелые сбитки говна.

Приник он к земле. И земля медленно вернула ему душевное равновесие. А потом... потом жизнь столкнула его с настоящим Западом. И снова встала проблема низкопоклонства, но совсем в ином ракурсе.

«Ты где работаешь?» — «В театре» — «Кем?» — «Артистом» — «Да иди ты!» Такой разговор происходил у Николая Николаевича с новыми знакомыми всегда и везде — в юности, в старости, в бане, в поезде, в больнице, на заводе во время шефского концерта. Коля Браконье не был похож на актера. Именно это привлекло в нем когда-то педагогов театрального училища. «Божественно органичен», — вот как говорили о нем тогда. «Не жмите. Не напрягайте лицо. Ничего не изображайте. Вообще ничего не делайте. Смотрите на Браконье!» — говорили другим ученикам. Рядом с ним всё казалось ненатуральным — декорации, партнеры, даже животные, а главное, сама пьеса. Причем любая. Так что особенно вперед его не выдвигали. Амплуа Николая определилось четко и довольно скоро — все виды охраны. Начал он со Второго Конвоира Шванди в пьесе «Любовь Яровая». Продолжил Стражником в «Рюи Блазе». А потом пошло: сторожа, милиционеры, часовые. Полицейский, надсмотрщик на плантации, телохранитель, надзиратель...

Похвалы в его адрес были постоянны, но довольно однообразны: «Ну, просто поверить нельзя, что это актер!» И как-то постепенно действительно перестали верить. А он терпеливо ждал. И играть любил. На сцене за многие годы ему довелось охранять, арестовывать и выводить в расход самых знаменитых актеров, исполнявших главные роли. Скольких людей во фраках, пиджаках, кафтанах и камзолах он похватал! Он хватал их на сцене родного города, а потом и за рубежом. Театр был знаменитый и стал выезжать за границу.

Каждая поездка была, как приступ малярии. Николая трясло от противоположно направленных токов, возникавших внутри.

Всем иностранцам он не доверял — всем поголовно. Свои артисты, лезшие с ними общаться, брататься, вызывали брезгливость. Больше всего Николаю Николаевичу в любой заграничной столице нравилось свое посольство. На первом же инструктаже, а он бывал в первый день пребывания, он заводил в посольстве знакомства и частенько захаживал отдохнуть душой. Рано утром он обходил членов своей «пятерки», чтобы вместе идти по городу. В первом же магазине члены «пятерки» куда-то терялись, исчезали. Николай Николаевич оказывался в одиночестве, а одному ходить было не велено, и оставался единственный маршрут — в посольство. Там был магазин. Там он спокойно, советуясь на родном языке, закупал всё, что было нужно, и без обмана. И всё было бы хорошо. Но двух вещей не было в посольстве: садово-огородного инструмента и сексфильмов. Приходилось вылезать в большой мир. Родная земля и родной огород упрямо требовали иноземных приспособлений. А от голых баб — это вы уж как хотите — тоже отказаться было невозможно.

Николай Браконье был убежденным моралистом, терпеть не мог никакой распущенности ни в жизни, ни на сцене. Он твердо знал: «Дай нам волю, мы такого наворотим!» Если бы он не был столь строгим в этих вопросах, если бы не был он человеком долга, не умел бы держать себя в узде, может быть, он вообще навсегда засел бы в какой-нибудь порнокиношке или стриптизе. И не вылезал бы оттуда. Его философия художника-интернационалиста сложилась в ясную объективную мысль: «Кое-что хорошее у них есть, но это хорошее — плохо. А у нас немало плохого, но это плохое всё-таки хорошо».

Время шло. Поездки учащались. Рос опыт. От эмоциональной любознательности артисты перешли к размеренному стяжательству, а потом и к оптовой спекуляции. Николай Николаевич был, как все. Питался консервами и банкетами. Приторговывал дефицитом. Но денег всё равно не хватало. Имя театра, обаяние лиц знаменитых актеров, культурно-воспитательная миссия самой поездки действовали на таможенников. О чем говорить? Люди едут, чтобы противопоставить нашу идеологию той, чуждой, хоть немного перевоспитать тамошних людей. Чего ж тут по чемоданам шарить? Всё нормально! Счастливого пути! Обычно так всё и обходилось — широкими улыбками, автографами, а то и разудалыми концертами на рассвете прямо в здании вокзальной таможни с последующей выпивкой. Но однажды...

Ехали в какую-то пустяковую страну. Даже не вспомнить, кто первый ляпнул, что там наши деньги меняют запросто и вообще без всяких разрешений. Николай Николаевич обычно тысячу раз посоветуется, перешепнется, переспросит — что, как, сколько, чем грозит? А тут... взял и сунул в карман четыреста рублей. А в ночь перед отъездом проснулся и при ярком свете луны, слабо соображая в полусне, карман зашил. И очень даже аккуратно зашил. Вот и граница скоро. Проводник собрал декларации.

— Сколько с собой везете советских денег?

— Один рубль 50 копеек.

Рука трясется (а, впрочем, как ей не трястись — поезд-то идет!), и подпись — Браконье. И дата. А вот и таможенники уже в коридоре. Слышно, как первачи во главе с руководством затянули привычную волынку: «Везем революционную пьесу... на декаду дружбы... вот он — узнаёте его? — играет Подвойского.... а я в кино сейчас, в пятисерийном... а он на телевидении... во французско-румынском». А хмурый таможенник без малейшей теплоты в голосе: «Всем зайти в свои купе!»

Растерялись немного мастера перевоплощения. Но разошлись и улыбок с лиц не поснимали. Из одного купе ещё несётся: «Товарищ таможенник, вот мы раз с Беатой Тышкевич — знаете, небось, Беату Тышкевич? И Элизабет Тейлор... Вы «Клеопатру» смотрели наверное?..» А в другом купе уже тихо. Там акт составляют. «Так вот, мы с этой Клеопатрой должны были сниматься в вагоне. Как будто мы любовники. Понимаете? — голос всё визгливее, а речь всё быстрее. — Как будто я любовник этой Беаты, то есть Элизабеты. Понимаете? А зачем открывать? Ой, жена с таким трудом всё уложила. Зачем это?... Вот... а Тейлор эта — баба, конечно, ну, сами знаете... Как, не знаете? Вы что, «Клеопатру» не видели что ли? Ну, пиджак... Ну, карман... Да какие это цепочки? Это сувениры для детишек близких друзей... мы же актеры...Но телевизор-то у вас тут есть? Вы детектив-то наш смотрите? А я всегда с собой много кофе вожу. Я жить без него не могу. И никогда ничего. Ни на одной границе, — и всё быстрее и быстрее, а голос всё выше и выше. — Неужели не узнали? Правда, у меня там усы, но на то мы и актёры. Я же главный бандит. А вы, товарищ? Тоже не видели? Да, столько друзей. Да, столько сувениров. Меня все знают, мне всем надо подарки. Вы с кем разговариваете? Я вашему начальнику Ивану Матвеевичу сообщу при случае. Я с Бунченко... меня Головня... я на Копыловой был женат... я Тышкевич целовал! Кино надо смотреть, дорогой товарищ, а не чемоданы! Да, да, молодой

человек, я польский король Ян Собеский. А вот вы скажите вашу фамилию».

И там стихло. И вошли к Браконье с компанией. Страшно. Если там такое, то тут... Тут второй-третий сорт сидит. Из этих не только что Тышкевич, но и Копылову никто толком не целовал. «Так...» — сказал таможенник, не размениваясь на то, чтобы представиться, или поздороваться, и уперся тяжёлым взглядом в декларации, стопочкой лежавшие на его широкой ладони. Три кролика сидели и тихо дышали, положив лапки на колени, а заведующий радиоцехом Владимир Иванович Чемоданов затаился на верхней полке.

— Браконье, — сказал таможенник и безошибочно взглянул на Николая Николаевича. — Один рубль 50 копеек. Всё? Есть ещё с собой денежные знаки?

И вот в самый нужный момент не хватило органики «божественно органичному» Браконье.

Таможенник повторил: — Денежные знаки есть?

Николай Николаевич хотел сказать: «Нет!», а сам знал, что есть.

— Несть! — выкрикнул он, выкинув вперед руку с разинутыми пальцами и делая рукой отрицательное движение. А одновременно с этим голова делала утвердительные кивки. И тут в довершение всего Николай Николаевич с удивлением увидел свою левую руку. Она болталась перед ним и вихляющимся указательным пальцем тыкала прямо в грудь, в место зашитого кармана.

— Что там у вас? — не грубо сказал таможенник и тяжело шагнул вперед. На верхней полке протяжно пукнул Владимир Иванович Чемоданов.

Николай Николаевич решил, что мир рухнул. Месяц пролежал он в больнице со странной болезнью, выражавшейся в непрерывном поносе и полной некоординированности движений при фантастической температуре 34,2. Он искренне хотел умереть. Потом расхотел. Пришло выздоровление и обновление. В мартовский день Николай Николаевич, хорошо подсвеченный ярким, чуть замутнённым весенними облачками солнцем, шел по многолюдному Л-му проспекту. Шел от центра к реке. Шел к большому дому. Шел каяться.

Он не находил слов для выражения своего возмущения собой. А там слова нашли. Он говорил, что сам не понимает, как это могло случиться, а его поняли. Он сказал, что просто не знает, что теперь делать, а ему подсказали. Чтобы подобные вещи не повторялись, лучше всем всё знать заранее. И он, Браконье, может

в этом помочь. «Ведь не в последний раз за границу едете», — сказали ему. И объяснили, что пора бы ему не отсиживаться в посольстве, а походить да поглядеть на другой мир. Да послушать. «Мы ленивы и не любопытны!» — сказали ему ещё. А вот талантливый молодой артист Вадим Фраз проводит время куда как интереснее — и книжки покупает, и с людьми водится, и в споры вступает. Вот с ним бы и походить. И поглядеть, и послушать.

— Да мы с ним как-то не очень... я его, если честно, недолюбливаю...

— А зря! — сказали ему. — Человек интересный. Приглядитесь, приглядитесь!

Николай Николаевич стал приглядываться, стал внимательнее к людям. Видимо, это сказалось. И к нему стали внимательнее. Он заменил заболевшего Пахова в роли тюремщика Калистрата в «Сократе» и вдруг сразу получил долгожданное звание Заслуженного. В новой пьесе получил симпатичную комическую роль охранника памятников старины. На телевидении сыграл доброго школьного сторожа Азата Сульфидинова. И, главное, пришла к нему квартира! Просто на голову свалилась. Чистый случай! Старая была тесновата. А тут три комнаты, от метро недалеко. «Площадь 31-й дивизии» — магазины и всё прочее. Дом кирпичный, двенадцатиэтажный. На одной площадке с Вадиком Фразом. И пообщаться можно. Вообще, приятно, когда кто-нибудь из своих рядом.

Но и чужие были интересные. Например, его внимание обратили на исключительно занятного и необычного человека — молодого доктора наук Корсунского Ипполита Борисовича, проживающего тоже на этой площадке с отцом Корсунским Борисом Ефимовичем в квартире № 163. А у Николая Николаевича — 164. Стенка в стенку.

Вся семья на даче. В жаркий закатный час Николай Николаевич Браконье в пустой квартире погрузился в одно из любимых своих занятий — в консервирование. Закатывал в литровые банки свежую землянику с малой толикой сахара и смородиновым листом. После каждой банки делал паузу и просто бродил по жаркой квартире, босиком, в трусах. Похлопывал себя, посвистывал. Слышно — лифт подошел. Шаги. Глянул в глазок. Липа пришел. С кем? А-а, с Виолеттой. Как же, как же знакомы... артисты люди общительные. Ну, мешать не будем.

Если идти от лифта, то квартира Браконье была прямо, а Корсунского — налево.

Шаги. Дверь у соседей хлопнула. Глянул: — а-а! Борис Ефимович куда-то потащился. В шахматы, наверное, играть. С Ползуновым из дома 6. В такую-то жарищу! Да, не пожалел сынок папашу. Но с другой стороны — их дело молодое. Э-э-х!

Еще пару банок закатал.

Квартиры построены кухня к кухне. Стенки хорошие, но слышимость есть. Есть слышимость. Николай Николаевич слышал, как вскрикивала Виолетта. Он улыбнулся, почесал затылок и произнес весьма пригодное в таких случаях русское выражение: «О-хо-хо -хо-хо!» Закатал очередную банку. Полез было в тайничок — достать порнографический журнальчик, когда за дверью оглушительно рявкнул звонок.

Глава одиннадцатая

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Виолетта Трахова в разговорах с подругами часто восклицала: «Нет, ну я просто дура набитая!» И это не было ошибкой. Виолетта действительно была глупа, как пробка. При этом она обладала способностью не только радоваться жизни, но и доставлять эту радость окружающим. Отличная фигура, высокий рост, длинные ноги. Прелестное личико с копной роскошных (от природы роскошных!) белокурых волос. Всё это были дары неба, и ничто не могло им повредить. Даже абсолютно пустые глаза на этом овале лица, с этими волосами, с этими ногами — создавали ощущение какого-то смысла. Не мог же Бог так ошибиться, не мог же он создать такую безупречную форму, не вложив в нее вообще никакого содержания!? Ослепительная Виолетта по натуре была вялой и доброй девушкой. Больше всего она любила спать и пить в постели кофе с пирожными. Еще она любила кататься на глиссере. Но если спала и пила кофе она практически ежедневно, то на глиссере каталась только раз в жизни. Да и то неудачно. Ее темпераментный поклонник — совершенно заросший волосами кавказец — опоил ее и себя коньяком, а потом помчал по морю к запретной черте, чтобы, как он говорил «подергать, понимаешь, пограничников за нервы, они там, понимаешь, все свои ребята». Уже на воде открыли ледяную бутылку «гурджаани», чтобы охладиться, а дальше она не помнит. В медпункте санатория «Дружба» ей сказали, что жива она осталась чудом, потому что, когда на такой огромной скорости

вылетают на мель и теряют пассажира, обычно это кончается трагически.

Ещё она любила маму. Мама баловала её, шила ей платья, совсем как фирма, даже ещё лучше, и делала торт «наполеон» с заварным кремом. Но потом мама стала часто болеть, за ней надо было ухаживать. Вета не то чтобы была ленива, а просто скоро уставала. А может быть — некоторые так считали — может быть, действительно была ленива. Она всё реже жила у матери — в заросшем виноградом домике на улице Дражинского, точно посредине дороги между Ялтой и Массандрой.

Вета вышла замуж раз и два. Разводы были легкие, воздушные — по обоюдному согласию. От двух браков осталась симферопольская прописка, но не осталось площади. Почему? Да потому, что дура! Тысячу раз дура! Надо было не лениться, а судиться и требовать размена квартиры. А она... она вышла замуж в третий раз, а потом — вдруг, совершенно для себя неожиданно — первый раз в жизни влюбилась. Она сама обалдела от новизны чувства. Она не думала, что так бывает. Она думала, что «любовь» — это только так говорится, для красного словца или для кино, а на самом деле этого не бывает. И вдруг... на тебе! Это был князь. Правда, черный. Студент из Киева, гражданин Кении. Она немедленно — и на этот раз уже со скандалом — разошлась с мужем и уехала на черный континент.

Большая стройная белая женщина накренила весь социальный строй вшивой деревни где-то на западной окраине африканской страны. А большая белая женщина только тут в полную меру поняла, какая она дура. — Le télégramme pour la grande blanche femme! — голый черный мальчишка бежал через деревню с листком в руке. Телеграмма пришла из бесконечно далекой страны, из города, где на пальмы и кипарисы временами ложится снег. Мать была при смерти. Вета сказала князю: «Надо ехать. Наш обычай. Покупай билет». И когда он повернулся и пошёл за билетом, добавила: «Мудозвон».

Она, конечно, опоздала. Мать уже похоронили. Потому что мучительно долго оформляли визу. Потому что в паспорте не было какой-то специальной отметки. Ее надо было поставить ещё при выезде из Союза, а она не поставила. Потому что тогда слишком любила князя и слишком торопилась уехать. Потому что дура! Тысячу раз дура! Теперь-то это понятно.

Снег растаял, и началась в Ялте обычная мокрая ветреная зима. Из Африки шли телеграммы, князь спрашивал, требовал,

грозил, но Виолетта не собиралась возвращаться. Два месяца она отдыхала. Пила по утрам кофе с пирожными и наслаждалась тем, что сравнительно небольшая пачка валюты, привезённая с собой, на родине легко менялась на огромное количество рублей. Когда же рубли иссякли и она стала паковать горилку с перцем и синий лук для подарков африканским родственникам, выяснилось, что выезд ей закрыли. Опять что-то она просрочила и куда-то не явилась вовремя. Почему? Ну, ясно же, почему! И повторяться нечего. Дура, и всё! Только раньше она сама про себя так говорила, а теперь ей все стали это говорить.

«Это ж кем надо быть, чтобы из заграницы! — не из Болгарии или Чехословакии, а из настоящей заграницы вернуться вот сюда? Вот в этот наш... вот в это наше... говорить не хочется!» — говорили ей. «Да посмотрели б вы на эту заграницу! Да попробовали бы вы сами...» — вяло возражала она. Но в глубине души знала — даже транзитом мелькнувшие огни Франкфурта — это жизнь, даже западно-африканские франки и нигерийские «найры» — это деньги, даже старенький князев «фордик», на котором она ездила по магазинам в соседний городок, — это машина. А здесь... Боже ж ты мой! Нет, уезжать! Бегом! Выдираться отсюда!

Но клетка уже захлопнулась. Ей советовали, она ездила в Киев, ездила в Москву, ходила по приемным, улыбалась обещающе каким-то начальникам и давала то, что обещала. И ей обещали в ответ, но дело с места не двигалось, да и князь вместо призывных телеграмм стал требовать назад две тысячи долларов, которые она взяла с собой.

Её подхватил какой-то совершенно шальной «Балет на льду из солнечного Крыма». На коньках Виолетта держалась слабо, но это не имело значения. «Балет» занимался самыми разнообразными делами — от обслуживания богатых свадеб до пошива маек с надписью «Мы были в Ялте». Менее всего в «Балете» интересовались танцами и льдом. Однако собирались на гастроли и даже за границу. Для этого наняли готовую группу ледяных фигуристов из Одессы. Вместе с ними тронулись в Ленинград, да там и осели до самого лета — репетировать что ли? Кажется никто толком не знал, зачем они тут и что с ними будет. В основном опять организовывали многостороннее обслуживание свадеб и банкетов.

И вдруг Органы, в которые она всё ходила с просьбами, сами пришли к ней. Кения требовала обратно деньги. А денег не было. Саму Виолетту обратно уже не требовали. Хотя она не прочь была бы. Но с документами так всё запуталось, что без Органов ни туда, ни сюда. Это ей объяснил пожилой добродушный полковник

Громов. Он к ней отнесся прямо-таки по-отечески, чем тронул её до слез. Он ей сказал: «Да, поможем мы тебе. Постепенно разберёмся. Но сейчас надо потянуть время. Это мы возьмем на себя». С подачи Громова её свели с разными людьми. Попала она в какие-то славные компании. «Ты только держи меня в курсе всего, — сказал ей добрый полковник. — А там, глядишь, и за границу съездишь». — «Конечно... у меня ж там мои вещи остались... чего он с меня требует? Я тоже могу потребовать... мои вещи...» — канючила Виолетта. «Правильно. И этот вопрос провентилируем. Мы тебя в обиду не дадим. Я тебя буду держать в курсе. Но и ты меня держи. Каждую неделю. Слышишь? Только ты поактивнее. Ты ж вон какая девка — кровь с молоком! — а вялая. А ты должна быть, как ... скипидар! Во! Это точно. Хочешь, буду звать тебя "скипидар"?..»

Виолетта Трахова опять, уже в который раз, подумала, что она любит Корсунского.

— Я люблю тебя! — крикнула она.

Она подумала, что если бы Липа женился на ней, то лучшего ничего и не надо. И с удовольствием переехала бы она на этот двенадцатый этаж и жарила бы мясо на этой плите. И тогда она бы рассказала ему, как было дело, и что их свело... и кто их свел. И ему было бы легче. И ей... ей-Богу! А то... ну, что всё так не по-человечески... Надоело.

— Я люблю тебя! — крикнула она.

Она еще больше любила его, когда оглушительно рявкнул дверной звонок.

Михаил Зиновьевич Фесенко даже испугался — такой резкий был звук звонка. С минуту стояла тишина. Потом шаги... (с двух сторон, как показалось его измученному подозрительностью мозгу). Дверь открылась (две двери, как показалось больному воображению, — прямо и слева) и на пороге появился человек в трусах. Свет бил сзади, а на площадке было почти темно. Лицо трусоносца не прочитывалось. Дурацкая настороженность заставила боязливо повернуться, и тут ... Фесенко увидел, что открыта и левая дверь. Не померещилось. И в левой двери тоже стоит человек в трусах с неразличимым лицом.

Фесенко прислонился спиной к стене и закрыл глаза.

Из глубины квартиры полнокровный женский голос пропел:

Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропа-асть поодиночке...

Юрий ЕКИШЕВ

НА КРАЮ РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ

Очерк

Ей, гряди, Христос, ей, гряди сам в сие сердце чистое, в сию душу смирную; а доколе медлишь, доколе не изволишь сего... пусть милы ему будут эти снежные глыбы его долин, пусть в свой день он скончается, сброся жизнь, как лоза — дозревшую ягоду, как дикая маслина — цветок свой...

Н.С. Лесков «На краю света...»

П.И. Савваитов: пользовавшийся трудами академика А.М. Шегрена (1794—1855), тщательно исследовавшего происхождение слова ***Зырянин****, поддерживает его выводы и пишет в Предисловии к своей «Грамматике зырянского языка» (1850):* ***«Syriäläjnen****,* ***Зырянин****, происходит от* **syrja**, *край, предел, граница; а окончание* ***-lajnen*** *или* ***-lainen*** *(от* ***lai****, род, племя, поколение) соответствует русскому окончанию народных и отечественных имен* ***-янин*** *или* ***-анин****. Очевидно, что слово* ***Зырянин*** *есть измененное по духу русского языка финское* ***Syriäläjnen****».*

Когда родилась идея этих, предлагаемых читателю, записок, я легко дал согласие Игорю Ивановичу Виноградову сделать их. Что, казалось бы, проще: мы пропутешествовали по своей коми земле с проповедью несколько недель — осталось только сесть за письменный стол и записать **всё** увиденное. Зачастую ведь **всё** укладывается в одно лишь слово или вздох — земля... небо...

Но обсуждая это **всё**, это одно слово, я споткнулся:

— После пережитых двух войн...

— После **трех**, крупных... — поправляет меня внимательный собеседник...

Юрий ЕКИШЕВ — родился в 1964 году в Сыктывкаре (Коми АССР). Окончил механико-математический факультет Сыктывкарского государственного университета. До 1989 года работал по специальности, затем занялся религиозно-просветительской деятельностью. Писать начал в конце 80-х годов, дебютировал в «Континенте» (№ 86) повестью «Под защитою». Живет в Сыктывкаре.

Да, трех, конечно, трех. Первая мировая война и продолжившая ее гражданская — разные войны. Ни с чем не смешаешь состояние братоубийства, слепоты и предательства. Хотя этот общий запах... Запах, слишком известный тем, кто **лично** встретился с войной, рассеченный очередью или, наоборот, раздавивший кого-то безоружного в такой-то день и час, в таком-то месте войны: Панджшере, Халхин-Голе, Праге, Будапеште, Грозном, Оше... И во всех случаях цель была одна — Россия. И к другому, третьему, тысячелетию истории, мы, похоже, вновь подходим в каком-то полувоенном (не после? не пред?) состоянии, судя по разрушенному производству, по замершим на одной отметке сообщениям новостей. Истоки этого состояния, ощущения войны — одной, продолжающейся, никогда не утихавшей, — лежат, видно, где-то в глубине и вполне привычны для взгляда, «замылены» постоянным мельканием, присутствием. Но еще не естественны, еще тревожащи...

На рубеже прошлого века звучали бунинские «В поле» и «Эпитафия» по умирающей русской деревне, построенные вокруг одного символа — серого деревянного креста с крышей-голбцом над иконой Смоленской Божией Матери. Во все века вокруг такого вот чуть-чуть, что тревожит и горит, и строилась жизнь: вдруг выползал неизвестно откуда невзрачный монах и бил себя в грудь перед всеми: «Ну не так надо, братие, поверьте!.. Вот уверен, что не так! Кто я такой? Блудник? Да. Вор? Да. Богоотступник? Нет!»... Или целый монастырь поднимал мосты и выкидывал молча черный флаг: «Православие или смерть!» — Истина была последней милостью, исповедуемой до конца теми, кто воспринял Ее как Сокровище, кто ел «бобы, сорок дней замоченные», в отличие от Ария, который «не ел, зашел в море и утонул».

Не стоим ли мы и сейчас перед этим невидимым черным полотнищем? В чем найдет выход это растерянное наше сыновство — нас, уткнувшихся в черный подол матери, пережившей уже так много? В чем будет «милость, а не жертва»? Отмахнувшись от «бобов, сорок дней замоченных» и опираясь только на чувства (безденежья, безработицы, брошенности и т.д.), мы рискуем, что дети окажутся в третьесортной, заваленной кучей мусора (в первую очередь духовного, и чужого и собственного производства) державе. Но есть ли силы — не выйти на улицу, не сесть на лавочку, не посидеть так вот, в тапочках, не дожидаться — авось, кто нальет и сегодня и завтра. И — зальется, и забудется...

Почти два горячих летних месяца мы провели на колесах, «миссионерили» с нашим возрождаемым Братством (о. Стефан, о. Андроник — иеромонахи, матушка из женского монастыря «при кухне», помощники — набиралось до семи человек). Обосновывались в каком-нибудь районном центре на неделю и разъезжали по округе. Где-то не встречают, а где-то не отпускают. Чисто внешне как поход, как экспедиция: короткий сон, переезд, встреча. Как путешествие по Вселенной, по которой «будет проповедано»... И никогда с ходу не скажешь — вот этот придет и будет разговаривать, и слушать, придет помолиться или подготовиться к кре-

щению, а тот не придет. Там — придут, а тут — нет. Хотя есть приметы, «ключевые слова», символы, просто состав воды, источников в этом месте, позволяющие определить: придут или нет. Они, пожалуй, тоже лежат в основе равно бесконечной вселенной одного человека, по которой тоже заповедано «проповедовать во все концы»...

ТАПОЧКИ

Я, может, и зря привязался к этим тапочкам — сидит себе человек около подъезда, никому не мешает. Ждет чего-то. Если бы не разгар рабочего дня, если бы не его дети, так же покорно ждущие «что дадут»: принесла ли «соцработник» Алевтина, как она сама себя назвала, с собой конфеты или нет?

Принесла.

— Они же видят! Им же тоже хочется. Кто им еще даст? А я иногда печеньица, картошки — сегодня ели что-нибудь? Папа что делает? Мама?..

Понедельник, Духов день. Мы только что приехали сюда, в Зеленец, и идем за Алевтиной в один подъезд, в другой, в следующий — подряд по всем «неблагополучным» — и значит, по всем. Зеленец — маленький поселок (действительно, довольно зеленый) на берегу Вычегды.

В Коми все села похожи — вытянутая на несколько километров вдоль реки улица. Село обычно состоит из небольших деревень, разбросанных отдельными кустами, гнездами по нескольку домов, неподалеку друг от друга, через которые вьется дорога. Каждая деревенька села имеет свое название, например: Ключ, Рай, Пустошь, Сар-грезд (*Сар* — царь, *грезд* — небольшая деревня)... И дома похожи: старинные, рассчитанные на большую семью с хозяйством, из двух половин — теплой и холодной. В теплой обычно горница с печкой и жилая комната. Под горницей подпол, называемый голбец, где хранятся семейные припасы. На уровне комнат в нежилой части дома — сеновал, он же отхожее место. Под сеновалом — хлев. Так же, в общем, устроены и все остальные дома. Впрочем, это до коллективизации, когда еще не отнимали бревен, — потом стали уже появляться дома-уродцы, дома-карлики, в которых нет места для семьи — для одного, двух. А потом село стало строить и каменные многоквартирные дома, и это испортило вид его окончательно. Чужеродный для села каменный комфорт — с протекающими потолками, с неработающей канализацией, с воздухом, который остался в деревянных домах, с маленькими комнатушками — врезался в пейзаж, раздробил его, привнес добро материальное, встал рядом с умирающими каменными храмами, заслонил их, окружил. И строили-то как — может, вправду, собирались **дотянуть** до коммунизма? И там — всё будет! не надо будет ни о чем заботиться, всё дадут!

И Зеленец, с которого мы начали свою поездку, раскинувшийся на нескольких чудных холмах вдоль реки, такой же — потянувшийся к городу панельными трех-четырехэтажками посреди деревянных домов, и в сердцевине — разрушающийся храм, как остановившееся, не бьющееся сердце.

Большая часть населения работает на птицефабрике, в лесопункте или в совхозе, что, по-видимому, нынче одинаково невыгодно: не имеет смысла ничего производить — не заплатят, всё равно посадят на карточку за долги, или за тепло, или за электроэнергию и начнут снимать все поступающие деньги. Зарплаты нет как нет — и многие живут за счет пенсионеров, участочка, картошечки. Живы старики — значит, на хлеб в семье есть. И скорее работают многие по привычке — надо ведь что-то делать...

У директора птицефабрики — за спиной портрет Ленина. И звонки — выживем сегодня или нет, хватит зерна на сегодня или нет, у кого еще взять? Первые пять минут разговора с нами протекают еще живо, но всё тяжелее и тяжелее директорский взгляд — давит портрет за спиной, наливается, зреет одно — выживем или нет. Нет подтекста, нет России, более двухсот дней в году постившейся, закрывавшей общественные бани, театры, мясные лавки, и потребление стало даже более вопросом психологии — производится, значит, надо есть.

По соседству, в лесопункте, другое: заходим — и одновременно ощущаем какую-то легкость. Тоже невыгодное производство, биржа завалена горами леса, которые, кажется, невозможно сдвинуть — и везут и везут, а девать некуда: доставить по железной дороге доску дороже, чем вырастить лес, повалить, вывезти и распилить. Но разговор другой — и неожиданно узнаем, что предыдущий директор лесопункта, хорошо известный нам отец Александр, давно уже освятил и здание, и много беседовал с рабочими — и слушают по-другому, и относятся, и дают 50 кубометров бревен для монастырской колокольни. Может, потому, что лес — материал другой? Для созидания? И если уж никто не берет, не покупает, так чтоб не пропал труд — монахам, даром. Пролежи бревно еще год-другой — и из него ничего не сделаешь, даже на бумагу трудно будет пустить. Те, кто работают, еще ждут, что государство создаст условия, чтоб все эти горы пошли в дело. И еще для того, чтобы не думать только о хлебе насущном.

Но сначала Зеленец нас встретил теми, кто не ждет.

— Эй! Батюшки! Идите к нам!..

Компания явно навеселе, тоже в тапочках, немолодые уже мужчины.

Идем по улице — некоторые, увидев монаха, — пугаются, чуть ли не «Господи, помилуй! пронеси!..» — и рука тянется ко лбу...

Сидят у подъездов, дымят, усмехаются куда-то в сторону, старательно отводят глаза.

— Ну, пойдем к тебе! — Алевтина приказывает по-хозяйски мужчине средних лет, сидящему на лавочке. И обращается повелительно к нам — идемте! идемте!

Мы с о. Стефаном идем с опаской — боимся задеть, обидеть человека. Конечно, так нельзя, нельзя вламываться к человеку. Но Алевтина принуждает всех:

— Идем! Им это нужно.

Алевтина, распределитель добра, раздатель бесплатных конфет, печенья, мизерных денег, заводит нас всех в чужую квартиру и начинает

разговор — о работе, о деньгах, о водительских правах отобранных, о том, сколько надо, чтобы вновь на них сдать. Сам не очень, чувствуется, трезв — сжимает кулаки, руки начинают чесаться, когда говорит о работе. Алевтина говорит о еде. Картошку еще не сажал — да все равно выкопают! Огородик — укроп, петрушку... Ну, хоть что-нибудь... И мы еще при этом!

В комнате только незаправленная кровать, три стула и старый телевизор. Пока разговариваем с отцом, входит девочка, молча заправляет постель, он гладит ее за это по голове. Со скрипом договариваемся — если будет сдавать на права, оставим Алевтине денег, она заплатит. Все молча обходят стороной один вопрос — если просто дать денег на руки, то никаких прав не будет. О **своем** стараемся говорить осторожно — об унынии, о детях, о том, что от человека зависит гораздо больше, чем кажется, — он старше нас. Выручает одно — то, о чем говорим, не выучено, а иногда вынесено, вытвержено, выдублено на коже, в крови. Он сидел у подъезда, все-таки чего-то ждал (не нас, конечно) и дождался. Дождался вопросов на свою голову, разговоров; и напоследок о деньгах — я верну!

Подъезд, другой, третий, Алевтина собирается вести нас дальше — куда, до бесконечности? Неухоженные дети, старики, точно так же ждущие, что в собесе им наконец-то подкинут дров — это при взрослых детях в городе, приезжающих, впрочем, только за картошкой... На этом останавливаемся.

Всё бы так и сложилось у меня в одну картину — всё однообразно, уныло, независимо ни от чего, если бы не моя прабабушка, в одиночку приготовившая своим дочерям каждой к выданью по корове — в те годы, когда в совхозе работали за «палочки» в табеле всё светлое время суток, когда свою картошку убирали при свете костра и в красном углу еще не стоял шкаф с хрустальными рюмочками или телевизор. Однажды прабабушка приснилась мне — вместе с каким-то удивительным запахом — древним, нездешним и — знакомым. Приснился луг — и она, и запах этой травы, такой неуловимый, и где-то на краю сознания, за видимым лугом, стояли эти коровы. Будто воспоминание об утраченном райском саде...

Переглядываемся с о. Стефаном — не пойдем дальше. Надо служить молебен.

Как только начинается молебен, первый здесь за несколько десятков лет, рядом загорается пожар. Большинство, конечно, там. Алевтина (и она тоже на пожаре) просит освятить подъезд, который уже поджигали семь раз. И столь частый вопрос:

— А что будет?

Молча разглядывают иконки, книжки. Берут «от пожара», «от пьянства». У многих это первая встреча с молитвой, еще едва-едва на грани «магического православия» — некрещеному можно ли надеть крестик? заговорить зло? С помощью чьей-то оградиться от него? С помощью чего? Кого?

Дети — чумазые, смуглые — сидят, болтают ногами, смеются, рассказывают. И в большинстве спрашивают одно — что делать, когда пьют? когда страшно? когда папа говорит, что это он убил? Надо ли бояться того, кто?..

Провожал нас Зеленец освящением тихого источника. Мы торопились уже в другое место, но, быстро посовещавшись, решили задержаться и освятить в честь Стефана и Прокопия, по названию нашего Братства. Тихо лила слезы женщина, попросившая освятить ключ, новая его хозяйка, так же неслышно взметывались три фонтанчика со дна — может быть, прежние хозяева освящали его во имя Троицы, но имя было уже давно забыто... И нам пришлось чуть-чуть рассказать об именах. И известных, и тихих, почти забытых.

НАЗВАНИЯ, ИМЕНА И ДАТЫ

Каждое место хранит свои имена, иногда уже забывая, откуда они взялись. Так Москва — это митрополит Алексий, Дмитрий Донской, Преподобный Сергий, Даниил, Андроник и многие другие.

У нас на Севере — это удивительные Прокопий, Стефан. Святитель Стефан родился около 1346 года в Великом Устюге. О матери его, Марии, известно предание, согласно которому ее, трехлетнюю девочку, однажды встретил на церковной паперти старец Прокопий Устюжский. Поклонившись ей до земли, он сказал: «Вот идет мать Стефана, епископа Пермского, который будет великим между слугами Божьими».

Отец Стефана, Симеон, служил причетником церкви и был очень привязан к Прокопию, оставив письменные свидетельства его жизни, впоследствии собранные в Житии Прокопия Праведного.

В народном сознании имена Прокопия и Стефана стоят рядом — многие часовни у нас на Севере ставились во имя Прокопия, многие живоносные источники освящены в его честь. На древнем зырянском деревянном календаре отмечены дни — и Стефанов, и Прокопьев. Кроме того, в 1612 году при завоевании Москвы в Спасе-на-Бору были сокрыты под спудом мощи святителя Стефана, а Минин и Пожарский благословлены на защиту Москвы в часовне, поставленной на Поклонной горе между Сергиевым Посадом и Хотьковым в память взаимного приветствия епископа Стефана и Сергия Радонежского. И в то же время совершается «чюдо святых праведных блаженных иже Христа ради юродивых Прокопия и Иоанна Устюжских чюдотворцев», избавивших молитвами своими град Устюг. Так молитвами их российская земля была избавлена от нашествия «полских и литовских людей».

Великий Устюг, Усть-Юг. Ему повезло больше других — записали на «У» в списке городов, по которому взрывали храмы. И на Устюг уже не хватило взрывчатки, поэтому почти все храмы — целые. Цел и Прокопьевский.

Угро-финские, русские корни зачастую настолько сливаются в названиях, что не уследить — что откуда берется. Сама «Москва» на нашем языке звучит как «коровья вода». «Мос» — корова, и «ва» — вода.

— Коровий брод! Есть же такая улица! — подсказывает при встрече Сергей Юрьевич Юрский.

Вотча, небольшое село на юге Коми, — родина моего отца, деда, прадеда — и так далее, уже в переписи XVI века записаны наши предки, братья Екишевы, жившие в Вотче. Вотча — вотчина, отчина; по-коми «вотчыны» — собирать. Последнего священника Вотчинского прихода звали Прокопием Шаламовым. Его матушку — Мария. Прокопий прослужил священником в Вотче 32 года, ровно столько же, сколько его отец, Николай Шаламов. И прожил 55 лет — ровно столько же, сколько его матушка. Его расстреляли в 1931-м, а ее — в 1937-м, описанным столь зловеще родным племянником Варламом Тихоновичем Шаламовым, невольным певцом Колымы. Поповский дом, шаламовский, рухнул в позапрошлом году, когда разобрали печку на кирпичи, а стены выпилили на дрова. Половина домов в Вотче, похоже, сгорела в топке пекарни, пока и пекарня не остановилась — идешь по селу, и сквозь редкий ряд домов проглядывает кладбище: одно пепелище, другое, третье. Два года назад поставили мы там деревянный храмик в честь мученика Виктора. Пожаров, пожалуй, не стало меньше, и смертей — тоже. Почти каждые две недели кто-либо да умирал — пьяный попал к пьяному под машину, замерз пьяный, выпил что-то не то, пьяный сгорел. Когда храма рядом нет — ответственность за душу свою другая. Далеко, недоступно. А когда храм рядом — чем оправдаться, что вот хотел креститься и не успел, что хотел помянуть и — негде?..

В этом году, через 65 лет после приговора Прокопию, при освящении престола в храме удивительным образом появился Крест со святыми Мощами, описанный Прокопием в 1911 году в «Церковно-историческом описании Вотчинского прихода» — небольшой книжечке сельского батюшки, написанной с любовью к тихой, тогда еще богатой Вотче, где на освящение храма в начале века собралось 5000 человек и где сейчас живет 350 — уехали, умерли, в военные зимы вымирали целыми деревнями. Нашлась тем же Прокопием описанная чудотворная икона Стефана — по капле возвращаются утраченные святыни. Отец Владимир, служащий по соседству, как-то сказал: "Наверное, когда будешь умирать, Прокопий придет к тебе».

Похожая судьба, похожая картина — во всех селах. Только вот где-то сохранили, сберегли благодать, где-то нет.

Межадор. «Дор» — означает место рядом с чем-то. Межадор — место рядом с межой, разделяющей земли. Другое село, побольше, побогаче Вотчи. Стоят каменные коттеджи, бетонный Дом культуры. Но храма нет — остался только холмик, след от места. Отсюда когда-то к нам в Вотчу по воздуху путешествовала наша чудотворная икона. Обычно приносили ее в Межадор на повозке и к определенному дню возвращали. А тут — то ли не захотели, то ли не смогли. И — по рассказам — икона сама вернулась на место.

При въезде в Межадор видим пожар. И молитва идет с трудом — на молебен, просто поговорить со священником почти никто не идет. Просят освятить дом, в котором одна трагедия за другой. Приходят, просят помочь — отец убил сына...

Корткерос. «Корт» — железо, «керос» — гора. Железная гора. Большое село на берегу Вычегды, районный центр — тоже нет ни храма, ни воспоминания о нем. Есть ресторан «Корт-айка» — железный отец. Помнит ли кто, что так звали разбойника, натянувшего через Вычегду железную цепь и по ее звону определявшего, что кто-то плывет, и грабившего проезжавшие суда. По преданию, Корт-айку прогнал из этих мест Стефан — и вот он вновь возвратился. Сами призвали.

Чем больше село, чем «богаче», чем больше населения — тем глуше слова, тем труднее, тем рассеяннее внимание и люди упорней. Хотя есть и упорные «умирающие» деревни, и наоборот, удивительно приветливые «благополучные» — но лишь как исключение.

ТОГО, КТО

«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Евангелие от Матфея 10,28; параллельное место в Евангелии от Луки 12,4-5).

Речь пойдет о XIX веке. Дело в том, что когда появилось издание Евангелий на русском языке, в некоторых из них «Того, Кто» — писалось со строчной буквы. Или же, зачастую, в Евангелии от Матфея — с прописной, а параллельное место в Евангелии от Луки — со строчной (да и в нынешних изданиях та же картина). Что, конечно, не встречалось в тексте церковнославянском, поскольку традиция писать всё в целом со строчной буквы устраняла проблему толкования личных местоимений и оставляла читателю возможность либо прочесть так, как есть, уразумевая духом, либо ознакомиться со святоотеческими источниками, если возникал вопрос. И вот появляются эти переводы, в которых вполне естественно звучат из уст Господних слова: «бойтесь того, кто» — ошибка кажется малозначимой, незаметной, естественной. С ходу, на слух, примерно половина слушающих эти слова — разделяется: конечно, надо бояться и избегать зла! — немедленно утверждают одни! Другие, правда: и, конечно, Бога. А при чтении — так легко незаметно проскочить! И принять «естественное» толкование, соответствующее строчной букве.

Кого же просил «убояться паче» Христос? И мог ли Он просить апостолов убояться лукавого?

XIX век, со страхом перед «тем, кто» — страхом, выросшим впоследствии в большую беду, — вновь встал перед нами. Это ведь он, XIX-й, шагнул, убоявшись чего-то, из страны православной — в никакую, в страну материального добра, в страну подавления страхов, в сущности в страну, убоявшуюся «того». Обратного пути нет — да если бы и был, в самом деле — кто согласился бы на повторение того же пути революций и войн, неизбежных за простым возрождением «того, что было раньше» во всей полноте?

Проповедь скорее превращается в поиск — есть ли еще в ком-то этот страх обидеть бесконечно Любящего? Найти его, сравнить со всеми

страхами перед «тем», вооружить этой связью с Ним, вооружить маленькой, хоть из двух слов, молитвой и детей и взрослых, «воинов Христовых» — как несколько раз говорится во время Крещения. Найти это чуть-чуть, маленькую частичку Православия, которую человек несет, — иначе бы и не жил, и не дышал.

То, что сохранилось, как правило, лишь свойства и отголоски, следствия веры: порядочность, честность, терпение. А по большому счету — не такая уж и неодолимая тяга к материальному. Сохранилось в неявном виде, как «вера-без-конфессии» — и, значит, без Церкви. Вера в «кого-то», страх против «того-то» — неизвестно, со строчной или прописной?

7 000

Приглашают освятить квартиру в одном из новых домов Зеленца. Три комнаты — в одной мать, в другой дети, третья комната закрыта, и жильца нет дома. Достаток, чувствуется, средний — кое-что, «что у всех», магнитофоны, коврики, картинки — в углу картинки что-то немного смущающее. Маленький символ какой-то «новоапостольской организации». Выясняем, что мама-то крещена в православии, сын — там же, но ходит в «организацию» вместе с женой, которая крещена в ней. И не знают, можно ли теперь, когда вдруг это выяснилось, квартирку освятить и со свечкой постоять? Мама — за, и сын вроде бы как и за, а невестка нервничает и задает вопросы явно из «катехизиса организации». По сути — освящать нечего, развалины.

Семья как институт, как домашняя церковь, подверглась и до сих пор подвергается жесточайшему обстрелу и плановому разрушению — за десятилетия вынужденного совместного жительства в стесненной обстановке, вынужденного, казенного аскетизма общей семьи, и значит, своего рода инцеста, выросшего вместе с этим почти что кровосмешением внутри семьи. А отсюда — соответствующего духа.

Начинается с ценностей — Алевтина говорит о семье, имея в виду молодых, при свадьбе уже договорившихся, что кому отойдет при разводе — кому диван, а кому стол, как она поясняет. Если свадьба вообще была, ведь почти не регистрируются — живут и всё, так проще. Апостольское «брак свят и ложе чисто», требующее во главу — мужа, иерея домашней церкви, повисает в воздухе. Остались понятия — верность, честность. Всего лишь качества, отметаемые, если так хочется. По сути дела, в рамках «просто культуры» — это нормально. И прием довольно действенный: чуть-чуть снизить требования. Не «не убий» — а «если уж никак нельзя, то, пожалуй...» Не «не прелюбодействуй» — а «если уж никак нельзя, то...» Не «не укради» — а «все ведь вокруг...» Обман остается за кадром — ведь почти те же требования, что и у святости. Но результат — противоположный. Ведь — только «не убий», только «брак свят», одно только и спасает. Пожалуй, примечательно, что в памятном 1937 году

посреди всего, что творилось тогда, — страна искренне праздновала юбилей А.С. Пушкина — культура сыграла злую шутку, вынеся, вместе с понадобившимися «святыми» подробностями жизни Пушкина, его имя в таком зловещем сочетании. Ведь нельзя же представить себе в те же времена юбилей Сергия Радонежского! В этом отношении год нынешний дал исключительный повод нашей земле собрать всё, что возможно: 600 лет со дня преставления Стефана Пермского.

В самом глухом поселке, в Парчеге, за которым дорога дальше никуда не ведет, стоим у обрыва над Вычегдой и собираемся ехать обратно. Мы чуть-чуть опоздали, и люди разошлись — конечно, откуда тут чему взяться, ведь ни храма, ничего. Было село — а теперь нечто другое: место, оживающее летом, с наплывом дачников; были большие дома, жилища, а теперь, если перевести на русский, «домики-с-острыми-крышами». Всяк человек теперь немножко крестьянин — сажает картошку, ездит поливать участочек, строит себе, детям. Храмы городские пустеют — поливка, прополка в выходные, воскресные дни. Да и города-то новые, из выходцев, из тех, кто был раньше крестьянами (христьянами...) Большинство ведь жило одной жизнью — молчаливый, бесконечный труд с детства, ставший изнурительным, когда отняли чуть-чуть и очень много — жизнь вокруг храма. Много опустошительных ветров промчалось: и раньше, и в пятидесятые годы, когда закрывались храмы, когда народ отхлынул к телевизору, к бутылочке.

Исайя возопил, увидев пустыню — «не осталось праведника, Господи!» На что получил ответ: «Нет, есть семь тысяч мужей, Я их упас, но ты их не знаешь».

Выползает навстречу какая-то старушка на двух палках, торопится, просит — приезжайте с Дарами, поисповедовать, причастить, сегодня не готовилась. Тревожится — не умереть бы так, не причастившись.

Умрет она — и на другой день начнут дом разбирать?

Кое-где по лесным поселкам уже так и поступают. Даже в Поинге, родной, с детства знакомой. Поинга — река детства, глухая таежная река с чистыми перекатами, с недоступными ловкими хариусами, выпрыгивающими по всему перекату, с ждущими в таинственных омутах щуками, с комарами, плавающими в каждой ложке удивительной поинской ухи, свернувшимися в каждом ее янтарике, — река, к которой стремишься каждое лето, которая уже начинает сниться под весну, мистическая, древняя, ждущая. В истоках этой чудной Поинги, вечно холодной, в которой никто не купается, вода которой так вкусна, стоит поселок, о котором с болью узнаешь, что выселяется человек — и разбирают дом. А в далекой Копсе, стоящей в верховьях такой же удивительной реки Малой Визинги, до которой один путь — по узкоколейке, уже, пишут, и собак всех съели, и комбикорм. Всякое увидишь и узнаешь.

Приезжаем в Парчег через день, опять с опозданием, — ждет. И она, и другая, и третья, семеро — самая молодая может еще без палочки, остальные уже еле-еле. Мужей уже давно нет, сил нет — но идет маленькая

службочка. В домашней церкви. Кто-то еще перед войной венчался — и ждут встречи, время идет с молитвой, с акафистом.

Отец Стефан исповедует в теплой половине дома, а мы сидим в горнице с кухней. Воспоминаний много, в основном, как **гнали**, как тяжело было, как до войны, во время войны, после войны перезимовавшую картошку весной откапывали, вернее то, что оставалось и не перегнивало — белый крахмал, и ели; как ничего не было и ничего не осталось. Только лишь то, что живы на удивление. Осталась вот **службочка** — в этот день недели акафист Иисусу Сладчайшему, в этот — Божьей Матери, в этот — Николаю Угоднику, в этот — Кресту. На каждый день недели. Удивительно, но остались поселки и села, где идет эта домашняя службочка, слово в слово — одна и та же, день в день, независимо друг от друга. Почти всюду она тихо идет. Остались семь тысяч жен, которых Господь упас. И сердце сжимается — недолго еще вот так ходить, на двух палках, сколько еще будет гореть лампадка в этом месте. Хоть бы отпели. Пусть уж не в храме, заочно — храм-то в городе, а до него на палках не добраться. Ведь в войну разрешили отпевать заочно, еще в первую мировую, — и сейчас это норма. Значит, как на войне. Когда не хватает мужей. Правда, многие так и не знают, за что положили в ней жизнь.

СИНОДИК

Стефан, ставший впоследствии в месяцесловах, помянниках, Минеях — Пермским, просветителем пермян, — умер в Москве, 26 апреля (9 мая) 1396 года. И был погребен с небывалыми почестями в великокняжеской усыпальнице — соборе Спасе-на-Бору, что во дворике Большого Кремлевского Дворца (ныне на этом месте — квадратная, ничем не оправданная пристройка и асфальт, под которым, возможно, — сокрытые под спудом при нашествии «полских и литовских людей» в 1612 году его мощи). Для монаха, семнадцать лет проповедовавшего в глухой земле и мотавшегося и пешком, и на повозке, и «на железном плоту вверх по течению» в Москву, в Новгород по церковным делам, — это слишком. Для собирателя Руси, наставника Дмитрия Донского, собеседника Преподобного Сергия, — впору. Это имя из сокровищницы, которая принадлежит каждому и где накоплено огромное богатство, охватывающее жизнь во всей полноте: Литургия, Причастие, Покаяние, праздники, удивительное церковное пение...

Но тот народ, который не знает, **что** у него украли, **чего** его лишили, отняли, народ, не подозревающий, что душу его выволокли, протащили по камням, наплевали ей в очи, надругались, в чем он нуждается?

Трудно требовать от человека веры той, Стефановой, Сергиевой, — да это и невозможно. Макарий Великий говорил про себя: «я не монах, но я видел монахов», — когда Господь лишь однажды открыл ему двух мужей, прошедших мимо него по пустыне.

Конечно, смерть и всё, что с нею связано, — всё это вошло в жизнь, отравляет ее, не дает полного забытья, не дает расслабиться. Вот-вот — как десять, как двадцать, как сорок лет назад, как в детстве, как всю жизнь было; — полыхнет из-за угла черный траурный марш, пройдут молча, и надо будет, придется постараться задавить в себе это чувство страха, как-то скрутить его, сжать, опровергнуть какими-то словами. Это чувство, нехватка абсолютного, «что-то не так» — даже при полном достатке, — всё же вырывается наружу. Хочется жить, жить до самой смерти, о которой знаешь уже почти всё. Не знаешь только, как ею распорядиться.

Тихонов день, небольшое сельское кладбище в Палаузе. Здесь еще сохранился храм. Как здание неиспользуемое, просто стоящее, как некая здешняя красота, нечто «народное». Еще целы купола, кресты — одного, правда, не хватает — в прошлом году увезли. Никто и не интересовался — куда, никто не знает — студенты что ли баловались? Храм вверху, на холме, как и большинство здесь на Севере, — редко встретишь в тени, в ложбинке, «народ-храмоздатель», как отзывался о зырянах Лесков, старался занять почти все возвышенности храмами, часовнями. В одном Ыбу, раскинувшемся вдоль реки на полтора десятка километров (*ыб*, кстати, по-коми означает *холм, возвышенность*), сохранилось шесть часовен и один храм. Здесь, в Палаузе, всё — вокруг этого ветшающего храма, еще собирающего воедино окрестности, еще притягивающего, объединяющего под своим крылом — и серые дома, и кладбище. Хотя уже и здесь — «острые крыши».

Мы уже приезжали сюда с о. Стефаном. В первый наш приезд собрались, ждали — в основном, чтоб креститься. Теперь же собираемся отслужить молебен на кладбище. У меня в руках поминание, куда записываю всех своих. Подъезжают машины, из города, из близлежащих сел — едут, идут, радуются, здороваются при встрече, улыбаются. В руках корзинки, котомки, сумки с едой. Уже несколько сотен человек собралось в тихом редком сосняке. Идут, в основном, мимо, только смотрят в нашу сторону. Имен не добавляется. Становится ясно — больше не подойдут, не попросят помянуть. Ну что ж: будем поминать своих. Идем по кладбищу — может, где-то есть открытая полянка, где можно встать, — и подойдут, соберутся. Нет. Изредка приглашают присоединиться — сесть, помянуть. Приглашаем и мы, но не встают. Располагаемся на чьем-то столике: икона, свечи, начинаем молебен. Слова еле слышны — кругом крики, смех, возгласы пьяных. Женщина, чей семейный столик мы заняли, едва дожидается, пока мы его освободим. И тут же накрывает, достает выпечку, бутылочки — приглашает помянуть. Выбираемся обратно. И стоим молча около ограды — над кладбищем веселье и дым коромыслом, хохот и разговоры пьяных, сигареты дымятся на блюдечках — для мертвых, льется водка в могильные холмы, рыщут собаки по могилам, вскакивают на лапы, опираясь на кресты в поисках еды. Жить, охота жить до самой смерти, даже на ее краю — легко закурить и дать себе забыться. Опрокинутый, перевернутый праздник. Стоит в селе заброшен-

ный храм, хотя это **его** престольный праздник, Тихон Амафунтский — его святой; **его** церковный колокол — висит на пожарной части и вместо благой вести — принужден нести горе.

Опять этот вопрос — православие или смерть? Не та смерть, которую ждут монахи — как «жених ждет невесту»; не та, приносящая облегчение и воссоединение с Ждущим и Любящим и Обнимающим тебя, но смерть «страшная, смерть жадная и ненасытная, объединяющая всех знающих, что — **придет**, коснется своим смрадным, тленным дыханием, и что за нею — ничего, а значит, надо успеть сделать затяжку, глоток, вцепиться в жизнь. Смерть без понимания, без единого звука и вздоха, без воздыхания о всех, что ждут от нас только одного — поминовения, слова живящего их: родственников, друзей, знакомых, тех, к кому попал на отпевание, о ком попросили помолиться, не умерших «полностью», — слова, так же нужного им, как и нам будет нужно, как и всему народу, с которым живешь и «к которому отойдешь»...

В **своей** части поминания — много имен. Прибавляется и прибавляется, переходит из одной, «за здравие», в другую половину синодика — «за упокой». Среди них — Витя. Я едва успел его похоронить. Не знал, что тянет меня в город, просто торопился приехать, а оказывается — почитать в последний вечер по нем Псалтирь, проводить. Кто-то сунул в карман сверток за это чтение — после оказалось, что старый иерейский крест. Витю похоронили под покрывалом — он месяц пролежал в реанимации с проломленной головой, и никто не мог его признать. Никто не мог поверить, что это он. После этого старые храмы, с такими же проломленными головами, вот так же лежащие, едва, еле дышащие, перестали казаться красивыми. Если я раньше мог зайти в пустующий монастырь или в забытый храм и мог потом сесть и нарисовать или просто вспомнить выщербленный кирпич, старые деревья рядом с выбитыми стеклами, осыпающиеся фрески, то теперь не могу — всё это превратилось в пророчествованную Даниилом «мерзость запустения»...

В Пушкинском музее висит пелена «Мертвый египетский юноша» — почти как живой. Кажется, можно с ним поговорить, налить ему вина, выпить с ним. Но если присмотреться — почти незаметно, что его душу держат какие-то блеклые серые комарики и что не до вина ему с ними.

Месяцы, годы ходить мимо блеклой, серой, почти незаметной «мерзости запустения» в магазин, в школу — дается нелегко. Жить с этим символом, что «жизни все равно конец», в сознании — трудно, почти невозможно. Народ, храмы которого лежат в руинах, — исчезает. С таким народом ничего не построишь — всё прах, всё валится из рук, всё покрыто густым страхом перед смертью, перед сознанием, что — конец, и до него надо успеть пожить, похлопотать по хозяйству, отбиться, отмахиваться от этих серых комаров до последнего.

Витина смерть мне «надоела» — надо было что-то предпринять. Она требовала какого-то моего ответа. И ответ только один — поставить стены, купол, крест. Вошли женщины, зажгли свечи, полилось тихое пение —

вновь жизнь в непрочных деревянных стенах — что может быть прочнее серого дерева? Пока еще можно успеть поставить — пусть небольшие, деревянные храмики, там, где возможно. Завести маленькую службочку, расчистить источники и освятить. Мы рискуем, избавившись на время от искушения «сделать всех равно счастливыми» и выметя и убирая дом свой, дождаться «семи злейших», которые придут вместе и поселятся в доме. «И будет для человека то хуже первого».

В Палаузе.

— Надо бы починить храм-то, приезжайте, почините... У нас сил-то нет. Нет денег. Колокол не отдадим — он наш. Спаситель. При пожаре его далеко слышно. Народный, на народные деньги.

Стоит ли рядом с колоколом ангел? Может, и стоит. Может, оттого и не дают, что — живой и сами живы. Но не знают еще, что с этой жизнью делать.

В Гагшоре (*гаг* — гусеница, мохнатая тварь, *шор* — ручей, *Гагшор* — гусеничный ручей) — ни храма, ни места, где он был. Значит — это не село, так, поселение, где жители несколько раз задают один и тот же вопрос — лекарство есть? И говорим — лекарства (водки) нет. И вяло махают, и бредут:

— А-а-а... колокол-то? Висел тут где-то... Мы его при пожаре использовали. А теперь вот нам сирену поставили. Поищите — может, здесь в траве где-то?

Лежит в библиотеке, треснутый, тоже «народный». Этому уж больше не звонить, быть предметом в музее.

В Межадоре.

— Да валялся тут, на котельной, помню — колокол-то? Был, как же — вот тут лежал, лет пять, нет, два года, а кому он нужен. Унесли что ли?.. Странно, нужен вам что ли?

В Кажиме большой Дмитриевский храм, бывший храм металлургического заводика, отреставрировали, в сущности, стараниями одной женщины. В Усть-Куломе — тоже стараниями одной женщины, старосты. Храм-то открылся, но к ней однажды пришли за выручкой, не отдала — убили. «О создателях святаго храма сего, и о всех зде лежащих» — про живых это неестественно, но уж больно скоро переходят в «зде лежащих». Легко.

ИСТОЧНИКИ

Дым и смрад вокруг смерти, холодный лед «красоты и ужаса» — те тяжелые воды, в которых растворен грех, смываемый с души молитвой, водой из источника.

«Станете источниками вод».

Удивительно легко в этих источниках взметается со дна мелкий песок. Удивительны глаза детей, внимательно слушающих, принимающих как есть перспективу и видимого и невидимого мира, до которой сам-то добрался с трудом.

У нас в Вотче мальчик Миша стал куда-то пропадать, что-то строить. Выясняем, что таскает камни. Начал чтение с Ветхого Завета и... строит жертвенник. Когда узнаёт, что уже «отменили» — что в храме есть и жертвенник, и Престол, приходит в храм. Однажды дверь отворяется. Входит Миша, за ним родители — отец в начищенных сапогах, мать. За ним — молча — еще два человека. Крестные. Пришел креститься.

Простые вещи очень легко забыть, потерять из виду. Идем крестным ходом из Сыктывкара в Ыб (ыб— напомню, холм). Шесть десятков километров по этим горкам надо пройти пешком, и полагаю, что человека четыре — пойдет. Символически все очень просто — надо пронести икону (вот почему четыре) Стефана Пермского до храма в его же честь, который мы отреставрировали к его юбилею, чтоб он прошел в собственном лике, по земле. И чтоб мы праздновали не дату, а Стефанов день, он же и день Победы. Удивительно, что нас дошло 88 человек — а в пути было до трехсот. Кто-то пошел на работу и присоединился, и прошел до конца, кто-то вышел в магазин. Журавли, пролетая на север, выстроились крестом, провожая нас в путь.

И, как в «Докторе Живаго», шли и шли и пели вечную память — вот так же, без запятых, шли и шли и пели. До колен были **свои** ноги — будто ватные, а выше — какая-то легкость, журавлиная. Икону несли по очереди — и не сказать, что она была тяжелая, но сменялись и сменялись и несли, и мужчины, и женщины — и в обуви, и когда натерлись ноги — босиком. До места ночевки, до Пажги, добрались уже за полночь, и было тревожно входить в село — а если никто не ждет?

И неожиданно, в темноте — несколько сот человек, со свечами, с пением — ждут. Проходят под иконой, с радостью принимают кропление святой водой, целуют чудотворный крест со Святыми Мощами.

Опять разговариваем о храме. Председатель уклоняется:

— Да зачем вам он... Вы же и крышу не сможете содержать... Да к тому же там ведь «Дом культуры».

На следующий день уходим — а над селом проносится ураган, и всю председателеву крышу — в пыль.

К вечеру следующего дня добираемся до места — пять минут отдыха, и вновь встаем — и тянет идти дальше, хотя идти некуда.

Возвращаются святыни тяжело. Больше года искали мы чудотворную икону Стефана — и в Москве, и в Петербурге. И вот — перед самым этим крестным ходом — прибегает человек с известием: нашлась. Та самая, с записочкой — что с ней наши предки ходили крестные ходы по этой земле.

На освящение престола, на Крестопоклонной неделе, принесли напрестольный крест с мощами, прождавший 65 лет. Неизвестно кто принес — так и не нашли, то ли девочка, то ли женщина.

Тяжело оказывается — только до колен.

В деревне Ключ освящаем источник, к которому собираются по праздникам — и тут же самодельный выносной крест. Начинаем при дожде — и под конец выглядывает солнце. И — легко. В одном, в другом, в третьем месте — освящаем удивительные просторные легкие дома, кажется, на одно лицо и хозяева, и сами новые светлые комнаты. И все места делятся по этой легкости. После Ключа надо ехать дальше — опять поселок, опять на границе, за которой только тайга. Ну что там может ждать?

Только недели через две в разговоре со Стефаном об этом поселке обнаруживаем, что говорим и думаем только об одном. Вспоминаем только одно, что поразило нас:

— Помнишь, там была женщина такая...

— Да, в платочке, молодая такая...

И замолкаем — там ведь собралось очень много. Но совершенно ясно, о ком идет речь, потому что у **нее** в **тех** глазах **такая** была молитва, что ее ни с кем не спутаешь. И **такая** благодарность за приезд, и радость от встречи — что осознаешь: «я видел монахов», видел верующих людей. О чем, наверное, рассказать нельзя.

Когда-то, три года назад, я окончил роман тем, что герой легко встает с бревнышек и замолкает. Я еще не знал, что увижу эту молитву в чьих-то глазах, еще не знал, что пойду в крестный ход, что будет и освящение храмов, и появится крест, и икона. Готовился сказать какие-то слова, если вдруг речь зайдет о вере. Страшно, наверное, если вдруг оказывается, что то, о чем говорил и проповедовал и к чему готовился, — не то, не так. Иногда нужно все-таки заглянуть в то, что написал когда-то и чем роман окончил:

«Обернись, обернись, Россия, дай Ему пройти по твоим дорогам, сделай чистыми вдоль своих дорог источники вод и воздух, как лучшее свадебное вино, и не обжигай Его своим дыханием и горечью. Отзовись воскресным пением в твоих церквах и часовнях, и ежедневным чтением и молитвой, и праздничной работой. Бойся Его гнева и не бойся сладости — сделай **чуть-чуть**, не делая многого, — прими Его, как подобает, в своих домах, и в Его восставленных домах встреть Его бесконечные праздники, и пройди с ними по городам и всем твоим сторонам, с Его тихими бесконечными днями, с Его тихим ветром. Отвернись от горечи кончающихся дней, от видимости кончающейся жизни и любви, и приблизь невидимость Его шагов по Галилейской пустыне и по дороге с Голгофы, сделай так, чтоб можно было Ему сойти с этой горькой горы и чтоб было не горько, а сладко сказать Ему: **«Пріидите ко Мнѣ вси трꙋждающіеся и wбремененніи, и Азъ оупокою вы»**.

ПИСЬМА НА «ОЛИМП»

Борис Пастернак — Александру Фадееву и Константину Симонову

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.
(Б. Пастернак. Лейтенант Шмидт)

За последние годы эпистолярное наследство Б.Л. Пастернака в основном опубликовано и изучено. Разумеется, наибольший интерес у читателей и исследователей вызывает переписка поэта с его родными, друзьями, с теми, кто был ему близок по духу и профессиональным интересам. Казалось бы, его письма к Александру Фадееву и Константину Симонову, известным и даровитым писателям советской эпохи, — из того же круга разговора поэта с собратьями по перу.

Но на самом деле это письма иного плана: Пастернак обращается к высокопоставленным чиновникам, от расположения которых в немалой степени зависели покой и материальное благополучие и его самого, и близких ему людей.

Характер отношений поэта с каждым из этих двух литературных функционеров был не вполне сходен. Общение его с Фадеевым в довоенные годы можно назвать отдаленно-дружеским. Это объяснялось и заметным местом, занимаемым поэтом в официальной советской литературе в начале 30-х гг., и последующим близким соседством в Переделкине, и частыми встречами на даче у Всеволода Иванова[1]. Отсюда достаточно непринужденная форма писем к Фадееву: Пастернак обращается к нему «Дорогой Саша» и «ты». Эти внешне доброжелательные отношения сохранялись и позднее, в предвоенные годы, когда поэт старался уклоняться от участия в казенных литературных мероприятиях[2]. Вряд ли Пастернак заблуждался относительно прочности соседских связей. Его высказывания о Фадееве, переданные Александром Гладковым, представляются вполне достоверными: «Фадеев лично ко мне хорошо относится, но если

[1] См. об этом воспоминания Вяч.Вс. Иванова «По соседству с Фадеевым». — «Литературная газета», 1996, 10 июля.

[2] Возможно, именно благодаря Фадееву резкие нападки на Пастернака на Пушкинском пленуме Союза писателей в страшном 1937 г., в конце концов, приняли характер суровой, но якобы «товарищеской критики». — См. *Fleishman L.* Boris Pasternak. The Poet and His Politics. Cambr., Mass.-L., 1990, p. 207, 208.

ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя и потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком»[3].

В первые годы Отечественной войны советские власти, добиваясь расположения общественного мнения союзных держав Запада, всячески афишировали переводческую работу Пастернака над пьесами Шекспира. Но к концу войны, когда ее исход стал очевиден, казенное отношение к поэту вновь изменилось к худшему. И в откликах Фадеева слышатся недоброжелательные ноты. В 1944 г. в отзыве на сборник статей Павла Антокольского «Война и культура» он пишет: «Оговариваю свое несогласие со статьей о Пастернаке, который заслуживает, по-моему, более суровой критики. Тем не менее, это первая за дни войны критика произведений Пастернака»[4].

Идеологическая кампания, развязанная постановлением ЦК ВКП(б) 14 августа 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград», повлияла на тон публичных высказываний генсека советских писателей о Пастернаке: «Пастернак засел на старых позициях проводника так называемого «чистого искусства», со специфическим интересом к узколичным темам и усложненной, трудновоспринимаемой поэтической формой ... Этот «объевшийся рифмами всезнайка»[5] нуждается в очень серьезном разборе со стороны нашей критики ... Это новизна ложная, это по существу такая старина, которая в наше время является уже глубоким провинциализмом, в старом смысле этого слова ...»[6] Этот разнос, прозвучавший впервые 20 февраля 1947 г. в докладе «О состоянии и задачах советской критики» на сессии Института мировой литературы, был почти дословно повторен автором в статье «Задачи литературной теории и критики» и в докладе на XI пленуме Союза писателей.

26 марта того же года в Лондоне на встрече английских писателей с советской делегацией (Фадеев, Симонов, Самед Вургун, Айбек) Фадеев следующим образом ответил на вопрос англичан о Пастернаке: «Пастернак никогда не был популярным в СССР у широкого читателя в силу исключительного индивидуализма и усложненной формы его стихов, которую трудно понимать. У него было два произведения: «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», которые имели большое общественное значение и были написаны более просто. Но, к сожалению, он не пошел дальше по этому пути. В настоящее время Пастернак занимается переводами драм Шекспира и как переводчик Шекспира славится у нас»[7]. Явная неспра-

---

[3] *Гладков А.* Встречи с Пастернаком. — В сб. «Воспоминания о Борисе Пастернаке». М., «Слово», 1993. С. 336.

[4] *Фадеев А.* Собрание сочинений. Т. 5. М., 1961. С. 74.

[5] Поэтическую самоиронию двадцатилетней давности Фадеев превращает в орудие политической травли.

[6] *Фадеев А.* Собрание сочинений. Т. 5. С. 494, 495.

[7] Там же. С. 454, 455.

ведливость подобного отзыва после вышедших в недавние годы книг «На ранних поездах» и «Земной простор», в которых Пастернак осуществил свою формулу о «неслыханной простоте», после его встреч с читателями, собиравших полные залы, — ясна. Популярность поэта среди соотечественников, интерес к нему за рубежом терпелись властью во время войны, но были злопамятно отмечены, как только отпала потребность в народном энтузиазме и поддержке мировой общественности. И Фадеев тут же откликнулся на партийный заказ: «Русский декаданс всегда плелся в хвосте у западноевропейского, раболепно подбирая объедки с чужого стола ... Обывательское злопыхательство Зощенко и религиозная эротика Ахматовой не случайно идут рядом. Некий Шиманский в статье «Долг молодых писателей» («Life and letters today», 1943, февраль) противопоставил работу Пастернака работе всех писателей ... Вот почему и приходится говорить, обращаясь к нашим иным представителям формально-эстетской школы: подумайте о том, кто за вас цепляется!»[8]

6 апреля 1948 г. Фадеев докладывает в ЦК, что по его инициативе приостановлен выход уже готовой книги Пастернака «Избранное» в издательстве «Советский писатель». Задержку книги Фадеев мотивировал тем, что в сборнике присутствуют «пошло-эротические стихи ахматовского толка»[9]. В книгу входили поэмы «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт» и 37 стихотворений. Заключали его стихотворения «Март», «Бабье лето», «Зимняя ночь». Докладу в ЦК предшествовало письмо Фадеева к его заместителю по Союзу писателей Симонову от 1 апреля[10]. Судя по нему, Фадеев счел датированное 1946 годом стихотворение «Зимняя ночь» откликом поэта на постановление ЦК, содержащее глумливые нападки на Ахматову. Скорее всего Пастернак не знал, что именно Фадеев был непосредственным инициатором гибели издания, но безусловно понимал причины усиления общего идеологического давления и притеснений, непосредственно его касавшихся. Ведь с тех пор и до появления в 1954 г. в «Знамени» подборки стихотворений ни одна строчка его оригинальных работ не увидела свет на родине. Выходили, да и то со скрипом, только переводы. И, как ясно из публикуемых документов, право на их издание приходилось постоянно доказывать.

Эти письма Пастернака к чиновникам, от которых зависят заказы на переводы, выплата гонораров, тиражи, — читать горько и тяжело. Но не потому, что стыдно за их автора. Пастернак не унижается перед своими высокопоставленными корреспондентами, он прекрасно сознает свое место в русской литературе и в современном ему мире. Несмотря на откровенно высказываемую постоянную готовность к худ-

---

[8] *Фадеев А.* Советская литература на подъеме. — «Правда», 1947, 1 июля.

[9] Приношу благодарность Н.И. Дикушиной за возможность ознакомиться с текстом письма.

[10] Это письмо опубликовано нами в журнале «Путь», № 8, 1995. С. 232, 233.

шему — гонениям, аресту — его письма пронизаны твердым пониманием права художника и человека на достойное существование и права отстаивать это существование достойными средствами. Сколько внутренней правоты в постскриптуме письма к Фадееву от 20 июля 1949 г., в котором Пастернак связывает безвозвратную порчу их отношений с идеологическим пленумом («ахматовской проработкой») и пишет о своей «сознательной вине», т.е. невозможности поступать иначе, чем требует от него совесть...

Нам неизвестны ответные письма Фадеева и Симонова. Да пастернаковские письма едва ли и были рассчитаны на ответ. Чтобы понять это обстоятельство, нужно припомнить некоторые особенности советского этикета. Уже с первых послереволюционных лет едва ли не любой писатель, да и любой интеллектуал, чтобы не быть уничтоженным, чтобы печататься, чтобы зарабатывать привычным трудом и не умереть с голоду, должен был искать ту или иную степень покровительства у кого-либо из партийно-государственных чиновников. Покровительствуемый интеллигент (ученый, писатель) должен был непременно периодически изъявлять свое почтение кому-то из партийных вельмож. Правда, и положение последних было шатким, и принцип «noblesse oblige» (долга перед покровительствуемым) был органически чужд советской морали, утвердившей в качестве абсолютного критерия общения между людьми норму политической целесообразности. Следование этой абсолютной норме легко губило судьбы людей и уродовало их души[11].

Возможно, вышесказанное отчасти объясняет появление письма к Фадееву от 14 марта 1953 г., посвященного смерти Сталина. Заранее предвижу, что знакомство с этим текстом, исполненным переживания исторической важности момента и сочувствия к людям, испытывавшим горе и растерянность, может вызвать некоторое недоумение у читателя. Тем более, что косвенная оценка писателем страшных сталинских лет уже существовала в рукописи романа «Доктор Живаго», над которым Пастернак продолжал работать в те дни в болшевском санатории. Достаточно вспомнить слова Николая Веденяпина о «сангвиническом свинстве жестоких, оспою изрытых Калигул», о бездарности поработителей, о хвастливой мертвой вечности «бронзовых памятников и мраморных колонн»[12]. Оценка сталинского царствования в эпилоге романа так же не расходилась со всем предшествующим опытом Пастернака. Что же стояло за письмом к Фадееву? Возможно, общее в те дни смятение, жалость к человеку, преданному Сталину, свойственное Пастернаку уважение к смерти, смерти любого человека. И смерть диктатора естественно вошла в круг

---

[11] Кстати, «вельможный» подход к интеллектуалу изображен и в романе Пастернака — вспомним сцены общения Юрия Живаго с партизанским вождем Ливерием Микулицыным.

[12] «Доктор Живаго», книга первая, часть I, глава 5.

размышлений автора об исторических событиях, вершащих судьбы героев его романа. Мне хотелось бы обратить внимание читателей и на некоторую перекличку содержания этого письма с эпизодом прощания с Юрием Живаго в романе — природа, растительный мир соучаствует в таинстве человеческой смерти[13]. И еще одна сквозная пастернаковская тема — тема исторического катаклизма как возмездия за унижение женщины и попрание человеческого достоинства.

Это последнее из известных писем к Фадееву. Впавший в немилость у новых властей, на II съезде писателей в 1954 г. Фадеев был отстранен от руководства Союзом. Печальный конец его известен: вскоре после XX съезда КПСС 13 мая 1956 г. он покончил с собой.

Известны два отклика Пастернака на эту смерть. Первый — небольшое стихотворение 1956 г. Думаю, его можно привести полностью, так как оно не из самых хрестоматийных:

Культ личности забрызган грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.

И культ злоречья и мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого снести.

И второе — отрывок из очерка «Люди и положения», в котором Пастернак вспоминает его смерть в ряду самоубийств поэтов: Есенина, Маяковского, Цветаевой. Тем самым со свойственным ему великодушием он восстанавливает Фадеева в достоинстве художника перед лицом потомков: «И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: Ну вот, всё кончено. Прощай, Саша»[14].

---

[13] «Доктор Живаго», книга вторая, часть 15, глава 13.

[14] *Пастернак Б.* Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. М., 1991. С. 333.

* * *

Предлагаем читателю два письма Пастернака к Симонову. Первое — в редакцию журнала «Новый мир» (Симонов — главный редактор) с предложением еще не написанного романа с первоначальным названием «Мальчики и девочки», и второе — личное письмо к Симонову. Содержание их во многом сходно с письмами Фадееву. С Симоновым у поэта никогда не было той, пусть и внешней, близости, что с Фадеевым. Публичные же высказывания Симонова о Пастернаке и его действия как одного из литературных руководителей и редактора журнала всегда соответствовали требованиям политической конъюнктуры[15]. Примером этому может служить и недавно увидевшее свет его письмо в ЦК КПСС от 7 декабря 1957 г. об издании за рубежом романа Пастернака[16]. В нем Симонов пишет о готовности отреагировать на это событие по указанию ЦК. Из документа становится ясно, что подписанное членами редколлегии «Нового мира» письмо к автору романа (от сентября 1956 г.) с отклонением рукописи и политическими обвинениями в адрес Пастернака, выдававшееся за сугубо доверительный отзыв, предназначенный только для автора, предварительно было согласовано с отделом культуры ЦК КПСС и приберегалось для открытой публикации на случай политического скандала и расправы с поэтом.

Таковы некоторые исторические обстоятельства, знакомство с коими, думается, поможет при чтении писем.

* * *

Все публикуемые материалы хранятся в Российском Государственном архиве литературы и искусства в фондах А.А. Фадеева (ф. № 1628, оп. 2, ед. хр. 1026) и К.М. Симонова (ф. № 1814, без шифра).

Предисловие, публикация
и комментарии М.А. Рашковской

---

[15] См. об этом: *Fleishman L.* Op. cit., p. 233—235, 272.
[16] См. «Континент», 1995, № 83. С. 191—193.

1. А.А. Фадееву

26.VIII.1945, Переделкино

Дорогой Саша!

Если ты будешь в Москве на ближайшем редсовете Гослитиздата и если там будет речь о моем Шекспире[1], поддержи меня, пожалуйста, вот в каком отношении. Они давно с согласия ЦКа готовы собрать эти переводы в один том, но всё время откладывают заключенье договора, в последнее время под тем предлогом, что хотели бы, чтобы я, сделанное («Гамлета», «Ром[ео] и Джул[ьетту]», «Ант[ония] и Клеоп[атру]», «Отелло» и «Генриха Четвертого» в двух частях) дополнил еще «Лиром» и «Макбетом». Я не отказываюсь, но хочу это сделать в будущем, ко 2-му изданию тома, потому что устал (у меня зимой стала отниматься рука)[2] и должен сделать перерыв для собственных работ, а им предлагаю ограничиться переведенными драмами, которых достаточно для такого собрания. Это вопрос только денежный, по состоянию квартиры мне опять придется зимовать, а прошлой зимой у меня на дрова ушло больше 20 тысяч.

Прости, уверен в твоей помощи: знать тебе ничего не надо, всё доложит Петр Иванович[3].

Крепко жму твою руку. Сердечный привет Ангелине Осиповне[4].

Твой Б.П.

С той же просьбой обращаюсь к Федину.

---

[1] В издательстве «Художественная литература» (Гослитиздат) планировался выпуск однотомника Шекспира в переводах Пастернака. Это была инициатива директора П.И. Чагина. Издание не было осуществлено, но подобный сборник был выпущен в издательстве «Искусство» (В. Шекспир в переводе Б. Пастернака. В 2-х тт. М.—Л., 1949—1950).

[2] У Пастернака было воспаление нерва правой руки.

[3] Петр Иванович Чагин (1898 — 1967) в 1946 г. был снят с поста директора Гослитиздата.

[4] Жена Фадеева, актриса МХАТа А.О. Степанова.

2. В редакцию журнала «Новый мир»

Сентябрь 1946, Москва

В редакцию «Нового мира»

Я летом начал роман в прозе «Мальчики и девочки» (нынешнее, мож[ет] быть временное его название). Хотя он должен обнять последнее сорокапятилетие (1902 — 1946), но изображение исторических событий

стоит не в центре вещи, а является историческим фоном сюжета, беллетристически подробно разработанного в том роде, как в идеале сюжет понимали, скажем, Диккенс или Достоевский.

Прерванную в последнее время работу я возобновлю на днях и всего охотнее обошелся бы без всякого задатка, чтобы не связывать себя контрактом на еще не готовую вещь. Это выяснится на днях. Если дела мои устроятся, я воздержусь от заключения договора, чтобы сохранить свободу (чтобы надо мной не висело сознание полученного аванса и взятого на себя обязательства).

Если же я не приведу денежных дел в порядок, я буду просить редакцию сделаться со мной (с обязательным условием самое меньшее 25%нтного единовременного аванса) на этот роман, объемом предположительно в 20 печ[атных] листов, сроком на год, т.е. с обязательством представить его и начать его печатание с сентября будущего 1947 года.

Прошу редакцию рассмотреть эти условия, я же со своей стороны не позднее конца октября дам ответ, необходимо ли мне вступить с редакцией в договорные отношения уже и сейчас, или это можно отложить.

С товарищеским приветом

Б. Пастернак

3. К.М. Симонову

11 мая 1947, Москва

Дорогой Константин Михайлович!

Представляю себе, как Вы заняты, если и у меня нет времени настолько, что позови Вы, например, меня в эти майские дни на дачу для очень существенного для меня разговора с Вами, я не мог бы воспользоваться этим приглашением до моего собственного переезда в Переделкино в начале июня. Так что менее всего это письмо — напоминание, содержащее скрытый упрек.

Если говорить только о вещах, практически меня касающихся, то нет у меня и нетерпения в отношении этого свидания, и вот почему.

Я надеялся, что в какой-то десятитысячной доле среди вещей, виденных делегацией и имеющих отношение к России, столкнетесь Вы и с **той бессмыслицей**, что я каким-то образом и в какой-то дозе известен за границей, и это должно **огорчать делегацию** и приносить мне горе, и Вы или Шария[1], или даже Фадеев, среди тысячи других, более важных вопросов, привезете мне выправленную, более логичную, осмысленную и справедливую форму **судьбы моей у себя дома**. Но очевидно этого не случилось, потому что в противном случае, несмотря на Ваш или А[лександра] А[лександровича] недосуг, эта радость сказалась бы сама по себе

на обстоятельствах, прорезалась бы и дошла до меня, а этого нет, и обнадеживание из Ваших сфер вокруг «Нов[ого] мира» — это та же давняя любовь людей ко мне и действие моего романа, и разговоры о гениальности, и ничего нового, фактического, осязательного. А тогда ждать можно по-прежнему годы.

Я еще сделаю небольшое отступление и потом изложу свою просьбу. Мне абсолютно непонятна общая нескладица со мной. Я не могу понять, почему перевести 6 пьес Шекспира, заложить основу к ознакомлению с целой молодой литературой[2] и самому заслужить расположение какой-то, пусть небольшой, но не совершенно испорченной и уголовной части общества, почему всё это — не советская деятельность, а сделать десятую долю этого и плохо — советская? Я далее не понимаю, отчего десятки заслуживающих этого пожилых беспартийных сделали «нашими», премировав их без допроса и таким образом признав за ними это звание, а я из-под взведенного на меня телескопа сам должен составлять свою рентгеноскопию и покупать это нашенство отречением от тех, кто относится ко мне по-человечески, в пользу тех, кто ко мне относится враждебно, и от тех остатков христианства и толстовства, которые при известном возрасте, неизбежны у всякого, кто проходит и заходит достаточно далеко, вступив на поприще русской литературы. Всё это чистый бред и абсурд, на который при краткости человеческой жизни нельзя тратить времени. Тем более, что я ничего не боюсь. Моя жизнь так пряма, **что любой ее оборот приемлем**.

Теперь о просьбе. Опять деньги. Я просил в «Советск[ом] писателе», чтобы мне в счет «Девятьсот пятого года» дали пять тысяч (без этих, самое меньшее пяти, я не могу переехать на дачу). Потребовалась виза Союза. Горбатов согласился, Вишневский[3] сказал, что нет, **«так»** мне денег дать нельзя, надо вызвать меня на секретариат для объяснений. Чудак Вишневский. Если ему требуется моя кровь для поднятия жизни в собственных произведениях, я бы ему дал ее просто, донорским путем, зачем убивать меня для этого, вероятно технически это не так просто.

Ну так вот, вот просьба, эти тысячи. Устройте мне их как-нибудь.

Я как-нибудь на днях зайду к Мих[аилу] Бор[исовичу] Храпченко[4]. В романе вдруг выяснилось, что у меня естественное звучание диалога, мне его сохранили слух и память. Я хотел бы написать пьесу о русск[ом] «трагике» конца 19 века, Иванове-Козельском, «русском Гамлете» и т[ому] п[одобное][5]. Мне бы хотелось, чтобы мне сделали денежный заказ на пьесу, ей-богу, я бы ее написал. Я знаю, что вещи на исторические темы мало интересны, но мож[ет] быть как инвалиду литер[атурной] проработки для меня бы сделали исключение? Спасибо за записку и вещи[6]. Найдите способ ответить как-нибудь в двух словах. Я Вам это облегчил, изложив сам всё главное, большие разговоры и долгие свидания не в моей натуре.

Любящий Вас Б.П.

[1] О ком идет речь, не установлено.

[2] Пастернак имеет в виду свою работу над переводами грузинских поэтов.

[3] Борис Леонтьевич Горбатов (1908—1954) и Всеволод Витальевич Вишневский (1900—1951) — писатели, члены руководства Союза.

[4] М.Б. Храпченко (1904—1986) — в то время председатель Комитета по делам искусств.

[5] Возможно, это первое упоминание о замысле пьесы «Слепая красавица».

[6] Сестра Б.Л. Пастернака Лидия Леонидовна Слейтер-Пастернак (1902—1989), жившая в Оксфорде, через Симонова передала письмо и посылку для брата. Ее записки хранятся в фонде Симонова в РГАЛИ.

4. А.А. Фадееву

Июнь 1947, Переделкино

Дорогой Саша!

У меня к тебе несколько просьб.

Два года тому назад изд[ательство] «Искусство» заключило со мной договор на выпуск собрания моих шекспировских переводов. Если это возможно, мне хотелось бы, чтобы они их все-таки издали. И там 30 тыс[яч] недоплаченных, которые я бы получил при выходе собрания. Сейчас я для Детгиза перевел «Короля Лира». Может быть, они включили бы его в собрание?

По поводу того же автора в Гослитиздате. У них после ухода Чагина осталась неизданной хроника «Король Генрих Четвертый». По-моему, это первый раз, что Фальстаф понятен и смешон — спроси Маршака, он однажды слышал отрывки в ВТО. Мне очень бы хотелось, чтобы они издали перевод. Он оплачен и пропадает у них в рукописи. Кроме того, если бы работа оказалась удовлетворительной, не приобрел ли бы Головенченко[1] и не издал ли бы только что сделанного «Короля Лира»?

У меня нет никаких притязаний на вновь вводимые высшие тарифы. Я не Сельвинский, не Твардовский, не Лозинский и не Маршак. Но в пределе старых расценок, остающихся для большей части членов Союза, мне бы хотелось, выражаясь высоким слогом, видеть плоды своих трудов напечатанными и извлекать из них пользу. Всё это, разумеется, если ты считаешь эти пожелания справедливыми и они не противоречат твоим убеждениям.

Тебе, наверное, показалось бы деланным и неестественным, если бы, следуя собственному непосредственному чувству, я бы только ограничился этими просьбами и умолчал о враждебных мне выпадах этого года. Вот, чтобы у тебя не было такого впечатления, несколько слов о них.

Очень разумно и справедливо всё, что ты и некоторые другие писали и говорили обо мне зимой. Странно и несправедливо только то, что ты

всё это показываешь на мне одном, что ты меня избрал этим экспериментальным экземпляром.

Я — точный сколок большинства беспартийной интеллигенции. Если бы и меня возвели в лауреаты, как огромное множество художников и музыкантов моего возраста, мне не требовалось бы исповедоваться и обо мне не было бы разговоров.

Потому что все они тоже любят глубокий и неистребимый мир личности, тоже помнят Христа и Толстого, тоже всегда были противниками смертной казни, так недавно упраздненной, и многое, многое другое.

Надеюсь, ты не употребишь во зло этого частного письма, хотя, впрочем, твоя воля.

Твой Б.П.

---

[1] Федор Михайлович Головенченко (1899—1963) — директор Гослитиздата после П.И. Чагина.

5. А.А. Фадееву

20 июля 1949, Переделкино

Дорогой Саша!

«Искусство» выпустило мои шекспировские переводы в очень хорошем издании (но очень небольшим тиражом). Ты способствовал их выпуску. Спасибо тебе. Подобные факты вводят в заблуждение доброжелателей. Многие думают, что я разбогател. Но это издание, так же как и появившийся зимой в Гослитиздате «Кор[оль] Генрих IV», затянулось на четыре года. Деньги по этим работам давным-давно проедены. Мало того. Часть изданий, предположенных и оплаченных в свое время в качестве первых, вследствие запоздания стали вторыми и мне по ним приходится возвращать долги и платить неустойки. Так, «Новому миру» я должен 7000, «Советскому писателю» — 3500, 3000 — в Детгиз. Больше 5000 из этих денег я уже вернул. Зимой я перевел первую часть «Фауста». Треть гонорара, авансированную в позапрошлом году, я тогда же прожил. За «Фауста» сулили золотые горы, 14 руб[лей] за строчку, несколько тиражей и пр[очее] (так что опять уже доброжелатели подсчитывали мои миллионы), на поверку же оказалось, что однотомник к юбилею не выйдет, тираж будет очень небольшой и за всё это ворочанье камней с вызовом чертей и ведьм, от которого я чуть не заболел, я получил (по десятке за строчку) с вычетами едва-едва 10 000. Прости, что утомляю тебя подробностями, но мне не хочется казаться голословным.

Между тем, жизнь довольно запутанная. Ты не представляешь себе, в какое количество рук приходится мне раздавать заработок и сколько зарабатывать. Состояние моих материальных дел уже и сейчас беспокоит меня, а завтра я могу оказаться и совсем на мели.

Поэтому, когда выздоровеешь, будь великодушен, не откажись, помоги мне. Вот о чем речь, вот о чем прошу я. Хотя переводить мне осточертело вдесятеро больше, чем тебе об этом слышать, мне ничего другого не остается. И тут две возможности.

Хотя вторая часть «Фауста» безотрадно чужда мне, но ведь, наверное, будут иногда выпускать «Фауста» целиком, обеими частями. Так вот, нельзя ли было бы заказать мне перевод второй части, вслед за первою?

Если это невозможно, то нельзя ли поручить мне по договору заняться непереведенными мною «Макбетом», «Бурей», «Юлием Цезарем» и «Кориоланом»? Тогда бы я собрал почти все шекспировские трагедии, во всяком случае, все лучшие.

Нерадостно, конечно, что на жизнь мне приходится выколачивать всё новыми текущими работами. Теперь мне важно **именно их получить и во всей спешности**. Вот и всё.

Ты знаешь, я было написал тебе много чего другого, потому что ничего нет легче для меня, чем говорить с тобою (почти только с тобою) искренне, с любовью и уважением, но с годами занятие такое всё нелепее и бесцельнее.

Вместо этого, скажу тебе только вот что. За пределами России людей, выучившихся по-русски, стало за последнее время во сто раз больше, чем было в начале века, и в международном значении русский язык, оттеснив немецкий и французский, разделил первое место с английским. Это сделала, конечно, наша революция самым общим своим смыслом, самым первоначальным; это сделала недавняя победа русского оружия; но это сделала и русская литература и необязательно улица Горького и площадь Маяковского, а в первую голову дурачок Достоевский. И в какой-то доле, где-то между Блоком и Есениным, и тобою, и еще кем-нибудь, этому способствовал, как это мне самому ни кажется непредставимым, потрясающим и незаслуженно-невероятным, — и я.

Вот источник патриотических моих ощущений, более простых и прирожденных, чем патриотическое половодье чувств на улице Воровского в дни проработок[1]. А страх быть слопанным никогда не заменял мне логики и не управлял моими мозгами. Народу слопано так неисчислимо много, что готовность быть слопанным, как допущение, никогда меня не оставляет.

Глупо, между прочим, что молодому лауреату Лутохину[2] поручают измерять мое «величие» своими собственными размерами. Это нечестно потому, что из нас двоих признанно велик только он, лауреат, а я, как известно, никогда не притязал на такие объемы. Какое неуместное ехидство! Или я еще недостаточно глух и, по собственному желанию, неведом и незаметен?

А потом, не мог ли бы резать в «Советском писателе» у меня книжку за книжкой кто-нибудь другой, а не Тарасенков[3], главный интерес которого в том и состоит, что он тайно коллекционирует то, что явно отрицает?

А ведь это всё капля в море.

Твой Б. Пастернак

P.S. Я знаю, что со времени ахматовской проработки наши отношения (я говорю о действительно бывших, во всяком случае, о моих собственных чувствах, ни на что большее я не навязываюсь) по сознательной моей вине испортились. Ты должен простить меня, я не мог себя вести иначе, — мне всё это было глубоко противно. За всё это я и заплатил свалившимися на меня неприятностями и резким ухудшением своего положения. Пусть всё это так и останется. Но теперь мне было бы дорого, чтобы лично у тебя в сердце не было высокомерного презрительного зла против меня. И чтобы меня простила Ангелина Осиповна, потому что неприязнь эта явилась и в ней.

А между тем я мог бы продолжать любоваться издали Вами обоими, как людьми и артистами, как это бывало прежде, без каких-либо лишних хлопот и осложнений для себя и Вас.

---

[1] В здании Правления Союза писателей на улице Воровского, как и в других идеологических учреждениях, проводились мероприятия кампании по разоблачению «безродных космополитов».

[2] Имеется в виду поэт Михаил Кузьмич Луконин (1918—1976), который в докладе на собрании поэтической секции Союза писателей посвятил Пастернаку следующий пассаж: «Пастернак удовлетворялся и дорожил только тем, что его признавал заграничный выродившийся хлам. Его подбирали всегда наши враги, чтобы противопоставить нам же. Всю жизнь он был свиньей под дубом. Буржуазные эстеты и безродные космополиты на все лады прославляли юродивое и ленивое творчество Пастернака только потому, что он щекотал их антипатриотические чувства, капая елей на их коленопреклоненные перед Западом души». — «Звезда», 1949, №3. С. 184, 185.

[3] Анатолий Кузьмич Тарасенков (1909—1956) — критик, литературовед, известный коллекционер редких изданий русской поэзии XX в.

6. А.А. Фадееву

1 октября 1949, Переделкино

Дорогой Саша!

Что бы я дал, чтобы не надоедать тебе!

А тут гостившая у меня Нина Табидзе[1] без моего ведома писала тебе, и Зина[2], не заходя домой, прямо со станции бросилась к тебе с нашими огорчениями по поводу Стасика[3]. А мне так не хотелось бы расходовать часть внимания твоего ко мне, на которую я вправе рассчитывать, я так дорожу этим лимитом!

Спасибо тебе за твои приветливые слова Зине и распоряжения по Гослитиздату, которые я тогда же почувствовал. Что-то сдвинулось тогда и пришло в движение, но не доведено еще до конца. Между тем ты, говорят, теперь в Китае, а потом дела опять, может быть, отзовут тебя куда-нибудь за границу: ради бога, прости меня, тебе не до того, но

именно я боюсь, что в твое отсутствие всё заглохнет опять, и так как преобладающая инерция в отношении некоторых людей, в том числе меня, была скорее отрицательная, то этою тревогой и вызвано мое письмо, не содержащее никаких новых просьб, а только повторение старых. Это ужасно, что сами работники в издательстве нуждаются во внушениях свыше, а личная их симпатия в расчет не идет, лично милы со мной в очень многих местах, но вот лично редакторам в Детгизе нравится мой перевод «Фауста», по крайней мере по их утверждению, а они нашли, что взять в однотомник старый будет спокойнее.

Пожалуйста, подтверди перед отъездом Котову[4] свои прежние соображения. И еще вот что. В «Сов[етском] писателе» у меня пропадает гонорар по книге избранных переводов. Большинство их из наших или славянских, или дружественных народно-республиканских поэтов, книга пересматривалась и перерабатывалась дважды. Но в весеннюю воспитательную кампанию они выдумали, чтобы я что-ниб[удь] еще перевел по их выбору, для того чтобы вытянуть книгу, а я отказываюсь, потому что, во-первых, это с их стороны педагогическая блажь, а во-вторых, нет гарантии, что то животрепещущее, что они мне подберут, не окажется через неделю неприемлемым, как это столько раз бывало с самым актуальным. Между тем, именно весь мой остальной материал надежен и устойчив как раз революционно-человеческой своей сущностью (как, например, Шевченко, Петефи), это по чести и совести твердое мое убеждение.

Вот я уже мучительно много написал тебе, а у меня непреодолимая потребность оправдаться перед тобой, именно только и лично перед тобой, чтобы ты не думал, что я ненасытен и жадничаю, и позволяю себе в своих просьбах какие-то немыслимые притязания.

Прости, тут дальше пойдет только горькая проза! Когда я тебе тогда написал, у меня на книжке еще было пять тысяч. Это ведь деньги! Другой сидел бы и молчал, а я уже потревожил тебя.

Но вот две я дал и должен был дать Нине не только потому, что ей живется очень плохо, а оттого, что кучу хорошего и неоценимо вдохновляющего я получил тогда из близких ей рук и в ее лице благодарен тому прошлому (не только Т[ициану], — облакам и деревьям). А сколько такого было в жизни! А судьба Цветаевой! А некоторые гонимые имена! А десятки безвестных! Но прости, я не кончил. Так вот, две я отдал Нине, а полторы отправил сестре и дочери покойной Цветаевой в ответ на эти, тогда же полученные телеграммы[5]. Извини, что я прилагаю их, но скоро я и сам буду нуждаться в расписках от лиц, которым не могу не предложить помощи, **так невероятна мне самому и баснословна природа моего бюджета**. Ты скажешь, на то моя воля, никто меня об этом не просит — слишком долго было бы тебе доказывать, что это не так, что это даже мой советский, общественный (пусть и тайный) долг.

И разве возможно иначе? Отчего эта несчастная дочь Цветаевой должна заменять лошадь в местах, откуда пришла телеграмма, и перетас-

кав на себе сотни центнеров сена, не иметь даже обеспеченного лошади стойла и корма, а я жить еще лучше, чем, по счастью, я все-таки живу?

Не сердись на меня. Я не требую от тебя, чтобы ты признал мою жизнь, мои принципы. Это немыслимо и не нужно. Но я не противопоставляю себя — тебе. Не думай же и ты, что я какой-то «другой». Это неправда.

Я бы не писал тебе, если бы боль большой сердечной близости к тебе не пронизывала меня.

Твой Б.П.

Сердечный привет Ангелине Осиповне. Я написал тебе второпях, как разговаривал бы с тобой, не заботясь о большем или меньшем действии сказанного.

---

[1] Нина Александровна Табидзе (1900—1965) — жена Тициана Табидзе.

[2] Зинаида Николаевна Пастернак (1897—1966) — жена Б.Л. Пастернака.

[3] Станислав Генрихович Нейгауз (1927—1980) — музыкант, сын З.Н. Пастернак и Г.Г. Нейгауза.

[4] Анатолий Константинович Котов (1909—1956) — директор Гослитиздата после Головенченко.

[5] Анастасия Ивановна Цветаева (1894—1993) жила в это время в ссылке в Новосибирской области; Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975) после повторного ареста в 1949 г. была выслана на поселение в Туруханский край. Их телеграммы в архиве Фадеева не обнаружены.

7. А.А. Фадееву

24.VII начало 1950-х, Переделкино

Дорогой Саша!

Я вчера был очень жалок и мог на тебя произвести соответствующее впечатление. Несмотря на продолжающееся расстройство, у меня самочувствие (настроение) сегодня гораздо лучше, и может быть, мне не придется беспокоить тебя просьбами о больнице. Что касается машины, которую ты мне так любезно предложил, то нельзя ли ее попросить к 3-м часам, а не к 4-м (в понедельник), как мы уговорились?

Если вообще это сопряжено с трудностями, то ничего страшного для меня не будет и в поездке на поезде.

Благодарю тебя за постоянную отзывчивость.

Твой Б.П.

8. А.А. Фадееву

14 марта 1953, Болшево, санаторий

Дорогой Саша!

Когда я прочел в «Правде» твою статью «О гуманизме Сталина»[1], мне захотелось написать тебе. Мне подумалось, что облегчение от чувств, теснящихся во мне всю последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе.

Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа.

Каждый плакал теми безотчетными и несознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело за тебя, проволоклось по тебе и увлажило тебе лицо и пропитало собою твою душу.

А этот второй город, город в городе, город погребальных венков, поднявшийся на площади! Словно это пришло нести караул целое растительное царство, в полном сборе явившееся на похороны.

Как эти венки, стоят и не расходятся несколько рожденных этою смертию мыслей.

Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже и раньше любили за ее порыв и тягу к такому будущему, стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слез и смытых обид!

Все мы юношами вспыхивали при виде безнаказанно торжествовавшей низости, втаптывания в грязь человека человеком, поругания женской чести. Однако, как быстро проходила у многих эта горячка.

Но каких безмерных последствий достигают, когда не изменив ни разу в жизни огню этого негодования, проходят до конца мимо всех видов мелкой жалости по отдельным поводам к общей цели устранения всего извращения в целом и установления порядка, в котором это зло было бы немыслимо, невозникаемо, неповторимо!

Прощай. Будь здоров.

Твой Б. Пастернак

---

[1] Статья А. Фадеева «Гуманизм Сталина» была опубликована в «Правде» 12 марта 1953 г. Внимание Пастернака в ней возможно привлекли строки о принципиальном отличии сталинского гуманизма от «всех и всяческих форм христианского гуманизма и от всех разновидностей старого «классического» гуманизма буржуазно-демократического толка».

ХРИСТИАНСТВО — ЕДИНСТВЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ФОРМА МАТЕРИАЛИЗМА

Интервью митрополита Антония (Блума) журналу «Континент», данное в Лондоне нашей корреспондентке Ларисе Скуратовской*

Ваше Высокопреосвященство! Одним из важнейших заблуждений XX века был миф о том, что научно-техническая революция и так называемый «экономический прогресс» решат наиболее острые проблемы отдельных стран и планеты в целом. Советский Союз, как известно, шел «впереди планеты всей» в разработке такой идеологии, поскольку наукой заменил религию. В конце нашего века мы видим печальные последствия этих вседозволенных экспериментов, основанных на уверенности, что человек всё уже знает и предвидит последствия своей деятельности.

Любое новое научно-техническое достижение еще не приносит автоматически добро людям. Пока все достижения науки послужили тому, что богатые стали жить еще лучше, а бедные — хуже. Осознав это, общество всё чаще обращается к ценностям, которые провозглашает Церковь.

Позвольте выразить глубокую благодарность и радость за предоставленную возможность встретиться с Вами и послушать Ваше мнение по поводу вопросов, которые интересуют многих. И прежде всего, относительно некоторых болезненных проблем в моей стране — России.

1. Как лучше строить жизнь в такой стране, как Россия, где много и разных религий, и разных идеологий?

— Во всех странах сейчас множество религий, множество идеологий и разных подходов к жизни. Я думаю, что надо относиться ко всем с открытостью, потому что человек ни идеологии своей, ни религии, ни подхода к жизни не выдумывает. Это всё идет откуда-то изнутри, из глубин, от того, что он узнал от окружающей среды. Если говорить, в частности, о религии, я пришел к очень твердому убеждению: никто не может сказать, что он знает, что Бог существует, если он не встретил Бога в своей жизни. И поэтому говорить, что вся наша вера истинная, а вся вера других людей — фантазия, нельзя. Надо прислушаться к человеку и попробовать узнать, что он о Боге знает...

---

* В интересах более развернутого представления читателю взглядов владыки Антония некоторые его ответы на вопросы Ларисы Скуратовской дополнены его высказываниями на те же темы, взятыми из неопубликованных бесед владыки в различных аудиториях и подготовленными к печати по его благословению Еленой Майданович. В тексте эти фрагменты взяты в квадратные скобки. — *Ред.*

[И главное — помнить, что нельзя создавать против чего-нибудь; создавать можно, никогда не думая, что у нас был бы рай, если бы «их» не было: коммунистов, или немцев, или русских, или эксплуататоров, или кого-нибудь другого. Вся задача жизни в том, чтобы и человек стал Человеком, а не только звери и земля были освобождены от рабства нам. На языке вертится вопрос: что делать?.. Мне кажется, мы слишком часто ослеплены большими проблемами и не видим малых. У нас, в православии, колоссальное количество понимания, богословского знания, аскетического и мистического опыта, но это не значит, что мы его применяем. Мы восторгаемся — и часто этим ограничиваемся. Помню, как-то протестантского пастора укорили: «Вы всё делаете несовершенно!» Он ответил: «Я предпочитаю свое несовершенное делание вашему совершенному неделанию». Я думаю, это часто относится к нам. Мы знаем, мы можем описать, замечательно представить в богослужении, в проповеди, во всех формах православного выражения — а до дела дойдет или не дойдет?..

Мы часто отговариваемся тем, что «мы молимся за весь мир». Но что миру от нашей молитвы, когда люди голодные, холодные? В притче Христовой об овцах и козлищах суд происходит не о том, во что ты веришь, веришь ли в Бога, веришь ли во Христа. Вопрос только в одном: ты был человечен или ты ниже человеческого уровня? Ты накормил голодного? Одел нагого? Принял под свой кров бездомного? Посетил больного? Не постыдился признать, что тюремный заключенный — твой друг?.. Если ты не был человечным, если ты просто человеком не был, то не говори, что хочешь вступить в область Божественную. А у нас очень легко возникает чувство, что мы вступаем в Божественную область. У нас такое колоссальное богатство, что одной крупицей можно насладиться и насытиться. Но православные страны как таковые (я не говорю об индивидуумах) не дошли до того, что богословие должно быть применимо к жизни. Еще апостол Иаков говорил: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу веру мою из дел моих». Мы, может быть, не виноваты в том, что это не продумано, жизнь так складывалась, что не продумывали, но уже очень давно надо было начать думать. И теперь-то нам надо думать, а не довольствоваться тем, что наша вера так совершенна, что нам учиться у других нечему.]

2. Возможно ли объединение лидеров различных религий с целью предотвращения войны и насилия?

— Не всегда удается собрать представителей разных конфессий, чтобы они говорили одним голосом, в частности, о взаимоотношении, об открытости друг другу, боролись бы вместе против неправды, войны и т.д. Разом всех не соберешь. Но мне кажется, что нужно собирать тех людей, которые уже созвучны вам, уже думают в тех же категориях. Пусть вместо ста человек соберутся несколько человек, пять-шесть, и будут думать вместе: каждый из них имеет контакт еще с одним человеком, затем и еще одним, и постепенно можно распространять добротные, благородные мысли, чтобы они росли, как разгорается огонь. Сначала какая-то трос-

тиночка загорится; от того что она загорелась, сырые дрова начинают дымить, а потом они высохнут, и другие начинают гореть. Я думаю, что только так можно добиваться того, чтобы всё большее число людей врастало в это единство мысли, чувства.

А кроме того, я думаю, что эта работа должна идти не только среди главарей, лидеров, потому рано или поздно лидеры или главари, люди, которые привыкли управлять, начинают руководить другими, не давая им возможности думать, чувствовать, выражаться. И потому если и собирать такую группу людей, которая постепенно может разрастись числом, надо одновременно эти мысли сеять, как семя, чтобы они пали на почву, будь она добрая или пока недобрая; вспахивайте эту почву, чтобы весь народ начал думать и переживать, и воспитываться. Иначе получается, что целое поколение лидеров берет в свои руки других людей, которые остаются недорослями.

3. Должны ли права «меньшинств» быть выделены особо?

— Опыт жизни показывает, что если не оговаривать права меньшинств, если они не будут совершенно ясно выражены на бумаге, их будут обходить. Поэтому когда есть какое-то меньшинство — будь то религиозное, расовое или другое, надо, чтобы его права были продуманы и ясно выражены на бумаге, пусть не окончательно, а как первая попытка. И на основании этой первой попытки люди смогут посмотреть, что из этого получается, что надо исправить, что надо прибавить, что нужно убавить.

Но кроме этого, есть другая сторона, о которой слишком часто забывают: та, что права одних зависят почти всецело от обязанностей других. Мы говорим постоянно о «правах», как будто можно добиваться каких-то прав против воли других людей. Тогда как надо воспитывать человека на том, что у него есть обязательства по отношению к другим людям, к этой категории или группе людей. И постольку, поскольку у человека есть сознание своей ответственности и обязательств, права делаются реальностью. Иначе они делаются предметом борьбы.

4. Какова роль религиозных идей и организаций в современном движении за права человека?

— Роль религиозных людей за человеческие права должна быть основана на том мировоззрении, которое у нас есть, и я сейчас буду говорить только как православный или христианин. Всякий христианин рассматривает всякого другого человека, своего или чужого, не только как человека, который просто родился в жизнь, но как человека, который был вызван к бытию Божественной любовью. Бог его возлюбил и призвал жить. Причем та жизнь, которая сейчас ему дана, это только начало приобщенности к той жизни, которая ему предложена. Бог создал каждого человека, поверив в него, на каждого Он надеется, и Его надежды никогда не сокрушаются. Поэтому если мы будем так относиться к каждому человеку и группе людей, то сможем творчески для людей и с людьми вместе что-то делать.

Мне вспоминается священник, который мне встретился в детском лагере, когда мне было лет десять. Он меня поразил; я не понимал тогда, в чем дело, только значительно позже понял. Меня поразило, что он нас всех, мальчиков, любил неизменной любовью. Когда мы были хорошие, его любовь была ликованием; когда мы были плохие, его любовь была острой болью, но никогда не уменьшалась. Такова Божия любовь к нам, и такова должна бы быть взаимная наша любовь друг к другу. Мы можем радоваться на добро в человеке, мы можем плакать над злом в человеке, но любовь не должна меняться от этого. Христианские общины, отдельные христиане, особенно отдельные лидеры (хотя это слово не очень подходит к этому предмету) должны это помнить. Человек — образ Божий, святыня, икона. Эта икона может быть осквернена, может быть испорчена. Но как бы мы отнеслись к иконе, если бы увидели, что ее затоптали, загрязнили, осквернили? Мы бы к ней отнеслись с особенной нежностью, благоговением. Вот так мы должны научиться относиться друг к другу и к тем группам, которые изуродованы ложной идеологией, неправдой или просто незнанием, непониманием.

Если хотите, можно так сказать: каждый из нас потенциально — мощи, потому что каждый из нас потенциально призван к святости. Это, конечно, идеал, то, к чему мы должны стремиться. Но святость начинается не с момента, когда мы передвигаем горы, а с момента, когда мы свою жизнь отдаем в руки Божии с твердым намерением стать как бы проводниками Его мудрости и Его воли. И в этом отношении не обязательно быть «патентованными» святыми, а надо быть людьми, которые устремлены в определенном направлении. Есть люди — сами не святые, но которые могут словом вдохновить других. Ведь подумайте: все святые, которые чтутся у нас на Руси или где бы то ни было, были воспитаны приходскими священниками, которые сами святыми не стали. Но они читали вслух Евангелие, проповедовали от чистого сердца — может быть, аляповато, может быть, несовершенно, но правдиво — слово Божие. И другие люди, которые были способны загореться так, как те сами гореть не умели, загорались. Серафим Саровский был воспитан обыкновенным местным священником; и то же можно сказать о всех святых, за редкими исключениями.

Христос говорит нам, что мы призваны быть не от мира сего, но в мире... Мы призваны, хороши мы или плохи, творить суд Божий, правду Божию и быть совестью этого мира, причем не Церкви, а совестью всех. Мы должны быть как бы светом, хотя бы малой свечой, хотя бы искоркой света, и мы должны вместе с теми, кто не верит во Христа, в Бога, которые борются против Него, делать всё, что можем по совести делать вместе, ради того, чтобы строить град человеческий, который просто был бы достоин человека. А потом в этот град с собой вносить измерение, которое достойно Бога. Вот что мне кажется. И поэтому, где бы мы ни были, наше дело не то что «проповедовать», а каждый раз в ситуации конфликта, напряжения, разногласия не брать сторону, которая нам, как церковникам или верующим, выгодна, а сказать: «Вот в чем правда Божия;

правы и вы, и вы». Или: «Вы оба неправы». (Я думаю, что если бы мы так поступали, то часто от этого сами и страдали, но это дело другое.) И мы не можем ждать момента, когда сами станем воплощением правды Божией, для того чтобы ею поделиться с другим, кому она нужна. Так же, как нельзя сказать человеку: «Я тебя накормлю, когда сам разбогатею». Поэтому мы должны помнить, что несем священную влагу в глиняных сосудах. Мы — глиняные сосуды, и должны это понимать, и знать, и признавать открыто; но одновременно говорить: «И однако то, что я тебе сказал, — Божие слово...» Вокруг нас разные люди. Есть ищущие, есть друзья, есть потерянные овцы; и они имеют право на живое слово, и не могут ждать, пока у нас вырастет сияние вокруг головы, — тогда будет поздно. Вот что мне кажется нашим делом — где бы мы ни были.

5. Какова роль Церкви и религиозных деятелей в сохранении окружающей среды как Творения Божиего?

— Для верующего весь мир сотворен Богом, весь мир был призван постепенно одухотвориться и войти в полное общение с Богом. В конечном итоге призвание всего мира в том, о чем говорил апостол Павел: чтобы Бог стал всем во всем, чтобы Он пронизал всё Свое творение, как жар пронизывает железо, как тепло пронизывает человеческое тело. Поэтому нет такого существа или предмета, который был бы ничтожен в глазах Божиих и мог бы быть ничтожным в глазах людей. Мы не можем рассматривать природу и то, что существует вокруг нас, только как материал для нашей жизни. Много лет тому назад ко мне приходил исследователь из Америки, который поставил два вопроса. Один вопрос: «Что такое молчание?» Ну, я, будучи священником, мог наговорить сколько угодно о молчании, хотя молчать, может быть, и не умею. А вот второй вопрос был: «Что такое дерево?» И я ему ответил, как умел. А потом я этот вопрос поставил двум людям. Один — молодой богослов — ответил: «Дерево? Это строительный материал». Потом я задал этот вопрос полукультурной, ничем не выдающейся молодой девушке. И она мне ответила: «Дерево? Это же красота! Посмотрите, как оно растет. Послушайте звук дождя или ветра в ветвях и листьях! Это красота...» Я думаю, что мы должны научиться смотреть на дерево не как на строительный материал, а как на красоту, которая призвана себя перерасти, для того чтобы приобщиться к Божественной красоте.

[Мы знаем, например, из житий святых: вокруг них образовывались как бы оазисы любви, мира, и даже природа менялась, звери иначе относились друг к другу и т.д. Но мне сейчас вспоминается рассказ из французского романа о том, как некий человек, побывав на островах Тихого океана и увидев природу какая она есть, пока человек ее еще не опоганил, не осквернил, не разрушил, ее действительно возлюбил. Он вернулся во Францию, купил клочок совершенно иссохшей земли, где были только камни и почва, на которой ничто не могло расти, и стал этой почве, этому участку петь песни любви. И постепенно эта почва стала

отзываться, и вырос райский сад, куда стали собираться окрестные звери, причем такие, которые нормально друг от друга бежали бы. Собираются все, за исключением одного: лиса не пришла. Человек этот сначала страшно болеет душой за лису: как это она не понимает, что тут рай, где ей было бы так хорошо. Потом ему становится обидно, он начинает раздражаться, потому что пока лиса не придет в рай, рай-то неполный. И постепенно ему приходит мысль: не будь лисы, рай был бы полный... И он лису убил. Когда он вернулся на участок, всё завяло, все звери разбежались, всё вымерло... Я думаю, это мы и делаем. Если бы могли так полюбить — не участок земли, а тот участок жизни, который нам принадлежит, и пели бы ему песни любви (не сентементальные, не Вертинского, а что-нибудь более оживотворяющее), то могли бы создавать рай в маленьких уголках, которые потом, может быть, слились бы.

Семен Людвигович Франк писал в рецензии на одну из книг отца Сергия Булгакова, что христианство — единственная радикальная и последовательная форма материализма. Потому что материализм игнорирует материю, тогда как христианство ей придает абсолютное и окончательное значение. Для такого материалиста материя — строительный материал. Для христианина материя — нечто, что должно войти в Царство Божие, должно просиять приобщением к Божеству, когда Бог будет всё во всем, когда и мы станем причастниками Божеского естества — это всё слова апостола Павла. Это требует определенно радикального отношения ко всему. Святой Исаак Сирин в одном из своих слов говорит, что только тот может молиться чистой молитвой, кто примирился с Богом, с собой, с ближним и со всеми предметами, которых он касается, то есть кто каждый предмет рассматривает как потенциальную святыню. Это не значит, что надо копить старые спички; но никогда не надо относиться к предмету, будто он не существует. Я помню человека: когда, задумавшись, он бросал тряпку, которой вытирал стол, он останавливался, брал тряпку, говорил: «Прости!» — и клал ее на место. Это может показаться нелепостью, но это говорит о целостном отношении ко всякой материальной реальности. Вот это мы могли бы воплощать, потому что каждый из нас чего-то касается, какими-то предметами пользуется. Как я ими пользуюсь?..

И среди прочего мы пользуемся другим человеком. Потому что если мы не видим в другом человеке святыню, он делается предметом, и мы тогда им пользуемся, будто он предмет, эксплуатируем его в той, другой или десятой форме. Это уже расширяет тему на людей вокруг нас, но делает ее очень конкретной. Потому что если я отношусь к моему ближнему как будто он только предмет, который является в моей жизни или помехой, или помощью, или предметом притяжения, соблазна, желания, я из него уже делаю вещь и лишаю его достоинства не только как человека, но и как вещи, потому что и к вещи нельзя так относиться.

Мы можем заниматься тем, что здесь называется acid rains, осквернением природы, воздуха, которым отравляется всё в Европе, или мы можем быть живым словом Божиим и признавать — это очень важно, — что сами не живем в уровень этой правды, но что правда от этого не меняется.

Сейчас мир настолько стал единым, что недостаточно говорить о том, что надо в одном месте делать то или другое и этим решится вопрос существования или выживания народностей, которые живут на этой территории. Сейчас то, что происходит в одной стране, действует или положительно или отрицательно на другую. Мы сейчас в Англии производим разрушающие газы, которые ветер уносит в Норвегию, в Швецию, в Германию; это наш вклад — отрицательный — в судьбу этих стран. Поэтому мы можем себе задавать вопрос не «Что мы будем делать там?», а «Что мы можем сделать здесь?»

И постепенно сознание людей пробуждается, причем больше не от того, что им рассказывают, а от того, что они воочию видят. Сейчас мы дошли до такой степени, когда очень многое видно. Беда не где-то за морем случилась, — ее везде можно видеть: в речках и реках здесь, на побережье во всей Европе; можно видеть фотографии, фильмы. По-моему, до сознания людей сейчас кое-что доходит. Но всё это движется очень медленно, и успеем ли мы проснуться, пока нас не настигнет смерть, это дело другое. Но каждый из нас что-то может сделать. Если делать будут не отдельные люди, а масса, это уже какое-то движение; и большей частью, если масса людей за что-то берется, то это распространяется и выражается в правах, в законах, в привычках. Но начать можно только с себя и с малого. И если один человек за другим начнет с себя и что-то будет творить достойное и себя, и созданного мира, и, в конечном итоге, Бога, тогда возможны постепенные перемены. Положение не изменится сразу, но сознание людей переменится.

И еще: нельзя ли сказать, что одна из причин, почему мы так разрушаем мир, в том, что мы строим слишком много уродливого? Человек сейчас не может видеть природы, потому что некуда выйти на природу. Города так расползаются, что есть люди, которые никогда не бывают в чистом поле или в лесу. И кроме того, то, что они видят в городах, уродливо и не может вдохновить к сознанию красоты, которое потом может перелиться в сознание поклонения чему-то большему, чем материя в самом низком смысле слова. В этом отношении, например, икона — это уже видение преображенного мира, которое кому-то донесет, так сказать, «экологическую весть», но не так, как говорят экологи, а как видение. Я думаю, мы потеряли сознание, что весь мир — как бы живой организм по отношению к Богу. То есть: мы не можем говорить с деревом или с камнем, но Бог говорит с деревом и с камнем, потому что Он сказал всему, что сотворено: «Явись из небытия в бытие!» — всё создание услышало Его голос. К сожалению, это не обсуждается, об этом мало думают. Отношение большинства людей к зверям: это либо игрушка, либо скот, которым можно пользоваться.]

А в широком масштабе многим представляется, что я в мире имею право дотла всё истребить, употребить, съесть... А потом оказывается — ничего не остается. И вот нам надо вернуться не к «экологическому» представлению, а к пониманию того, что мир являет собой одно целое, созданное Богом для

нас, одно целое, о котором можно говорить и с безбожником, которое является частью нашей судьбы, общей судьбы и человека, и вещественного мира. Важно иметь богословскую базу отношений Бога с человеком и со всей тварью и роли человека как посланника Божия, как служителя Божия по отношению к твари. Конечно, пока невозможно говорить о том, чтобы экология была построена на таком видении, как у Максима Исповедника, например. Но мы должны знать, что оно есть, что это лежит в основе Священного Писания и Ветхого и Нового Завета, что это наше призвание. Жизнь драгоценна, и мы призваны служить жизни, а не ею обладать, властвовать над ней или быть паразитами земли.

6. Мы подготовили в России перевод сборника богословских трудов, посвященных связи христианства с экологией. Не могли бы Вы дать свою статью для такой книги?

— Я мог бы дать доклад, который делал на Епархиальном съезде по экологии. В нем я пытался указать на то, что экология является частью нашей веры, что мир так же реален по отношению к Богу, как и человек, что человек был призван, по словам св. Максима Исповедника, быть вождем этого мира на пути от материального в духовное.

7. Пожалуйста, выразите Ваше мнение по поводу участия женщин в развитии современной цивилизации.

— Во-первых, надо иметь в виду, что в роде человеческом сейчас по меньшей мере 50% женщин, поэтому игнорировать существование женщин совершенно безумно и бессмыслено. Второе — вопрос о Церкви. Церковь построена, к сожалению, по образцу Византийской империи, т.е. на власти и подчинении. Мне часто вспоминаются слова отца Софрония, который подвизался на Афоне, а окончил свою жизнь здесь. Он мне сказал: «Да, мы всегда думаем о Церкви как о пирамиде. И мы забываем, что Церковь — пирамида, стоящая на своей вершине, что те, которые имеют управление Церковью, руководство Церковью, должны быть ниже всех, и на них надо строить». И в этом отношении каждый, кому поручено служить в Церкви, должен быть слугой, рабом, а не властелином. У нас есть иерархическая структура, которая оправдана и нужна; речь не идет о том, чтобы ее не было, а о том, чтобы тот, кто занимает ответственное положение, был слугой других людей.

И еще, мы потеряли сознание того, что такое мирянин. Для нас мирянин — человек, который принадлежит «миру», тогда как на греческом языке мирянин — это член тела Христова, народа Божия. И в этом отношении, какой бы у тебя ни был чин в Церкви, ты такой же член народа Божия, как любой другой. Я помню, как меня представляли на съезде, куда не пускали духовенство, и было сказано: «Владыка Антоний приглашен сюда как докладчик, он — мирянин в священном сане». Да, это правда, человек остается членом всего общества. Поэтому надо, с одной стороны, осознать положение и роль тех, которые ответственно ведут Церковь, которые

должны проповедовать слово Божие, учить и т.д. — но должны учить со смирением, как служители: мы ведь говорим о священнослужителях. И мы должны вновь осознать роль мирян, и в этой группе мирян должны осознать роль женщин. Есть как бы подвал, куда загнаны женщины, — а они такие же миряне, имеют такое же значение перед Богом. У нас есть равноапостольные женщины, у нас есть мученицы-женщины, у нас есть святые женщины всех разрядов и типов. Но это займет много лет и очень трудного труда. Мы должны к этому идти, потому что иначе мы проходим мимо чего-то очень важного. Мир, который построен по схеме мужского ума, неполноценен. Женщины должны внести в него свое.

Бог создал Адама, и сначала он был создан как полнота человека (это учение одного из святых отцов). По мере того, как Адам созревал из невинности, еще не оформленности в полноту человека, он пришел к тому моменту, когда в нем две стихии начали обособляться. И тогда Бог разделил его на мужчину и женщину. И когда Адам увидел перед собой Еву, он сказал: «Это кость от костей моих, это плоть от плоти моей». И не только в том смысле, что это как бы его физическая половина, а и в том, что глядя на нее, он себя узнавал, — однако в том, чем он не мог быть одновременно. И мне кажется, что нам следует вновь уловить понимание того, что женщина и мужчина в совокупности составляют одного человека, но у каждого есть свои уникальные, специальные дарования, и они должны совместиться и сотрудничать для того, чтобы мир был Божиим миром.

8. Как объяснить, владыко, что в конце XX века люди смогли достичь такого технического прогресса, а споры решают всё тем же способом ведения войн?

— Я думаю, что технология не может решить этот вопрос, этот вопрос решается в нравственном плане. Самый простой способ решать конфликт — это раздавить противника. Но противники стали и сильные, и опытные, и получаются конфликты, неразрешимые силой. И мы должны научиться друг друга слушать, прислушиваться. Не для того, чтобы, пока один человек говорит, самому придумывать опровержение его слов, а прислушиваться с тем, чтобы понять его нужду и посмотреть, в чем я могу ему навстречу пойти. Это не всегда возможно в ситуации, где надо делать выбор. Но мы не привыкли друг друга слушать, мы не привыкли всматриваться друг во друга и слушать другого человека не как противника, а как человека, который в нужде, которому я могу помочь пониманием и соответственным действием.

9. В России растут тенденции сепаратизма, возрастает опасность отделения некоторых областей. Как Вы считаете, можно ли сказать некоторым «Иди с миром». Нужно ли идти на сокращение территории России во имя сохранения жизни людей?

— Я думаю, что возможно. Я думаю, что возможно сказать любой группе людей, которая хочет самостоятельности существования: «Иди с

миром...» — именно с миром, а не с враждой в сердце, — и давай подумаем, как мы можем сотрудничать. Что, когда ты будешь свободен, когда у тебя будут руки развязаны, мы можем сделать совместно. Что вы можете сделать для нас и что мы можем сделать для вас? И очень важно в такой ситуации, чтобы тому, который является «меньшинством», наиболее слабым, был поставлен вопрос так: «Ты нам нужен. Что ты для нас сделаешь? Ты можешь нас вдохновить своей культурой, ты можешь поделиться мыслями, которых у нас нет. Ты можешь сделать вклад, как бы ты ни был мал чисто территориально, в ту великую территорию, в тот великий национальный комплекс, который мы представляем собой...»

10. Как Вы относитесь к тому, что некоторые государственные и общественные деятели стремятся к возрождению монархии в России?

— Я думаю, что это нереально. Романовы были избраны русским народом, это была воля русского народа. Если дойдет до восстановления монархии, это будет сделано каким-то подавляющим большинством, но это не будет стихийным избранием нации. И тут вопрос будет в том, насколько данный человек способен занимать это место. Занимать место русского монарха, будучи рожденным и воспитанным в другой стране, — это большая проблема.

11. В сентябре в Колумбийском университете в Нью-Йорке девять человек из Югославии, Болгарии, Румынии и бывших республик Советского Союза встретятся, чтобы пройти курс по Религии, Свободе и Правам Человека. Что бы Вы пожелали нам и какой вопрос выделили бы?

— Если ставить вопрос о религии, правах человека и свободе, то его надо ставить так, чтобы слово «религия» не первенствовало всё время, потому что права человека, свобода — понятия, которые относятся не только к верующим, — они относятся ко всем. Безбожник может быть так же одарен свободой, иметь такие же права, как и верующий. И когда мы настаиваем на том, что то или иное провозглашаем с точки зрения религии, мы этим отстраняем целый ряд людей. Кроме того, это неубедительно. Я работал во Всемирном Совете Церквей достаточно лет и знаю, что есть вопросы, которые всечеловеческие. И если вы верующий и эти вопросы решаете из глубины вашей веры, но не внушая людям, что это религиозный подход, то вы можете что-то хорошее сделать. Если вы говорите с точки зрения религии, это разом отстраняет от вас целый ряд людей.

Большое спасибо, Ваше Высокопреосвященство, за встречу. Я постараюсь донести Ваши ответы до возможно большего сообщества людей. Мы в России знаем и любим Вас. Ваши проповеди духовно поддерживают нас. Позвольте пожелать Вам, досточтимый владыко Антоний, доброго здоровья и сил на многие лета.

Яков КРОТОВ

ПЕРВАЯ РЕЛИКВИЯ, ИЛИ ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЫ

1. Нужны ли реликвии?

«Реликвия» означает «остаток». Человек с широким взглядом на творение скажет, что христианин не нуждается в реликвиях, остатках, потому что у него есть Целое. Зачем интересоваться пещерой, где родился Иисус, ехать к ней за тридевять земель, коли можно перейти дорогу и в ближайшем храме встретить Иисуса во плоти — достаточно лишь дождаться таинства Евхаристии, где Христос — весь, целиком? А частью Он — во всем. Вся Земля — реликвия земной жизни Спасителя, каждый человек, каждое мгновение — реликвия Его жизни после Вознесения. От Небесного Иерусалима одинаково близко (или далеко) и до Назарета, и до Осло.

Только дело именно в том, что для христианина расстояние между духом и материей скорее короче, нежели для человека иной веры.

Кто верует в Бога воплощенного, в Бога воскресшего телом, в Бога, желающего спасения не только душ, но человека в его целости, тот не может хотя бы чуть-чуть иначе не относиться к материальному миру: с большим уважением, чем, к примеру, древний грек, для которого материальное было синонимом испорченного, второсортного. Для многих материя хороша — хороша как ключ к духовной жизни, как способ воздействовать на дух. Но для христианина и здесь все повернуто необычно: материя хороша не как магический инструмент, она хороша именно потому, что вера в Творца освобождает от зачарованности магией, а вера в Сына Божия есть откровение не только о Боге, но и о материи, которая наконец-то обретает свой смысл и свое настоящее лицо. И этот смысл лучше всего передается словом «память»: вот реликвии и есть не «остатки», не «объедки» с барского стола, брошенные нам, грешным людям, для целования. Реликвии есть материя, хранящая в себе память о Боге — а это такое же великое поручение, как поручение клеткам мозга хранить память о мире.

Все знают, что собственности у Христа была немного, — как Он Сам говорил, меньше, чем у лисицы (Мф. 8, 20). Что было носильных вещей, досталось солдатам, Его распинавшим (Ио. 19, 24). Крест, гвозди, терновый венец — всё это, даже согласно преданиям, не было сохранено

учениками, и потому-то когда в IV столетии эти реликвии стали искать, подлинность их проверяли чудесами. Но слишком часто за прошедшие века убеждались, что подлинные чудеса совершаются не только от подлинных реликвий. Слава Богу, бывали выздоровления даже от фальшивых реликвий — а только гвоздей из Креста Господня почитали сотни. Возносясь на небо, Господь тоже не оставил ученикам Своих одежд. Что же остается? Разве что упоминаемые в Евангелиях погребальные пелены, обматывавшие тело Иисуса (Ио. 20, 7). Однако всё, что соприкасалось с мертвым телом, считалось нечистым (Числ. 19, 11—14). Евангелист упоминает, что обратил внимание на пустые пелены, но не говорит, что стал их трогать или рассматривать, тем более — что взял в руки. В конце концов, ученики потому ведь и шли за Христом, что в Нем открывалась вечная жизнь, впереди было главное — и оглядываться им было ни к чему, даже на вещи, принадлежавшие Христу.

И всё же это лишь общие рассуждения, и здесь возможны любые исключения, хотя для исключений нужно нечто исключительное. Но разве не могло быть, к примеру, такого?..

Группами и поодиночке расходились из Иерусалима христиане с проповедью о Воскресшем Спасителе. И кто-то из них унес с собою весьма необычную реликвию, напоминавшую о Христе: кусок льняного полотна длиною в два человеческих роста (4,3 метра), шириною в 1,1 метр, на котором расплывчатые пятна образовывали отпечаток человеческого тела...

Сегодня эту реликвию обычно называют «Туринской Плащаницей». Многие люди сомневаются в том, что Туринская Плащаница действительно связана с Христом. Однако прежде чем рассказывать о сомнениях, стоит рассказать о том, что, собственно, подвергается сомнению: об истории первой (и, может быть, единственной) реликвии, связанной с Христом, — о том, каким образом, по представлениям историков, она могла сохраниться на протяжении тысячелетий, о том полудостоверном и совершенно недостоверном, что смешалось в ее истории. И не забудем: вне зависимости от подлинности Плащаницы, подлинны легенды, мечты и молитвы, связанные с нею и являющиеся частью — и немалой — истории человечества.

2. Урфа, середина I века

Мы хорошо знаем о том, где и как проповедовал Христа апостол Павел: он отправился на север от Иерусалима в Сирию, а потом его путь лежал на северо-запад. Но кто-то из христиан — по преданию, апостол Фаддей — повернул на северо-восток и попал в Осроэнское царство. Столицей этой небольшой страны был город Урфа, существующий и поныне. Как и две тысячи лет назад, Урфа находится недалеко от границы — теперь это граница Турции и Сирии, а во времена Иисуса то была граница Римской империи и Парфянского царства. Римляне и вообще

западные народы называли и по сей день называют Урфу Эдессой — первыми такое название дали ей греки во время царя Александра Македонского в честь македонского города Эдессы. Цари Урфы, традиционно носившие имена «Авгар» («Хромой»), искусной дипломатией сохраняли свою независимость. Более пяти десятилетий престол занимал Авгар Уккама («Черный»), умерший в 50-м году.

Уже в III веке христиане считали, что Авгар Уккама стал христианином. Подтверждений этому никаких нет, а вот против этого свидетельствуют монеты Урфы, на которых в правление этого царя, как и долго еще после него, изображалась тиара осроэнских владык с полумесяцем и тремя звездами, символами божеств местной религии.

Впрочем, пускай Авгар Уккама и не крестился — вполне возможно, что уже при нем в Урфу, где жили и иудеи, пришли первые проповедники Евангелия, тоже иудеи. Это вполне мог быть и апостол Фаддей, имя которого в Урфе звучало как «Аддай» (правда, всё равно неясно, был ли то Фаддей из числа Двенадцати или Семидесяти апостолов). Он мог принести с собой и таинственную Плащаницу, преодолевая глубочайшую иудейскую брезгливость ко всему связанному с покойниками, потому что на этом полотне сохранился отпечаток тела любимого Господа. Он мог и показывать ее, оставить кому-то из местных христиан, но при этом сложил ткань так, чтобы было видно одно лицо. Шея на полотне отпечаталась очень бледно, и казалось, что лик парит в воздухе сам по себе.

Так или иначе, но именно в Урфе — в середине VI века — Плащаница впервые и появляется.

Однако для того, чтобы вернее понять и оценить это событие, следует хотя бы вкратце напомнить о том, что происходило в Урфе до VI столетия.

3. Легенда о Христе и Авгаре

Более чем через полтора века после смерти Авгара Уккама, в 177 году, на престол Осроэнского царства вновь взошел человек по имени Авгар — Авгар Великий. Если его пращур вряд ли слышал хотя бы имя Иисуса, то новый Авгар знал о христианах. Церковь стала религией популярной, правда, всё еще религией меньшинства, но меньшинства не презираемого. Знаменитейший писатель Урфы Вардесан прекрасно знал Евангелия. В Урфу приехал и здесь в 177 году скончался Татиан, написавший книгу, в которой все четыре евангельских рассказа были объединены в последовательное изложение. Христианская община Урфы участвовала в переписке с Римом, защищая восточный способ праздновать Пасху.

Авгар Великий, как и его предшественники, пытался сохранить независимость Осроэны, которой больше всего, как и полтораста лет назад, угрожал Рим. Его легионы уже заняли несколько крепостей на границе с Парфией. Во время очередной схватки римских полководцев в борьбе за императорскую власть осроэнцы вместе с соседями напали на римские укрепления. Но император Септимий Север, победив в междоусобице, в 195 году отправился в поход на Месопотамию, а по дороге завоевал и Урфу.

Римский император сперва сверг Авгара с престола и назначил в Урфу прокуратора. Затем, однако, вернул царю престол, но взял его сыновей заложниками в Рим и разместил в городе Новый Парфянский легион. Когда война с Парфией окончилась, Авгара вызвали в Рим, это было около 202 года. И вот, после возвращения из Рима Авгар Великий принял христианство. Так Осроэнское царство стало первым в истории «христианским государством». Написанная здесь в те годы «Книга законов стран» свидетельствует, что Авгар начал жестоко преследовать местные языческие обычаи.

Из двадцати веков христианской истории четвертая часть, последние пять столетий, прошли в спорах о том, было ли ошибкой, изменой Христу создание «христианского государства» Константином Великим в IV веке, или Церкви не следовало идти на союз с государством. Если нас интересует влияние христианства на мир, то обращение Константина бесконечно важнее обращения Авгара. «Христианизация» Римской империи, огромного государства, изменило весь ход истории и мира, и Церкви. Но если нас интересует влияние мира на христианство, то разницы нет: союз Церкви и государства в крошечном Осроэнском царстве ничем не отличается от союза в Римской империи. Замечательно, что и в начале II века, как и в начале III, христиане вовсе не были против союза с государством. Урфа не была изолирована от других христианских Церквей, и никто нигде не возмутился тем, что христиане согласились с гонениями на нехристианские религии. То было совершенно естественно для той эпохи, как и для последующих, — бороться с ложью силой; естественно для всех — и христиан, и язычников. Союз с государством был мечтой, благословением Божиим, а не «падением» с высоты идеала неотмирности.

Вот почему христианам Урфы не только казалось естественным, что царь их страны стал христианином — им казалось, что так должно бы было быть всегда. И вскоре после обращения Авгара Великого в Урфе родилась легенда о том, что еще Авгар Уккама тяжело болел и искал выздоровления; услыхав о Христе, он послал к Нему гонца Ананию с письмом, прося прийти и исцелить его. Иисус написал ответное письмо, начинающееся словами, тем более похожими на слова Христа, что они лишь разворачивают сказанное им апостолу Фоме (Ио. 20, 29): «Блажен ты, если уверовал в Меня, не видев Меня». Авгар выздоровел, а после Вознесения к нему пришел апостол Фаддей, и Осроэнское царство стало христианским — и только сын Авгара вернул его к язычеству. В легенду вписали в качестве учеников и преемников Аддая, первых епископов Урфы.

Связь царей Урфы с Христом воплотилась в осязаемом образе письма. Все это было тем более понятно и естественно, что предания о чудесных исцелениях царей от болезни физической, символизировавшие их исцеление от духовной слепоты, были обычны в тогдашнем мире; много веков спустя схожие предания сочиняли о крестителе Руси князе Владимире. В конце концов, в реальности духовное и физическое часто (но не всегда)

переплетались, и в Новом Завете рассказывается о том, как были наказаны слепотой за неверие отец Иоанна Предтечи Захария и будущий апостол Павел.

Наверное, то, что «письмо Христа» связывало невидевшего Авгара с видевшим Фомой, привело к тому, что чуть позднее, в 230-е годы, в Урфе появилось и предание о том, будто в городе проповедовал апостол Фома, отправившийся отсюда в Индию и вернувшийся сюда; стали показывать даже гробницу Фомы (о гробнице Фаддея речи не было). Историк конца III столетия Евсевий Кесарийский уже писал, что именно Фома послал Фаддея. На сирийском языке, языке Урфы, сочинили в III веке «Деяния апостола Фомы», в которой христианская вера переплеталась с легендами.

Христианским Осроэнское царство оставалось, впрочем, лишь несколько десятилетий; вскоре оно было окончательно присоединено к Римской империи. Память о реальных событиях царствования Авгара Великого истончалась, а вот легенда об Авгаре распространялась всё более и более. Добавили к легенде рассказ о переписке Авгара с римским императором Тиберием, с ассирийским царем Нарсаем, которым он якобы проповедовал о Христе. Переводили легенду на греческий, армянский, арабский, коптский, эфиопский, латинский, англосаксонский, датский, славянский — в общем, все христианские народы ее знали и восторгались тем, что в городском архиве Урфы хранится собственноручное письмо Иисуса Христа (там действительно хранили документ, выдававшийся за подлинник), — как восторгались и многочисленными реликвиями, найденными в IV столетии в Иерусалиме.

Восторг этот был не таким уж чистосердечным: сомнительное принималось за подлинное не по излишней простоте ума, а прежде всего из жажды подкрепить молитву чем-то осязаемым. Эта жажда не в Церкви родилась, она была с человечеством издревле, она вдохновляла первые религиозные обряды, она вдохновляла (и вдохновляет по сей день) веру в магию, амулеты, заклинания. Ни единым словом Христос не предупреждал иудеев, что это плохо или опасно, а ведь у них тоже был обычай, к примеру, вешать у входа в дом свернутый в футляре листок с молитвой, чтобы защититься от беды. Вчерашние язычники, став христианами, продолжали видеть в вещах и словах — только связанных с христианскими святынями — орудие помощи, защиту в этом мире. Текст «Письма Авгару» стал текстом заклинания. К нему присочинили еще одну фразу (еще у Евсевия ее нет) с обещанием защиты. В земле Египта нашли остатки трех папирусов с таким текстом письма, сохранилось и пять надписей на камне, причем из них две были оберегами не личными, а общественными. Одна надпись стояла в самой Урфе, другая, сохранившаяся лучше, в македонском городе Филиппы: там в начале V столетия с внешней стороны юго-восточных стен города укрепили плиты с текстом письма, завершающимся словами: «Городу твоему даст то, что никто из врагов твоих да не имеет над ним власти и не будет иметь никогда».

4. VI век: Плащаница появляется в Урфе

Итак, в середине VI века в Урфе внезапно появляется загадочный предмет: кусок материи с изображением Христа. Загадочно то, что появляется он словно ниоткуда. Еще в начале века о нем никто ни в в этом городе, ни где-либо на Востоке не слыхал, не упоминает ее писатель из этих мест Иаков Серугский, умерший в 521 году, а уже в середине столетия он хранится в одном из главных храмов Урфы. Никакие комиссии этот предмет не изучали, свидетелей не допрашивали. Впервые он упоминается в рассказе летописца Евагрия Схоластика об осаде Урфы арабами в 544 году: чтобы защитить город, жители выносят из храма на стену и обносят вокруг «боготворенную икону, которую не руки людей создали». «Не руки людей создали» — по-гречески «ахейропоэтос», «нерукотворная», — это слово навсегда вошло в языки самых разных народов вместе с верой в то, что это изображение Христа было создано каким-то сверхъестественным образом.

Появление Плащаницы в Урфе осложнено двумя обстоятельствами. Во-первых, историк Прокопий Кесарийский, рассказывая о той же самой осаде, отнюдь никакого Нерукотворного Образа не упоминает. Его рассказ очаровательно смешивает высокое и низкое: шах Хосров решил-де захватить Урфу, чтобы разоблачить веру в охранительную силу письма Авгара (Прокопий подробно пересказывает легенду, отмечая, что о письме в древнейших вариантах ничего не сказано). Шах осадил город, но тут у него «от простуды распухла щека», и он решил просто взять с Урфы выкуп, что, с одной стороны, было некоторым отступлением от первоначального замысла, потому что легендарное письмо обещало, что город не будет подвластен никому, но, с другой стороны, уплата выкупа всё же была признанием, пусть временной, но власти шаха над городом. Жители Урфы гордо ответили, что «совершенно не беспокоятся за город», но согласны дать неплохой выкуп, «чтобы он не опустошал окрестности» — такая формулировка позволяла им сохранить и город, и веру в легенду. Патриоты героически устроили сбор средств, и «даже гетеры снимали с себя свои украшения» (судя по этому упоминанию, проститутки великого христианского города не были великими патриотками, и их самоотречение всех поразило). Но патриотический порыв оказался напрасным сквозняком, потому что византийский полководец Вуза категорически запретил платить дань персидскому шаху — такой поступок противоречил внешнеполитической линии империи. Поразмыслив, Хосров решил оставить гетерам их украшения и ушел из-под Урфы.

Простуда, проститутки, политика — всё есть в этой истории. Только Плащаницы нет, а ведь Прокопий отметил же предание о письме Христа. Одинаково возможно и то, что Евагрий Схоластик просто выдумал рассказ о выносе Плащаницы в 544 году, и то, что Прокопий решил не рассказывать, как жители Урфы в отчаянии выгащили на стены какую-то совершенно неслыханную, новую (что само по себе было крайне подозри-

тельно) святыню, и ограничился рассказом о святыне пусть явно подложной (на что он весьма прозрачно намекнул), зато подложной издревле.

Второе обстоятельство заключается в том, что появление Плащаницы в городе, который легендой увязывался с Христом, где уже был предмет, якобы полученный прямо от Христа, кажется слишком неслучайным совпадением. Легенды ведь всегда искажают действительность — так, может быть, попробовать восстановить реальность, рассуждая логически, разделяя возможно достоверное в легенде от явно недостоверного и домысливая остальное? Как недостоверную — отметем часть предания, рассказывающую о переписке или хотя бы о знакомстве Авгара с Иисусом. Как возможно достоверную — оставим часть предания, утверждающую, что один из учеников Иисуса посетил Урфу. Как вероятное — можно предположить, что он принес с собой Плащаницу, но никому не показывал ее, потому что она была предметом погребального обряда, соприкасалась с трупом, из-за чего считалась нечистой, оскверняющей. А потому апостол взял и замуровал Плащаницу в городской стене. Когда же в Эдессе в начале VI столетия было наводнение, стена обрушилась, тайник открылся, Плащаницу нашли, поразились, преклонились...

Всё это, понятно, в высшей степени антинаучно. Если по своему усмотрению сортировать содержание легенд, да еще и приписывать к ним, то история отменяется и начинается роман. Научнее же было бы сказать, что мы просто не знаем (и, видимо, никогда не узнаем), откуда Плащаница взялась в Урфе и где она провела пять столетий. Не знаем — и всё. То, что она оказалась в городе, где чтили «письмо Христа», может быть простым совпадением. Может быть, из-за почитания письма ее и доставили в этот город, но в VI веке. Мы не знаем — и это драгоценное незнание, совершенно не означающее, что Плащаница — подделка. Незнание происхождения есть незнание происхождения, не более и не менее. Однако поскольку большинство людей научным мышлением не обладает (и даже сами ученые блещут научным мышлением лишь время от времени и не во всем), и противники, и защитники подлинности Плащаницы никак не могут спокойно принять незнание и пытаются либо восстановить подробности первоначальной судьбы Туринской святыни, либо считают отсутствие подробностей доказательством подложности.

Важно другое: при каких бы обстоятельствах ни была обнаружена ткань, она вызвала не только восторг, но и ужас, потому что Богочеловек был на ней голым и мертвым. Омерзение при виде всего, что соприкасалось с трупом, христиане Урфы (все-таки город был куда восточнее Иерусалима, где тогда уже лобызали все, связанное с погребением Иисуса) разделяли с иудеями и зороастрийцами. Однако восторг пересилил ужас, и, видимо, тогда-то ткань и сложили вчетверо, поместив ее в футляр так, чтобы было видно лишь лицо. В высшей степени примечательно, что в одном из текстов VI столетия святыня Урфы названа уникальным неологизмом «тетрадиплон» — «сложенная вчетверо», причем безо всяких объяснений.

Плащаница всем своим видом вопила о том, что она была связана с Иисусом, но нашедшие ее люди понимали то, чего не понимали, к сожалению, многие христиане XX столетия: Плащаница далеко не во всем подтверждает евангельский рассказ о Страстях, а в чем-то даже и не согласуется с ним.

Во-первых, в Иерусалиме к тому времени уже показывали погребальные материи, в которые было обернуто тело Христа, но на которых никаких изображений не было. Всякий дубликат мог быть только фальшивкой.

Во-вторых, евангелисты о Плащанице ничего не говорят.

В-третьих и главных, Евангелие четко заявляет, что тело Иисуса было похоронено по обряду, а следовательно — омыто, Плащаница же всем своим видом этому противоречит. Единственное сравнительно древнее упоминание о чем-то подобном сохранилось в апокрифическом, отвергнутом Церковью, «Евангелии от евреев», сочиненном во II веке: св. Иероним цитировал этот текст, говоривший о том, что Иисус после Воскресения отдал некоему «слуге священника» Свой «синдон» — саван. Чем всё это распутывать, было значительно проще придумать легенду о том, что Спаситель послал Авгару не только письмо, но и материю, на которой запечатлел Свой лик: взял, промокнул лицо — и запечатлел. Скорее всего, кстати, ткань складывали одни, а легенду сочиняли другие; об этом стоит упомянуть для тех, кто хочет хорошо думать о человечестве.

Вслед за появлением Плащаницы, разумеется, была переработана вся литература о сношениях Христа с Авгарем. В середине VI века уже появляются «Деяния апостола Фаддея», описывающие появление Нерукотворного Образа.

Плащаница хранилась в соборе Урфы, справа от алтаря, в особом святилище. Дважды в неделю двери святилища открывались, и паломникам разрешали взглянуть на ларец. Дважды в год Плащаницу торжественно обносили вокруг города. Она явно вытеснила «письмо Христа» в качестве оберега. После окончания процессии Плащаницу вносили в собор и, прежде чем поставить на прежнее место, водружали в алтаре на епископский трон — словно Сам Христос воссел как Судия, грозно глядя на людей (любопытно, что обычно выражение лица отдельно от тела воспринималось как грозное, пугающее; многие иконописцы подчеркивали это в чертах Нерукотворного Образа; современный человек, глядя на лицо Плащаницы, воспринимает его прежде всего как лицо умершего, замученного человека и поэтому не ужасается, а, скорее, умиляется). Ни разу во время процессии ларца с Плащаницей не открывали, и только епископ в последнее мгновение бросал на нее взгляд, омывал водой, а каплями окроплял собравшихся.

Византийские богословы (св. Иоанн Дамаскин, Феодор Студит), защищая иконопочитание, упоминали святыню Урфы как наглядное свидетельство того, что Иисус не возражал против существования своих изображений. Впрочем, иконоборцы на это ответствовали, что они Пла-

щаницу из Урфы очень почитают, но она доказывает как раз обратное: лишь сверхъестественное изображение Христа имеет право на существование, но не сделанное людьми.

5. Плащаница и Западная Европа в Средние века

Слава о Плащанице распространялась медленно. Епископ Сарагосский Бравлин еще в середине VII столетия писал, что судьба погребальных тканей неизвестна, хотя высказывал мнение, что подобную реликвию должны были сохранить. В тексте молитвы, записанной тем же епископом, говорилось о том, что «Петр побежал с Иоанном ко гробу и взглянул на недавние следы умершего и воскресшего, сохранившиеся на ткани (vestigia)». Судя по всему, Бравлин не слыхал не только про Плащаницу в Урфе, но и про почитавшуюся в Иерусалиме ткань.

Судьба иерусалимской святыни вообще любопытна. В 670 году франкский епископ Аркульф из Пенриго потерпел кораблекрушение на острове Иона (Гибридский архипелаг у Шотландии). Он уцелел, нашел убежище в монастыре св. Адамнана и рассказал, что недавно был в Иерусалиме и видел ткань, в которую было обернуто тело Иисуса, что недавно же халиф Иерусалима приказал подвергнуть эту ткань «суду огнем» и что ткань эта в метр с небольшим длиной. Ни о каком изображении он не упоминал. Возможно, именно эту ткань в 797 г. прислали в дар св. Карлу Великому. В 877 г. внук Карла, тоже Карл, но Лысый, передал ее королевскому аббатству св. Корнелия в Компьене. Здесь ее и спалили во время Великой Французской революции. Правда, в XVIII веке о Компьенской Плащанице писали, что в ней два с половиной метра, так что, возможно, это не та ткань, которую почитали в Иерусалиме в V—VII веках. Важно понять, что реликвий в Средние века было невероятно много и никто не пытался как-то их проинвентаризовать, согласовать друг с другом существование дублетов, провести хоть какую-то проверку. В 1098 году, к примеру, крестоносцы, захватив Антиохию, нашли некую ткань, которую стали почитать как Плащаницу Иисуса. Ее отвезли во Францию, где выставляли то в Кадуине, то в Тулузе. Она сохранилась по сей день; в 1935 г. французский священник-археолог доказал, что она датируется XI веком и не имеет вообще никакого отношения к христианской истории: обычная арабская (фатимидская) ткань с куфическим орнаментом, в который вплетены строки мусульманских благословений.

Если в Сарагосе или на Гибридах о Плащанице не слыхали еще и через сто лет после ее обнаружения, то в менее провинциальных местах следы знакомства с нею появляются довольно быстро. На Востоке и на Западе появляется множество икон с изображением только лица Христа, причем лик изображается не так, как то было принято ранее, а сходно с Плащаницей. Многие изображения Нерукотворного Образа вообще выполнены в одном (именно — коричневом) цвете, словно подражая цвету изображения, — такая монохромность была в высшей степени необычным явлени-

ем. Прямой пробор, длинные волосы, длинный нос, короткая раздвоенная борода, очень своеобразное безволосое пространство под нижней губой — вот только главные черты, объединяющие разные изображения Нерукотворного Образа. Со временем они стали каноническими для изображений Христа и на других иконах. Папа св. Григорий Великий (ум. 604) еще до восшествия на престол был послом в Константинополе и привез оттуда икону, явно копирующую лик Плащаницы. Она была помещена в часовне Латеранского дворца, копия с нее попала в Англию со св. Августином. Эту икону в VII—IX веках часто обносили вокруг Рима, когда городу угрожали враги.

6. Плащаница и вера в символ

На Востоке Плащаница была растиражирована в виде Нерукотворного Образа. Если уже «письмо Христа Авгару» было в свое время сделано оберегом, амулетом, то с Нерукотворным Образом то же произошло в несравненно большем размахе, ибо Средневековье несравненно ближе было к язычеству, чем христианская античность. Скифы и франки, ирландцы и русские были куда дальше даже от Ветхого Завета, не говоря уже о Новом. То, что Евангелие было им проповедано и всё-таки выжило, прозвучало; то, что на языческой основе проступили хотя бы слабые пятна христианства, — чудо, несравненно более сверхъестественное, чем изображение на Плащанице. Христианство смиренно согласилось сосуществовать с языческим, магическим взглядом на мир, постаравшись по мере возможности выбелить эту магию. Нерукотворный Образ помещали, по древнему языческому обычаю, над воротами — священное место! Носили на шее. Омывали иконы с ним водой и считали эту воду особо чудесной. Все были очень увлечены возможностью получить в руки действенный, источающий силу символ — и очень мало озабочены возможностью что-то при этом не расслышать, исказить, да просто соврать. Поэтому на Западе предание о Плащанице постепенно превратилось в предание о Веронике и ее «плате».

Самая древняя версия легенды, возникшая в VII—VIII веках и вошедшая в короткую латинскую повесть «Смерть Пилата», говорит, что некоей жительнице Иерусалима Веронике просто захотелось иметь портрет Иисуса, и в ответ на ее просьбу Спаситель взял канву для вышивания, прижал к Своему лицу и вернул с изображением. В VII веке была сочинена повесть «Исцеление Тиберия», в которой Веронику отождествили с «кровоточивой» из евангельского рассказа — может быть, потому, что евангелист упоминает прикосновение этой женщины к одежде Христа. Автор заставил Веронику отправиться в Рим и там чудесной тканью исцелить от проказы императора Тиберия. Но постепенно утвердилась другая версия: во время-де следования Иисуса с крестом по улицам Иерусалима некая Вероника услышала шум, вышла из любопытства, сжалилась над Страдальцем и дала ему напиться, протянула платок отереть пот. Спаситель вернул ей платок со словами: «Благословенна ты, смелая женщина». На этом платке и остался запечатленным Нерукотворный Образ.

На Западе привилась традиция делить Крестный Путь Христа на 14 эпизодов (остановок, «станций») — эпизод с Вероникой стал шестым, поводом для молитвы и созерцания. Заодно совершенно забыли, что имя «Вероника» — весьма древнее, происходит от названия растения, и стали его истолковывать как слово, образованное от латинского выражения «верум иконум» — «истинный образ»: как будто Веронику после происшествия с «платом» переименовали в его честь.

В 1143 году каноник собора св. Петра Бенедикт, описывая праздничную мессу, впервые упомянул святыню, которую в России принято называть «плат Вероники»: «Затем Папа проследовал к сударию Христа, который называют Вероникой, и окадил его». В VIII—IX веках в случае опасности папы в процессиях обносили вокруг города икону Нерукотворного Спаса. В 1011 году папа Сергий IV освятил в капелле папы Иоанна VII в Соборе св. Петра особый алтарь в честь Сударя Господня — может быть, именно в связи с появлением «плата Вероники». В 1191 году папа Целестин III показывал французскому королю Филиппу Августу «Веронику», — то есть ту самую ткань, «на которой Иисус Христос запечатлел свой облик, и изображение столь ясно, что лицо Иисуса Христа можно видеть даже до сего дня». Впрочем, в том же веке об этой святыне говорил Петр Маллий, что изображение появилось, когда Иисус отирал лицо от кровавого пота после молитвы в Гефсиманском саду.

В 1207 папа Иннокентий III установил ежегодную процессию с платом от собора св. Петра до госпиталя Святого Духа. «Плат Вероники» торжественно выставлялся в юбилеи (праздничные года, объявлявшиеся папами) 1300 и 1350 годов. А потом он как-то стушевался, и, возможно, это связано с тем, что в конце XIV века в Риме стало известно о существовании подлинной Плащаницы; закрались сомнения. В 1527 году, когда Карл V разграбил Рим, ходили слухи, что пьяные солдаты торговали этой святыней в кабáке. На самых древних изображениях «плата Вероники» лик Христа запечатлен без шеи, спокойным, похожим на лик Плащаницы. Был ли «плат Вероники» иконой, или некоей тканью с изображением? Теперь уже этого не узнать, но наиболее вероятно, что это была еще одна копия с Плащаницы.

Что плохого в почитании «плата Вероники», икон Спаса Нерукотворного? Какое отношение это почитание имеет к вопросу о том, подлинна ли Туринская Плащаница? Люди обретали некоторое утешение, психологическую опору в зримом знаке, успешнее оборонялись от арабов, русских, англичан, немцев, викингов — все тогда нападали на всех и защищались ото всех.

Ничего плохого в этом нет, кроме одного: мы никогда не поймем глубочайшего скепсиса по отношению к христианским святыням и их почитанию со стороны многих наших современников и на Западе, и в России, если забудем про эту историю. Люди скептически относятся к святыням не потому, что они такие неверы, а потому, что они хорошо помнят (подсознательно, но такая-то память особенно крепкая), как

святыни превращались в орудие, в средство, в магический предмет. И можно долго им объяснять, что это было сделано, помимо прочего, для победы над «плохой» магией, в педагогических целях. Но только к каждому объясняльщика не приставишь, да хотя бы и приставили — объяснений слушать не будут, а будут про себя знать, что христианам палец протяни — они из него сразу амулет сделают.

7. 955 год: перенесение в Константинополь

Неверующие часто смеются над суеверами: мол, молятся на какого-нибудь идола, мажут его медом, а коль просимого не получают, бьют идола палкой. Но так поступают лишь те верующие, кого и верующими-то назвать трудно — хотя понять их очень легко. Такие суеверы вполне научно смотрят на мир и потому всегда изыскивают в нем причинно-следственные связи — в частности, между событием и своим отношением к Высшему.

Вера же интереснее: она не перестает молиться и тому символу, который то помогает, то не помогает. Так было и с Плащаницей. Когда Урфа успешно оборонялась от римлян или арабов, это приписывали «письму Христа», позднее — Плащанице. Когда же арабы в конце концов захватили город, никто не разочаровался в этих святынях, их почитали по-прежнему. Так на отношении к реликвии отражается главная особенность верующего: как бы ни складывались его отношения с Богом, он в Бога верует. Иов веровал и тогда, когда бунтовал.

Плащаницу продолжали почитать и после падения Урфы

В 955 году византийский император добился — за очень большой выкуп — перенесения Плащаницы в Константинополь. Причем делалось это не без мысли о возможной практической помощи от Плащаницы. Дело в том, что в Константинополе был тогда не один правитель, а четверо: молодой Константин Порфирогенет, законный наследник престола; престарелый узурпатор престола император Роман, свергнувший отца Константина, но пощадивший наследника и сделавший его своим зятем, и двое сыновей Романа. Кто из троих молодых правителей останется единственным самодержцем, зависело не только от их талантов и дворцовых интриг. Византия недаром претендовала быть преемницей Римской республики (империи тож): в критические мгновения истории ее правители не отваживались так идти наперекор желаниям толпы, как это делали до и после тираны многих других стран. И в борьбе за симпатии народа Плащанице была уготована особая роль.

Летом 955 года, после уплаты огромных денег за Плащаницу, епископ Самосатский Авраам торжественно перевез ее из Урфы в Константинополь. Он забрал заодно и две копии с плата (неизвестно, на дереве или на ткани), изготовленные христианами-монофизитами и христианами-несторианами, жившими в той же Урфе. Всё было устроено так, чтобы святыня прибыла в Константинополь к празднику Успения, 15 августа 955 года.

Очевидец событий, приближенный Константина Порфирогенета, отметил, что Плащаница «лежала на деревянной доске и была обложена золотом» (это объясняет, каким образом могли не знать, что Плащаница сложена вчетверо). Но главное, он упомянул, что двое сыновей императора Романа были сильно разочарованы при виде святыни и, более того, свое разочарование высказали: образ показался им слишком туманным. Это легко понять, глядя именно на Туринскую Плащаницу: большинство фотографий усиливают контрастность изображения, а на самом деле пятна действительно чрезвычайно тусклы. Лишь в конце XX века научились изготавливать репродукции, где точно воспроизведена эта особенность изображения: пятна еле-еле заметны, почти невесомы. Повествователь же саму эту тусклость оценил благочестиво, как доказательство того, что изображение «произведено потом, а не красками».

Несли Плащаницу, «как второй ковчег или даже как нечто еще более драгоценное». Сперва ткань внесли в Собор святой Софии, где поставили на трон в алтаре, затем в хризотриклиний (большую приемную палату) царского дворца и поставили на царский трон (главный из четырех). А по городу ползли слухи и о том, что сыновья Романа без всякого благоговения отнеслись к святыне, и о том, что от нее исцелился бесноватый, который воскликнул: «Славься и ликуй, Константинополь, царствуй, Константин Порфирогенет!».

Император Роман официально назначил Константина своим наследником. Недовольные сыновья императора 20 декабря устроили переворот: арестовали отца и сослали его в монастырь. Но горожане осадили дворец, требуя не столько возвращения Романа, сколько воцарения Константина, — и добились своего. Константин был провозглашен старшим цезарем. 27 января 956 года он отправил в ссылку обоих детей Романа. Вскоре новоизбранный император (который, кстати, стал крестным отцом святой русской княгини Ольги, причем, возможно, именно в 955 году) подарил монастырю св. Екатерины на Синае икону с изображением Мандилиона (так в Византии стали называть Плащаницу; слово происходит от латинского «мантия», причем пришло оно в греческой через арабский, где звучало как «мандила»).

8. XI век: Плащаницу разворачивают

Плащаницу вместе с прочими наиболее почитаемыми святынями хранили в тщательно охраняемой Фаросской часовне, части громадного императорского дворца. Ее практически не выставляли, поэтому летописцы отметили как нечто необычное торжественный вынос Мандилиона в 1036 и 1058 годах. Считалось, что глядеть на святыню нельзя, страшно. Примечательно, что с XI века в христианском искусстве появляется совершенно новый сюжет или, точнее, сюжеты — все связанные с изображением мертвого тела Христа, снятого с креста. Ранее Иисуса вообще редко изображали во гробе, а если изображали, то рисовали обернутым, спеленутым в белую материю наподобие мумии (на восточных иконах по сей день именно так изображают душу Матери Божией в момент Успе-

ния). Но вот всё меняется: рисуют тело у подножия креста, которое Иосиф с Никодимом обертывают в длинный, двойной ширины, как и Плащаница, кусок ткани (фреска 1164 года в македонской церкви в Нереци). Появляются изображения Оплакивания, причем руки Спасителя изображены сложенными точно так же, как на Плащанице (пример тому — мощевик XI века, хранящийся в эрмитажном Строгановском собрании) — правая рука поверх левой. Появляются, наконец, иконы, которые и по сей день называются в России «Плащаницами», по-гречески же «эпитафиями», — иконы на дереве или ткани, нарисованные или вышитые, с изображением умершего Спасителя, которые выносились в Страстную пятницу. И на них руки Спасителя скрещены так же, как на Туринской Плащанице. Позднее это же изображение стали делать на всех антиминсах — платках с вшитыми в них частицами мощей, которые в православных храмах обязательно кладут на престол, чтобы совершить Евхаристию.

В одном все эти изображения разительно отличаются от Плащаницы: Иисус изображен с повязкой вокруг бедер. Изобразить Спасителя обнаженным казалось кощунством. Одновременно в сказаниях о царе Авгаре появляются никогда не бывшие слова о том, что Христос послал в Эдессу-Урфу ткань с отпечатком *всего* Своего тела; в одной из рукописей XII века, хранящейся в Ватиканской библиотеке, Иисусу приписаны слова: «Если ты действительно хочешь видеть Мое лицо, Я посылаю тебе ткань, на которой, знай, ты увидишь не только Мое лицо, но все Мое тело, божественно преображенное».

Естественно, напрашивается вывод, что в Константинополе вскоре после получения Плащаницы ее разворачивали. Возможно, причиной послужило простое любопытство, или, может быть, хотели вынуть из старого футляра, чтобы переложить в новый, — и с удивлением обнаружили подлинные размеры полотна. Понятно, почему открытие не афишировали: ведь это опровергало евангельское сообщение о том, что тело Спасителя было обмыто (в Иерусалиме даже показывали камень, на котором обмывание совершили), опровергало и всю легенду об Авгаре. В 1201 г. Николай Месарит, хранитель святынь Фаросской часовни, защищая ее от восставшей толпы, сказал: «В этой часовне Христос воскресает вновь», ибо «тут хранится льняная ткань, дешевый и нередкий материал, всё еще благоухающая мирром, сопротивляющаяся разложению, потому что в нее после Страстей было завернуто таинственное, нагое мертвое Тело». Так, знавший о подлинном облике Плащаницы византиец разрешал для себя противоречие между Евангелием и изображением: Тело было обвито Плащаницей после снятия с креста, но до омытия Тела, до похорон.

9. 1119 год: образование Ордена тамплиеров

Чтобы проследить судьбу Плащаницы после завоевания крестоносцами Константинополя в 1204 году, необходимо рассказать еще одну историю, которая и сама по себе тоже давно уже будоражит многие умы:

историю Ордена тамплиеров, ибо именно они, видимо, на протяжении столетия хранили Первую реликвию.

В 1119 году в Иерусалиме «знатные люди рыцарского происхождения, преданные Богу, религиозные и богобоязненные, — писал чуть позднее епископ Вильгельм Тирский, — заявили о своем желании провести всю жизнь в целомудрии, послушании и без имущества, предав себя господину Патриарху на служение по примеру регулярных каноников». Прошло несколько лет после завоевания крестоносцами Иерусалима, в Святую Землю устремился широкий поток паломников, надо было их охранять, — и несколько рыцарей предложили взять на себя эту заботу. Это казалось им, видимо, вполне естественным. Свой орден они назвали «Нищие рыцари».

То, что казалось нищим рыцарям «естественным», на самом деле было порождением нескольких далеко не «само собой разумеющихся» явлений. Вовсе не «естественно» было соединять веру в Христа с почитанием земли, где Он жил, — в первые века христианства такого почитания не было. Вовсе не «естественно» было почитать эту землю до такой степени, чтобы тратить силы на путешествие туда, считая это более благочестивым занятием, чем дела милосердия, — во все века христианства находились святые, считавшие такие паломничества видом ханжества. Вовсе не «естественно» было считать, что Святой Землей непременно должны обладать святые, что власть мусульман над Палестиной оскорбляет Христа более, чем их власть над Аравией, что у христиан есть право и даже обязанность завоевать эту землю. На протяжении большей части христианской истории — до и после крестовых походов — многие христиане спокойно относились к тому, что не им принадлежат эти места.

Историки спорят, что появилось сперва: экономический рост и рост народонаселения в Западной Европе, позволивший и даже требовавший дать выход энергии где-то за пределами отчизны, — или «духовный» рост, желание наконец-то «освободить» Святую Землю. Бесспорно то, что христианство в любом случае понималось в эту эпоху символически, а точнее — более формально, нежели содержательно. Да и свобода понималась формально: как будто под властью христиан ее больше, чем под властью мусульман. Тем более, коли речь идет о свободе не политической, а свободе от осквернения: будто бы христиане не оскверняют Святой Земли своими грехами. Однако об этом не задумывались: было достаточно символической, поверхностной святости всякого, кто именовал себя христианином.

Кроме этой огромной «неестественности» христианства, готового к насилию ради символического торжества, есть в истории крестовых походов и тамплиеров «неестественность» иного рода. Крестовые походы не были только инициативой одного государства, ни даже результатом союза нескольких государств. Государственные деятели от пап до королей были среди организаторов, вдохновителей и участников крестовых походов, но не они определяли их дух и развитие, а люди, не причастные к государ-

ственной власти, действовавшие по своей инициативе. Крестовые походы были первым в истории Западной Европы (а может быть, и мира) выражением «общественного мнения», а не государственной воли.

Еще более то же можно сказать о рыцарях, которые решили посвятить свою жизнь охране крестоносных завоеваний и паломников. Они действовали по своей воле, принимая на себя всю ответственность. Они начинали нечто совершенно новое: подобных объединений еще не бывало, ведь речь шла не о новом монашеском ордене и вообще не об организации духовенства (так что ссылка епископа Вильгельма Тирского на каноников-августинианцев была весьма приблизительной). В сущности, они создавали первую из столь обычных для мира XX века «неправительственных некоммерческих организаций», и способы, какими они действовали, воспроизводились потом бесчисленное число раз: пропаганда идеи, сбор средств. Единственное, что не говорилось рыцарями вслух, но что явно понималось всеми и что составляло самую суть идеи: успешно защитить паломников может лишь частная инициатива, а не государственная власть. Что быть паломником в Средние века — означало рисковать, не надеяться на защиту центрального правительства, все и так слишком хорошо знали по тысячелетнему опыту.

Рыцарей было семеро, но общество (и летописцы) очень быстро поняли, что двое двигали всё предприятие: Гуго де Пэн и Жофруа Сен-Омер. В отличие от XX века, не было капиталистов, которые могли бы давать пожертвования, и пожертвования собирали с аристократии: король иерусалимский уступил рыцарям церковь в собственном дворце к югу от развалин Храма Соломонова, чтобы они могли там собираться на молитву (главный признак отличия от прочих рыцарей). «Храм» на французском «тампль», и очень быстро в Иерусалиме рыцарей стали звать «те, что у Храма», «храмовники» — «тамплиеры». Официальное же название — «Нищие рыцари» — отошло в тень, даже когда рыцари отправились в Европу собирать деньги на свою организацию. Де Пэн и Сен-Омер объехали Францию, Испанию, Англию, Германию, Италию. Большинство людей оставались равнодушными к их просьбам, но очень многие откликались. Церковные и светские феодалы жертвовали деньги, а чаще — доход от того или иного владения или даже то или иное владение, — кто на время, кто в постоянную собственность ордена. Десятки людей вступали в орден. Впрочем, национальное деление давало себя знать, и основная масса (более половины) жертвователей и участников были французами — как и инициаторы. Тамплиеров из Франции были сотни, из Англии — десятки.

10. Бернар Клервоский: в защиту тамплиеров

Идею создания ордена поддержал св. Бернар Клервоский, соотечественник первых тамплиеров, сам герой частной инициативы (за четыре года до идеи де Пэна он основал монастырь, ставший ядром будущего Ордена цистерцианцев). Бернар написал по просьбе де Пэна (с которым

был в родстве) трактат «De laude novae militiae», название которого на русский правильно перевести как «Слава новому рыцарству», но хочется сохранить и при переводе латинское слово, ныне столь обрусевшее: «Слава новой милиции». Когда в 1128 г. поместный собор в Труа утверждал устав тамплиеров, сочинение Бернара служило им идеологической программой, да и устав из 72 статей составил Бернар (а св. Джон Солсберийский посвятил всю шестую книгу своего сочинения «Поликрат» апологии нового, христианского рыцарства). Более того, Бернар предложил тамплиерам (и де Пэн принял) носить ту же одежду, что и монахи его собственного, цистерцианского ордена: белую. Только позднее тамплиеры стали нашивать на белую одежду красный крест — как и все, связанные с крестовыми походами.

Необычного в тамплиерах было то, что они совмещали монашество с войной, пожизненные обеты нищеты, послушания и безбрачия — с намерением орудовать мечами. Орден госпитальеров возник раньше — в 1070-е годы, — но воевать госпитальерам не разрешалось. Само монашество (и духовенство) не могло браться за оружие — ведь христианин не может убивать, и если возможно послабление для «обычных» христиан, то монах — «настоящий» христианин. А Бернар писал: «Солдаты Христа ... ни в малейшей степени не боятся ни того, что совершают грех, убивая врагов, ни опасности, угрожающей их собственной жизни. Ведь убить кого-либо ради Христа или желать принять смерть ради Него не только совершенно свободно от греха, но и весьма похвально и достойно».

Конечно, Бернар не был кровожаден. Он ненавидел насилие и кровь, зло и ложь, и можно понять, почему он так обрадовался появлению тамплиеров. «Новая милиция» была действительно нова относительно обычного рыцарства. Веками всадник с мечом, феодал, рыцарь, сражался за земное — ради имения, ради славы своего рода, своей нации (и это в лучшем случае, а то и просто ради наживы). «Новые рыцари» сражались за добро, ради Христа, а «если человек сражается за доброе дело, то не может сражение привести ко злу, точно так же как не может победа считаться благом, если сражение велось не за доброе дело или из дурных побуждений». Прежняя «милиция» любила почести, деньги, красивое вооружение — «новая милиция» защищала простой народ, держала себя скромно, защищала себя от демонов молитвами и обетами, прежде всего — целомудрием. Прежняя «милиция» истребляла людей, «новая милиция» истребляла зло (на латыни выходил каламбур: одни занимаются «гомицидом» («человекоубийством»), другие «малицидом» («злоубийством»). «Новая милиция» оказывалась самым совершенным и активным элементом общества, воплощением единства светского и церковного, верно служащим и Церкви в целом, и Святому Престолу.

Что вовсе никакой милиции — ни пышной, ни скромной, ни женатой, ни неженатой — скорее всего, невозможно иметь христианам, не рассматривалось ни в XII веке, ни много веков спустя. Главное же: очень рациональное, логичное обоснование необходимости борьбы со злом с

мечом в руке не учитывало того, что мир и человек в основном иррациональны. Святой Бернар восхвалял тип «нового милиционера» за то, что «он не боится ни демона, ни рыцаря. Воистину не боится смерти тот, кто жаждет смерти». При этом святой не замечал, что «жажда смерти» — не христианская добродетель, а скорее демоническое или, во всяком случае, ненормальное состояние души. Жажда смерти не может быть разделена на жажду смерти своей или чужой, это жажда, через которую в душу входит пустота и мрак.

Первоначально тамплиеры делились на две категории: рыцари носили оружие, а служители — нет. Первые назывались «братья шевалье», вторые — «братья сержанты». К членству в орден не допускались женщины (во избежание соблазнов). Женатые рыцари в орден принимались, но они не могли носить белого одеяния. После смерти женатых тамплиеров их имущество отходило ордену, а вдове платили пенсию. Само мужнино поместье она должна была оставить, чтобы не попадаться на глаза храмовникам и, опять же, их не искушать. Первоначально в орден не принимали священников, но постепенно их стало довольно много, они образовали особый разряд членов (ибо священник всё же проливать кровь не мог). Организован был орден наподобие бенедиктинского: великому магистру принадлежала практически неограниченная власть, он созывал капитулы, назначая их членов, так что всегда мог подобрать лояльных людей. Папы издали несколько булл, даровавших ордену некоторые (не слишком важные по современным меркам) привилегии. Паломники, прибывавшие в Палестину, глядели на тамплиеров с восхищением и благодарностью, несколько преувеличивая значение тех, с кем непосредственно имели дело. Им казалось, что все замки в королевстве крестоносцев принадлежат либо тамплиерам, либо госпитальерам.

11. Недовольство тамплиерами

Тамплиеры, хотя и взяли в руки меч, вовсе не превратились в машины для убийства. Их задачей было поддержание мира, и, по мере возможности, они исполняли свою задачу без насилия. Сейчас уже трудно вполне оценить все действия храмовников. Это тем труднее сделать, что довольно скоро те же самые власти, которые помогли ордену организоваться, стали возмущаться ими. Патриарх Иерусалимский (католический) был недоволен тем, что орден, которому он столько помог, перешел под власть Папы, — это ущемляло его достоинство. В 1153 году при осаде Аскалона великого магистра ордена обвинили в том, что он, желая занять город только силами храмовников, затруднил осаду.

Иерусалимский король Амальрик в 1165 году повесил 12 тамплиеров за сдачу арабам одной крепости близ Иерусалима. В отместку в 1168 году великий магистр ордена отказался поддержать поход на Египет, и тот захлебнулся. Епископ Тира Вильгельм, который оставил наиболее подробные сведения о тамплиерах, писал о них для того, чтобы очернить и добиться роспуска ордена. То была нормальная ненависть власти к

независимой организации. На Третьем Латеранском соборе 1179 года Вильгельм организовал выступление против военных орденов в принципе, но добился лишь некоторого ограничения привилегий тамплиеров. Во всяком случае, он критиковал тамплиеров не за то, что они совмещали крест и меч, а за то, что делали это независимо от епископата.

Всё же у большинства христиан тамплиеры вызывали восхищение. В подражание им в 1164—1170 годах были созданы испанские ордена Калатравы, Сантъяго, Алькантары, в 1198 по их уставу был составлен устав Тевтонского ордена. Примечательно, что хотя и в Германии, и в Испании были замки тамплиеров, предпочитали создавать новые ордена, а не присоединяться к старым: сказывалась национальная замкнутость и уже тогда осознанное понимание, что конкуренция хороша и для «общественных организаций».

12. 13 октября 1307 года: тамплиеры — козлы отпущения

Когда 15 мая 1291 года арабы взяли Акру, это стало символом провала крестовых походов. При взятии Акры погибло триста тамплиеров, в том числе, защищая пролом в стене, был убит великий магистр Гийом де Божо. Его преемником стал Жак де Моле. В отличие от других военных орденов, которые быстро смирились с потерей Палестины, перенесли свою деятельность в другие страны, храмовники настойчиво пытались следовать цели своего ордена, организовывая походы против арабов.

Поражение крестоносцев — по крайней мере отчасти — было вызвано именно тем, что европейские народы потеряли к Святой Земле интерес. Разумеется, сами европейские народы отнюдь не собирались себе в этой потере признаваться. Легче было взвалить вину на кого-то — и тамплиеры оказались особенно удобными козлами отпущения, во всяком случае там, где их было много: во Франции.

Неприязнь к храмовникам была всего лишь подсознательной, она могла преспокойно раствориться, не дойдя до дела. Ни в одиночку, ни толпой никто не посмел бы нападать на Орден как организацию.

Никто, за исключением короля Франции. Может быть, все государи Европы хотели бы уничтожить независимую от них организацию, может быть, все короли мечтали бы прибрать к рукам сокровища тамплиеров или поставить себя наравне с папами. Но только у короля Франции были в то мгновение поддержка всех сословий (и умение эту поддержку организовывать) и полнота власти — в том числе власти пытать и казнить.

Был у короля и опыт войны с организацией помощнее Ордена Храма — с самой Вселенской Церковью, с папством. Отстаивая свою независимость от Церкви, он организовал травлю папы Бонифация VIII. Юристы и богословы создали к услугам Филиппа учение о том, что власть дана королю не Папой, а непосредственно Богом и в этом смысле равна папской и независима от нее в своей сфере. А уж как разграничить церковную сферу от светской, зависело всё от тех же юристов. Домини-

канец Жан Парижский выпустил памфлет, в котором восхвалял монархию как «совершенное общество, в котором общее благо совершается через одного человека», и напоминал, что королевская власть древнее папской.

Был у короля Филиппа и опыт ограбления невинных людей. Тамплиеры были далеко не самыми страшными богачами своего времени. Куда богаче были банкиры-ломбардцы, банкиры-евреи — богаче и беззащитнее. Филипп уже в 1291 году начал арестовывать ломбардских финансистов. А 22 июля 1306 года Филипп организовал кампанию по аресту и изгнанию из Франции всех евреев — разумеется, с конфискацией имущества в свою пользу. И всё же денег не хватало, и подошел черед тамплиеров. Процедура ограбления была отработана, хотя в данном случае всё осложнялось тем, что христианин-рыцарь — не такой изгой, как иудей, и мог претендовать на защиту в суде. Значит, надо было изобразить тамплиеров изгоями.

14 сентября 1307 года Филипп Красивый подписал приказ об аресте тамплиеров. В пятницу 13 октября арест 610 человек был произведен одновременно в разных частях королевства. По случайным обстоятельствам избежали ареста лишь 12 рыцарей, из них только один был важной фигурой: прецептор Франции (то есть руководитель всех французских тамплиеров) Жерар де Вийе.

13. 1307—1311 годы: тамплиеры глазами врагов

Король позаботился о том, чтобы соблюсти все судебные формальности — насколько возможно. Во всяком случае, он действовал как бы не по своей воле, а лишь по просьбе инквизитора Франции доминиканца Гийома Парижского (своего исповедника). Тамплиеры были обвинены не в том, что у них есть деньги, нужные королю (это ведь не преступление), а в том, что они — еретики. Ересь же — дело церковного суда, хотя казнь еретика формально оставлялась на усмотрение суда светского.

Во Франции, в отличие от Англии или Арагона, пытка была дозволенным орудием следствия. И здесь светская власть основывалась на церковном авторитете: в 1252 году папа Иннокентий IV буллой Ad extirpanda разрешил пытку к применению мирскими властями в подобных процессах. Тамплиеров сперва пытали, потом допрашивали. В результате через считанные дни все арестованные тамплиеры сознались в том, в чем их обвинили. Решающими стали показания де Моле, данные 24 октября 1307 года. 25 октября великого магистра заставили повторить эти показания перед собранием профессоров Парижского университета: король раскручивал механизм пропаганды.

Показания были словно написаны под копирку: каждый признался, что при поступлении в орден отрекся от Христа, что при поступлении целовал в зад принимавших его рыцарей, что занимался мужеложством, поклонялся вместе с другими некоей таинственной голове, а также кошке (вот здесь показания расходились — кто говорил, что кошка была рыжая, кто «помнил» черную, кто белую). Правда, только меньшинство тампли-

еров признались, что имели сношения с мужчинами, однако следствие удовлетворилось тем, что все заявили, что либо на приеме в орден целовали зад принимавшего их рыцаря, либо слышали о таком обычае. Тамплиеры-священники признались, что во время мессы не произносили положенных слов, чтобы таинство не совершалось: так они избегали наказания от Бога за совершение таинства в состоянии смертного греха.

Обвинения были сформулированы так, чтобы вызвать общую ненависть к тамплиерам как к вероотступникам.

14. 1307—1311: тамплиеры глазами трезвости

Допросы тамплиеров позволяют увидеть, каков же был орден. То была вовсе не величественная международная организация, секретно управляющая всеми финансами огромных стран, определяющая политику королей, состоящая из надменных и пышно разодетых храмовников, а дышащая на ладан общественная организация, мало кого уже привлекавшая. Большинство ее членов были по мерке того времени стариками: средний возраст 115 арестованных в Париже тамплиеров составлял 42 года. Совершенно очевидно, что после потери Палестины приток новых членов в орден резко сократился, молодежи было ничтожно мало. Большинство арестованных не были ни феодалами, ни аристократами, ни богачами. Зато были пастухи, сельскохозяйственные рабочие, были тамплиер-мельник, плотник, пахарь, пастух, никогда в жизни не бравшие в руки меча, вряд ли видевшие хоть одного живого араба. Для них членство в ордене было прежде всего подвигом благочестия. Большинство тамплиеров жили общинами по три-четыре человека, и уж, разумеется, не в пышных замках. Далеко не в каждой общине был священник. Никакой «международной сети» не было, даже в пределах одной страны связь общин была слабой. Из-за этого, к примеру, большинство провинциальных членов ордена не знали, что в XIII столетии иерархия католической Церкви запретила мирянам давать отпущение грехов (первоначально исповедь не обязательно совершалась священниками), и тамплиеры сохраняли практику, принятую еще в XII веке, когда орден организовался. Это, может быть, единственное реальное упущение в орденской жизни.

Ни один европейский монарх не поддался соблазну повторить трюк Филиппа Красивого. Король Англии Эдуард II писал, что обвинения «слишком уж невероятны». Правда, 10 января 1308 года магистр Англии Вильгельм де ла Мор бы арестован, но ему даже платили пенсию во время ареста, дали шестерых слуг из числа тамплиеров. В сентябре 1309 году в Англию прибыли двое инквизиторов — оба французы, первые и последние инквизиторы на английской земле, где инквизицию считали орудием чужеземной власти. Но без пыток они были беспомощны.

Король Арагона Яго II заявил, что орден доказал свою невиновность уже тем, что отважно сражался с арабами в Испании. И если во Франции большинство людей поверили в виновность тамплиеров — народ был един с властью, то за границами страны обаяние Филиппа Красивого как-то

не подействовало. Уже в ноябре 1307 г. Христиан Спинола из Генуи писал тому же королю Яго II, что убежден: «Папа и король делают это ради того, дабы отобрать их деньги и организовать один орден из госпитальеров, тамплиеров и прочих братств, над каковым домом король намеревается и желает поставить правителем одного из своих сыновей».

Вряд ли и Папа поверил обвинениям против тамплиеров. Однако более всего его волновало то, что Филипп Красивый вмешался в дело, подведомственное Церкви. Где только мог, Климент V пытался отстоять права Церкви — и это прекрасно, беда только, что ради этого он готов был пожертвовать живыми людьми и истиной. 27 октября 1307 года Папа написал гневное письмо королю и послал во Францию двух кардиналов, чтобы они занялись рассмотрением дела и взяли в управление собственность тамплиеров. Впрочем, король им отнюдь никакой собственности не отдал, заявив, что сперва нужно окончить процесс.

27 июня 1308 года на встречу с Папой в Пуатье были привезены 72 тамплиера (и число-то священное!), которые все в лицо ему повторили самооговоры. Папа сделал вид, что всему поверил. Однако он продолжал отстаивать память своего предшественника Бонифация VIII. Это было — с канцелярской точки зрения — ужасно смело, только тамплиерам, которых вздергивали на дыбу, это ничем не помогало.

Хуже всего было то, что 22 ноября 1307 г. Папа издал буллу Pastoralis praeeminentiae, приказывая правителям всех христианских стран арестовать тамплиеров и передать их собственность в управление своим представителям. Это был тактический ход: Папа как бы перехватывал инициативу и полномочия у Филиппа. В результате и в Англии, и в Португалии, и в Арагоне, и в других странах тамплиеры были арестованы (в Арагоне, правда, рыцари пытались сопротивляться и выдержали довольно долгую осаду в одном из замков, но потом с почетом сдались). В этих странах их не пытали, содержали в очень приличных условиях. Беда же была в том, что в подобных процессах практически было невозможно добиться оправдания, механизм их просто не был на это рассчитан.

15. Тамплиеры и Плащаница

Западный хронист Робер де Клари, описывавший взятие Константинополя крестоносцами, упомянул и Плащаницу: каждую пятницу осажденные торжественно выставляли ее, причем так, «чтобы фигура нашего Господа была ясно видна». Слово «фигура» в XIII веке во французском могло означать и лицо, и всё тело. Он называл ее «синдуан» — так француз произносил греческой «синдон» («саван»). Может быть, так поступали и для того, чтобы защитить город от осаждающих. Но ни Плащаница, ни прочие святыни не защитили город, который так верил в покровительство святынь, — кстати, это ни на йоту не подорвало веру византийцев в силу святынь. Де Клари подчеркнул, что никто не знал, куда пропала Плащаница. Часовня Фарос не была разграблена мародерами. Епископ Труа Гарнье де Трайне составил их тщательную опись, но Плащаницы в описи нет.

Воцарившийся в Константинополе Болдуин запретил расхищать реликвии, но их всё равно крали, и на Западе эти реликвии с благодарностью принимали. Монастырь в Клюни, к примеру, не постеснялся принять главу св. Климента из константинопольской церкви св. Феодосии.

Плащаница же исчезла. Однако вот легкий намек на ее возможную судьбу: после взятия Константинополя граф Бонифаций Монферратский, предводитель крестоносцев, взял себе в жены вдову византийского императора Исаака II Ангела — 29-летнюю венгерку. Предложение было сделано в день падения города. Супруги поселились в Фессалониках, причем незамедлительно построили здесь церковь во имя Нерукотворного Образа, «Ахейропоэтос» (теперь она называется Эски Кума Куми). В 1207 году Бонифаций умер. Мария в третий раз вышла замуж — за крестоносца француза Николя де Сен-Омера. Она родила ему сына Вильгельма, который со временем вступил в Орден тамплиеров (один из основателей ордена, напомним, сам был из рода Сен-Омер). Вот через кого Плащаница могла попасть в орден.

В числе обвинений против храмовников неизменно фигурировало обвинение в идолопоклонстве. Во время общих собраний, капитулов, вносили некую «голову». Инквизиторы серьезно вписывали слухи, «подтвержденные» показаниями под пыткой, в обвинительные акты: «Некоторые из них, или большинство посещавших капитулы, говорили, что эта «голова» может спасти их, что она дала их ордену богатство, что благодаря ей цветут деревья и плодоносит земля». Они эту «голову» лобызали и именовали своим спасителем. Так, может быть, всё проще: они просто именовали отпечаток лица Спасителя — Спасителем и верили, что реликвия покровительствует ордену, как Христос покровительствует всей земле?

Один из тамплиеров, брат Рауль, показал на допросе, что перед «головой» падали ниц и целовали ее. Она показалась ему ужасной, он трепетал от страха. Конечно, у современного человека Лик на Плащанице вызывает что угодно, но не страх; однако страх ведь в сердце: в расплывчатых пятнах заранее трепещущий человек может увидеть что угодно. Впрочем, тогда трепетали благоговейно: папа Александр XII повелел даже завесить образ Плата Вероники (который, напомним, был скорее всего копией с Плащаницы), потому что молящиеся якобы могли испугаться даже до смерти. Легенда о Святом Граале утверждала, что сэр Галахад так же трепетал перед образом самого Христа.

Свидетели показали, между прочим, что поклонение «голове» совершалось «вскоре» после дня апостолов Петра и Павла. То есть после 29 июня — а 1 июля праздновалось поклонение Нерукотворному Образу Спасителя.

Были свидетели, которые «по слухам» утверждали, что тамплиеры поклонялись «голове» на арабский манер, выкрикивая «алла» — то есть «Аллах». Это объясняется просто: по показаниям аббата Ланьи, на капитулах священник пел псалом 65 с припевом «Села!» — этот припев и могли

принять за призывание Аллаха. Подозрительная злобность легко выстраивала силлогизм: раз тамплиеры были в Аравии, значит, Христу они изменили в пользу мусульманства. Мусульмане, разумеется, думали иначе: в 1277 году султан Байбар, захватив крепость тамплиеров в Иерусалиме, приказал уничтожить некоего найденного там «идола», «покровителя» замка — вероятно, копию Плащаницы. Ведь если поклонение Плащанице тамплиеры совершали в разных замках в один день, то во всех замках, кроме одного, выносили для поклонения лишь копии. Самым убедительным доказательством тому может служить находка, сделанная в 1951 году в поместье Темплкомб в Соммерсете (Англия). В 1185 году это поместье было куплено тамплиерами, здание перестраивалось, но сохранилось. Когда в 1951 году стали делать ремонт, то под штукатуркой нашли доску. Она явно долго использовалась в качестве двери, но первоначально она служила иконой. На ней была изображена голова Христа без плеч, с рыжеватой бородой. Доску перенесли в местную церковь. Примечательно, что лик изображен, вопреки традиции, без ореола: но ведь и на Плащанице ореола нет. Поэтому, кстати, некоторые тамплиеры считали, что поклоняются портрету Гуго, основателя ордена.

Поклонение Плащанице было тем искреннее, что оно гармонировало с тем главным духовным импульсом, который двигал крестоносцами и большинством европейцев того времени: подражание Христу. Не Христу Небесному Царю, недосягаемому в Своем величии, а Христу — бродячему проповеднику, бедному, униженному. Следование за таким Христом и вело к почитанию всех деталей, связанных с земной жизнью Спасителя. Свои храмы тамплиеры именно поэтому строили в виде ротонд — в подражание храму Гроба Господня в Иерусалиме; и бородки они носили точь в точь как на Плащанице. Самое точное описание Плащаницы дал, в сущности, тамплиер-сервит Стефан из Труа на допросе в инквизиции: будучи в Париже на капитуле, он видел загадочный предмет: «Священник в сопровождении братьев со свечами внес его; то была человеческая голова без серебра или золота, очень бледная и бесцветная, с бородой, как у тамплиеров». Блеклость — характерная особенность Плащаницы, резко отличающая ее от любых живописных произведений.

16. Апрель 1310: тамплиеры защищаются

К чести французских тамплиеров, они сделали всё, что может сделать человек, для защиты ордена. Выдержать пытки человек не может — и, тем более, не должен человек выдерживать пытки. Как только пытки остались позади, храмовники начали забирать свои показания, подчеркивая, что оговорили себя. Они строили защиту в пределах той инквизиционной процедуры, которая была начата королем. Во-первых, инквизиция (в отличие от предыдущих форм суда) предоставляла обвиняемому возможность назвать своих врагов — и если свидетель обвинения оказывался в числе этих врагов, его показания отводились. Рыцарь Ронсар де Гизи совершенно точно, к примеру, перечислил тех нескольких членов ордена,

которые по тем или иным причинам могли оговорить товарищей, и попал в яблочко, упомянув комприора (заместителя начальника) замка Монфокон Эски де Флорана. Он был главным доносчиком; сохранилось его письмо королю, в котором он напоминал, что должен получить из конфискованного имущества тамплиеров тысячу ливров годовой ренты и еще три тысячи ливров наличными.

Разумеется, главной фигурой в ордене оставался и в глазах обвинителей, и в глазах рыцарей великий магистр. Уже в декабре 1307 года, когда в Париж прибыли кардиналы от Папы, великий магистр де Моле заявил, что дал показания под пыткой и отрекается от них. Он потребовал, чтобы его судил, в соответствие с канонами, сам Папа. Рассеянные по темницам тамплиеры знали и о признаниях де Моле, и об отказе от признаний, о призыве к собратьям отказаться от вымученных под пыткой показаний. И уж король Филипп позаботился о том, чтобы великого магистра не было среди тех 72 тамплиеров, которых лично представили Папе. 28 февраля 1310 г. де Моле вновь заявил, что отказывается защищать орден, так как по своему положению должен свидетельствовать непосредственно перед Папой. Это была дань юридической форме, но одновременно де Моле произнес настоящую защитительную речь, напомнив, что богослужение в орденских церквах велось куда пышнее, чем в любом соборе, так что абсурдно обвинять храмовников в неуважении к мессе, напомнив, что орден раздавал огромную милостыню.

Обвинители ответили магистру, что если веры нет, то не имеет значения ни милостыня, ни стоимость облачений, — а о какой вере может идти речь, коли предшественник де Моле приносил клятву верности султану Саладину? Хотя многие тамплиеры, в том числе сам де Моле, тогда еще совсем юный и горячий, были этим недовольны, большое число тамплиеров находилось на арабской территории; без компромисса с султаном их бы сразу уничтожили. О какой измене вере можно говорить, когда тот же Саладин, взяв орденский замок Сафед, потребовал от рыцарей принять ислам, а те отказались, восемьдесят человек, и все восемьдесят были обезглавлены? Следователи почуяли, что в историю лучше не забираться, и вернулись к современности: магистр-де не имеет права взывать к Папе как судье, потому что процесс ведется не против магистра лично, а против ордена в целом.

Если в 1307 году лишь 15 рыцарей из 600 устояли под пытками, то в феврале 1310 года к ним присоединились 532 храмовника. Лишь 15 человек были сломаны настолько, что и в это мгновение общей надежды отказались от права на защиту. Остальные выбрали девятерых членов ордена в качестве своих адвокатов; среди них выделялись двое профессиональных юристов: Жан де Монреаль и 44-летний Пьер де Болонья. Последний, видимо, окончил знаменитый университет в Болонье: во всяком случае, с королевскими юристами он сражался на равных. Он и до ареста был главным юристом (прокуратором) ордена, но подчеркивал, что на защиту в процессе ему нужно особое распоряжение великого

магистра. Комиссия, однако, с таким же усердием блокировала все попытки с магистром встретиться или хоть как-то снестись. В ход шла казуистика: тамплиерам заявили, что великий магистр отказался от защиты и тем самым утратил все полномочия — так истолковали его отказ от защиты перед королем и требование разрешить защиту перед Папой.

Если де Монреаль напирал на то, что тамплиеры героически гибли во время обороны Палестины (и, кстати, исчислил общее число погибших за два столетия рыцарей в двадцать тысяч человек), то де Болонья оперировал правовыми категориями. Он потребовал, прежде всего, освободить всех арестованных, чтобы избавить их от морального давления, тем более — от пыток. Он потребовал исключения из заседаний всех лиц, чья заинтересованность в исходе дела очевидна. Он заявил, что вообще тамплиеров может судить только Папа, даже если речь идет о суде лично над членом ордена, — и сослался на прецедент, когда Бонифаций VIII сам судил одного из братьев, пересмотрев приговор великого магистра об исключении провинившегося из ордена и наложив на него простую епитимью: в течение года и одного дня есть, ставя пищу на пол, как животное.

Многое из того, что говорил де Болонья, было в высшей степени умно и точно. Он объяснял, что арест и пытки лишили братьев «свободы ума и воли», а следовательно и «знания, памяти и понимания», что и повлекло за собой совершенно безумные показания. Этим умным и точным словам цены бы не было, скажи их прокуратор еще до ареста, тогда, когда инквизиция вела процессы не против тамплиеров. Но, будучи на свободе, юрист как-то не задумывался над некоторыми недостатками в принципах юриспруденции своей эпохи, считая ее вполне разумной для борьбы с еретиками. Вот когда он сам оказался под обвинением, тогда заговорил иначе. Пожаловались даже на то, что с тамплиеров, заключенных в тюрьму, берут плату за свечи, стирку, берут по два су за то, что расковывают перед допросами, и столько же — за то, что заклепывают кандалы. Раньше надо было бы задуматься над тем, каково приходится жертвам инквизиции.

У остававшихся на свободе юристов, обслуживавших королевскую волю и собственное рвение об истине, трезвости еще не хватало. Один из них, Жан де Пуйи, доказывал в специальном сочинении, что даже если тамплиеры невиновны в том, в чем признались, они, во-первых, виновны в чем-то еще, ибо вовсе безгрешных людей нет, а во-вторых, вообще нельзя говорить о невиновности, можно лишь говорить об отсутствии доказательств невиновности; кроме того — если освободить тамплиеров, подозрения останутся, и орден будет источником соблазна для христиан. В общем, назад хода нет. Если тамплиеры отказываются от признаний в еретичестве, значит они — упорствующие еретики и подлежат сожжению в качестве таковых. Правда, большинство богословов и юристов всё-таки не опускались до такой беспредельной подлости и нашли возможным считать тамплиеров раскаявшимися еретиками, что означало отмену

смертной казни. Самые убедительные возражения тамплиеров отводили простым указанием на то, что король действует в данном деле как Божий помазанник, защищающий веру, и в этом качестве не связан процедурными моментами.

17. 12 мая 1310 года: первая казнь тамплиеров

Как ни страшна была инквизиция, она была шагом вперед в судопроизводстве. Даже та слабая возможность защиты, которая была предоставлена тамплиерам, использовалась ими успешно. Перекрестные допросы свидетелей показали, что никаких прямых улик обвинения нет. И те тамплиеры, кто не отказался от показаний, теперь говорили, что сами не отрекались от Христа, а только слышали, что есть какой-то такой секретный устав ордена, по которому надо отрекаться, сами не занимались мужеложством, а только слышали что-то такое... Юридически грамотные требования перенести дело на суд Папы опровергнуть было нельзя. 4 апреля 1310 года Папа издал буллу Alma mater о переносе на год собора, который должен судить орден. В Англии, где пыток не было, ни один из арестованных тамплиеров ни в чем не сознался.

Король Филипп поступил просто: обратился к архиепископу Сансскому Филиппу де Мариньи, в чью епархию входил Париж. Брат архиепископа Энгеран де Мариньи, кстати, был министром финансов и главным советником короля. Король предложил архиепископу начать суд над тамплиерами — не над орденом, который-де пусть судит собор, а над отдельными членами ордена — в качестве главы епархии. Такие же предложения были сделаны епископам других епархий Франции (впрочем, абсолютное большинство тамплиеров было свезено в Париж). 8 мая 1310 года арестованные храмовники узнали об этом и заявили коллективный протест папской комиссии. Комиссия сама была в тихой панике: явно готовилось грандиозное беззаконие. Но, разумеется, конфликтовать с королем комиссия не намеревалась, оставляя это Папе. Тамплиерам заявили, что комиссия не правомочна оценивать деяния архиепископа Сансского. И уже через четыре дня, 12 мая 1310 года, в Париже сожгли 54 тамплиера. Все они буквально кричали о своей невиновности, о том, что их оклеветали и не дали им справедливого суда. Более того, в спешке сожгли некоторых рыцарей, которые не признались в ереси даже после пыток. Признавшихся же и отказавшихся от защиты собор освободил от казни. Точные имена казненных известны не все. Пьер де Болонья, во всяком случае, после этого из всех протоколов исчезает. Сожжения продолжались и после 12 мая, но уже меньшими группами.

Массовое сожжение тамплиеров произвело нужный эффект: 198 человек из оставшихся в живых опять признали свою вину. Не понадобилось новых пыток: знание о том, что собратьев сожгли, наплевав на всякие юридические процедуры, оказалось лучшей пыткой.

Перед папой Климентом V было две возможности: осудить короля, бросив тень на помазанника Божия, либо осудить тамплиеров, бросив тень

на крохотную (тысяча человек) и чересчур независимую организацию, в основном состоящую из мирян, чье богатство было уже давно конфисковано. Борьба за тамплиеров могла оказаться бесполезной: ведь у Папы не было армии, которая бы освободила рыцарей, содержавшихся в королевских тюрьмах. Пришлось бы бороться не только с королем, но и с суеверной верой в колдунов и изменников христианству. Папа предпочел взять сторону короля. Тактически это было мудро. Другое дело, что в памяти европейских народов что-то щелкнуло и еще нечто, не слишком благоприятное не только для Климента V, но для всего христианства в целом, в этой памяти отложилось. Вряд ли мы способны понять современный антиклерикализм и секуляризм, не вспоминая истории тамплиеров — истории, когда иерархи Церкви изменили справедливости.

23 декабря 1310 года Климент V в послании Эдуарду Английскому обещал ему прощение грехов и вечную милость Божию, если он передаст английских тамплиеров французскому суду. Эдуард предпочел сделать уступку другую: летом 1310 года он разрешил пытать тамплиеров, и они тут же начали признаваться в ереси. Только магистр Англии так ни в чем и не признался (он умер во время заключения в Тауэре). В Папском государстве пытки были применены — и тамплиеры, которых были считанные единицы, признались. В Кастилии-Леоне, в Португалии, в Ломбардии, в Анконской марке, в Равенне пытки остались под запретом, тамплиеры ни в чем не признались. В Арагоне пытки разрешили, но тамплиеры всё равно ни в чем не признались — видать, палачи были похуже французских. В мае 1311 года собор в Трире оправдал немецких тамплиеров — сорок человек. Архиепископа Магдебургского, начавшего процесс против нескольких тамплиеров своей епархии, осудили (морально) остальные немецкие епископы. 18 июня 1311 года собор в Равенне оправдал семерых равеннских тамплиеров, признав невиновными и тех, кто сознался под пытками, рекомендовал Папе сохранить орден. Папа был раздражен.

18. 22 марта 1312 года: ликвидация Ордена тамплиеров

16 октября 1311 года открылся Вьенский собор (пятнадцатый Вселенский), тот самый, который был отложен ради суда над тамплиерами. На открытии Папа заявил, что вопрос о тамплиерах — главное дело собора (да и было ясно, что двумя другими проблемами — организацией нового крестового похода или реформы Церкви — никто всерьез не занимается). На собор были официально приглашены тамплиеры, но, разумеется, никто не ждал, что они появятся. Когда перед отцами предстали семеро рядовых рыцарей и заявили, что готовы защищать орден, все были изумлены. Разумеется, под каким-то юридическим предлогом им выступать не разрешили. Однако большинство прелатов (кроме французских) были настроены если не в пользу ордена, то, по крайней мере, в пользу справедливого разбирательства дела. Но до суда так и не дошло. 20 марта в город прибыл король Франции с огромной (вооруженной) свитой. 22 марта Папа

подписал буллу Vox in excelso, ликвидировавшую орден. В булле Папа назвал тамплиеров «ненавистными французскому королю», что было то ли верхом бесстыдства, то ли намеком на свою беспомощность.

За пределами Франции такой «суд» лишь укрепил недоверие к обвинениям против тамплиеров. Во Франции кто не верил — молчал. Из всех богословов Сорбонны только Жак де Терине посмел издать трактат «Против нечестивого запрета», в котором доказывал, что если бы даже тамплиеры и были виновны (что ему представлялось в высшей степени сомнительным), судили их несправедливо. Рассказывали (к сожалению, ошибочно), что десять кардиналов вернули Папе красные шляпы — символ своего чина — в знак протеста против его подхалимского поведения по отношению к французским властям. Доминиканский богослов Пьер де ла Палю пришел в инквизицию (французскую!) и заявил, что материалы процесса свидетельствуют: следует доверять тем тамплиерам, которые не признавались в ереси, а не тем, которые признавались, чтобы спасти свою жизнь. А ведь доминиканцы вообще недолюбливали тамплиеров (как, впрочем, и другие ордена), и инквизиция была доминиканским заведением. Палю рисковал жизнью. Данте сравнил суд над тамплиерами с судом над Христом, а Филиппа назвал «новейшим Пилатом».

19. Судьба тамплиеров и их имущества

2 мая 1312 года буллой Ad providem имущество тамплиеров было передано Ордену госпитальеров (с XVI века их обычно называют мальтийскими рыцарями). Исключение было сделано для земель на Иберийском полуострове. Король Португалии в 1319 году фактически лишь переименовал орден, да и то дал название всё из того же Бернара: Орден Милиции Иисуса Христа (Militia Iesu Christi). И эти переименованные тамплиеры активно участвовали в великих путешествиях и еще более великих открытиях португальских королей. Во Франции и Англии земли тамплиеров еще несколько десятков лет находились во владении королей и знати, лишь постепенно — судом, а еще более взятками, фактически выкупом, — госпитальеры добились получения этих земель. Французский король вообще считал, что имущество тамплиеров разве что покрывает расходы по проведению суда над ними. Что до людей, оставшихся в живых благодаря безоговорочному покаянию, им даже назначили пенсии (а в Англии — весьма неплохие). Правда, от них потребовали жить по монастырям — ведь обеты тамплиеры принимали пожизненно. Между тем некоторые храмовники после уничтожения ордена вовсе не собирались идти в монастырь, не к тому они готовились. Кое-кто из них даже женился, — таковых вынудили расстаться с женами.

20. 18 марта 1314 года: последняя казнь тамплиеров

18 марта 1314 года в Париже трое кардиналов возглавили суд над четырьми руководителями Ордена Нищих рыцарей. Двое из них — великий магистр Жак де Моле и прецептор Нормандии Жофруа де Шарни —

вновь заявили, что не признают себя виновными, вновь потребовали суда у Папы. Суд прервался, не начавшись: парижский прево забрал двоих героев по приказу короля и в тот же день сжег их на островке Жаво на Сене, между королевским садом и храмом августинцев — тех самых каноников, в подражание которым был основан орден. Сожгли, между прочим, не удушив, как это обычно делалось — то есть самым жестоким образом. Никакого приговора никакой — ни церковный, ни светский — суд не выносил вообще.

Смерть рыцари приняли героически. 20 апреля того же года умер папа Климент V. 29 ноября погиб на охоте от клыков кабана король Филипп Красивый. Разумеется, стали говорить, что великий магистр призвал своих врагов предстать с ним на суд Божий в течение года, даже писать, что он умер «точно в срок», предсказанный де Моле. На самом деле, и о «заклятии» известно лишь из поздней легенды, и никаких «точных» сроков даже эта легенда не называла. Двое тамплиеров, 18 марта признавшие себя виновными, получили пожизненное заключение.

21. XX век: легенда о тамплиерах

Лишь в XX веке историки (не только церковные и, увы, прежде всего не церковные) признали все обвинения против тамплиеров ложными. Но в популярных книжках (а кто знает, что считать «скрижалями истории» — покрытые пылью академические томины или взахлеб читаемые памфлеты) тамплиеры по-прежнему виновны. Причем, недоверие к Церкви (как у Януша Ковальского, автора краткой истории папства, выпущенной русскими коммунистами в год своего падения) не распространяется на светскую власть, и человек спокойно пишет, что «огромные доходы и финансовые операции» ордена «наносили ущерб королевской казне». Легче, оказывается, подозревать во всем дурном Церковь, чем государство. Нормальные люди, обычно отлично понимающие, что ягненок виноват лишь том, что волку хочется кушать, словно дуреют, если речь идет о «церковном» ягненке и «светском» волке. Все сомнения толкуются в пользу «своего» — а «своим» оказывается тот, кто против Церкви.

В случае с тамплиерами, правда, Церковь была одновременно и мученицей, и мучительницей. Ведь инквизиция тоже была против тамплиеров. И тогда вступает в действие дополнительный фактор: люди жаждут таинственного. Более того, чем дальше люди от подлинно таинственного, чем агрессивнее они относятся к той Тайне, которая у всех на виду — на Кресте, в Церкви, — тем активнее они ищут таинственное по самым странным сусекам. Так подпитывается миф о том, что хотя тамплиеров осудили несправедливо, но «что-то такое» всё-таки у них было. Это абсолютно нелогично, это абсолютно ни на чем не основано, — но хочется людям мистики с пряностями. Осенним днем 1996 года в одном московском книжном магазине продавалось сразу четыре книги о тайных обществах, оккультизме, загадках истории — и в каждой о тамплиерах

была отдельная глава. Читать эти книжки невыносимо — но ведь именно такой бред пользуется особым спросом, и потому, пожалуй, и пользуется, что в него заведомо можно не верить. Это куда легче, чем «Архипелаг ГУЛАГ» читать. Поклонялись, поклонялись тамплиеры чему-то такому великому и таинственному, чему потом от них и розенкрейцеры научились, и масоны... А в доказательство еще и картинки — например, изумительная средневековая миниатюра: святой Бернар Клервосский благословляет первых тамплиеров, а нижняя часть иллюстрации изображает некое подземелье, в котором беснуется негодующий сатана. И подпись: мол, внизу изображен тот самый бес, которому тамплиеры поклонялись. Хорошо хоть не написано, что они это делали по благословлению св. Бернара — хотя намекнуто, намекнуто...

Если такое пишется в ненаучно-популярных книжках, то ясно, что в беллетристике пишут в сто раз более бредовые вещи. Тамплиеры решительно попали в одну кампанию с фараоном Тутанхамоном и его проклятием. О них русский читатель знает прежде всего из «Айвенго» Вальтер Скотта, в котором «надменный храмовник» совершает всяческие злодеяния, тамплиеры безумно богаты и горды, а орден ликвидирует Ричард Львиное Сердце (который умер намного раньше всей этой истории). Тем не менее, эти ошибки — ничто по сравнению с фантазиями бульварных исторических романов Мориса Дрюона (начинающихся именно с тамплиеров: будто их проклятие определило историю Франции на многие века и было истинной причиной Великой Французской революции). Еще хлеще Еремей Парнов. В его романе «Ларец Марии Медичи» действие тоже начинается с тамплиеров: «Орден ... это невидимое государство, опутавшее всю Европу, черпающее силу крови и духа в Азии... Проявляют удивительное равнодушие к своему истинному предназначению: войне с неверными, которую столь доблестно ведет христианский мир в лице Тевтонского ордена... В подземном храме тамплиеры поклоняются мерзкому идолу под именем Баффомет. А вид тот идол имеет козлиный и во лбу, меж рогами его, вставлен невиданный алмаз... Вместе с другими сокровищами катаров он перешел, после альбигойских войн, во владение Храма... Орден давно уже превратился в тайный союз, который все ненавидят». Еще и альбигойцы помянуты, которые бы от тамплиеров шарахнулись, как черт от ладана!

Слухи о «голове» тамплиеров удивительно точно легли на древнее мифологическое представление о «живом мертвом» — например, о голове Горгоны. Еще до падения Константинополя и среди византийцев, и среди франков ходили легенды о том, что у византийских императоров в ларце хранилась живая голова, которую показывали врагам, и те умирали, — а родилась та голова от пирата, изнасиловавшего дочь императора. Есть в этом нечто завораживающее, почему и в цирке до сих пор «говорящая голова» — беспроигрышный номер, и до сих пор в России с увлечением читают роман Александра Беляева «Голова профессора Доуэля», а в Англии — роман Клайва Льюиса «Мерзейшая мощь», в котором анти-

христианская оксфордская интеллигенция поклоняется не чему-нибудь, а именно голове сарацина. Фу, зачем же на интеллигенцию катить то, что уже задавило тамплиеров...

В сущности, тамплиеры — вслед за Галилеем — стали одним из антихристианских мифов. Большинство отвергающих христианство делают это на свой страх и риск, не апеллируя к сожжению Джордано Бруно. Но меньшинство ищет опору в каких-то «фактах» злокозненности Церкви, якобы доказывающих, что «идея, брошенная в массы, словно девка, брошенная в полк», что главная ошибка Христа и есть основание Церкви (либо отрицают, что Он ее основал). Ярче всего это проявилось в книге типичного французского интеллектуала Амбелена, без особых доказательств утверждающего, что Иисус — старший сын Иуды Галилеянина, что «в действительности абсолютно неправомерно утверждать, что христианство выросло из Ветхого Завета и является его логическим продолжением» и что тамплиеры якобы узнали об этом на Востоке. «Возможно также, что храмовники общались с раввинами или с руководителями исмаилитской секты ассасинов, высказывавшими такие соображения, на которые тамплиерам было нечего возразить». Разумеется, «возможно» тут означает, что это совершенно невозможная и бездоказательная фантазия. Что до поклонения голове, Амбелен делает еще более невероятное предположение: якобы мусульмане использовали детские головы для ворожбы, и несколько таких голов заполучили тамплиеры. И весь этот бред кончается величественным гимном последнему магистру тамплиеров: «Из глубины разгорающегося пламени, которое через несколько мгновений превратится в жарко пылающий костер, доносится человеческий голос. Он стоит выше всех философских завещаний мира, так как он возвещает последние мысли человека, готовящегося принять смерть».

22. 1357 год: Плащаница появляется вновь

Через сорок лет после гибели тамплиеров Плащаница объявилась вновь — у некоего Жофруа де Шарни (которого для ясности обозначим вторым). Разумеется, сразу встает вопрос: кем он приходился «первому» Жофруа де Шарни, сожженному в Париже в 1314 году? Генеалогия отказывается отвечать — она ведь точная наука. Ясно, что однородцы, но степень родства неизвестна. Однако зацепочка — налицо.

Шарни II был настоящим рыцарем — то есть весьма благочестивым идеалистом. Жизнь обходилась с ним, как Сервантес — с Дон Кихотом. Попытался де Шарни освободить занятый англичанами Кале, но был предан кем-то и попал в плен к ненавистным островитянам. Лишь через полтора года (в течение которых рыцарь успел написать несколько меланхоличных и очень религиозных стихов, а также дать обет построить церковь) король заплатил за него выкуп. В 1353 году король же назначил Шарни II пособие — точнее, дал денег на строительство церкви, построить которую поклялся Шарни. 28 мая 1356 года храм освятил местный епископ Анри Пуатье. А еще через четыре месяца, 19 сентября 1356 года,

Шарни II был убит в знаменитой битве при Пуатье, где ему было доверено знамя Франции. Он рубился топором, а погиб потому, что заслонил короля от удара копьем. Через четырнадцать лет, когда военные действия утихнулись, Шарни II похоронили в Париже за счет короля.

Девизом де Шарни имел: «Честь всё покоряет». Рыцарь много путешествовал по Востоку и, в сущности, мог получить Плащаницу и там, но тогда совершенно неясно, почему он на редкость твердо молчал о ее происхождении и вообще не афишировал святыню. Официально строительство храма никак не было связано с реликвией.

Судя по всему, де Шарни II не собирался ограничиваться строительством церкви. 6 января 1352 года он вместе с еще несколькими рыцарями — и с одобрения короля — основал Орден Звезды. Как и тамплиеры, члены нового ордена клялись никогда не отступать в сражениях. Вполне возможно, что этот орден — как и ордена в Испании, Португалии и других странах, фактически давшие убежище идее тамплиеров, — должен был продолжать традицию тамплиеров, а зримым символом традиции и призвана была стать Плащаница (хотя нет никаких данных о том, что Шарни II намеревался выставлять ее на публичное обозрение). Перед битвой при Пуатье ордену дали более пышное название: Орден Нашей Девы Благородного Дома. Но все основатели ордена погибли в битве.

Вдова де Шарни осталась с сыном — тоже Жофруа де Шарни (пусть будет третий), без денег, с ответственностью за храм в Лире, в котором было шесть каноников. Король, обещавший платить на содержание храма 140 ливров в год, попал в плен к англичанам. И в женскую голову пришла, как всегда, та трезвая мысль, которая не приходила в голову мужскую: сделать деньги на Плащанице. В 1350 году тысячи людей шли в Рим не только за отпущением грехов по случаю юбилейного года, но и поклониться «плату Вероники» (кстати, в последний раз — затем плат убрали). Почему бы этим людям не пойти в Лире? Всё связанное со Страстями Христовыми было очень популярно в этом столетии черной чумы. Жанна не стала добиваться справок о том, что реликвия подлинная (да кто бы и дал такую справку!). Она заявила, что Плащаница — изображение, сделанное живописцем. На всякий случай, подыскали художника, готового поклясться, что он сделал Плащаницу. Разумеется, он не мог объяснить и не объяснял, как изображение сделано, почему Христос изображен нагим, почему изображение такое необычное.

В XIX веке на дне Сены нашли сувенир для пилигримов, изготовленный в XIV столетии: два священника держат ткань, на которой совершенно ясно отчеканены изображения нагой человеческой фигуры спереди и сзади. Это уж несомненно Плащаница, причем развернутая. Ни одна реликвия или икона той эпохи не изображали тело Христа таким образом. Кстати, в 1357 году богословы, к которым обращался за советом епископ Труа Анри де Пуатье, заявили, что «это не может быть подлинная Плащаница нашего Господа с запечатленным на ней Его подобием, потому что Евангелия не упоминают о таком отпечатке, а если бы

отпечаток был подлинным, маловероятно, чтобы святые Евангелисты промолчали о таком факте». По бокам пластинки герб Шарни и герб вдовы Жанны де Вержи. Впрочем, сувениры изготавливали недолго. Когда вышел из плена король, когда вдова вторично вышла замуж, нужда в деньгах отпала, и Плащаницу перестали выставлять.

В 1389 году, однако, де Шарни III повелел вновь выставить Плащаницу для обозрения и, более того, для поклонения. Официально нигде и никто не утверждал, что это — подлинная реликвия. Но выносилась она торжественно, священники одевали полное облачение, поднимали ткань на специальный помост, перед нею кадили, перед нею кланялись. Впрочем, де Шарни — к тому времени достигший высокого поста бальи (своего рода губернатора) Ко — заручился если не официальной поддержкой Церкви, то неофициальной, причем на самом высоком уровне. Дело в том, что его отчимом был граф Эмон Женевский, который приходился одновременно дядей папе Клименту VII. Сам де Шарни женился на Маргарите Пуатье, племяннице того самого епископа, который освящал когда-то церковь в Лире. И обратился Шарни не к местному архиерею, с которым, видимо, у него отношения были неважными, а прямо к своему сводному двоюродному брату Клименту VII. Разрешение на показ было получено.

Епископ Труа Пьер д'Арси, видимо, поклялся досадить гордому аристократу. Он направил Папе возмущенный меморандум, в котором писал: «Хотя публично не заявляют, что это подлинная Плащаница Христа, тем не менее об этом говорят в частном порядке, и в это верят многие, тем более, что и в предшествующие случаи говорилось, что это подлинная Плащаница». Он напирал на то, что известен художник, создавший Плащаницу, что не исключено рождение дикого суеверия. Правда, латинский текст меморандума в этом месте не так ясен, как хотелось бы противникам подлинности Плащаницы, ибо буквально гласил, что художник «depingere» изображение, — а слово это может означать и «расписывал», и «копировал». Но добился д'Арси немногого: Папа приказал уменьшить число свечей, зажигаемых во время поклонения Плащанице и официально подтвердил, что Плащаница — лишь напоминание о Страстях Христа. Правда, выставлять «плат Вероники» в Риме прекратили.

23. XV—XX века: Плащаница попадает в Турин

Шарни III умер 22 мая 1398 года, оставив после себя дочь Маргарет. Поместье в Лире унаследовал его племянник Антуан-Герри Дез'Эссар. Плащаницу, однако, Маргарет явно считала своей собственностью и в 1418 году увезла ее из Лире, заявив, что боится англичан. 22 марта 1453 года в Женеве Маргарет подписала соглашение с герцогом Савойским Людовиком. В обмен на Плащаницу она получила замок Варамбон. Умерла она 7 октября 1460 года. Каноники Лире негодовали. Однако нельзя не подивиться: если бы Плащаница осталась во Франции, ее бы несомненно уничтожили во время Великой Французской революции, когда были уничтожены многие почитаемые копии с Плащаницы.

Савойские герцоги почитали Плащаницу как подлинную святыню, как покровительницу своей династии. В 1464 году францисканец-минорит Франческо делла Ровере писал о ней как о подлинной «Плащанице, в которую Тело Христа было завернуто после снятия с креста», а в 1471 году этот минорит стал папой Сикстом IV. И в этом же году герцог Савойский Амадей IX начал сооружать церковь в Шамбери специально для хранения там Плащаницы. Апогей почитания Плащаницы был омрачен только пожаром 4 декабря 1532 года; удивительно, впрочем, не то, что реликвия попала в пожар — один за две тысячи лет! — а то, что изображение осталось практически невредимым. В 1578 году Плащаницу перенесли в Турин. Официальным предлогом стало желание епископа Карла Борромео, почитавшегося уже при жизни святым, совершить к ней паломничество: епископ, мол, был слишком стар. На самом деле к тому времени столица набиравшего силу Савойского герцогства была перенесена из Шамбери в Турин, и покровительницу династии хотелось тоже переместить поближе к трону. В 1670 г. Конгрегация индульгенций дала «пленарную индульгенцию», то есть опущение грехов тем, кто совершил паломничество к Туринской святыне «не за почитание ткани как истинной Плащаницы Христовой, но более за размышления о Его Страстях, особенно о Его смерти и погребении». Савойские герцоги выстроили более пышную часовню, куда реликвию перенесли 1 июня 1694 года. Но тут-то и наступил резкий закат благочестия. Мода на паломничества сменилась модой на туризм. Благоговение перед Плащаницей сменилось благоговением «перед звездным небом над человеком и бездонной бездной в человеке». В XVIII веке Плащаницу выставляли крайне редко, в XIX веке всего лишь пять раз. Герцоги Савойские стали королями Италии, потом были свергнуты, но сохраняли права собственности на Плащаницу. 18 марта 1983 года умер герцог Савойский Умберто II, завещав реликвию Папе с условием, что она будет по-прежнему храниться в Турине.

Она и ныне покоится в туринском соборе во имя святого Иоанна Предтечи. Для нее сооружена внутри специальная Королевская Капелла — ротонда из черного мрамора, в центре которой помещен алтарь, украшенный золотыми фигурками херувимов, на нем стоит второй алтарь, на том железная клетка, в которой стоит деревянный ларец. В ларце асбестовый футляр, в асбесте футляр железный, в том деревянный ларец, обложенный серебром, а в том ларце — красный шелк, в шелке — вельветовая ткань, в которой и лежит собственно Плащаница.

24. История исследований Плащаницы

В 1898 году во время выставки, посвященной юбилею итальянской конституции, 43-летний фотограф Секондо Пиа (любитель, но тогда фотография вообще была уделом любителей) получил разрешение фотографировать вывешенную над алтарем Плащаницу. Он провел в капеллу электричество (тоже тогдашняя новинка) и снял ткань в две экспозиции по 14 и 20 минут. А проявив пластинки, обнаружил, что негатив представ-

ляет собой нормальное изображение — то есть что в точном смысле слова негативно изображение именно на Плащанице. Пиа был потрясен — и не он один. Сразу раздались голоса о том, что Бог послал скептическому веку науки научно достоверное доказательство подлинности существования Христа (оно тогда вовсю оспаривалось, не говоря уж о Воскресении).

21 апреля 1902 года в Парижской Академии Ив Делаж, профессор сравнительной анатомии Сорбонны, знаменитый своим скептическим отношением к религии, сделал доклад об исследовании изображения на Плащанице. И он пришел к выводу, что отпечаток вполне мог быть оставлен Телом Христа. Секретарь Академии Марселин Бертело отказался печатать текст полностью. Коллеги Делажа сочли, что их дурачат. Делаж был возмущен: «Я охотно признаю, что ни один из моих аргументов не является неопровержимым, но... религиозный аспект совершенно напрасно связали с проблемой, которая сама по себе является чисто научной... Если бы речь шла не о Христе, а о персонаже вроде Саргона, Ахилла, о каком-нибудь фараоне, никто бы и не подумал возражать...»

Впрочем, скептичны были не только агностики. В 1900 году в Париже священник Улисс Шевалье издал брошюру, в которой доказывал, что Плащаница изготовлена в XIV веке. В 1903 году о том же писал священник Герберт Томпсон. Правоверный католик Лоуренс Брайт в 1974 году, аккурат в разгар шума вокруг Плащаницы, назвал ее «безвредным шарлатанством». Были суждения и резче. Разумеется, верующие, отвергавшие подлинность Плащаницы, не отвергали Воскресения; они отвергали возможность *доказать* Воскресение — а впрочем, и необходимость.

Плащаницу выставляли и фотографировали еще в 1933 году, в июне 1969 году впервые допустили к ткани ученую комиссию из десяти человек — в основном местных туринских ученых, преимущественно католиков. В 1973 году та же комиссия отрезала от ткани 17 крошечных кусочков. В октябре 1978 года торжественно отпраздновали четыреста лет с перенесения реликвии в Турин, причем коммунистический мэр города выделил на празднество около двух миллионов долларов. К Плащанице была допущена комиссия, созданная американскими учеными, — результаты именно ее обследования в основном и фигурируют в рассказах о Плащанице. Наконец, в 1984 году от Плащаницы были взяты образцы, подвергнутые радиоуглеродному анализу — самому точному из известных сейчас науке способу определения возраста органической материи. Анализ показал XIV век (плюс-минус несколько десятков лет). После этого интерес к Плащанице резко упал на Западе. Как выразился один остроумец, она окончательно перекочевала в один разряд со снежным человеком и летающими тарелочками. В России, однако, дело другое: после того как в 1990 году в стране установилась свобода совести, интерес к Плащанице растет с каждым годом. Впрочем, не стоит и преуменьшать интерес к Плащанице на Западе. В США действует 20 обществ по изучению и пропаганде Плащаницы, в Клифтоне (штат Нью-Джерси) есть католический монастырь, ей посвященный. Один журнал, посвященный Плащани-

це, перестал выходить в 1983 году, но на свет появились два бюллетеня. Во всемирной электронной сети Интернет есть специальная «веб-страница», на которой помещаются новейшие материалы о Плащанице («shroud.com»).

Что же, собственно, установили медики, анализировавшие отпечаток на полотне так, как анализируют оставшиеся после убийства улики?

Плащаница отображает человека ростом в 181 сантиметр, хорошо сложенного, не обезображенного тяжелым физическим трудом. Правда, правое плечо чуть ниже левого (это заметно в основном со спины), что может говорить о том, что человек работал каменотесом, плотником — а впрочем, есть десятки профессий, дающие тот же эффект. Возраст — от 30 до 45 лет. Наименее заметны обычному человеку, но наиболее интересны врачу раны на лице: заметно распухли обе брови, повреждено правое веко, и под правым глазом следы опухоли, на носу следы удара, рана на правой щеке, царапина на левой и на левой стороне подбородка. На тыльной стороне головы восемь кровоподтеков, некоторые из них раздваиваются (разумеется, сразу возникло предположение, что это — от тернового венца).

На спине, боках и ягодицах видно от 90 до 120 царапин, каждая около двух сантиметров, причем царапины собраны в группы по три. Теоретически, они могли быть оставлены кнутом, на концах которого висели металлические шарики — такие кнуты известны у римлян, их называли «флагрум». Впрочем, в любую другую эпоху похожие орудия пыток известны у любого другого народа, кроме, может быть, кротких эскимосов. Поделив 120 на 3, получаем число 40 — максимальное, по иудейскому обычаю, число ударов плетью. Правда, били Иисуса римляне...

В боку видна рана (4,4 см на 1,5 см), которая, по мнению некоторых врачей, не могла быть нанесена длинным и тяжелым римским копьем пехотинца («хаста») или копьем кавалериста — «пилумом». Это след от копья типа «ланцеа» (по-гречески «лонхе»), употреблявшимся в основном легионерами военных гарнизонов.

Два больших (десять на семь сантиметров) пятна на спине около плеч — вполне возможно, следы от несения тяжелого предмета. Почему бы не перекладины креста (несли только ее), которая весила около 30 килограммов? Пятна на коленях, особенно на левом — может быть, следы падения? Ноги скрещены — левая поверх правой. Гвоздь, которым пробили ноги, прошел между второй и третьей метатарсальной костью, прямо над так называемым «соединением Лифранка». Ноги не перебиты. В 1968 году в Иерусалиме были обнаружены останки распятого человека, причем голени его были переломаны, а гвоздь находился в том же месте запястья, что и на Плащанице.

Что до следов крови, то многие наблюдатели считали, что в районе сердца на Плащанице видны и следы какой-то светлой жидкости. В Евангелии от Иоанна (19, 34) сказано: «...один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». В 1930-е годы парижский

хирург Пьер Барбе предположил, что «вода» — это перикардиальная жидкость, которой обычно в организме содержится очень мало, но в стрессовом состоянии ее количество растет. Американский патологоанатом Энтони Сава счел это объяснение неточным и отметил, что Барбе, в силу специфики своей больницы, обычно вскрывал трупы не ранее, чем через час после смерти. Он отметил, что в его практике в случае избиений иногда в грудной клетке накапливается значительное количество жидкости, которая состоит из двух несмешивающихся частей: темно-красной жидкости и светлой, прозрачной массы. Именно накопление этой жидкости и было, по его мнению, основной причиной смерти, а не собственно последствия распятия. Положение тела показывает, что голова была подвязана, были связаны руки (иначе бы они стремились вернуться в то положение, в котором они были в момент смерти) и, видимо, ноги.

Для любящих Христа все эти подробности, как и само изображение на Плащанице, могут быть очень дороги, а могут быть совершенно безразличны. Любовь проявляется по-разному. Но исследования Плащаницы лишь в первую половину века ограничивались такими простыми вещами, как число царапин и количество синяков. Исследования 1970-х годов вдохновлялись отнюдь не желанием узнать какие-то подробности о Христе, но узнать как можно больше о Плащанице и, прежде всего, выяснить, когда и как она возникла. В ходе исследований постепенно были выдвинуты различные аргументы «за» и «против» отнесения Плащаницы к евангельским временам вообще и ко Христу, в частности. На сегодняшний день многие из аргументов «за» доказательно опровергнуты, другие — нет, хотя возражения есть на любой довод.

25. Аргументы в пользу подлинности Плащаницы, научно не опровергнутые

Главным доводом в пользу подлинности остается то, что изображение сделано в виде негатива, причем при фотографировании возникает позитивное изображение без всяких искажений. Ни один художник не смог хотя бы скопировать святыню так, чтобы сохранить этот эффект. «Автор подделки в XIII веке сделал бы изображение позитивным, что и для верующих было бы убедительнее», — четко сформулировал Лев Регельсон.

Что на это можно ответить? Такое изображение могло получиться случайно. А мог изготовить такое изображение, например, Леонардо да Винчи, чьи опыты по изучению природы известны далеко не полностью.

Сложнее понять то, о чем говорят специалисты по геометрии: изображение на Плащанице необычно и тем, что пропорции тела практически не искажены, что было бы неизбежно и при рисовании вручную, и при обычном обертывании тела тканью. Изображение на Плащанице могло получиться скорее всего, если ткань была натянута очень туго *над телом* или, точнее, *вокруг тела*, а из тела исходили перпендикулярно к ней некие лучи, которые и оставили соответствующие отпечатки. Впрочем, и такое отсутствие искажений может быть случайностью, редкой игрой природы.

То, что Плащаница — не картина, а реально соприкасавшаяся с телом материя, доказывается тем, что в 1978 г. в Йельском университете при анализе некоторых частиц красного вещества были обнаружены частицы, отличные от оксида железа. Анализ на микроспектрофотометре показал, что это метгемоглобин, компонент крови, с высоким содержанием других компонентов крови: порфирина, альбумина, очень много билирубина. В Турине профессор Пьер Боллоне определил, что кровь принадлежит примату и относится к 4 группе (АВ по западной классификации). И опять возражение очевидно: кровь могла попасть на ткань случайно. Кстати, неясно, почему прежние анализы красящего вещества на гемоглобин (бензидиновый тест) давали отрицательный результат?

Древность Плащаницы — во всяком случае, то, что она древнее XIII века — подтверждается существованием общих черт между изображением на Плащанице и древними изображениями Христа: длина волос, прямой пробор, раздвоенная недлинная борода, увеличенная левая ноздря, безволосое пространство под нижней губой, горизонтальная линия на лбу (на Плащанице эта линия механического происхождения), между бровями прямоугольная скобка, правая бровь приподнята, линия под нижней губой. Однако совпадения носят не последовательный характер и могут быть случайностью; не следует забывать и о символизме средневековой живописи.

На изображении видна тень — след от гвоздя, причем не в ладони, а в запястье. Между тем, в Средние века считали, что гвоздь был вбит именно в мягкие ткани ладони, не зная, что они бы не выдержали тяжести тела. Гвоздь задел медианный нерв, что вызвало заметное сокращение мышц.

Однако художник мог случайно знать, куда на самом деле вбивался гвоздь. Сомневающиеся вольны предположить, что для создания Плащаницы специально произвели распятие какого-нибудь человека и увидели, как надо вбивать гвоздь, чтобы тело держалось.

Нетрудно заметить, что противники подлинности Плащаницы слишком часто сводят дело к случайности. Нет, конечно, возможно всяческое нагромождение случайностей, наука ничего тут возразить не может. И всё-таки слишком напоминает это рассказ о том, как старый священник доказывал своему неверующему сыну реальность чудес, описывая, как однажды на Рождество пономарь, перепившись, упал с колокольни и остался невредим. «Случайность», — отпарировал сын. Но пономарь и на Пасху перепился, упал и остался жив. «Случайность!» Но пономарь и в Петров день выпил, упал с колокольни и остался жив. — «Ну, это уже привычка...»

Впрочем, есть один довод в защиту Плащаницы, неопровержимый по причине собственной некорректности. На месте глазниц чикагский профессор Френсис Филас обнаружил отпечатки букв UKAI и предположил, что это часть надписи на монете «Tiberiou Kaisaros» — «Тиберий Кесарь». Позднее были обнаружены монеты («лепты»), выпущенные Пилатом в

бытность прокуратором Иудеи именно с такой надписью и даже с аналогичной ошибкой (слово «кесарь» начинается не с буквы «С», как положено, а с «К»). О находке отпечатка на левой глазнице было объявлено в 1981 году, на правой — в 1996-м.

Доказательно опровергнуть этот довод нельзя, однако он — слабейший из всех. Достаточно взглянуть на фотографию, которая послужила основой для сенсационного объявления о «лепте Пилата»: на ней нет никаких «отпечатков букв», можно лишь говорить о некотором наборе точек, который исследователь объединил в следы букв. Почему не отпечатались другие буквы и почему не прослеживаются остальные части монеты? Объединение могло быть проведено столь же произвольно, как объединение звезд в созвездия. Не были изучены монеты других эпох и народов, чтобы выявить аналогичные буквосочетания, целенаправленно искались лишь монеты эпохи Христа. Более того: профессор Филас — не нумизмат и не трассолог, а богослов. Директор Вирджинского политехнического института Роберт Харалик отметил, что гипотеза Филаса имеет право на существование (опровергнуть ее практически невозможно, так уж она сформулирована). Однако он твердо заявил: «Наука не может определить, не является ли то, что кажется надписью на монете, всего лишь случайным изгибом нитей». Историки сходятся на том, что у иудеев неизвестен обычай класть монеты на глаза усопшего. Строго говоря, этот аргумент нельзя научно опровергнуть, потому что аргумент очень уж зыбкий и основан не столько на объективной реальности, сколько на фантазии наблюдателя. Это признавал (с огорчением) и американский исследователь, впервые выдвинувший гипотезу о монетах, которую потом с чрезмерным усердием развил Филас. Теперь даже ученые — защитники подлинности Плащаницы — отказались от защиты идеи о монетах, хотя в газетах всё еще этот довод фигурирует, и летом 1996 года даже объявили, что нашли следы монеты и на втором глазе.

26. Аргументы в пользу подлинности Плащаницы, научно опровергнутые

Очень полезно поговорить и о тех «доказательствах» подлинности Плащаницы, которые были неопровержимо опровергнуты, — полезно и для научной добросовестности, и для христианского смирения. К примеру, долгое время апологеты подчеркивали, что на Плащанице не найдено ни малейших следов краски. Но в результате исследований 1980-х годов следы краски нашли — да как много! Писали, что среди волокон есть остатки хлопка, неизвестного в Европе во времена Христа. А потом полистали исторические книжки и выяснили, что в XIV в. хлопок выращивался и во Франции, Италии, Фландрии. Более того: одним из центров торговли хлопком был Труа, город неподалеку от храма, где в XIV в. впервые выставили Плащаницу. На ткани есть пыльца растений, характерная только для Ближнего Востока — однако ткань просто могла быть куплена на Востоке (известно, что Жофруа де Шарни в 1346 г. побывал в Смирне).

Доказывали древность ткани тем, что лен изготовлен по технологии «три на один» (нить пропущена под тремя нитками и поверх одной), известной по тканям I—III вв. из Египта. Однако нити Плащаницы переплетены зигзагом в виде Z, а известные остатки тканей из Египта (из Палестины не сохранилось ничего) — наоборот, в виде S. Кроме того, аналогичной древней ткани из льна не сохранилось, известны лишь схожие образцы из шелка.

Не в меру ретивые защитники святыни подчеркивали, что в частицах крови с нее обнаружено повышенное состояние билирубина, что характерно для жертв различных катастроф и трагедий — например, бичевания. Но повышенное состояние билирубина может быть вызвано десятками факторов помимо бичевания или распятия, да и бичевать могли не только Христа.

Пожалуй, самым распространенным и самым неудачным доводом было утверждение, что изображение на Плащанице находится в полном согласии с евангельскими повествованиями о Страстях. Дело в том, что, как и в случае с любой косвенной уликой, многие детали могут быть объяснены и иначе (например, раны на плечах и коленях не обязательно от несения креста). Обстоятельства смерти Иисуса были не совсем обычными (например, не были переломаны ноги, как полагалось), но не доказано и не может быть доказано, что за сотни лет подобное стечение обстоятельств не могло повториться. Многих бичевали и били за тысячи лет человеческой истории. Главное же: Евангелие не упоминает о существовании самой Плащаницы, хотя упоминает другие погребальные ткани. То, что тело не было обмыто, прямо противоречит традиционному церковному пониманию слов евангелиста Иоанна (19, 40) о том, что Иисус был похоронен «как обыкновенно погребают Иудеи» — с обмыванием тела. При этом, повествования евангелистов в рассказе о погребальных пеленах расходятся. Марк говорит о «синдоне» от Иосифа Аримафейского, называя тем же словом одежду юноши (14, 51). Иоанн употребляет слово «отония» для обозначения ткани, в которое обернули тело, слово «синдон» не употребляет, и еще упоминает «сударион» (20, 7). В Ио. 11, 44 слово «сударион» обозначает повязку, которой было обмотано лицо усопшего Лазаря. Правда, в Ио. 11, 44 о сударионе говорится, что он был «вокруг лица» («пери»), а в Ио. 20, 7 — что он был «поверх» («эпи»). Впрочем, защитникам Плащаницы достаточно избавиться от категоричности, чтобы их аргумент стал вполне рациональным. Ошибочно слово «полное», а сказать, что изображение на Плащанице *во многом* соответствует евангельским повествованиям — можно.

27. Возражения против подлинности Плащаницы и контраргументы

Научная добросовестность приятна тем, что требует сообщать не только о сильных доводах скептиков, но и о доводах слабых. К примеру, утверждают, что Плащаница не может быть связана с иудейской историей,

потому что, вопреки погребальным обычаям иудеев, тело не было обмыто, сохранились следы крови. Но вот в Средние века считали, что тело было обернуто в это полотно сразу после снятия с креста и до погребения. Можно предположить и то, что тело не было обмыто, т.к. наступала суббота и времени хватило только на то, чтобы отнести останки в гробницу. Наконец, в одной из иудейских рукописей XVI века упоминается необходимость хоронить умершего не только не омывая тела, но даже вместе с землей, на которую пролилась кровь погибшего от несчастного случая: таким образом выражалась фарисейская вера в воскресение, для которого были необходимы все частицы плоти, включая и кровь.

В 1978 г. авторитетный микроаналитик Уолтер Макроун нашел на ткани оксид железа (Fe_2O_3), имеющий ярко-красный цвет (и придающий окраску пятнам от ран на полотне). Этот оксид (аналогичный обычный ржавчине) с древнейших времен используется в составе красителей, придавая им красный цвет, и благодаря своей стойкости мог уцелеть после многочисленных происшествий с тканью. Оксида больше там, где глаз видит пятна крови. Макроун считал, что это свидетельство того, что изображение было сделано акварелью в XIV веке. Однако оксид железа распределен по поверхности достаточно равномерно. В местах предполагаемых пятен крови оксида железа чуть больше, но и в крови железа содержится чуть больше, чем в обычной пыли. Оксида железа так же очень много на месте отпечатков ступней, которые были загрязнены более остального тела. Не просчитана корреляция между количеством оксида железа и интенсивностью оттенков пятен. Кроме того, оксид железа в остатках древних тканей из средиземноморского региона всегда смешан с частицами марганца, никеля, кобальта (и это свидетельствует о том, что ткань была выкрашена). В ткани Плащаницы эти вещества отсутствуют. В древнеегипетских льняных тканях оксид смешан только с кальцием, потому что лен вымачивали в воде. Кальций встречается и на Плащанице. Следовательно, следы оксида свидетельствуют не о том, что ткань красили, а о том, что ее замачивали.

В 1978 г. тот же Макроун нашел следы протеинов, которые входят в состав любой краски, связуя пигменты, а также следы пигментов: сульфид ртути, ультрамарин, желтый пигмент, киноварь. Означает ли это, что Плащаница изготовлена художником? Нет, ведь частицы краски могли попасть на ткань, когда художники изготавливали копии Плащаницы — с кистей, из воздуха студии. Копии изготавливались: в 1634 г. в Монкальери, в 1646 г. в Битонто, в 1652 г. в Неаполе, в 1822 г. в Турине, причем каждый раз готовую копию прикладывали к Туринской святыне для освящения так, чтобы изображения по возможности точно совпадали. Загадкой остается не только то, как психологически возможно было создание негативного изображения, но и то, каким инструментом изображение нанесено и каким веществом образовано. Очень уж тонкой кисточкой — в один волос — должен был пользоваться художник, чтобы столь аккуратно нанести частицы.

В 1970-е годы часто говорили, что Плащаницу изучают люди, заинтересованные в доказательстве истин христианской веры — невольно самые объективные из них будут склонны подыскивать доказательства подлинности. Именно для того, чтобы опровергнуть такие, чрезмерно «психологические», аргументы, в 1978 году в группу, исследовавшую Плащаницу, были включены 6 агностиков, 2 мормона, 3 иудея, 4 католика, методист, лютеранин, конгрегационалист, баптист, пресвитерианин. Иудеем был и член комиссии химик Ален Адлер; тем не менее он не считал (в отличие от Макроуна), что химический анализ опровергает естественный характер изображения. Не стал он и христианином; он просто остался добросовестным ученым.

Некоторые скептики отмечали, что если в течение I тысячелетия ткань была сложена вчетверо, должны были остаться следы складок. Следы в местах предполагаемых складок обнаружены. Правда, вся ткань покрыта подобными следами. Не стоит забывать, что реконструкция древней истории Плащаницы — лишь реконструкция, сама по себе показывающая не столько то, какова была судьба святыни, сколько то, какова могла быть эта судьба.

Самым простым и самым абсурдным доводом скептиков было утверждение, что изображение было получено через имитацию обстоятельств евангельского рассказа: труп человека чем-то намазали и обернули тканью (впервые предположил немецкий писатель Йозеф Блинцер в 1952 году). Но многократные попытки получить изображения с тела не дали результата, хотя бы отдаленно напоминающего изображение на ткани Плащаницы.

28. В споре рождаются ошибки

Аргументы и контраргументы прикрывают главное: спор вокруг Плащаницы есть ошибка не интеллектов, а страстей. От ярости на дубинноголовость противника, не замечающего очевидного, обе стороны периодически выставляют себя в смешном свете. Да и не только себя — свои идеалы: вообще науку или вообще веру.

Что касается науки, то естественники вообще склонны недооценивать психологический аргумент: ведь «психея», душа, — предмет темный и исследованию не подлежит, измерить ее нечем. Им кажется, что в психике нет нерушимых законов. Но это лишь показывает, как плохо химики разбираются в психологии. Человеку значительно легче открыть таблицу периодических элементов, чем побороть в себе привычку пить чай в пять часов вечера. Христианину XIV века немыслимо было представить себе Христа голым — и на всех копиях с Плащаницы рисовали набедренную повязку. Даже в наши дни апологеты, описывая Туринскую Плащаницу, стесняются упомянуть, что следы побоев встречаются не только на спине и боках, но и на ягодицах. У Бога — у Иисуса Христа — и ягодицы?!.. И ноги у Того, чей отпечаток хранит ткань, были грязные. Кровь у Христа — четвертой группы... Я сам пишу эти строки и чувствую, что такой на-

туризм так же непристоен в разговоре об Иисусе, как и о любом живом человеке.

Безусловно грубой ошибкой является утверждение, что коль скоро радиоуглеродный анализ на C_{14} показывает XIV век, Плащаница написана художником в 1350-е годы, как и утверждал епископ Труа в 1389 г. Ведь анализ в любом случае показывает не вообще XIV век, а более широкий период. Более того, говорить, что анализ этот — решающий аргумент, *доказывающий*, что Плащаница не может относиться к эпохе Христа, что изображение не может быть результатом *естественного* процесса — абсурд, прегрешение не против религии, а против основ научного мышления. Академик Гольданский, к примеру, заявил о гипотезе Л.Л. Регельсона, согласно которой радиоуглеродный анализ не может считаться стопроцентно надежным, когда возможны неизвестные науке процессы, сопровождающие воскресение мертвых: «Принять "объяснение" Л.Л. Регельсона никак не могу — да он и сам чувствует его полную физическую несостоятельность». Разве такая аргументация — или, точнее, отсутствие аргументации — достойны ученого? С точки зрения физики гипотезу Регельсона нельзя ни принять, ни отвергнуть, потому что физике действительно неизвестно, какие процессы происходят при воскресении мертвых.

Радиоуглеродный анализ разработан на основании наблюдений за определенными природными феноменами. Методологически невозможно предположить, что этими феноменами природа исчерпана. Как ученый, автор этих строк испытывает стыд за коллег, столь слабо сознающих теоретические основы научного метода познания. Не прибегая к непознанному или сверхъестественному и то можно подвергнуть надежность радиоуглеродного анализа глубокому сомнению. Тем более, что для анализа был взят кусок не основного полотна, где имеется изображение, а кусочек полосы ткани, *подшитой* к основному полотну. В этой ткани, к примеру, нет следов хлопка. И она может относиться не к тому времени, что основное полотно. Кроме того: образец для анализа мог быть засорен органическими примесями, а, как писал Пол Мэлони (США), достаточно 10% современных углеродных напластований, чтобы датировка образца исказилась. Да мало ли что еще!

Как христианин, однако, я стыжусь еще более за собратьев по вере. Лишь очень немногие из них — как, скажем, Иен Уилсон, автор самой известной книги о Плащанице, — еще *до* радиоуглеродного анализа предупреждали об ограниченности научного метода. Большинство и до этого лихорадочно ждали чуда: подтверждения подлинности Плащаницы, и сейчас, щеголяя своими научными знаниями и опытом, изобретают всевозможные теории о том, как же могло появиться изображение, как же могло случиться так, что изменилось содержание C_{14}, так что анализ «омолодил» ткань. Как бы ни остроумны были эти теории — они лишь теории, доказательств им нет, а выдвигают их с таким шумом, словно это увесистые факты. Какая-то могучая сила доказывать несет людей, и, *реально доказав*, что подлинность Плащаницы не опровергнута категори-

чески, они тут же по инерции проскакивают грань допустимого для ученого пространства и начинают *доказывать недоказуемое*: что Плащаница-таки подлинна, а кто в это не верит, тот плохой ученый, и из-за таких-де людей современная цивилизация такая безбожная и безнравственная. Умнейший человек и честный ученый Глеб Каледа писал в ставшей очень популярной брошюре о Плащанице: «Думается, что после стольких свидетельств и древних, и Туринской Плащаницы, не признавать Воскресения Христа может только тот, кто всё в мире пытается объяснить своим ограниченным и греховным разумом, тот, кто ничего не хочет знать, тот, кому Бог мешает жить по его страстям и гордости». То есть, кто не поверил — дурак, себялюбец и сволочь. Да после таких оскорблений люди откажутся верить в Бога христиан — бранчливых, склочных, высокомерных, — даже если Христос лично придет к ним чай пить: «Иди, пусть тебе нальют Твои — просветленные, неограниченные, желающие всё знать».

Подчеркивая случаи обращения в веру агностиков, «убедившихся» в подлинности Плащаницы, апологеты умалчивают о том, что такие случаи редки. Иен Уилсон, самый активный пропагандист идеи подлинности Туринской святыни, действительно обратился в христианство, изучая Плащаницу. Но большинство агностиков, даже убедившись в подлинности Плащаницы, не становятся верующими. И уж вовсе неприлично писать, как это делает Уилсон, что «говорят», будто некий агностик, профессор Ховелак, воскликнул во время доклада о Плащанице: «Но ведь это означает, что Иисус действительно воскрес». Во-первых, мало ли что «говорят». Во-вторых, если профессор сгоряча сморозил глупость, стоит ли ее выдавать за доказательство чего бы то ни было? И уж подавно смешно, когда «говорят» превращается (в книге Каледы) в такое величественное описание: «Неверующий профессор Сорбонны Овелаг погрузился в глубокое размышление и вдруг с просветленным лицом прошептал: «Друг мой, Он действительно воскрес!» Вот уж испорченный телефон... И, конечно, когда Каледа пишет, что «всеобщим для ученых разных взглядов и национальностей стало убеждение, что Туринская Плащаница нерукотворна», он выдает желаемое за действительное. Большинству ученых вообще неинтересен вопрос о Плащанице, а большинство интересовавшихся — настроены скептически.

Апологеты умалчивают о том, что были случаи, когда сторонники подлинности Плащаницы превращались в противников. Так, в 1978 г. священник Дэвид Сокс, секретарь английского общества почитателей Туринской Плащаницы, после открытия частиц красителей на полотне публично заявил о своем разочаровании, сложил полномочия и издал книгу, в которой «доказывал», что Плащаница — подделка. После этого интерес к реликвии резко упал.

Подчас, увы, защитники Плащаницы опускаются ниже логики. Уилсон тщательно рассмотрел сходство ее со средневековыми изображениями Христа. Однако когда ему указали на икону Нерукотворного Спаса в монастыре св. Екатерины на Синае (X век) (лик изображен на большом

полотне, что противоречит предположению, что материя была сложена и не разворачивалась), Уилсон ответил, что средневековая живопись не реалистична, а символична. Но если она символична, то стоит ли вообще сравнивать мелкие детали изображений? В первой (1978 года) книге Уилсон размышляет о том, что *отсутствие* следов крови таинственно, изображение пятен крови получено неизвестным науке способом и, может быть, именно в результате воскресения. Во второй (1986 года) книге он же размышляет о том, что *наличие* следов крови подтверждает подлинность Плащаницы.

То же относится и к собственно проблеме появления изображения. Защитники Плащаницы с таким энтузиазмом перебирают возможные объяснения, что их оказывается слишком много, а главное, среди них есть и естественные, и сверхъестественные. Иен Уилсон выдвинул самую изящную из всех гипотезу (основанную на том, что загадочные желтые частицы, из которых состоит само изображение, находятся лишь на одной стороне полотна, а не проникают насквозь, как краска), что не что-то наносилось на ткань, но изменялась сама ткань: происходило окисление, частицы желтели. В качества аналога он указал на изменение окраски бумаги в гербариях: растения оставляют желтый, причем именно негативный отпечаток. Как точно идет процесс, неясно, но понятно, что происходит окисление целлюлозы бумаги, дегидратация и частичное разрушение волокон. Однако значительно больше теорий сверхъестественных. Дело в том, что в середине 1970-х годов один американский исследователь показал, что интенсивность окраски находится в очень точной зависимости от расстояния именно *натянутого* полотна до тела. Это само по себе крайне необычно.

Возможных объяснений выдвинуто много.

П. Виньон: отпечатки возникли благодаря испарениям от смирны и алоэ, которые были положены рядом с телом (за исключением отпечатков крови, которые остались от крови).

Доктор Алан Милс из Лейчестеского университета: изображение появилось в результате электрического разряда между телом и тканью. Такой разряд, по его мнению, мог быть побочным результатом землетрясения, о котором упоминается в Мф. 27, 51. Проблема в том, что евангелист говорит о землетрясении в момент самой смерти, да и речь его — не отчет сейсмолога, а проповедь.

Кандидат геолого-минералогических наук Ю. Кононов, 1990 год: всё дело в биоэнергии. Операторы биолокации обследовали Плащаницу по фотографии в газете (так!) и пришли к выводу: «Биолокационный эффект вдоль головы Христа в три раза превышал скорость вращения [рамки] поперек головы... На тело Христа воздействовало энергетическое облако, которое привело к дезинтеграции материи тела... Отпечаток тела на полотне мог получиться в результате превращения химических элементов ткани под влиянием воздействовавшего на Плащаницу направленного биоэнергетического заряда... Энергия биоплазмы, удвоенная мыслью все-

ленской разумной материи, смогла дезинтегрировать тело, ставшее символом нетления в легенде о Христе». Это — чистый бред, неопровержимый именно в силу своей бредовости.

Священник Глеб Каледа саркастически отозвался о «гипотезе» Кононова. Его собственная статья о Плащанице предварена предисловием, где подчеркивается, что сочинена она «крупным ученым-геологом, профессором, доктором наук». Но только наук он был доктором геологических, а науки о воскресении нет и быть не может, поэтому его суждения о Плащанице стоят ровно столько же, сколько суждения любого дворника. И его заявление, что появление изображения обусловлено «Воскресением Христа, которое сопровождалось какими-то ядерными процессами», с научной точки зрения стоит ровно столько же (ничего), как и рассуждения о биоэнергии.

Л. Верховской (1984 год): изображение на Плащанице есть «результат многочасовой экспозиции горячего, воспаленного после пыток тела. Места ранений, имевшие более высокую температуру, должны были вызвать большее потемнее (что и наблюдается)».

Наиболее свежая, осени 1996 года, гипотеза Александра Белякова: «Изображение на Плащанице появилось в результате воздействия на нее света в широком диапазоне энергий вплоть до ультрафиолета и мягкого рентгена, исходящего из всего объема Тела и возникшего, вероятно, в момент Воскресения Иисуса Христа».

Но всё это лишь неподтвержденные гипотезы, в иерархии естественных наук занимающие бесконечно более низкое место, чем законы природы, на которые опирается радиоуглеродный анализ.

Как противники Плащаницы не умеют остановиться, отвергая ее, так защитники не умеют вовремя остановиться, доказывая ее подлинность. Например, Уилсон начинает сортировать сказание о царе Авгаре на детали недостоверные (их абсолютное большинство) и те, которые могли бы быть достоверными и пригодиться в реконструкции судьбы Плащаницы. На самом деле эта подлинность не умаляется, если мы и не знаем, откуда и каким образом ткань появилась в Эдессе в VI столетии.

Есть, наконец, и просто сравнительно невинные ошибки, возникающие при любой популяризации. Например, А. Мень почему-то писал, что де Шарни, согласно исследованиям Уилсона, участвовал в походе на Константинополь, — это не так (см. выше). Г. Каледа перепутал дату первого публичного выставления реликвии (1375 год вместо 1356) и решил, что выставка 1898 года проходила в Париже, а не в Турине. Очень часто утверждают, что на Плащанице обнаружена *человеческая* кровь, тогда как эксперты говорят о крови *примата*. Для научного мышления такие ошибки — звоночек неблагополучия.

Кроме ошибок и чрезмерной полемичности, есть и еще один специфический для церковных апологетов грех: обличая других, они очень боятся обличить своих, не щадя чужих чувств, в высшей степени щадят чувства своих единоверцев и ради такой пощады готовы даже на самую

тонкую ложь — ложь умолчанием. Почему Каледа не упомянул в своей брошюрке блестящего очерка о Плащанице отца Александра Меня в его книге «Сын Человеческий» (изданной более чем миллионным тиражом в 1990-е годы), даже не включил его в библиографию? Может быть, потому, что Меня многие современные православные в России считают (напрасно) еретиком? Почему Каледа говорит «вообще», что гипотеза о ядерных реакциях при воскресении «была высказана», а кем — не упоминает? Может быть, потому, что гипотезу об атомных реакциях при воскресении выдвинул Лев Регельсон, не только физик, но и церковный диссидент, загубивший свою научную карьеру ради защиты Церкви в те самые годы, когда Каледа карьеру делал? Почему Каледа лишь в крохотном примечании говорит о том, что Плащаница могла храниться в Эдессе? Может быть, потому, что современные православные (среди которых большинство невежественных новичков) свято уверены, что в Эдессе действительно хранился платок с отпечатком лица Иисуса, свято верят вообще во все древние легенды, не допуская мысли о том, что они могут быть неистинны или хотя бы неточны? Значит, обличая других в косности и робости мысли, сам Каледа робок в каких-то вопросах? Для кого он пишет: для своих, «продвинутых», или для чужих? Почему он вообще пишет так, что чувствуется сдержанность в определенных вопросах, особенно поразительная рядом с безудержностью в обличениях «чужих»? Такое чувствуется всегда, почему брошюра Каледы и остается «вещью в себе», неспособной никого убедить, кроме уже убежденных или таких, которых можно убедить и без всяких доказательств, просто самоуверенным голосом.

Апологеты подлинности реликвии слишком часто (а тут и один раз — уже «слишком») совершают две ошибки: чрезмерно злобно поносят ученых и чрезмерно приторно расхваливают Плащаницу как *доказательство* Воскресения. Г. Каледа: «Со второй половины XIX века заметно усилились антихристианские выступления в дворянских и интеллигентских салонах... Открытие образа Христа на Туринской Плащанице является чудом, отвечающим потребностям времени: «Вы утверждаете, что Иисус из Назарета, Христос — миф, а вот Я вам являюсь, чтобы поддержать колеблющуюся веру вашу», — как бы говорит нам любящий нас Христос». Но именно из любви к нам Христос не является нам с дубинноувесистыми доказательствами, со свидетельством о Воскресении из небесной канцелярии. Упоенность Плащаницей сама по себе не есть христианское явление, как и всякая упоенность, как и всякая нетрезвость. Плащаницу можно превратить в идол, в явление антихристианское, и делается это всякий раз, когда вера проповедуется не ради спасения других, а ради удовлетворения своего самолюбия и своей гордыни. Граница так тонка и зависит исключительно от брака благодати и смирения...

Именно такой околдованностью, самозабвенным токованием объясняется поразительно ложное восприятие истории защитниками Плащаницы: ведь вовсе не в середине XIX века антихристианство интеллектуалов

достигло своего пика. К XIX веку пик атеизма был уже пройден. Более того: с 1890-х годов историки отмечают кризис позитивизма, часть более глобального — с середины XIX века — кризиса ньютоновской модели мироздания, классической концепции науки. Менделеев не случайно был увлечен спиритизмом. Именно ученые усомнились в науке; их сомнения привели, с одной стороны, к созданию новой концепции науки, менее механистичной, более умной и, кстати, не претендующей на какие-то опровержения бытия Божия. С другой стороны, именно ученые, словно тренируя свое воображение, создали в XX веке своеобразный околонаучный спорт: охоту за «загадками» типа лохнесского чудовища, снежного человека, парапсихологии, тунгусского метеорита — и Туринской Плащаницы. Далекие от науки люди (которых большинство) с удовольствием читают об этом, многие сами занимаются этими загадками, но совершенно иначе, нежели ученые. Ученый, как и шарлатан, может заниматься парапсихологией, но ученый всегда будет считать это занятие развлечением, напоминанием о том, что модель науки — всего лишь модель; он будет заниматься им помимо основных, собственно научных занятий. Между тем, многие христианские апологеты до сих пор не заметили, как усложнилось научное сознание, как оно далеко от просветительской простоты XVIII столетия (хотя, конечно, и такая простота еще встречается).

Весной 1996 года в Москву приехал американский ученый Джон Джексон, возглавляющий сейчас общество тех, кто борется за признание подлинности Плащаницы, и заявил, что открывает в России филиал своего общества. Что желающие в этом деле поучаствовать найдутся — несомненно. Но столь же несомненно, что есть и желающие искать летающие тарелки, и дружить с американскими лесбиянками. Только две газеты опубликовали в связи с приездом американца сообщения о Плащанице: «Куранты», самая малотиражная из московских газет, репутация которой подорвана, в числе прочего, и публикациями об экстрасенсах, дешевыми сенсациями, — и «Татьянин день», газета общины православных студентов, глава которой в том же номере обличает родину Джексона Америку за «плохое» христианство — верный признак агрессивной озлобленности к окружающему миру. Да, именно в таких кругах — верующих и неверующих — теперь ведутся в основном разговоры о величайшей христианской святыне. И это не случайно, как не случайно и то, что епископат католической Церкви последовательно воздерживался от признания Плащаницы подлинной. Ведь для борцов за доказательства важны доказательства, а не вера, они пытаются грубо подтолкнуть к вере то, к чему Бог прикасается нежно, едва-едва, — человеческую душу.

Конечно, никаких доказательств быть не может. Даже если доказать, что Плащаница получена в результате воскресения, — не доказать, что это Воскресение именно Христа. В конце концов, согласно Евангелию, в момент Его кончины «многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по Воскресении Его, вошли во святый град, и явились многим» (Мф. 27, 52-53).

Христиане не очень любят вспоминать эти слова не потому, что они слишком уж невероятны, а потому, что слишком уж они точны: толпа воскресших может вырваться с кладбища, но не желающий верить человек от этого зрелища уверовать не может. Можно даже увидеть воскресшего Христа: без благодати Божией и это явление останется непонятным, как без Духа Святого нет понимания и сострадания ни крестным мукам Господа Иисуса, ни любому человеку, верующему или неверующему.

В заключение отметим, что нормальному разуму все-таки очевидно, что Плащаница подлинна, что на ней отпечаталось Тело Христа перед Его Воскресением. Из всего, что мы знаем о Плащанице, это все-таки *наиболее* вероятное объяснение ее происхождения. И нужно мощное усилие скепсиса, чтобы отрицать это и всё списывать на игру природы. Беда только в том, что нормы в нашем мире очень мало, а скепсиса очень много. Господствует *ненормальное*, и неосознанное сопротивление тайне веры побуждает считать наиболее вероятным то, что даже чисто математически вероятно *наименее*.

Христос отвечает скепсису, однако, не принуждением, а свободой и благодатью. Он Сам кладет предел всяким попыткам подменить встречу с Богом встречей с доказательствами. Но если уж встреча с Богом состоялась, тогда преображается мир. Тогда каждая травинка указывает на существование Бога — и тогда не доказывается, но показывается с невероятной наглядностью, что не случайность и не цинизм отпечатались на белом полотне Туринской Плащаницы, а страдания, смерть и Воскресение.

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Непривычное для читателей «Континента» название этой рубрики, составленное из названий сразу двух обычных, традиционных для журнала разделов «Прочтение» и «Литература и время», объясняется характером материалов, помещаемых в ней в связи со 175-летием со дня рождения Достоевского. Часть из них посвящена прежде всего именно ***прочтению*** *текстов Достоевского и, следовательно, полностью соответствует именно первому названию; другие же, обращенные к некоторым проблемам* ***современного*** *звучания его творчества, уместны были бы скорее во втором разделе — «Литература и время». Нам не хотелось, однако, разбивать этот единый, в сущности, блок юбилейных материалов, но в то же время мы считали нужным как-то обозначить и некоторую их разножанровость.*

Первой мы публикуем статью известного немецкого слависта, профессора Гамбургского университета Вольфа Шмида, посвященную анализу авторской позиции в «Братьях Карамазовых». По моему предложению автор подготовил ее для «Континента» на основе доклада, сделанного им на IX симпозиуме по творчеству Достоевского, который был проведен Международным обществом Достоевского в июле-августе 1995 г. в Гаминге (Австрия). Мне тоже довелось в нем участвовать, и когда-нибудь, возможно, я еще расскажу и о своих впечатлениях от этого грандиозного мероприятия, в котором было, право же, что-то поистине булгаковское, и о том, что я вообще думаю о подобного рода всё более модных ныне профессиональных хит-парадах. Сейчас же замечу только, что на симпозиуме было зачитано более 120 (!) докладов, что, естественно, никак не способствовало продуктивности их обсуждения, да к тому же подавляющее их большинство, как это обычно и бывает на таких многолюдных профессиональных форумах, касалось весьма локальных, сугубо специальных тем, будучи, вероятно, рассчитанными прежде всего на соответствующие упоминания в соответствующих университетских отчетах и рейтингах.

Но были прочитаны и доклады достаточно широкого концептуального захвата, обращенные к фундаментальным проблемам творчества Достоевского. И среди них доклад В. Шмида как раз привлек к себе особое мое внимание. Автор защищал в нем весьма распространенную точку зрения на авторскую позицию в «Братьях Карамазовых» как на своеобразное поле постоянной борьбы между «верой» и «неверием» Достоевского, — точку зрения, которая давно уже вызывала у меня принципиальное с нею несогласие, а те новые аргументы в ее защиту, которые попытался привлечь В. Шмид, никак не поколебали меня в этом, что я отчасти и высказал уже во время

дискуссии. Но фундаментальная проблема, к которой обратился В. Шмид, настолько важна для понимания Достоевского, а способ ее решения, им продемонстрированный, представляется мне настолько показательным для нашего современного «достоевсковедения» и настолько поучительным для всякого, кто стремится к действительно адекватному прочтению «авторских смыслов» в великом романе Достоевского, что я сразу же решил познакомить с этим текстом наших читателей. И тогда же и предложил такую публикацию профессору В. Шмиду — с условием, что я отвечу ему.

Впрочем, и в том, что я имею в виду, говоря о показательности этого текста, и в существе наших разногласий читатель разберется сам, прочитав этот ответ — первый из тех двух моих этюдов о Достоевском, которые следуют за статьей В. Шмида. Так что оба текста, обе позиции — перед читателем, и каждый сам может судить, какая из них более обоснованна и убедительна.

Второй этюд написан на основе доклада, который был сделан мною в прошлом году на симпозиуме в Немецко-Русском Институте Культуры в Дрездене, посвященном 175-летию со дня рождения Достоевского. У него своя, особая тема, но она настолько существенно, на мой взгляд, связана с темой первого, даже как бы продолжает ее, что я поэтому и его тоже рискнул позволить себе предложить вниманию читателей журнала.

Этот этюд, однако, больше соответствует уже рубрике «Литература и время», — как и следующая за ним статья видного польского исследователя, профессора Лодзинского университета Анджея Лазари, обращенная к остродискуссионной проблеме использования текстов Достоевского в современной идеологической борьбе. Мне кажется, она может быть особо интересна русскому читателю, в частности, и тем, что дает возможность увидеть, как выглядят наши современные русские споры (и наши обращения в них за поддержкой к Достоевскому) со стороны — глазами поляка.

Наконец, статья русского литературоведа, профессора Бориса Соколова, замыкающая этот юбилейный блок, вновь возвращает нас к проблемам ***прочтения*** *текстов Достоевского, предлагая читателю ряд новых наблюдений над теми любопытнейшими перекличками, которые обнаруживаются между творчеством Достоевского и творчеством скандально знаменитого французского писателя маркиза де Сада.*

Игорь ВИНОГРАДОВ

Вольф ШМИД

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» — НАДРЫВ АВТОРА, ИЛИ РОМАН О ДВУХ КОНЦАХ

1

По замыслу Достоевского «Братья Карамазовы» — это роман-теодицея. Это значит: в нем дается оправдание Бога перед лицом зла и страданий, допускаемых Им в мире. По замыслу автора, роман должен был убедить читателя в необходимости интуитивной веры и смиренности духа, в преимуществе интуиции перед разумом, совести перед рассудком. Достоевский намеревался «разбить» социализм и анархизм, т.е. те направления, которые он считал порождением гуманистического атеизма[1]. Русское христианство Достоевского ни в одном художественном произведении не проявляется так монологически, как в его последнем романе. По крайней мере, тезис Бахтина о полифонизме в художественном мышлении Достоевского подтверждается в «Братьях Карамазовых» менее, чем в любом другом произведении. Никогда прежде автор не предоставлял читателю так мало свободы выбора, как в своем последнем романе, цель которого — апофеоз свободы. Поэтому не удивительно, что послание этого романа осмысливается многими читателями таким образом: смысл мира постигается не разумом обычным, рациональным, а разумом интуитивным, верующим. Если человек полагается на свой эвклидовский, земной ум, то он отдаляется от Бога, от людей и — в конечном счете — от самого себя. Существование, основывающееся на началах естественного разума, приводит — как формулирует мысль Достоевского Людольф Мюллер — к преступлению, ибо эвклидовский ум «разлагает связи, в которых живет человек, связь с отцом, с землей, с добром, с Богом»[2].

Разум рациональный и разум интуитивный олицетворены в романе, с одной стороны, интеллектуальным, мыслящим по-европейски, но холод-

---

[1] Ср., например, письма Н.А. Любимову от 10 мая и 11 июня 1879 и К.П. Победоносцеву от 19 мая 1879. Своей задачей Достоевский называет «разбитие анархизма». Это для него «гражданский подвиг» (30/1:64). Ср. также слова повествователя о том, что «социализм есть не только рабочий вопрос [...], но по преимуществу есть атеистический вопрос» (14:25). Все цитаты из сочинений и писем Достоевского приводятся по изданию: *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., 1972 — 1990. В скобках указываются том и страница. Курсив во всех цитатах в оригинале.

[2] *Müller L.* Dostojewskij. Sein Leben — sein Werk — sein Vermächtnis. München, 1982. S. 86.

ным Иваном, а с другой стороны — чувственным, но не очень проницательным Дмитрием[3]. Автор симпатизирует, как кажется, односторонне пьянчуге и забияке Дмитрию[4], олицетворению «России непосредственной», любителю просвещения и Шиллера и в то же время бушующему по трактирам и вырывающему у собутыльников бороденки[5]. В то время как Дмитрий в христианском смирении находит путь к признанию своей вины, душевное расстройство Ивана показывает, до чего доходит человек, если он целиком полагается на просвещенный разум.

Такое христианское истолкование, основывающееся на высказываниях самого автора, превращает, однако, это гениальное произведение, упрощая его структуры, в плоско-тенденциозный роман[6]. Между тем в «Братьях Карамазовых» осуществляется в то же самое время противоположный смысл.

В каком виде существует этот противосмысл?

Мы обнаруживаем его в надрыве самого автора.

Надрыв — одна из основных психо-этических ситуаций в мире Достоевского, нравственное насилие человека над самим собой, над присущей ему склонностью, насильственный, неаутентичный идеализм, желаемое, но не совсем удающееся преодоление самого себя, своего слабого «я». В частности, и книга четвертая «Братьев Карамазовых» тоже обнаруживает целый набор надрывов, надрывы мирские и духовные, надрывы «в гостиной», «в избе» и «на чистом воздухе», и уже поэтому мы вправе спросить себя: неужели же автор, обнаруживающий с такой удивительной психологической тонкостью в разных идеализмах надрыв, чужд этого пересиливания самого себя? Не правильнее ли понять надрыв и как скрытую формулу всего романа-теодицеи? Разве, действительно, в религиозной логике этого романа не видно следов авторской натяжки, надрыва самого

---

[3] Ср. лаконичный комментарий Виктора Терраса: «Дмитрий ближе к Богу, чем его брат Иван [...]. Интеллектуальное сладострастие Ивана является более разрушительным, чем чувственное сладострастие Дмитрия» (*Terras V.* A Karamazov Companion. Commentary on the Genesis, Language and Style of Dostoevsky's Novel. The University of Wisconsin Press, 1981. P. 45).

[4] *Doerne M.* Tolstoj oder Dostoevskij. Zwei christliche Utopien. Gottingen, 1969. S. 139.

[5] Ср. «характеристику» Дмитрия прокурором, сквозь ироническую речь которого звучит сочувствующий герою голос автора (15:128).

[6] Классически резкое выражение такой точки зрения находится в работах Валентины Ветловской, рассматривающей «Братьев Карамазовых» как «произведение философско-публицистического жанра», которое «решительно не допускает иных, кроме авторских, толкований изображаемых характеров и событий» (*Ветловская В.Е.* Некоторые особенности повествовательной манеры в «Братьях Карамазовых»//Русская литература. 1967. Вып. 4. С. 67. Ср. также *ее же*: Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977).

автора, который, будучи близок Ивану, подавляет свои сомнения, преодолевает свое неверие, упорно отрицая силу разума и проповедуя интуитивную веру, к которой он сам — быть может — способен не был? Мой тезис таков: исследуемый автором во всевозможных идеализмах надрыв — это та психоэтическая структура, которая лежит в основе всего этого романа, романа-теодицеи.

Всякой аффирмации верования аккомпанирует — разумеется, против воли замышляющего автора — ее скрытое отрицание. Нередко такое отрицание проявляется в виде натяжки аффирмации. Натяжки мы нередко наблюдаем и в высказываниях Достоевского-публициста. Таким образом, вызывают некое подозрение часто цитируемые слова Достоевского в письме к Фонвизиной: «если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». В том же письме Достоевский признался: «я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» (28/1:176).

Не следует, однако, заключать из письма к Фонвизиной, что Достоевский в принципе отдавал предпочтение нерациональной интуиции перед голосом рассудка. Достоевский слишком доверял рассудку, чтобы пренебрегать его суждением. Это явствует из полемики со спиритизмом в «Дневнике писателя» за 1876 год. «В мистических идеях, — с сожалением констатируется, — даже самые математические доказательства — ровно ничего не значат. Кто захочет поверить — того не остановите» (22:100—101).

2

Надрыв подразумевает раздвоение автора на противоборствующие позиции. Достоевский I — это автор, проповедующий настоящую веру и преследующий по всему роману Ивана Карамазова. Достоевский II — это сомневающийся автор, рупором которого является тот же самый Иван Карамазов[7].

Противосмысл, вписываемый в роман (заглушаемый голос Достоевского II), проявляется яснее всего в бунте Ивана и в его легенде о Великом инквизиторе, т.е. в тех главах, «атеистическим *выражениям*» которых, по словам Достоевского-публициста, и в Европе нет ничего равного (27:86)[8].

---

[7] Достоевских I и II различал в связи со структурой диалогов уже Конрад Онаш (*Onasch K.* Dostojewski als Verführer. Christentum und Kunst in der Dichtung Dostojewskis. Ein Versuch. Zürich, 1961. S. 32).

[8] В этих записях к уже неосуществленному номеру «Дневника писателя» уверяет Достоевский, что «не как мальчик» он верует во Христа, «а через большое *горнило сомнений* [его] *осанна* прошла, как говорит [...] в том же романе черт» (27:86; соответствующее место в романе: 15:77).

Вопреки многим упрощающим прочтениям романа следует сначала подчеркнуть два пункта:

1. Иван не просто атеист. Он не отрицает существование Божие, а сомневается в нем. Колеблясь между *pro* и *contra*, он в каждой главе занимает иную позицию. Когда же он принимает существование Бога, он не принимает созданного Им мира. Тогда он оспаривает справедливость и милосердие Бога, совершенство Его творения[9].

2. Иван отнюдь не постулирует пресловутого *Всё позволено.* Этот лозунг, на который все ссылаются, включая многих интерпретаторов, является у Ивана частью условного предположения: все будет позволено, если в человечестве уничтожится вера в бессмертие[10]; «нет добродетели, если нет бессмертия»[11].

Иван бунтует, считая, что страдания невинных детей — слишком высокая цена для будущей вечной гармонии. Не принимая так дорого стоящую гармонию, для которой страдания детей служат «навозом», Иван возвращает Творцу свой билет на вход в гармонию. Из-за любви к человечеству Иван отвергает гармонию, за которую было так дорого заплачено. На любовь к человечеству ссылается и Великий Инквизитор. Бог создал человека слишком слабосильным, для того, чтобы с полным правом требовать от него выбора в Свою пользу, выбора, основанного не на чуде, тайне и авторитете. Из-за любви к малосильным людям немногие сильные устраивают счастие масс, избавляя их от бремени личного и свободного решения. Беря на себя проклятие познания добра и зла, эти немногие страдальцы приносят свое вечное счастье в жертву земному счастью миллионов, для которых тот свет, если бы он и был, не был бы предусмотрен.

Если взять бунт Ивана вместе с жалобой Великого Инквизитора (объекта его эксперимента в идеях) и если развернуть их свернутую целевую установку, то получается такая критика Бога: Бог, даруя человеку свободу, в то же самое время наделяет его слишком слабыми силами для

---

[9] Это было для Достоевского обостренное богохульство. Против распространенного истолкования слов Ивана «Я не Бога не принимаю [...], я мира, Им созданного [...] не принимаю» (14:214) как чистой тактики неискреннего искусителя можно возразить, обращая внимание на письмо Победоносцеву от 19 мая 1879 (когда глава уже была сдана в набор): «Богохульство [...] взял, — пишет Достоевский — [...] сильней, то есть так именно, как происходит оно у нас теперь в нашей России *у всего* (почти) верхнего слоя [...] научное и философское опровержение бытия Божия уже заброшено [...]. Зато *отрицается* изо всех сил создание Божие, мир Божий и *смысл* его» (30/1:66).

[10] Ср. передачу идей Ивана Миусовым (14:64—65).

[11] Такими словами подтверждает Иван свои идеи (14:65). Даже Смердяков подтверждает условность лозунга, напоминая Ивану после убийства о том, что тот ему говорил: «коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе» (15:67).

пользования этой свободой. Требуя от малосильного человека верования, Бог действует немилосердно, без любви к человеку. Мало того, Бог старается в конечном счете только удовлетворить Свое самолюбие, стремясь к победе над дьяволом.

В главах «Бунт» и «Великий Инквизитор» Достоевский I защищает безусловную свободу выбора в пользу верования. Достоинство этой свободы требует затруднения верования условиями, неприемлемыми для эвклидовского ума. Из всех неприемлемых для разума условий Достоевский выбрал наименее терпимые для него самого — страдания невинных детей.

Из писем Достоевского явствует, что он старался «торжественно опровергнуть» (30/1:64) богохульство Ивана житием и поучениями Зосимы. Сознавая, что критика Бога не поддается рациональному опровержению, автор перешел к прагматической и эстетической аргументации. Ответ был — как пишет автор Победоносцеву — «не прямой, не на положения, прежде выраженные по пунктам, а лишь косвенный», заключаясь «в художественной картине» (30/1:122). Критика Бога должна была опровергнуться вероисповеданием, теория должна была опровергнуться практикой жизни.

Для того чтобы опровергнуть обвинение Бога, Достоевский I прибегает к классическому приему теодицеи, к восхвалению творения, к космодицее. Уже в книге Иова, к которому многие мотивы романа отсылают читателя, теодицея осуществляется в виде космодицеи. Жалоба пораженного человека опровергается речью Господней из бури. Но Господь, собственно говоря, не дает ответа на жалобу Иова[12]. Создатель только хвалит Себя за Свою демиургическую компетентность и восхваляет совершенство Своего творения, наглядно показывая его на примере диких коз, осла, единорога, павлина, бегемота и левиафана. Эта хвала творению имеет в «Братьях Карамазовых» эквивалент. Растроганный красой мира Божиего, молодой Зосима восхваляет созданную Богом телеологию:

«Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну Божью свидетельствуют [...]. Истинно [...] всё хорошо и великолепно, потому что всё истина. Посмотри [...] на коня, животное великое, близ человека стоящее, али на вола, его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого [...] всё совершенно, всё, кроме человека, безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего» (14:267—268).

В этой похвале творению обрисовывается еще другой классический текст теодицеи, известный трактат Лейбница. Немецкий философ старается снять противоречие между всемогуществом Бога и существованием

---

[12] Ср. *Ebach J.* Hiob/Hiobbuch//Theologische Realenzyklopadie. Bd. XV. Berlin; New York, 1986. S. 370: «Страдание ни объясняется, ни обосновывается. [...] Речи Бога не показывают ни причин, ни цели, ни необходимости страданий Иова».

в мире зла указанием на данный мир как на «наилучший из возможных миров»[13]. Наилучший из возможных миров есть мир с наибольшим разнообразием ступеней совершенства существ. Лейбниц полагает, что Бог, по «благости» Своей желающий наилучшего мира, не желает зла, но допускает его постольку, поскольку без него не может осуществиться желаемое разнообразие[14]. Ввиду необъятности вселенной существующее зло, уравновешиваясь гармонией целого, не имеет почти никакого значения. С такими идеями Зосима, вероятно, восторженно согласился бы, если бы имел философское образование.

Как Достоевский ни заботился о «художественном реализме» шестой книги, которая должна была коснуться «самых пошловатых сторон» (30/1:122), поучения Зосимы убеждают только того, кто уже убежден[15]. В отличие от Ивана Зосима не получился ни с точки зрения этики, ни с точки зрения эстетики. Это было уже не раз констатировано и подтверждается всё снова и снова непредвзятыми читателями. Собственно говоря, Достоевский I и не полагался на опровергающую силу набожной шестой книги, прибегая совсем к другому способу опровержения. Этот способ — дискредитация богоотступника[16]. Роман развертывает целую систему дискредитаций, из которых я назову только самые значительные:

1. Иван дискредитируется тем, что страдание детей для него является лишь поводом для обвинения Бога. По замыслу Достоевского I, Ивану страдания детей, собственно говоря, безразличны. Иван не интересуется конкретным человеком. Страдающим детям, злоупотребленным мудрствующим богоотступником в качестве аргумента против Бога, Достоевский I противопоставляет целый набор мотивов, показывающих образцовое христианское поведение перед лицом страдания и смерти детей[17].

---

[13] Эта идея впоследствии была высмеяна Вольтером в «Кандиде».

[14] Ср. *Аверинцев С.С.* Теодицея//Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989. С. 647.

[15] Ср. *Фастинг С.* Иерархия «правд» как часть идейно-художественной структуры романа «Братья Карамазовы». К вопросу о «полифоничности» романов Достоевского//Scando-Slavica. Vol. 24. 1978. P. 43—44.

[16] Об этом *argumentum ad personam* ср. *Ветловская В.Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». С. 68—142.

[17] Смерть детей, не раз возникающий в романе мотив (который является, очевидно, отражением смерти трехлетнего сына Достоевского Алексея в 1878 г.), компенсируется, впрочем, их привилегиями на том свете. Боль неутешной матери, у которой умер трехлетний Алексей, последний оставшийся ребенок из четырех, Зосима смягчает словами одного древнего великого святого, свидетельствующими о том, что умершие младенцы перед престолом Божиим самые дерзновенные. Бог так скоро, говорят они, взял у них подаренную жизнь, что он сразу должен им дать ангельский чин. Это желание дерзновенно просящих Бог немедленно исполняет. А поэтому мать должна знать, что и ее младенец, наверно, теперь предстоит перед престолом Господним — и радуется, и веселится (14:46).

Так, Григорий не сетует на Бога после смерти ребенка, а находит утешение в книге Иова. В ранней смерти Илюши Алеша и двенадцать мальчиков, провожающие бедного мальчика в последний путь, не видят никакого повода к обвинению Бога. Плачущее дитё приводит Дмитрия к прозрению. Вместо того, чтобы спросить о смысле страдания детей, как это делает Иван, Дмитрий чувствует, «что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё [...] чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого» (14:457). Таким образом, рационалистической теории Ивана противопоставляется — как правильная реакция — вырастающее из умиления практическое действование[18].

2. Иван компрометируется своими учениками, отражениями и двойниками[19]: Ракитиным, верующим в идеалы французской революции, но оказывающимся на каждом шагу настоящим подлецом; Смердяковым, единственным пропащим грешником романа, дьявольски умным воплощением зла[20]; дьяволом, невольно опровергающим все мечты об устройстве общественного порядка на основании земной этики без Бога, мало того, разоблачающим весь атеистический гуманизм как чистую бессовест-

---

[18] Нравственное действование как правильная реакция на смерть ребенка защищается и обучающим неутешную мать Зосимой. Если скорбная мать оставит мужа, она нарушит блаженство своего мальчика.

[19] О компрометации Ивана путем его сходства с отрицательными персонажами ср. *Ветловская В.Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». С. 86—109. О приеме «mirroring and doubling» ср. *Terras V.* A Karamazov Companion. P. 104—107. Следует, однако, обратить внимание и на решающую разницу между Иваном и его эквивалентами: они занимают каждый раз только одну позицию в широком диапазоне позиций Ивана. В то время как Иван колеблется между противоположными возможностями миропонимания, его эквиваленты осуществляют только одну возможность.

[20] Для человеческого разума не очень лестно, что отцеубийца одарен особой остротой ума. План убийства задуман с удивительной, буквально дьявольской прозорливостью и дальновидностью. Смердяков видит, как никто другой, людей насквозь, улавливая их тайные побуждения и желания, их слабые стороны. Еще будучи ребенком, он ставил такие вопросы, которые смущали всех — например, вольтеровский вопрос (Ср. *Rammelmeyer A.* Dostojevskij und Voltaire//Zeitschrift für Slavische Philologie. Bd. 26. 1958. S. 276), откуда свет сиял в первый день, когда солнце, луна и звезды созданы были только на четвертый день (14:114), — вопрос, обсуждаемый впоследствии Смердяковым также с Иваном (14:243). Склонность убийцы к эвклидовскому мышлению особо подчеркивается. Рассуждая с софистической хитроумностью и с иезуитской казуистикой, «Валаамова ослица» обращается то и дело к рассудку слушателей, в особенности к ограниченному рассудку бедного Григория. Многозначительна ссылка Смердякова на «собственный рассудок», которым он «вполне уполномочен» имя Божие проклясть, если он попадет к мучителям рода христианского (14:118). До такого рода софистики и казуистики сводится Достоевским I эвклидовский ум.

ность[21]; Великим Инквизитором, испытывающим теорию Ивана в исторической действительности и обнаруживающим при этом настоящее побуждение «страдальцев» за счастье людей: жажду власти.

3. Иван дискредитируется своим характером, своим поведением, своими словами и даже своим физическим образом. У него неловкая осанка, деревянные движения, его речи аккомпанирует постоянный смех, насмешливая улыбка — атрибуты дьявола[22]. И смущающее его слушателей смешение серьезности и насмешливости, его саркастические шутки по поводу святых тоже имеют дьявольское происхождение[23]. Иван гордый, холодный человек, он любит человечество, но не может, как он признается Алеше, любить своего ближнего. В любви Иоанна Милостивого он видит «надрыв» (14:215). Пьяного мужичонку он бешено отталкивает в снег, принимая возможность, что тот замерзнет. Иван презирает людей, своими отрицательными чувствами не щадя даже Алешу[24]. Слово Ивана полно лжи, неправильностей[25]. Его речь отличается пустым риторизмом, неоригинальностью содержания, все оказывается чужим словом, заимствованным из разных источников[26]. Рассказав свою легенду, он отдаляется, «как-то раскачиваясь», с висящим правым плечом (14:241), т.е. с признаками обутого чертовым копытом.

4. Не в последнюю очередь идеи Ивана опровергаются его же действиями. Ведь это он подстрекает Смердякова к отцеубийству, отражающему убийство Бога. По крайней мере, собираясь в дорогу в Чермашню, он намекает искусителю на свое согласие с намеченным планом убийства[27].

---

[21] И то, что повторяющий прежние идеи Ивана дьявол представлен как обыватель, является ходом Достоевского I против атеистического гуманизма: таким образом обнаруживается суть бунта. О том, что дьявол разоблачает пошлые, смешные черты в идеях Ивана, ср. *Braun M.* Dostojewski. Das Gesamtwerk als Vielfalt und Einheit. Göttingen. 1976. S. 256.

[22] Ср. *Belknap R.L.* The Structure of «The Brothers Karamazov». Den Haag, 1967. P. 38.

[23] Ср. *Ветловская В.Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». С. 102—109.

[24] Об отрицательных эмоциях Ивана по отношению ко всем окружающим его людям ср. *Ветловская В.Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». С. 75.

[25] Ср. *Ветловская В.Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». С. 71—73; *Terras V.* A Karamazov Companion. Pp. 91, 221.

[26] Ср. *Leatherbarrow W.* The Brothers Karamazov. Cambridge, 1992.

[27] Связь между критикой Бога и отцеубийством подчеркивается и композицией. Две решающие для убийства встречи Ивана со Смердяковым, орудием или искусителем, изложены в главе пятой, сразу после «Бунта» и «Великого Инквизитора».

3

Каким же образом проявляются Достоевский II и указывающий на его присутствие противосмысл?

Как это ни парадоксально, Достоевский II проявляется явнее всего в назойливости и навязчивости Достоевского I, того богоревнителя, который от читателя требует немало добродушия, проводя цепную реакцию прозрений и озарений, исходящую от внезапного вывода умирающего Маркела о том, что «всякий пред всеми за всех и за все виноват» (14:262)[28]. Этот Достоевский I решительно протестовал бы против презумпции скрыто осуществляющегося противосмысла. Недостаточно ли ясно он показал на примере Ивана, до чего доводит европейски-рациональное мудрствование и умничание? Да, он это показал слишком ясно — только обнажая этим свои тайные сомнения. Крайне внимательно и недоброжелательно следя за Иваном по всему роману, мало того: беспощадно выявляя и малейшие недостатки и слабости его, не выслеживает ли автор самого себя, не нападает ли он на свой собственный след? Количество, системность и последовательность всевозможных дискредитаций богоотступника вызывают в конечном счете некое подозрение — подозрение в завуалированной противоустановке. Обоснованность такого подозрения подтверждается на другом материале в самом романе. Дьявол, смеясь, возражает отвергающему его существование Ивану: «По азарту, с каким ты отвергаешь меня [...] я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь» (15:79). Азарт чувствуется и в дискредитации автором Ивана. Но вопреки всем попыткам опровергнуть эвклидовскую аргументацию Ивана, довести ее до абсурда, она остается действующей внутри романа и действительной для читателя. Недаром один из первых критиков, Л. Алексеев (Л.А. Паночини), уже в 1881 году называет Ивана *alter ego* автора:

«Достоевский верует и проповедует "смирение" [...] — и сам он сомневается, и сам первый грешит против своей заповеди "смирения ума". [...] Он казнит Ивана — и этим себя же казнит, сомнения и порывы своего гордого ума [...] Достоевский не мог бы так сочувственно, правдиво, а главное, с таким огненным красноречием высказать идеи Ивана Карамазова, если бы сам не разделял их, если бы эти сомнения не были присущи ему [...] Он проповедовал смирение и сам смирялся, но попранный разум восстал и заговорил громче, сильнее, заговорил огненным словом!»[29]

Можно было бы возразить, и это не раз делалось, что аргументы Ивана против Бога должны быть столь сильными именно для того, чтобы их

---

[28] Из примера Зосимы явствуют условия и фазы озарения: пробуждение совести, взгляд на природу, восприятие красоты мира, прислушивание к пению птиц, «хвалящих Бога» — «птичек Божиих», как к ним обращался по-францискански Маркел (14:263), — и, наконец, познание, что «всякий пред всеми за всех виноват» (14:270).

[29] Цит. по комментарию: 15:510.

опровержение прозвучало более убедительно. Позиция христианской смиренности не должна была восторжествовать лишь благодаря недостающей силе ее оппонента. Такое возражение создает аналогию между Богом, требующим от человека свободного, затрудненного существующим в мире злом решения в пользу верования, и автором, требующим от читателя свободного, затрудненного обманчивыми прочтениями решения в пользу верного смысла. Однако трудно отрицать, что бунт Ивана выживает после его «опровержения» и потому не служит только «навозом» для окончательной романной гармонии.

Это опровержение, впрочем, само оказывается *палкой о двух концах*, если использовать еще один образ романа. Иван, обвинитель Бога, жаждущий, как показывает его разговор с дьяволом, веры в справедливый потусторонний мир, предстает в конечном счете в гораздо большей степени метафизиком, мыслит более трансцендентно, чем ищущий блага в мире сем инок. Францискански-пантеистическая вера Зосимы, его эстетизированная религия, его мистический витализм, его убеждение, что человек уже на земле может достичь рая, направлены ведь скорее на мир земной, чем на свет иной[30]. В то время как Иван от Бога требует справедливости в окончательной гармонии, Зосима рисует утопическую картину мира сего, в котором преступления уменьшатся «в невероятную долю» (14:59—61). Во всяком случае, обвинение Бога производит на трансцендентно настроенного читателя больше впечатления, чем направленная на этот мир набожность инока.

4

Скрывающаяся в романе критика Бога всплывает на фоне двух основных библейских подтекстов. Роман пронизан, как уже было сказано, аллюзиями на книгу Иова. С точки зрения христианского смысла, который имел в виду Достоевский I, история Иова напоминает о том, что человек слишком ограничен, чтобы понять мудрость и всемогущество Бога, и что он грешит, если, страдая, сомневается в Божией справедливости. Таким образом, Зосима делает вывод: «Пред правдой земною совершается действие вечной правды» (14:265). Но книга Иова выявляет еще совсем другой смысл, подчеркиваемый пересказом Зосимы, а именно: соперничество между Богом и дьяволом, борьбу между двумя силами, делающими верность раба Божьего Иова предметом пари. В своем пересказе Зосима подчеркивает, что «похвалился Бог диаволу, указав на великого святого раба Своего» (12:264). Это не совсем верно. В Библии Бог хвалит перед сатаной не Себя, а верность раба Своего.

---

[30] Ср. рассуждения таинственного посетителя, о которых вспоминает Зосима (14:275, 280, 283). И Алеша считает «настоящее царство Христово» на земле возможным (14:29).

Таким образом, Зосима вносит в ветхозаветный текст там не существующий мотив соревнования. Этому расхождению соответствует то, что Зосима называет Сатану Дьяволом. Это анахронизм. В Ветхом Завете сатана значит «противник на войне»[31], «обвинитель в суде»[32] или «обвинитель перед Богом»[33]. Только в послебиблейском иудаизме и в христианстве сатана стал под влиянием персидского дуализма воплощением зла, врагом Бога[34]. В книге Иова сатана является одним из «сынов Божиих» (Иов 1:6), принадлежащим как прокурор ко двору Господнему. Вводя новозаветную фигуру дьявола в эту книгу Ветхого Завета, Зосима вводит там еще не существующий агональный дуализм.

Подспудная мысль о соревновании между Богом и его противником становится явной в словах насмешников и хулителей, слышимых Зосимой: «...как это мог Господь отдать любимого из святых Своих на потеху дьяволу, отнять от него детей, поразить его самого болезнью и язвами [...] и для чего: чтобы только похвалиться пред сатаной: «Вот что, дескать, может вытерпеть святой Мой ради Меня!» (14:265).

Выявленная насмешниками самовлюбленность Бога и инструментализация человеческого страдания ради Его Собственной славы не имеют основы в библейском тексте. Такие изменения и переакцентировки, проведенные Зосимой, образуют точку опоры для критики Бога, которую мы должны отнести к Достоевскому.

Агонально-дуалистическое переосмысление книги Иова всплывает еще в другом месте. Двойник Ивана, являющийся ему дьявол, поясняет, что «победа-то драгоценна» (15:80) и что на праведном Иове его «зло поддели во время оно» (15:82).

Мотив соревнования возникает также и в новозаветном контексте, в лейтмотиве легенды о Великом Инквизиторе, в искушении Иисуса в пустыне. И здесь небольшим отклонением от библейского текста усиливается противник и тем обостряется его противостояние Богу. Великий инквизитор неверно пересказывает слова искусителя. В Евангелиях написано: «если Ты Сын Божий, бросься вниз» (Мф. 4:6; Лк. 4:9). Великий Инквизитор из этого делает: «Если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись вниз» (14:232). Таким образом, противник приписывает Христу сомнение в божественности Его натуры. Конечно, за это искажение священного текста отвечает не только Великий Инквизитор, противостоящий Христу как заместитель дьявола, но также и Иван, играющий для Алеши роль искусителя[35].

---

[31] 1 Цар. 29:4; 3 Цар 5:4.

[32] Пс. 108:6.

[33] Зах. 3:1; Иов 1:6.

[34] Ср. The Encyclopedia of Religion. Vol. 13. New York. 1987. Pp. 81—82; Reclams Bibellexikon. 4. Aufl. Stuttgart, 1987. S. 445—446.

[35] О борьбе между Богом и дьяволом знает и Дмитрий. Предмет же этой борьбы — красота: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» (14:100).

Более или менее явная мысль о соревновании между Богом и Его противником усиливается в кошмаре Ивана. Дьявол, этот мещанский джентльмен, не знает, почему изо всех существ в мире только он обречен на пакости. Ни за что не хотят ему открыть секрет его злобы, потому что, догадавшись, в чем дело, он, пожалуй, «рявкнет «осанна», и «тогда исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, конец всему» (15:82). Откровенная исповедь этого добродушного злодея только усиливает проходящее через весь роман, но нигде прямо не высказываемое подозрение: Бог пользуется человеком, свободно и вопреки повелениям разума решающим в его пользу, как козырем в игре с противником. Опять Создатель обвиняется в безнравственной инструментализации. Иван назвал страдающих детей материалом, навозящим для кого-то будущую гармонию. В истории об Иове (так, как ее представляет Зосима) праведный должен страдать ради торжества Бога над противником. Признания дьявола наводят на жестокую мысль, что Бог допускает зло только для того, чтобы искусственно затруднить выбор в Свою пользу. Затруднение же решения не служит никаким иным целям, кроме славы самовлюбленного демиурга.

В такой критике Бога важна имплицитная мысль, что творение происходит от тяги к игре праздного творителя, заведшего зло только ради осложнения игры, ради повышения занимательности — так сказать, как *handicap*. Подобную мысль Достоевский высказал в «Дневнике писателя» за 1878 год, вкладывая ее в уста самоубийцы: «невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: «ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?»[36]. В «Братьях Карамазовых» такие рассуждения эксплицитно нигде не встречаются, но все-таки Иван говорит о людях как о «недоделанных пробных существах, созданных в насмешку» (14:238).

5

Тезис о надрыве автора подразумевает, что Достоевский II сближается с позицией Ивана, критика Бога. Об этом свидетельствуют очевидные признаки.

Начнем с незначительного симптома. О конкретном авторе мы знаем, как он презирал инструментализацию страдания. В Пушкинской речи

---

[36] Изложение этой идеи было столь убедительно, что читатели обращались к автору с вопросами (ср. об этом статью «Запоздавшее нравоучение» в «Дневнике писателя» за 1876 год; 24:43—46). Одна посетительница Достоевского сообщает, что автор, взволнованный и пришедший в отчаяние от совсем неожиданного восприятия «Приговора» некоторыми читателями, уверял: «Меня не поняли, не поняли! [...] Я хотел этим показать, что без христианства жить нельзя» (24:396).

Достоевский-публицист оправдывает окончательный отказ Татьяны от любви к Онегину также с указанием на невинно страдающего мужа. В этой аргументации, переходящей от частного случая к общим началам, мы слышим дословно голос Ивана возвращающего Творцу билет на вход в вечную гармонию. Для Достоевского не может быть счастья, основанного на чужом несчастии[37].

Иван — Алеше:

[...] представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги! [...] И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми? (14:234).

Достоевский в речи о Пушкине:

[...] представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо [...] Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастие, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастие, остаться навеки счастливыми? (26:142).

То, что Иван, описывая страдания детей, говорит от имени автора, поддерживается биографическими параллелями. Как Иван, так и Достоевский собрали и записали описываемые случаи из газет. У обоих имелась та «хорошая коллекция», о которой говорит Иван (14:218). И эмоциональная реакция Достоевского, выраженная в «Дневнике писателя», не уступала реакции его героя[38].

---

[37] Такое мышление, осуждающее инструментализацию страдания, Иван приписывает и фигуре своего эксперимента в идеях, Великому Инквизитору. Иерарх упрекает Христа в том, что ему дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы слабых «должны лишь послужить материалом для великих и сильных». Из-за любви к слабым сильные снимают с них бремя свободы и обманывают их. «В обмане этом и будет заключаться наше страдание» (14:231).

[38] Ср. обсуждение случая Кронеберга в «Дневнике писателя» за 1876 год (22:50—73).

Второй аргумент, говорящий о близости автора к своему герою: всякая попытка обосновать этику вне религии доводится Иваном, так и Достоевским до абсурда[39]. Как это ни странно, и богохульник Иван обосновывает этику исключительно на религиозных началах: нет добродетели, если нет бессмертия. Ни герой, ни автор не допускают земной основы этики, потому что человек сам по себе не имеет силы к братству[40]. Отсюда уже недалеко и до крайне скептической характеристики слабосильного человека, которую дает Великий инквизитор.

В третьих, как принцип, обеспечивающий нравственность, и Достоевский, и Иван постулируют благого и справедливого Бога. Поэтому отрицание благости Бога практически равносильно отрицанию Его существования. От существования благого Бога полностью зависит не только религия, но и весь мировой порядок. Не случайно подсказывается в романе прямая связь между обвинением Иваном Бога и одобряемым им отцеубийством[41]. Достоевский-этик, по существу, руководствуется лозунгом Вольтера, высказываемым как Иваном (14:213—214), так и Колей Красоткиным (14:499) и травестируемым Федором Карамазовым (14:23—24): «s'il n'existe pas Dieu il faudrait l'inventer». Изобрести же следовало бы Бога как метафизического покровителя нравственности[42].

---

[39] О критическом отношении Достоевского-публициста к каким бы то ни было попыткам обосновать этику и общество на земных, внерелигиозных началах ср. статью «Придирка к случаю» в «Дневнике писателя» за 1880 год (26:149—174). Ср. также запись из записной тетради 1880—1881 гг.: «Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могут. Жить стало бы невозможно» (27:85).

[40] Иван даже подтверждает, «что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных [...], что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие» (14:64). Возможность добродетели без веры в бессмертие души защищается в романе только Ракитиным (14:76). То, что Иван отвергает возможность земной этики, могло бы показаться сомнительным, ведь Иван является автором «геологического переворота», поэмы о «человеко-боге» (15:83). Но эта идея прошлой весны уже не соответствует настоящему мышлению Ивана. Если бы он верил в возможность земной этики, он не сошел бы с ума. Единственный выход из мира без Бога был бы — как показывает автор на примере Смердякова — самоубийство. Болезнь же Ивана является спасением. В раздвоении сознания Достоевский I изображает бунт совести против теории.

[41] Богоубийство Ивана косвенно оправдывается безбожным защитником Фетюковичем, извиняющим Дмитрия тем, что Карамазов был плохим отцом. «Любовь к отцу, не оправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность» (15:169), убийство же плохого отца — не отцеубийство.

[42] Идея о Боге как поручителе, гаранте этики связывает Достоевского с Толстым. Ср. слова Пьера Безухова: «Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель» (*Толстой Л.* Полное собрание сочинений в 90 тт. М., 1929—1958. Т. 10. С. 177).

В-четвертых, Иван является не меньшим аналитиком и критиком надрыва, чем сам его автор. Он обнаруживает надрывы как в любви Катерины Ивановны к Дмитрию, так и в христианской любви Иоанна Милостивого к ближнему.

В-пятых, и Иван подвержен религиозному надрыву, только с противоположным знаком. Иван хочет веровать, но никак не может принять Бога из чувства гордости, как подсказывает Достоевский I. Одаренный сверъестественной прозорливостью, Зосима сразу замечает, что Иван способен к великому добру, что идея еще не решена в его сердце, что он сам не верует своей диалектике (14:65). Собираясь рассказывать о своем бунте, Иван признается Алеше: «не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя, я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою» (14:215). Кульминационный пункт его бунта — надрыв, своего рода «обращение» решения-надрыва Достоевского в пользу Христа, выраженного в вышецитированном письме к Фонвизиной[43].

«Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, *хотя бы я был неправ*» (14:223)[44].

После крушения Ивана Алеша понимает суть его болезни: «Муки гордого решения, глубокая совесть!» Бог, Которому он не верил, и правда Его одолевали сердце, всё еще не хотевшее подчиниться» (14:89). Легенда об атеисте, пробегающем после смерти квадриллион километров и становящимся в рае ревнивым консерватором, пересказывается дьяволом по адресу Ивана, юношеским произведениям которого она и является. Дьявол ему и говорит, что из семечка веры, которое он, дьявол, бросит в него, вырастет такой дуб, что он пожелает вступить «в отцы пустынники и в жены непорочны», «ибо тебе оченно, оченно того втайне хочется, акриды кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься!» (15:80). Только оттого, что критика Иваном Бога отождествляется с надрывом и этим же нейтрализуется, Достоевский I может допустить возможность спасения для Ивана.

6

Подведем предварительные итоги. Проповедуя русское христианство и полемизируя с европейским рационализмом, автор романа-теодицеи «Братья Карамазовы» подспудно развертывает скрытую смысловую альтернативу. За осуществляющимся противосмыслом предстает сомневаю-

---

[43] О перекличке этих высказываний ср. *Braun M.* Dostojewski. S. 262—263.

[44] Итак, и в отрицании веры возможен надрыв. Таким образом, рассказчик констатирует, что «истинный реалист, если он неверующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду», даже «если чудо станет пред ним неотразимым фактом» (14:24).

щийся автор, Достоевский-скептик, бунтарь. Эта альтернатива, этот противосмысл возникают не в результате сознательного смыслосозидающего акта автора, они не основываются на авторской интенции. По замыслу автора, послание этого романа довольно прямолинейно. Противосмысл вошел в роман за спиной преследующего определенный замысел автора, вопреки его интенции, но, благодаря его азарту, его ревностному старанию. Образуясь не в результате произвольного прочтения, происходя не от чисто субъективной читательской установки, не основываясь на какомлибо смысловом постулате, на некоем заданном желаемом смысле, этот противосмысл представляет собой объективный семантический пласт романа. Таким образом, «Братья Карамазовы» могут быть прочитаны и как бунт против Создателя мира.

Достоевский II, однако, не просто одерживает победу над Достоевским I. Роман так же мало однозначно представляет собой обвинение Бога, как он является теодицеей. Его послание колеблется между *pro* и *contra*, не поддаваясь фиксации, остановлению беспрерывного движения. Не полифония характеризует смысловую фактуру этого романа, а колебание между двумя исключающими друг друга смысловыми позициями, никогда не останавливающаяся осцилляция между Достоевским I и Достоевским II, между замышляющим определенный смысл субъектом произведения и его подсознательным антагонистом, т.е. между теми двумя образами, в которых тут проявляет себя абстрактный автор. Понятие колебания, осцилляции между полюсами, характеризует, как мне кажется, смысловой мир Достоевского более верно, нежели бахтинские вокальные и концертные метафоры.

Осцилляция наблюдается и во многих частичных структурах «Братьев Карамазовых». Изображаемый мир отражает во многих мотивах раздвоенность, колебание автора. Иные явления, кажущиеся на первый взгляд однозначными, оказываются *палкой о двух концах*, если еще раз прибегнуть к образному выражению защитника (15:152), или *медалью с двумя сторонами*, как выражается обвинитель (15:129), или же *обоюдоострым орудием*, как характеризует рассказчик амбивалентность старчества (14:27). Примером может служить статья Ивана по церковному суду, которая получает аплодисменты со стороны как церковников, так и атеистов, и идею которой библиотекарь монастыря называет *идеей о двух концах* (14:56). Колебание между противоположными возможностями наблюдается и в основных частях сюжета. В качестве примера можно указать на колебание Ивана между положительным и отрицательным решениями мучающего его душу вопроса, на его осцилляцию между пониманием и непониманием того, что предлагает ему Смердяков, на нерешенность вопроса, пойдет или не пойдет Иван в суд, чтобы обвинить себя в отцеубийстве, и если он пойдет, какими мотивами он будет руководствоваться: смиренностью или гордостью? Нерешенность характеризует и финал романа. По словам Алеши, Иван «или восстанет в свете правды, или... погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил

тому, во что верит» (15:89). А Дмитрий, возьмет ли он наказание смиренно на себя или спасется побегом в Америку?

В своих перекличках, в своих уголках, которые не под полным контролем Достоевского I, текст развивает структуры, обнаруживающие и самые священные вещи как *палку о двух концах*. Примером этого является неожиданное со-противопоставление Иова и штабс-капитана Снегирева. Зосима воспринимает вопрос насмешников и хулителей: «Да как мог бы он [т.е. Иов — *В.Ш.*], казалось, возлюбить этих новых [детей], когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы?» Зосима отвечает на это немедля: «Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость» (14:265)[45]. Мотив замещения умерших детей появляется опять спустя больше 240 печатных страниц. Умирающий Илюша Снегирев поручает отцу после его смерти взять хорошего мальчика, другого, назвать его Илюшей и любить его вместо него. Но Снегирев не хочет хорошего мальчика, не хочет другого мальчика; вскидывая вверх обе руки, он шепчет диким шепотом, скрежещет зубами. Цитируя при этом слова из псалма 136 (137), ст. 5—6: «Аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет...» (14:507), — он ссылается на ветхозаветный образец верности. Верность этого отца бросает тень на конечное удовольствие Иова.

Отцовство для Достоевского понятие мистическое и метафизическое[46] — это одна из главных тем «Братьев Карамазовых». В романе не раз намекается на эквивалентность божества и отцовства, богохульства и отцеубийства. Но и эта эквивалентность — *палка о двух концах*. Она ведь подразумевает не только то, что даже убийство старого Карамазова — вопреки прогрессивной аргументации защитника — является святотатством, символическим богоубийством. Можно рассматривать эту эквивалентность и с другого конца. Тогда Творец предстает как нелюбящий, не выполняющий свои обязанности отец, как своего рода Федор Карамазов.

7

Понятие осцилляции, если его применить к позиции автора, не равнозначно частичному присутствию автора в своих героях. Понятие осцилляции обозначает нечто большее, чем просто намеренную саморелятивизацию автора, имеющуюся в произведениях Достоевского тогда, когда автор предоставляет свою правду компрометирующему ее рассказ-

---

[45] Уже отчаянная посетительница, у которой умер четвертый и последний ребенок, утешалась Зосимой в главе «Верующие бабы» надеждой на «тихую радость» и «тихое умиление» (14:46). Иван же удовольствовался бы указанием на «великую тайну жизни человеческой» (к которому прибегает Зосима не раз) менее, чем многие исследователи.

[46] Ср. *Terras V.* Karamazov Companion. Pp. 60—61.

чику (как это имеет место в «Записках из подполья»). Такой эксперимент автора над самим собой и над своей правдой, такое самоограничение, самоотречение автора мало правдоподобны в случае «Братьев Карамазовых», если судить не только по тому, что автор прямо высказывал о своем замысле, но и по тому, как роман реально построен.

Осцилляцию не следует, конечно, отождествлять с бахтинской полифонией. Многоголосность происходит в модели Бахтина от отказа, сознательного самоограничения автора. Осцилляция же происходит не от сознательного и допускаемого автором акта, а от невольного раздвоения автора, автора надрывающегося и насильственно вытесняющего одну сторону, одну стихию своего противоречивого мышления. Такое не-интендированное раздвоение абстрактного автора в два образа обеспечивает роману смысловое богатство и подвижность, которые не мог бы придать ему и самый диалогический замысел. Богатство и подвижность происходят от того, что в осцилляции автор как интендирующее «я», как господствующая и контрольная инстанция, как свободно распоряжающийся своим текстом хозяин лишен власти.

Мы уже не раз наблюдали, что психоэтические структуры, лежащие в основе романа, появляются эксплицитно в изображаемом мире, допускаются на уровне изображаемых персонажей. Это касается и осцилляции между верой и неверием. Таким образом, дьявол обнажает перед Иваном, сомневающимся в его, дьявола, существовании, свою тактику: «колебания, [...] беспокойство, [...] борьба веры и неверия — это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься [...]. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле» (15:80).

Осцилляция, описываемая дьяволом, имеет место, конечно, и в отношении к существованию Бога. В мире Достоевского она не может остановиться. Бесконечность осцилляции, неостановимость колебания между противоположными полюсами обнажает в «Бесах» Кириллов, говоря о Ставрогине: «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует» (10:469).

Таким образом, «Братья Карамазовы» не совсем удавшаяся теодицея, *палка о двух концах, медаль с двумя сторонами, обоюдоострое орудие*, но прекрасный роман, автор которого, против своей воли, превратил в сюжет основной конфликт своего существования.

Игорь ВИНОГРАДОВ

ДВА ЭТЮДА О ДОСТОЕВСКОМ

I. «Осанна» или «Горнило сомнений»?

(По поводу статьи Вольфа Шмида)

1. Резюме-экспозиция

Итак, профессор Вольф Шмид присоединяется к той точке зрения на «Братьев Карамазовых», согласно которой семантическое поле романа представляет собою поле напряженной борьбы между «верой» и «неверием» самого Достоевского. Причем «неверие» оказывается в этой борьбе если и не абсолютно сильнее «веры», то, по крайней мере, богоборческие аргументы («атеистические выражения») Ивана Карамазова, за которыми стоит сам автор, одерживают верх над религиозной истовостью его положительных героев, Алеши и старца Зосимы, уже тем, что никак не «опровергаются» их (и его, Достоевского) «осанной».

Стоит, пожалуй, напомнить, что такое прочтение романа было особенно популярно в советском литературоведении. Так что, возможно, отголоском именно этой, идеологически весьма, конечно, ангажированной традиции, явилась и позиция авторов комментария к «Братьям Карамазовым» в XV томе 30-томного Полного собрания сочинений Достоевского, вышедшем в 1976 году (то есть в советское еще время). Они тоже утверждают, что «вопреки [...] субъективным намерениям самого Достоевского, «возражение» (Ивановым богохульствам — *И.В.*) не возобладало в романе, и между pro и contra установилось некое зыбкое равновесие». А если говорить о читателе, «то идейно-эстетическое воздействие, производимое на него богоборческими главами, было настолько сильно, что нередко безусловно заслоняло впечатление от проповеди Зосимы» (492).

Не буду гадать, сказалось ли и в случае В. Шмида влияние той же традиции или особой роли на этот раз она не сыграла. Но так или иначе, а проф. В. Шмид не только полностью разделяет эту традиционную точку зрения на роман, но наряду с уже известными, достаточно привычными доводами в ее защиту, привлекает еще и целую серию новых. Все они, как мы могли видеть, сгруппированы вокруг центрального тезиса статьи, декларирующего существование в романе некоего авторского *надрыва*, который выказывает себя в его религиозной логике как *насильственный, неаутентичный идеализм* Достоевского-*богоревнителя* (*Достоевского I*).

Через его-то проявления, утверждает В. Шмид, как раз и слышится голос *Достоевского II*, близкого Ивану, вводится в роман противоположный Зосимовой и Алешиной вере *противосмысл*. Обнаруживает же себя этот надрыв, по В. Шмиду, во-первых, в той непрерывной *дискредитации богоотступника*, которую «богоревнитель» *Достоевский I*, чувствуя свою близость к Ивану, но пытаясь ее преодолеть и присоединиться к «осанне» Зосимы и Алеши, *назойливо* и *навязчиво* проводит в «Братьях Карамазовых», *крайне внимательно и недоброжелательно* следя за Иваном *по всему роману*, мало того — *беспощадно* выявляя *малейшие недостатки и слабости его*. Но именно *количеством, системностью и последовательностью* этих *с азартом* осуществляемых *всевозможных дискредитаций*, замечает В. Шмид, он как раз и выдает скрывающуюся за всем этим *завуалированную противоустановку* — свою близость к Ивану в его богоборческой аргументации, собственные свои религиозные *тайные сомнения*.

Во-вторых же, утверждает В. Шмид, авторский «надрыв» проявляет себя и в тех *натяжках*, которыми нередко сопровождается всякое торжественное провозглашение («аффирмация») автором своих положительных верований. Причем, и в том и в другом случае, настаивает он, именно благодаря очевидности этих *надрывных дискредитаций* богоотступника и *натяжек* аффирмации, выявляющийся через них «противосмысл» предъявляет себя нам не как результат какого-либо *«произвольного* прочтения» текста романа, какой-либо *«чисто субъективной* читательской установки», основанной «на некоем *заданном желаемом* смысле», а «представляет собой *объективный семантический пласт романа*»*, очевидный всякому *непредвзятому* читателю.

Обозначение и перечисление всех этих «надрывных» *дискредитаций* и *натяжек*, которые обнаруживает в романе В. Шмид, как раз (нетрудно догадаться) и выступающий здесь перед нами в роли и от имени такого вот *непредвзятого* читателя, и составляет основное содержание его статьи. Для того ведь, собственно, она и была написана — дабы ввести в научный обиход эту новую, предлагаемую В. Шмидом систему аргументации в защиту той, далеко не новой уже, точки зрения на роман, которую он защищает.

Один из главных парадоксов статьи В. Шмида в том, однако, и состоит, что вся эта тщательно выстроенная им система его собственной, «надрывной» аргументации выглядит у него как раз наиболее слабо — в высшей степени неубедительно. И как раз именно с точки зрения «непредвзятого» читателя.

2. В поисках следов «надрыва»

Так, вопреки всякой очевидности, вопреки прямому смыслу знаменитого «бунта» Ивана, который, при всей своей жажде уверовать, даже и

---

* Здесь и далее в цитатах курсив всюду, кроме специально оговоренных случаев, мой. — *И.В.*

самого Бога с Его якобы предустановленной «мировой гармонией» готов отвергнуть из-за того, что сердце его не в силах принять якобы необходимые для этого страдания невинных детей; вопреки всей той страстной, не поддающейся никакой имитации лихорадочной исступленности, с которой Иван обрушивает на младшего брата («точно ты в каком-то безумии», — пугается за него Алеша) свою чудовищную «коллекцию» изуверских измывательств над детьми, мучая и себя, и его нестерпимостью этих «картинок», — вопреки всему этому В. Шмид одну из самых главных в романе «надрывных» авторских «дискредитаций» богоотступника Ивана видит в том, что якобы «страдание детей для него является *лишь поводом* для обвинения Бога», а сами по себе они ему, «*собственно говоря, безразличны*»! И это — при том, что В. Шмиду так же доподлинно, как и нам, известно, что это именно *свою*, годы и годы мучительно собиравшуюся «коллекцию» детских «картинок», в которую была вложена *собственная* его боль и страсть, доверил Ивану Достоевский!.. Более того, выстраивая свою концепцию авторского «надрыва» в «Братьях Карамазовых», В. Шмид и сам ведь исходит всё время как раз из *близости* Достоевского к Ивану в его богоборческом бунте. Но не прикажет в таком случае В. Шмид в том и видеть эту близость, что и для Достоевского страдания детей были *всего лишь поводом* к обвинению Бога?!..

С теми же особенностями «непредвзятого» чтения сталкиваемся мы и тогда, когда В. Шмид пытается уверить нас, что Иван постоянно «дискредитируется» также и «своим характером, своим поведением, своими словами и даже своим физическим обликом». Здесь, начисто игнорируя всю реальную сложность его цельного образа, автор статьи тщательнейше выискивает по всему роману, чтобы поставить в счет Достоевскому I, лишь то, что только можно (хотя порой и невозможно) попытаться приписать якобы донимающему его надрывному искушению выставить идейно близкого ему богоотступника предельно неприятным, даже отталкивающим существом. При этом в ход на равных идет не только то, например, что «холодный» и «гордый» Иван считает «надрывом» даже любовь Иоанна Милостивого, способен в раздражении мужичонку пьяного в снег толкнуть и «своими отрицательными чувствами не щадит даже Алешу», но даже и его «неловкая осанка», его «деревянные движения»! Как в таком случае отнестись к образу того же, к примеру, старца Зосимы с его невзрачностью, тонкими, бечевочкой, губами, востреньким птичьим носом и реденькими волосиками, автор статьи, конечно, не разъясняет. Но зато охотно приводит в доказательство недоброжелательности Достоевского I к Ивану даже и ту сцену, где Иван прощается с Алешей после столь знаменательного для обоих разговора в трактире («до свидания, целуй меня еще раз, вот так, и ступай...»), а затем поворачивается и уходит, уже не оглядываясь, и Алеша, провожая его взглядом, «почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде...» В. Шмиду, разумеется, совершенно неважно,

что всё это проносится *«в печальном и скорбном в эту минуту»* уме Алеши, в минуту пронзительно-грустного прощания его с братом, который только что вывернул ему свою взбаламученную душу и теперь вот уходит, может быть, навсегда, унося в душе ад и бунт, которыми «жить нельзя», — уходит вроде бы всё тот же, прежний, гордый, не сдвинувшийся со своей точки ни на йоту, но только вот этой странной какой-то, шаткой, раскачивающейся походкой, как-то нелепо и жалко перекошенный на одно плечо... «Иван, *бедный* Иван, и когда же я теперь тебя увижу...» (14; 241) — вот чувство, как бы вбирающее в себя все впечатления этой минуты, которое испытывает Алеша после прощальной этой сцены, устремляясь к монастырю, к своему умирающему старцу... Но ведь это — Алеша! Алеша, любящий Ивана, пронзенный и его силой, и его слабостью, испуганный мощью его влияния на свою собственную душу, способную, оказывается, к таким же бурям («Вот и скит, Господи! Да, да, это он, это Pater Seraphimus, он спасет меня... от него и навеки!»), и в то же время — горько ему сострадающий, печально и скорбно жалеющий своего гордого и несчастного брата... Разве способен он, глядя в спину уходящему Ивану этим горьким своим провожающим взглядом, разглядеть в его раскачивающейся походке и «висящем правом плече», то, что доступно только *непредвзятому* глазу, — явные «признаки обутого чертовым копытом»?!

Зато всё, что даже при самой зоркой непредвзятости никак не поддается сопряжению с таким копытом и свидетельствует вовсе не об одной только «дискредитации» Ивана Достоевским, столь же тщательно, с той же академической педантичностью немецкой научной школы обходится.

И то, как во время первой же сцены в келье у старца Иван удивляет, например, Алешу, еще его не знающего, тем, что отвечает Зосиме «не свысока-учтиво, как боялся еще накануне Алеша, а скромно и сдержанно, с видимою предупредительностью и, по-видимому, без малейшей задней мысли» (14; 55).

И то, как потом неожиданно для всех сам — «твердо» и «серьезно» — подходит к старцу под благословение и целует ему руку (14; 55, 66).

И то, как замечает вдруг Алеша у него на лице выражение «какой-то молодой искренности и сильного неудержимо откровенного чувства», когда Иван весело-горько говорит ему, что никогда Катерина Ивановна его не любила, хотя и знала о его к ней любви (14; 175).

И то, как приветлив и ласков Иван с Алешей в сцене их разговора в трактире, как радостно и весело признается он, что любит таких, как брат, *маленьких мальчуганов*, а *одного русского мальчика, Алешку, ужасно любит* (14; 213), и тот, любимый герой Достоевского, говорит ему, в свою очередь (и Достоевский, *беспощадно преследующий Ивана по всему роману*, вдруг почему-то позволяет ему это!), что и он, Иван, тоже ведь, в сущности, «такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну желторотый, наконец, мальчик!» (14; 210). А «холодный», «рассудочный»

(В. Шмид) Иван, словно в подтверждение этого веселого приговора, с искренним и сильным молодым чувством разражается вдруг целым лирическим монологом о том, как он любит жизнь, как дороги ему «клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий [...]» — «Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь...» (14; 210).

Всего этого, как и многого другого, безусловно подтверждающего проницательные слова старца Зосимы о том, что Ивану дано «*высшее* сердце» (слова, не случайно звучащие, заметим кстати, в самом начале романа и тем как бы задающие читателю исходные параметры нужного автору восприятия образа Ивана в дальнейшем), — всего этого для В. Шмида в романе как бы и не существует, даже если он почему-либо — в совершенно ином, разумеется, освещении — о какой-то из такого рода реалий и упоминает. Но ведь без этого Иванова «высшего сердца» (сердца, а не ума, не интеллекта!) никогда, согласимся, и не утвердилась бы в русской и мировой художественно-философской мысли о Достоевском та устоявшаяся традиция прочтения образа Ивана, у истоков которой стоят такие имена, как С. Булгаков, Н. Бердяев и Д. Мережковский, и которая видит в Иване мировой образ поистине *трагического* масштаба и звучания. Какое уж тут *трагическое* звучание, если сам автор только то и делает, что лишь беспощадно обличает этого холодного рационалиста во всяческой *человеческой* несостоятельности! И какая уж тут *трагедия*, если он и в самом деле всего лишь мозгляк-атеист, для которого даже кровавые слезы замученных детей — всего только логически неотразимый аргумент рационалистически выдержанной антитеодицеи...

А утверждение В. Шмида, что в человеческом отношении Иван столь же нещадно дискредитируется («компрометируется») и «своими учениками, отражениями и двойниками»? В этой серии примеров разве один только Смердяков и может еще, пожалуй, претендовать на роль «компрометатора» Ивана — но только в отношении его идей, его формулы «всё позволено» (да и то лишь весьма относительно, ибо то, что сам Смердяков не выдержал содеянного, еще вовсе не опровергает эту формулу *в принципе*, как не могла опровергнуть ее в свое время и раскольниковская «добровольная явка»). Что же до личности Ивана, то масштаб ее настолько несоизмерим с нравственно-психологическим масштабом личности Смердякова, что никакие сопоставления, в том числе и компрометирующие, здесь просто некорректны. В отношениях Ивана со Смердяковым «компрометирует» его вовсе не Смердяков, а исключительно скользкая двусмысленность его *собственных* поступков — то, что он сам с собой играет в прятки, поддаваясь искушающим нашептываниям своего низшего «я», но не желая себе в этом признаваться, за что потом, когда поднимает свой голос его уязвленная этой скользкостью гордость, сам же и клеймит себя «подлецом». И даже сходит от этого с ума. Будь на месте Смердякова в той его роли искусителя Ивана, которую (наряду с другими)

он в романе играет, намеками давая понять Ивану о замышляемом злодеянии и провокационно испрашивая у него негласное «согласие» на это, совсем другой человек, на Смердякова отнюдь не похожий, Иван вел бы себя точно так же. Здесь область е г о проблем — Смердяков со всей своей мелкой, но дуболомно-упрямой и прямолинейной лакейской душонкой таких психологических бездн и мучительных раздвоений личности просто не знает и никаким компрометирующим «отражением» или «двойником» Ивана в *этом*, нравственно-психологическом, отношении не является и являться не может.

Но если Смердякова еще и можно как-то притянуть за уши на должность «дискредитатора» Ивана, то уж зачисление в тот же штат Ракитина — на том только основании, что Ракитин *верует в идеалы Французской революции, но оказывается на каждом шагу подлецом*, — вообще непонятно. Действительно, каким образом может компрометировать Ивана, вовсе не верующего в идеалы Французской революции, тот факт, что злобно ненавидящий его и постоянно на него клевещущий семинарист, ни в каком отношении не «ученик», не «отражение» и тем более не «двойник» его, являет собою законченный тип подлеца и проходимца (каковым, кстати, аттестует его и сам Иван)?..

Еще круче обходится В. Шмид с Великим Инквизитором, который хоть и есть, конечно, «отражение» Ивана, но «дискредитирует», оказывается, нашего «богоотступника» тем, что *обнаруживает настоящее побуждение «страдальцев» за счастье людей: жажду власти*. Здесь уже не просто с логикой некоторый непорядок — здесь вдохновляющий В. Шмида идеал «непредвзятого читателя» заставляет его идти уже и на прямую подмену: ведь Иван как раз и отвергает со всей решительностью такое обвинение по адресу своего героя, предположительно высказанное было (да и то по отношению к «иезуитам» вообще) Алешей. Напротив, он ему как раз и объясняет, что достаточно и *одного* такого, как Великий Инквизитор, истинного страдальца, *столь упорно и по-своему любящего человечество*, чтобы нашлась «руководящая идея всего римского дела [...] высшая идея этого дела» (14; 238, 239).

Впрочем, и в отношении логики *непредвзятое* чтение обнаруживает порою возможности не менее разительные — и куда более впечатляющие, чем даже в случае с Ракитиным. Оказывается, одну и ту же реалию романа оно способно воспринимать одновременно в двух прямо противоположных смыслах и окрасках — и как пример натужно-надрывной недоброжелательности Достоевского к Ивану, и как пример внутренней их близости. Так, дьявол тоже зачисляется в «компрометаторы» Ивана на том основании, что *невольно опровергает все мечты об устройстве общественного порядка на основании земной этики без Бога* и вообще *разоблачает весь атеистический гуманизм как чистую бессовестность*. Из чего следует, что сам Иван, стало быть, верует в такую возможность и вовсе не считает атеистический гуманизм бессовестностью, — иначе нечего было бы, конечно, «разоблачать» и «компрометировать». Но ведь на самом деле это

не черт, а сам Иван именно так и считает*. И в другом месте статьи В. Шмид, как ни в чем не бывало, не только признает это, но даже с некоторым удивлением замечает что, «как это ни странно, и богохульник Иван обосновывает этику исключительно на религиозных началах». А в том, что это так, что «всякая попытка обосновать этику вне религии доводится как Иваном, так и Достоевским до абсурда», видит «аргумент, говорящий о близости автора к своему герою» (!) Но тогда что же при помощи черта надрывно *дискредитирует* Достоевский в Иване? Свои собственные убеждения?..

А заверения В. Шмида, что речь Ивана «отличается пустым риторизмом, неоригинальностью содержания, всё оказывается чужим словом, заимствованным из разных источников»? Это, разумеется, один из примеров дискредитации Ивана Достоевским I. Но вот приходит пора непредвзятому чтению продемонстрировать обнаруженные им признаки близости Достоевского к Ивану и доказать силу звучащего в романе «противосмысла», и В. Шмиду уже «трудно отрицать, что бунт Ивана выживает после его «опровержения» и что «обвинение Бога производит на трансцендентно настроенного читателя больше впечатления, чем [...] набожность инока» (это при неоригинальности-то его содержания?!). Он даже цитирует себе в поддержку Л. Алексеева, восторженно пишущего об *огненном красноречии* Ивана, о том, что через Ивана разум Достоевского, восстающий против смирения, «заговорил громче, сильнее, заговорил огненным словом!»

Всё. Опять, стало быть, приехали — к «палке о двух концах». Только не Достоевского, а самого В. Шмида.

К сожалению, все те же качества обнаруживает методология В. Шмида на каждом шагу и в остальных случаях мобилизации им нужных ему аргументов. «Как Достоевский ни заботился о «художественном реализме» шестой книги («Русский инок» — *И.В.*)», пишет он, однако «в отличие от Ивана Зосима не получился ни с точки зрения этики, ни с точки зрения эстетики». И дает ссылку: «Это было уже не раз констатировано и подтверждается всё снова и снова непредвзятыми читателями».

Как дело обстоит в отношении этики, нам предстоит еще разбираться, и достаточно основательно. А вот что касается «эстетики» и единственного аргумента в доказательство ее несостоятельности — абстрактной ссылки на неких непредвзятых *читателей*, то В. Шмиду как непредвзятому

---

* Недаром он заставляет своего отказавшегося от Христа Великого Инквизитора признать, что свой «счастливый» — чисто земной! — человеческий муравейник он может выстроить только на мошенническом использовании Его же имени («Мы достроим их башню [...] во имя Твое, и солжем, что во имя Твое»). А если единственно последовательной формулой внерелигиозной этики Иван признает, как ни мучительно это ему самому, только формулу «всё позволено», то что же это и означает, если не то, что такой феномен, как «атеистический гуманизм», — это для него именно или бессмыслица, или просто бессовестный обман?

исследователю следовало бы все-таки хотя бы упомянуть о том, что существует достаточно давняя и, право же, совсем не слабая традиция совершенно иного восприятия образа Зосимы. И она представлена, в частности, именами таких, тоже, право, не совсем же лишенных художественного чувства авторов, как С. Булгаков, Д. Мережковский, А. Белый, К. Мочульский, Вяч. Иванов, С. Аскольдов — да мало ли еще можно назвать здесь весьма авторитетных имен? А если и они не проходят для В. Шмида по разряду «непредвзятых» читателей из-за своей явной религиозности, то опять же как непредвзятый исследователь он обязан был хотя бы упомянуть, что даже и среди критиков Достоевского, явно не склонных симпатизировать его христианским устремлениям, было немало и таких, кто отдавал тем не менее должное яркости и силе образов Алеши и Зосимы. Так, даже в самый разгар споров вокруг печатающихся «Братьев Карамазовых» многие представители идейно враждебного Достоевскому «прогрессистского» журналистского клана не брались отрицать художественную убедительность их образов, признавая и безошибочное «художественное чувство» Достоевского, сказавшееся в обрисовке Алеши («Свет», 1879, № 9; 101), и то, что «и Паисий, и Зосима [...] полны жизни, возбуждают и приковывают к себе воображение читателя» («Голос», 1879, 30.05, № 148), и что «Житие» старца Зосимы «блещет талантом на каждой странице» («Молва», 1879, 19.10, № 288) и т.п. И даже давний недоброжелатель Достоевского, небезызвестный Е. Марков, изменяя своей обычной язвительной придирчивости, признает, сравнивая Зосиму с епископом из «Отверженных» В. Гюго, безусловное первенство за образом старца, который «в каждом жесте и слове своем дышит письмом с натуры, невыдуманною человеческою личностью» («Русская речь», 1879, № 12)...

В дальнейшем мы еще вернемся к остальным «надрывным» аргументам В. Шмида, пока не упомянутым. Но и они, как увидим, того же самого качества, так что могут только подтвердить вывод, который, думаю, вполне позволяют сделать и уже разобранные примеры. Увы, вся система «надрывной» аргументации В. Шмида, предлагающего нам убедиться в якобы рассыпанных по роману беспрерывных натужных «дискредитациях» богоотступника Ивана и «натяжках аффирмации», при первом же проверочном прикосновении к ней начинает разваливаться, словно карточный домик. А с нею, стало быть, неудержимо теряет в своей убедительности и программный тезис В. Шмида о том, что именно *в виде надрыва*, именно благодаря присутствию в «Братьях Карамазовых» *автора надрывающегося и насильственно вытесняющего одну сторону, одну стихию своего противоречивого мышления*, проявляется в романе некий авторский «противосмысл» (богоборчество Достоевского), осуществляется то неустойчивое, постоянно колеблющееся равновесие между «верой» и «неверием» самого автора, та *осцилляция* между pro Достоевского I и contra Достоевского II, которую В. Шмид предлагает нам как итоговую формулу авторского «послания» романа.

3. А что, если?..

Значит ли это, однако, что, лишаясь своего обоснования теми надрывными «следами», которые В. Шмид якобы обнаруживает в романе, но которым мы вынуждены отказать в реальности, и само прочтение В. Шмидом смыслового поля романа как поля борьбы между верой и неверием Достоевского тоже лишается тем самым всякой реальной опоры?

Отнюдь нет, конечно. Ибо, как уже сказано, такая точка зрения на роман — точка зрения достаточно старая, распространенная. Не В. Шмидом она была выдвинута, не на его «надрывной» аргументации, которую он предложил всего лишь в порядке новой, *добавочной* ее поддержки, до сих пор держалась. А потому не может быть и опровергнута лишь из-за того, что поддержка эта оказалась иллюзорной. До сих пор она опиралась прежде всего на силу того впечатления, которое производит на читателя «бунт» Ивана, а это, в отличие от всех Шмидовых надрывных «следов» и «натяжек», действительно *реальный* факт действительно «непредвзятого» читательского восприятия романа. И он согласно признается как теми, кому ближе позиция Ивана, так и теми, кому ближе Алеша и Зосима. Точно так же, как за реальный факт такого же непосредственного, живого восприятия (а не только *знания*, опирающегося на высказывания самого Достоевского) согласно признается всеми и то, что не в одной лишь страстной «осанне» Зосимы и Алеши, но и в огненных монологах Ивана, обрушиваемых им на Алешу, отчетливо слышатся, несомненно, собственный голос и собственная страсть самого автора.

Только в чем именно и как они слышатся? Вот центральный, в сущности, вопрос, на который важно ответить как можно более *доказательно* и *точно*, если только мы действительно хотим воссоздать реальную структуру смыслового поля романа, адекватно прочесть содержащееся в нем авторское «послание», а не фантазировать на этот счет, опираясь всего лишь на свои субъективные «непредвзятые» впечатления от тех или иных реалий романа.

Конечно, очень соблазнительно думать, что замысел Достоевского-«богоревнителя» был слишком «прямолинейным», слишком «плоским» в своей благочестивой христианской тенденциозности. И что собственные его, Достоевского, «тайные» религиозные сомнения возобладали в его романе. Правда, при таком подходе придется признать, что Достоевский не сумел, следовательно, справиться с собственным своим замыслом, — то есть с тем, с чем должен справляться всякий настоящий мастер. А это вывод, не слишком, понятно, для него лестный. Но ведь зато какой по-человечески близкой и привлекательной выглядит при таком объяснении даже и сама эта его неудача! Ведь это означает, что благочестивый замысел этот принадлежал отнюдь не меднолобому религиозному фанатику, замороченному своей экзальтированной верой и способному лишь упрямо затискивать себя в однобокую тенденциозность своего елейного «осанного» замысла, а живому, страдающему, разодранному противоре-

чиями бытия человеческому сердцу, вмещающему в себя и веру, и неверие и просто не способному не кричать о том, чем воистину горит, хотя бы это и разрывало его на части!.. Как это всем нам близко и понятно! Ведь тут, в этом живом и мучительном борении с самим собой, никак у Достоевского не могло, конечно, обойтись и без такой *психо-этической ситуации*, как *надрыв*, столь нам всем опять-таки близкой и знакомой. Не он ли, действительно, так выразительно показал на примере многих своих героев притягательность этого состояния для человеческой души? А разве он не такой же, как все мы? Вот вам, значит, и еще один ключ к роману — возьмите, поищите по тексту, где он подходит, — и обрящете истину!..

Но тут уже, как только эта до звона в ушах знакомая логика вновь вкрадчиво предлагает согласиться с естественностью для Достоевского-*писателя* даже и такого «психо-этического» состояния, как «надрыв», — тут уже всякое более или менее трезвое сознание, пусть даже почти уже и убаюканное всем этим соборным сладкоголосым пением достоевсковедческих сирен, заботливо успокаивающих нас сказками о несравненном человеческом превосходстве «сложной» духовно-психологически разодранности над «простой» духовной цельностью, всегда, конечно же, однобоко-примитивной и плоской, о куда большем богатстве и человеческой привлекательности состояний, испытываемых душой, привыкшей попеременно и перманентно ввергаться вниз головой из бездны в бездну, — тут уже всякое более или менее трезвое сознание вряд ли все-таки не вздрогнет и не проснется: нет, спасибо; что до надрыва, то это мы уже попробовали. И с логикой, согласно которой писатель, описывающий преступника, сам непременно преступник, тоже давно уже знакомы. И знаменитое пушкинское — *врете, не так, как вы — иначе!* — тоже помним и на ус мотаем...

И, постепенно освобождаясь от дурмана всех этих модных психологических банальностей, становящихся, увы, всё более модными, вы опять возвращаетесь к своей скучной трезвой недоверчивости, к своим въедливым сомнениям: а что, если все-таки прав Достоевский, а не интерпретаторы, взявшие на себя опасную ответственность читать в его сердце *вопреки* тому, что он сам же говорил? Что, если он все-таки не обольщался, столь уверенно заявляя, что не как же «дурак» и «фанатик» верует он в Бога и что то «большое горнило сомнений», о муках прохождения через которое он ведь целых *четверть века назад (!)* писал Н. Фонвизиной, его «осанна» действительно-таки уже «прошла»? Не может ли быть так, что он и в самом деле именно потому и не побоялся силы «атеистических выражений» Ивана, что бывшие сомнения свои, в них отразившиеся, действительно уже преодолел и роман его — «весь роман»! — действительно служит им ответом? Что, если, не поддаваясь на соблазнительные стереотипы толкования романа, все-таки попытаться просто внимательно его прочесть? И не с налету, не общими декларациями, а вдумываясь в реальную художественно-философскую его логику, попробовать разобраться и в том, в чем же состоит все-таки действительная суть бунта

Ивана, и в том, что же все-таки по существу и реально отвечает ему Достоевский своими Зосимовыми и Алешиными главами?

Что, если не гадать и не заниматься сомнительным «чтением в сердцах», а попробовать опереться прежде всего на те *несомненные реалии* романа, которые одни только и могут ведь позволить нам прочесть действительное его «послание»?..

4. «Неэвклидовский» бунт «эвклидовского» разума

Меня всегда поражало, как могло случиться, что едва ли не всеобщим расхожим стереотипом (ни разу, насколько мне известно, серьезно не опровергнутым) стала в литературе о Достоевском трактовка «бунта» Ивана как восстания его земного, *эвклидовского*, разума против сотворенной Богом бесчеловечной (с точки зрения Ивана) *неэвклидовой* «геометрии» мироздания. Всецело в рамках этого противопоставления движется, как мы видели, и мысль В. Шмида, утверждающего, что «вопреки всем попыткам Достоевского I опровергнуть *эвклидовскую* аргументацию Ивана [...] «Братья Карамазовы» могут быть прочитаны и как бунт против Создателя мира».

Случай Ивана, однако, совсем не так прост, чтобы быть уложенным в столь простую схему. Правда, сам он не раз декларирует как будто бы именно «эвклидовскую» природу своей позиции. Он «смиренно сознается», что не желает браться за такие вопросы, как, например, есть Бог или нет («у меня ум *эвклидовский, земной*, а потому где нам решать, что не от мира сего»). И он с негодованием отвергает традиционную «теодицейную» логику, оправдывающую страдания детей тем, что они «наказаны за отцов своих, съевших яблоко»: «ведь это *рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное.* Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному!» (14; 214—217).

Заметим, однако, что отвергая это «рассуждение из другого мира», Иван ссылается вовсе не на *ум*, а на *сердце* человеческое. И это не случайно. Ибо счет, который Иван предъявляет и всем тем, кто способен так рассуждать, и самому Богу, допускающему страдания неповинных детей, — это счет *этический*. Счет, который Создателю мира выставляет, как сказал бы Кант, *практический* разум Ивана, — счет, диктуемый его *непосредственным нравственным чувством*, следующим законам той нравственности, которая запрещает *«честному человеку»* покупать свое блаженство в будущей мировой гармонии согласием на безвинные страдания детей.

Но ведь и эти законы, и выражающее их живое нравственное чувство вовсе не обязаны как раз своим происхождением «эвклидовскому разуму», вовсе не на нем основаны! Мало того, — они изначально *противоречат* всей его логике. Ибо эвклидовский разум — это, как говорит сам же Иван, разум, который создан «с понятием лишь о трех измерениях пространства» (14; 214), и он обязан, стало быть, управляться со всеми проблемами лишь в этом собственном своем пространстве, без всякого заглядывания в

пределы божественного (хотя бы гипотетически допускаемого) «неэвклидовского» космоса. А в этом *собственном* его, сугубо *земном*, пространстве без Бога как раз и нет, как утверждает это опять же сам Иван, никакого «естественного закона», по которому могла бы существовать на земле любовь. Напротив, весь «закон естественный» в том только и состоит, что по нему вообще нет *«ничего* [...] *безнравственного»*. Ибо если Бога нет и всю нравственность делает сам человек, то тогда (не по юридическому закону, а «по совести», как сказал бы Раскольников) человеку действительно «всё [...] позволено, даже антропофагия», и «эгоизм даже до злодейства должен быть [...] признан необходимым». Какая уж тут любовь к детям, непереносимость безвинных страданий! «Естественный» эвклидовский разум исходно, принципиально внеэтичен, а потому он и вообще ни от кого не вправе требовать никакого добра, никому не может выставлять счет за недоданную любовь или немилосердие. Все эти категории и соответствующие им чувства обретают свою истинную «законность» (не формальную, правовую, охраняющую только устойчивость человеческого общежития, а внутреннюю, действительную для индивида по глубинной нравственной логике) только в системе *«закона религиозного»* (14; 64, 65). И на этом опять же настаивает сам Иван, полностью совпадая здесь с Достоевским. У В. Шмида, мы видели, это вызывает лишь недоумение (атеист, а признает только религиозную этику?). Но Иван твердо стоит на своем и во время беседы в келье старца Зосимы, и в разговоре с Алешей, вполне отдавая себе, стало быть, отчет в том, что лишь в пространстве религиозной веры, задающей бытию неуничтожимый смертью смысл и абсолютные нравственные ориентиры, тоска «сердца человеческого» по любви и добру получает настоящую, подлинно *онтологическую* опору, прочность не иллюзорного, а основанного на самой природе мира духовного состояния. Сам же по себе эвклидовский разум не имеет как раз никаких законных полномочий апеллировать к нравственным аргументам и чувствам.

И это и есть ключ к главному «секрету» Иванова бунта, к главному *парадоксу* этого бунта, который в том именно и состоит, что *«эвклидовский* ум» Ивана, поднимая свое восстание против Бога, апеллирует при этом, однако, не к каким-либо *собственным* своим ориентирам и принципам, а к сердцу, горящему огнем совсем иного, *неэвклидова* мира. Вот почему, напомню еще раз, Зосима и говорит, что Бог дал Ивану «сердце *высшее»*, способное *«горних* искати» (14; 65).

Другими словами, перед нами ситуация, неопровержимо свидетельствующая, что, выставляя против Бога *высшие* этические требования человеческого сердца, «эвклидовский ум» Ивана выбирает тем самым в качестве *главного* логического основания для своего бунта такую «точку», которая *абсолютно несовместима* как раз с логикой его собственного «естественного закона». Напротив, — она *совершенно незаконно позаимствована* им из *«закона религиозного»*. А это и значит, что перед нами вовсе не бунт земного «эвклидовского разума» против Высшего Существа «не-

эвклидовского мира», а бунт против Него таких же, как и Он, высших, могущих быть укорененными только в «неэвклидовском» же мире, этических принципов.

Вот первое, что очень важно понять, если мы действительно хотим разобраться в характере и смысле того сопоставления Ивана с Зосимой и Алешей, которое развертывает Достоевский.

Замечу попутно, несколько предваряя тему, которая впереди, что никаким другим способом поднять свой этический бунт против Бога Иван, в сущности, и не мог. Ибо еще Кант показал, что «чистому разуму» (в Ивановой терминологии — «эвклидовскому») просто нечего делать со своими собственными «законными» понятиями в пространствах метафизических («неэвклидовских»). И потому-то этот разум неминуемо и запутывается там в антиномиях. Тем не менее он всё время туда рвется, поскольку причинно-следственная его природа требует от него непременного путешествия за «последней причиной». И уж если он решается-таки на подобного рода походы, ему неминуемо приходится обращаться к категориям, в эмпирическом опыте «Эвклидова мира» именно и не укорененным — иных в метафизическом («неэвклидовом») мире просто не бывает.

Вот почему когда «эвклидовский ум» Ивана, вообще-то предпочитающего следовать совету Канта и не браться за вопросы «не от мира сего», все-таки дерзает этот мир выстроить хотя бы гипотетически и конституировать в нем Высшее Существо, ему неминуемо и приходится судить об этом Высшем Существе по высшим же, а вовсе не земным меркам этики.

Это, кстати, отлично понимает и сам Иван, тяжко страдающий именно от абсолютной неукорененности этических требований своего сердца в логике того земного мира, модель которого задается параметрами «эвклидовского ума». Недаром он с такой страстью этот ум и отвергает: «О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виноватых нет, что всё одно из другого выходит прямо и просто, что всё течет и уравновешивается, — *но ведь это лишь эвклидовская дичь, [...] ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя*» (14; 222).

Это действительно ведь непереносимо: знать, что «виновных» нет и не может быть (потому что в «эвклидовом» пространстве нет и не может быть никакой этики), — и всем сердцем жаждать, чтобы они — **были**, ибо ты согласен скорее истребить себя, чем жить во внеэтическом пространстве!..

«Натура в высокой степени этическая, принужденная отрицать этику, — *таков этот чудовищный конфликт*», — пишет С. Булгаков в своей знаменитой статье «Иван Карамазов как философский тип»*. И он совершенно прав, *так* обозначая ситуацию Ивана. Потому что здесь перед нами тоже, в сущности, *бунт* — и притом бунт тех же, что и в ситуации

* *Булгаков С.Н.* Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1993. С. 24.

с Богом, *высших* этических требований человеческого сердца, только направляемых на этот раз уже не Богу, а, так сказать, по обратному адресу — внеэтической природе уже не высшего, а низшего, земного, «эвклидовского» мира.

5. «Хотя бы я был и неправ»

Итак, Иван бунтует сразу двумя бунтами, у которых источник, однако, один и тот же — высшие этические требования «сердца человеческого». И при том в обоих случаях источник этот равно, как мы видели, ничем у Ивана не обоснован, ни в какой мировоззренческой логике им не укоренен. Он не укоренен для Ивана ни в природе *высшего* мира, ибо в него Иван либо вообще не верит, либо с порога отвергает его (и как раз именно за его несоответствие этим *высшим* требованиям человеческого сердца), ни тем более в *низшем*, земном, вообще внеэтическом.

Но если это так, если, учиняя свой суд и над Богом, и над эвклидовским разумом, Иван выставляет против них требования своего сердца, горящего огнем сострадания и абсолютной любви, не как *нечто логически обоснованное той или другой системой принимаемого им мировидения*, то это означает, что перед нами, стало быть, чисто *экзистенциальный* акт. Другими словами, перед нами акт, совершенно равнозначный, в сущности (как всякий экзистенциальный акт), *акту веры*. Ибо это и есть ведь, собственно, не что иное, как *исходное экзистенциальное «верую» Ивана*. Потому-то, приглашая Алешу на разговор, он и говорит ему, что вовсе не для того они встречаются, чтобы какие-то вопросы «не от мира сего» разрешить — «*не о Боге* тебе нужно [...], а лишь нужно [...] узнать, *чем живет* твой любимый тобою брат» и «чтоб я как можно скорее мог объяснить тебе *мою суть*, то есть *что я за человек, во что верую и на что надеюсь*, ведь так, так?» (14; 214, 215).

Таким образом, Иван не только выставляет в своем бунте против Бога вовсе не «эвклидовские», а как раз именно «неэвклидовские» требования своего сердца, но он выставляет их еще и чисто *экзистенциальным* актом. Он предъявляет их Ему как свое первичное, изначальное, как вполне самодостаточное свое «верую».

Вот второй крайне важный момент, который тоже необходимо уяснить, прежде чем мы займемся сопоставлением позиций Ивана с позициями Зосимы и Алеши. Вся исходная основа Иванова бунта — именно в этом экзистенциально-первичном и самодостаточном его «верую», и вот откуда, в частности, и та характерная форма этого «верую», которая полностью совпадает с формой знаменитого «символа веры» Достоевского, высказанного им еще в 1854 г. Н.Д. Фонвизиной. Он, напомню, писал ей тогда, что нет для него ничего прекраснее, глубже, разумнее и совершеннее Христа и что даже если бы ему доказали, что истина вне Христа, он предпочел бы остаться с Христом, нежели с истиной. Заявляя свое решение закончить скорее свою жизнь в мире с неотомщенными кровавыми слезками детскими, чем согласиться на купленную ими будущую

мировую гармонию, Иван тоже прибегает к этой же условной форме: «Лучше уж я останусь [...] при неутоленном негодовании моем, *хотя бы я был и неправ*» (14; 223. Курсив Достоевского. — *И.В.*) В. Шмид подмечает это сходство, но не видит, что и в «верую» Ивана, и в формуле Достоевского (которая вызывает у него лишь сомнение в искренности Достоевского и дает повод заподозрить его в очередной «натяжке аффирмации») вся суть в том, что в обоих случаях перед нами именно сугубо экзистенциальные акты — интеллектуально предельно дерзкие и предельно как раз *искренние* в своей страстной обнаженности манифестации каждым из них своего высшего жизненного принципа и ориентира: пусть даже всё реальное устройство мира (его «истина») этому принципу противоречит, *всё равно я здесь стою и не могу иначе.* Эта Лютерова формула и есть ведь самая общая типовая формула всякого программного экзистенциального акта, и вот почему, всегда подчиняясь прежде всего именно этому исходному и глубинному своему «верую», Иван и переживает подлинную жизненную и религиозную трагедию. Как натура в «высшей степени этическая» он не может принять эвклидовскую логику, утверждающую существование вне этики, какой бы неопровержимой («истинной») она ему ни казалась. И именно поэтому, как сам же всё время об этом говорит, он и **жаждет уверовать.**

Но как только жажда эта обращает его к «гипотезе» Бога, тот же самый экзистенциальный этический голос его сердца заставляет его с порога отвергать и представляющуюся ему тоже совершенно неопровержимой ту реальность этого «допускаемого» им божественного мира (ту его «истину»), которая таит в себе подлую логику покупки конечной Гармонии невинными страданиями деток. И тогда ему либо остается, даже и продолжая допускать существование Бога, непременно вернуть Ему все-таки «билет», а самому вернуться во всё те же внеэтические эвклидовы измерения мира с его подлым «всё позволено», либо он должен признать, что Бога, стало быть, вообще нет (ибо отрицание Бога Всеблагого действительно равносильно, в этом В. Шмид прав, отрицанию Бога вообще). И тогда всё равно ему остается только вернуться туда же, в этот «эвклидов» мир, — вернуться, чтобы опять оказаться перед новым, но столь же безрадостным выбором. Он может попробовать хоть как-то утолить этическую жажду своего сердца, примкнув к тем, кто, подобно Великому Инквизитору, пытается устроить хотя бы ущербно-обманное маленькое земное счастье для человеческого муравейника (прекрасно сознавая при этом, что оно строится именно на обмане)*. Либо, не имея сил спастись и от тоски этого обмана, и вообще от отчаяния жизни в этом бессмысленном и безнравственном мире, где всё высокое, идеальное — лишь пустой мираж, а единственная логически-неопровержимая реальность — «всё позволено», он может попробовать и другой выход: попробовать как-то заглушить в себе эту тоску и этот ад хоть до тридцати лет (а потом —

* См. об этом подробнее в следующем этюде.

кубок об пол!) — задавить душу либо в карамазовском разврате, либо в безудержье всё того же «всё позволено»... И это ему-то, с его высшей этической натурой! Ему, который одним только пальчиком, только чуть-чуть, да и то лишь косвенно, через другого, и притом всячески успокаивая себя сомнительным самообманом, попробовал дотронуться до этого «всё позволено» — и уже от одного только этого прикосновения стал настолько себе омерзителен, что бедная душа его не выдержала и сорвалась в белое беспамятство горячки...

Кстати, именно экзистенциальная сердцевина всех этих духовных мытарств Ивана объясняет нам не только то, что Ивану неминуемо приходится бунтовать сразу «на два фронта», но и то, что и бунт его против Бога тоже как бы раздваивается, получает сразу двойную форму выражения: Иван и существование Бога готов как бы допустить (но тогда мира его не принимает), и одновременно заявляет, что в Бога вообще не верит. Это вовсе ведь не сама по себе та «осцилляция» Ивана между «верой» и «неверием», о которой шла речь выше и о которой говорит и В. Шмид. Ибо в *этом* случае, в акте *самого бунта*, для Ивана важно не то, «допускает» ли он Бога или отрицает Его существование, а то, **что** стоит за этим допуском в одном случае и за отрицанием его — в другом. А стоит за ними — и в этом-то и дело — одно и то же: могу и *признать*, и *принять* существование *только истинно благого Бога, не способного допускать страдания невинных детей*. Это и есть ведь, в сущности, та центральная экзистенциальная максима, которую утверждает Иван своим бунтом, в какой бы форме он этот свой бунт ни выражал — допуская ли Бога, но возвращая Ему билет, или не веря в Него вовсе, потому что Бог по определению должен быть всеблагим, и если Он не такой, значит Его просто нет. В этой экзистенциальной максиме вся, повторяю, суть парадоксального Иванова бунта, и не поняв это, мы мало что поймем и в его судьбе, и в механизме его сумасшествия, и в самой художественно-философской логике того гениального сопоставления Ивана с Зосимой и Алешей, которое развертывает перед нами Достоевский.

6. Бог Алеши и Зосимы

В самом деле, попробуем поставить теперь перед собою такой вопрос: разве Зосима или Алеша (а с ними и Достоевский) хоть малейшим намеком подвергают в романе сомнению этот экзистенциальный принцип, эту этическую максиму, составляющую суть Иванова бунта? И разве хоть что-то в их «верую» дает основание думать, что они *оправдывают* страдания детей как *необходимое условие* грядущей мировой гармонии, находя в этом волю Божию и смиренно склоняясь перед ее тайной?

Вот вопрос, ответ на который, как нетрудно понять, имеет решающее значение для понимания того, как именно веруют в Бога Алеша и Зосима, какова *их* «формула» Бога.

В. Шмид, мы видели, пытается подвести читателя к выводу, что Достоевский (I) *противопоставляет* Ивановым «злоупотреблениям» дет-

ской темой «целый набор мотивов, показывающих *образцово-христианское поведение перед лицом страдания и смерти детей*». Но, увы, как всегда у В. Шмида, апелляция его и к этим «натяжкам аффирмации» сама основана на недопустимых натяжках. Так, говоря об отношении Зосимы и Алеши к детским *ранним смертям*, он не без язвительности замечает, например, что в смерти Илюши Алеша с мальчиками, в отличие от Ивана, «не видят никакого повода к обвинению Бога». Как будто Иван ставит Богу в вину именно детские ранние смерти вообще, а не смерти мученические! В позиции же Зосимы В. Шмид фиксирует лишь то, что Зосима пытается утешить мать, потерявшую младенца, несомненным ангельским блаженством его «перед престолом Божиим» и что его трепетно умиляет «великая тайна жизни», благодаря которой даже такое горе, как у Иова, потерявшего всех прежних своих детей, может перейти «постепенно в тихую умиленную радость» жизни с детьми новыми. В пику этому «неаутентичному идеализму» старца, в котором он прочитывает, конечно же, «надрыв» самого Достоевского, В. Шмид вспоминает, естественно, Снегирева, скрежещущего зубами от одной мысли о том, что другой мальчик может заменить Илюшу и утешить его. Но почему-то он начисто забывает вспомнить и о том, что тот же самый Зосима, который умиляется Иову и пытается утешить мать, потерявшую младенца, говорит ей, однако, видя ее рыдания и ее неутешность, и такое: «А это [...] древняя «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет», и *таковой вам, матерям, предел на земле положен. И не утешайся, и не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь*, только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой [...] оттуда на тебя смотрит и видит тебя, *и на слезы твои радуется, и на них Господу Богу указывает*» (14; 46).

Это, конечно, опять парадокс — быть уверенным, что и *не надо* несчастной матери утешаться, ибо таков положенный им на земле «предел», и даже считать, что именно этот-то *неутешный* плач Бога и радует, — и в то же время все-таки *утешать* неутешную мать, веря, что «великий материнский плач» ее может под конец обратиться даже и в «тихую» ей «радость». Но ведь если такого рода парадоксы и не настолько просты, чтобы легко было сразу с ними управиться, то это вовсе не означает, что их можно замалчивать.

Что же до безвинных детских *страданий* и противопоставления Ивановым ими «злоупотреблениям» «образцово-христианского» отношения к ним Зосимы и Алеши, то здесь В. Шмид и вообще не приводит ни одного факта. И немудрено — их нет. Зато успешно замалчивается или некорректно обходится всё то, что говорит как раз об обратном.

Действительно: разве это не Зосима завещает своей «братии» *деток любить особенно, ибо они безгрешны, яко ангелы*, и пророчествует: «горе оскорбившему младенца»?! Разве это не он, вспоминая о загноившемся народе, о детях на фабриках — «хилых, чахлых, согбенных и уже развратных», вопиет: *«Да не будет же сего, иноки, да не будет истязания детей, восстаньте и проповедуйте сие скорее, скорее»*! (14; 286, 289).

Сердце Зосимы горит тем же огнем мучительной непереносимости для него детских страданий, что и сердце Ивана. И тем же огнем горит и сердце Алеши, которое потому и не выдерживает «картинок» из «коллекции» Ивана, взрываясь святой своей «нелепостью» — *Расстрелять!..*

А тот пронзительный, один из главных в этой великой книге образ-символ детского страдания, каким становится у Достоевского его знаменитое ПЛАЧУЩЕЕ ДИТЁ, слезы и горе которого переворачивают всю душу Мити? Ведь бедой своей он ввергается во всё то же кипящее русло стержневой нравственно-философской темы романа, которая начинает взывать к нам теперь уже не только мучительными контроверзами университетского интеллектуала Ивана, но и его, малообразованного и простодушного Мити, собственными страстными вопрошаниями: «Нет, нет, [...] ты скажи, [...] почему бедно дитё, почему голая степь, [...] почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дитё?» (14; 456, 457).

И вот кардинальный вопрос: способно ли подлинно **верующее** сердце, *так* терзаемое детскими страданиями, допустить, что для Бога, этого Высшего Источника бесконечной Любви и Добра, страдания эти, напротив, не только приемлемы и переносимы, но Он и Сам их, так сказать, предусматривает в Своем «планировании» будущего царства Высшей Гармонии?

Всей совокупностью своих картин, образов и мотивов, всей мучительностью «детской» темы для Зосимы и Алеши, всем характером того «символа веры», каким веруют Алеша и Зосима (а с ними и Достоевский), роман (*«весь* роман»! — говорит Достоевский*) дает ясный и недвусмысленный ответ на этот вопрос: Бог Алеши и Зосимы — это всегда и только Бог **бесконечной Любви**, Бог, для Которого нет и не может быть ничего, что могло бы, как говорит об этом сам Зосима, *«истощить»* эту Его «бесконечную Божью любовь», «превысить» ее (14; 48). Вера Алеши и Зосимы — это всегда вера в того — и только в того! — Бога, который именно по *бесконечной Своей любви* к нам, людям, и сошел с небес, чтобы совершить «великий и страшный подвиг Свой» (14; 326) — подвиг искупления нас от греха и вечной смерти, подвиг бесконечно жертвенной к нам любви. Это тот самый Бог, веру в Которого они могли бы выразить теми же самыми словами, какие нашел когда-то для своего «символа веры» сам Достоевский, ибо вслед за ним они тоже могли бы сказать, что нет для них ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, мужественнее и совершеннее Христа — того Бога, Который именно потому, что Он такой, и Сам не может не умирать вновь и вновь в каждом истерзанном и замученном нами, людьми, ребенке, не может вновь и вновь не страдать на вечном кресте этой любви Своей к нам каждым страданием человеческим, мало того — от каждого нашего греха, которым мы опять и опять, словно новым гвоздем, пригвождаем Его к этому кресту бесконечного ожидания Им *нашей* к Нему любви...

---

* См. 15; 484.

Короче: Бог Алеши и Зосимы — это Бог, Который, будучи Абсолютной Любовью, никак не может быть и источником какого-либо Зла. А значит — *и Творцом Гармоний, построенных на кровавых слезках замученных деток*. Вот **единственно адекватная** всему живому существу упований и верований Алеши и Зосимы «формула» Бога, которая имплицитно содержится в каждом их обращении к Нему, в каждом движении их верующих душ. Она *очевидна* настолько, что не прочесть ее можно, только заведомо не дав себе ни малейшего труда вдуматься и вслушаться в соотносительные с Ивановой «формулой» смысл и звучание этих их обращений к Нему и на Него упований.

Но мало того — роман ведь, в сущности, совершенно недвусмысленно предлагает нам и почти прямую *вербальную* манифестацию этой «формулы»!

Действительно: вот Иван подступает к Алеше со своим исступленным требованием — *скажи и не лги, если бы это тебе пришлось возводить здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях?!*

И что же отвечает ему Алеша? Разве это не он говорит: — *«Нет, не согласился бы»*? И разве мы не знаем доподлинно, что за ним стоит здесь сам Достоевский, который уже не от лица какого-то персонажа, а от себя лично, и не романному какому-то герою, хотя бы ему и близкому, а себе самому и всему миру вместе с собой задает в своей Пушкинской речи *тот же самый* «проклятый» вопрос, заменив только безвинное дитя на любое другое, пусть даже ничтожное и смешное человеческое существо, которое нужно, однако, замучить: «Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? *Вот вопрос*. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми?» (26; 142).

В. Шмид, помним, даже цитирует это место Пушкинской речи параллельно с вопросом Ивана Алеше, показывая почти дословное их совпадение и усматривая в этом, естественно, доказательство безусловной близости позиций Ивана и самого Достоевского (II). Но ведь всё дело в том, *до каких пределов* выявляет себя в совпадении их вопросов эта духовная их близость. И, ни словом не обмолвившись на этот счет, что же в таком случае хочет В. Шмид сказать своим сопоставлением? Уж не то ли, что и смысл категорического отвержения Достоевским «инструментализации страданий» (В. Шмид) был тот же самый, что и у Ивана: стало быть, Бога либо нет, либо Он должен быть лишен титула Всеблагого и честный нравственный человек обязан вернуть Ему свой билет? И именно это Достоевский и хотел исподволь внушить слушателям во время своей Пушкинской речи, которая вся была проповедью необходимости *религиозного* преображения русского общества?..

Смысл той «формулы» Бога, которая единственно может соответствовать категорическому отказу и Достоевского, и Алеши предположить себя архитекторами воздвигнутого на страданиях безвинных людей здания человеческого счастья; формулы, которая встает за абсолютной их уверенностью, что и другие люди («сердце человеческое») не смогли бы принять свое счастье на таких условиях, — смысл этой формулы совершенно ясен. Он, кстати, с предельной, почти афористической отчетливостью обозначен и в тех словах Зосимы, которые старец обращает к одной из крестьянок, пришедших к нему на покаяние: «Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобою умилился и пожалел тебя, кольми паче Бог» (14; 48)!

Теми же самыми словами мог бы выразить самую суть своей веры в абсолютно Всеблагого Бога и Алеша, отвечающий на вопрос Ивана своим твердым: «Нет, не согласился бы». Уж если мы, люди, сердцем своим человеческим не можем принять счастье, в основание которого заложены слезы и страдания хотя бы одного крохотного замученного созданьица, то что же Бог? Или Он — хуже, жестче, несправедливее, бессердечнее нас?..

7. Этика Бунта и этика Веры

Но если это так, если «формула» Бога Алеши и Зосимы как Бога абсолютно Всеблагого столь прочно сопряжена в романе с темой безвинных человеческих страданий, то мы должны признать, что по крайней мере в одном очень важном пункте бунт Ивана и вера Зосимы и Алеши не только не противопоставлены друг другу, но, как это ни парадоксально, даже совпадают. Ведь и Алешино «расстрелять!», и его же категорический отказ даже и представить себя «архитектором» здания мировой гармонии, «унавоженной» слезами и страданиями безвинных детей, и ужас Зосимы перед истязаниями детей, и риторическая форма вопроса, заданного в Пушкинской речи самим Достоевским, — всё это неопровержимо свидетельствует: «символ веры» Алеши и Зосимы (а с ними и Достоевского) в Бога, который тоже не способен быть архитектором такого здания, прямо проистекает, стало быть, из *того же самого* первичного *этического* экзистенциального «верую», которое двигало и Иваном в его бунте против Бога. Во всяком случае составляет с этим исходным этическим принципом одно неразложимое целое. Будь иначе, то есть не будь отправной этической точкой их жизненной и духовной ориентации именно высшие — *абсолютные* — этические требования человеческого сердца, не допускающего никакой правды, построенной на неправде, никакого добра, «унавоженного» злом, никакого счастья и любви, купленных согласием на безвинные страдания других, и Сам Бог никогда не мог бы стать для них высшим выразителем, носителем и гарантом этих абсолютных принципов.

Вот почему в очень существенном своем содержании и бунт Ивана, и вера Зосимы с Алешей могут быть выражены, как это, повторяю, ни парадоксально, одними и теми же словами. *Могу принять, признать и веровать*

только в абсолютно Всеблагого Бога, не способного быть архитектором «унавоженной» мировой гармонии. Как Иван, так и они могут веровать только в *такого* Бога и ни в какого иного...

Вот почему нет ничего удивительного и в том, что в бунте Ивана читатель безошибочно различает голос самого Достоевского — тот самый голос, который он столь же несомненно различает и в голосах Алеши и Зосимы. Ведь пока Иван, для которого непереносимы детские страдания и который может признать и принять поэтому только Всеблагого Бога, не выходит за пределы манифестации *этой* своей исходной «точки» и не заявляет, что как раз такого Бога он и не видит; и пока Зосима и Алеша, исполненные того же исходного этического пафоса, не свидетельствуют, что, напротив, именно в такого — Всеблагого — Бога они только и веруют, — до *этого* поворотного момента их голоса в главном своем звучании никак не противостоят друг другу. Напротив, — мы слышим, в сущности, один и тот же голос — голос самого Достоевского, голос, который потому так мощно и звучит в Ивановом отчаянном отвержении детских страданий, что это и его, Достоевского, собственное страстное их отторжение — то же, что и у Алеши, и у Зосимы. Этому голосу незачем звучать каким-то «подспудным», нелегально пробивающимся «противосмыслом» тайного «богоборца» Достоевского, незачем мучительно заглушать и камуфлировать себя «надрывами» каких-то противоположных «аффирмаций» Достоевского-«богоревнителя». Это открытое, прямое, предельно обнаженное и, если хотите (и как мы еще увидим) даже и предельно *дерзкое* исповедание одним и тем же, *единым*, Достоевским своего экзистенциального этического «верую», *одинакового* у всех главных его героев — Алеши и Ивана, Зосимы и Мити...

8. Из одной точки — в два конца. Какие?

Да, — но ведь от одной и той же исходной этической точки Иван приходит к отрицанию Бога, а для Зосимы и Алеши она становится неотделимой составляющей их веры! Значит, все-таки именно это принципиальное их различие, а не какие-то черты совпадений и близости, прежде всего и определяет главный авторский смысл и преимущественный характер читательского восприятия их сопоставления в романе?

Разумеется. Так что традиционная точка зрения на «Братьев Карамазовых», которую защищает в своей статье В. Шмид и которая рассматривает смысловое поле романа как поле борьбы веры и неверия самого Достоевского, совсем не случайно, конечно, апеллирует всегда именно к различию его главных героев.

Но на чем она строит, как правило, свою аргументацию?

На том, что рациональной логике Ивана, спрашивающего о смысле страданий детей и не находящего для них никакого оправдания в системе тех высших этических верований, которые задаются самой религиозной моделью мира с Богом-Творцом его во главе, ни Зосима, ни Иван не в

силах противопоставить никакого серьезного рационального же ее опровержения — одну только саму по себе экзальтированно-смиренно-сентиментальную свою веру. Именно к этому сводится, в сущности, вся сколько-нибудь весомая аргументация в пользу «осциллятивного» прочтения романа и в статье В. Шмида. Как мы могли видеть, он настаивает на том, что Достоевский, *упорно отрицающий силу разума и проповедующий интуитивную веру*, вполне сознает, однако, что Иванова «критика Бога *не поддается рациональному опровержению*», а потому и прибегает к «опровержению» богохульств Ивана не прямому, «по пунктам», а лишь «косвенному», лишь посредством общей «художественной картины», мобилизуя прежде всего доводы эстетические («космодицея» Зосимы) и прагматические (призывы Зосимы к смирению, к «деятельной любви» и т.п.). И в результате, несмотря на все эти «косвенные» усилия Достоевского I, рациональная Иванова критика Бога вполне, естественно, «выживает» и «производит на трансцендентно настроенного читателя больше впечатления, чем [...] набожность инока».

Что ж, — попробуем разобраться теперь и в этом центральном — *противопоставительном* — измерении проводимой Достоевским в романе оппозиции «Иван — Зосима и Алеша». И прежде всего попробуем уяснить, действительно ли роман не содержит никакого «рационального» ответа Ивановой критике Бога.

Самый короткий путь к этому — понять, как отвечает роман на тот вопрос, который сразу же встает, естественно, как только утверждается, что Бог никак не мог быть «архитектором» мировой гармонии, построенной на безвинных страданиях. Каким же образом допускается тогда в мировом процессе, «разрешенном» к бытию Промыслом Божиим, зло и страдание — даже и безгрешных детей? В ситуации развернутого в романе противостояния это слишком серьезный и слишком неотразимо возникающий вопрос, чтобы можно было пренебречь той «рациональной» логикой, на которой только и мог быть построен сколько-нибудь убедительный на него ответ.

Но ведь Достоевский и не пренебрегает. Он *дает* ответ на этот вопрос. И ответ совершенно ясный и недвусмысленный.

9. Метафизика свободы

Ответ этот — в той этической максиме, которая тоже настойчиво и постоянно возникает в романе как исходный для Зосимы и Алеши, а потом и для Мити, принцип собственного их *практически*-этического жизненного самоопределения и поведения в мире: *«...всякий человек за всех и за вся виноват...»* (14; 275). В. Шмида этот принцип ставит только втупик — что такое, откуда вдруг, с чего бы? Недаром он и упоминает-то о нем (разбирая метафизическую логику романа!) всего только раз. Да и то — мимоходом, в общем пренебрежительном контексте язвительного сожаления по поводу «назойливости и навязчивости Достоевского I, того

богоревнителя, который от читателя требует немало добродушия, проводя цепную реакцию прозрений и озарений, исходящую от *внезапного* вывода умирающего Маркела о том, что «всякий перед всеми за всех и за все виноват»... «Внезапного»!.. Как будто перед нами и вправду «мальчик», а то и просто «фанатик» и «дурак», верующий в Бога своей «необразованной» верой* и на строгую философскую логику «просвещенного европейского разума» способный ответить разве лишь внезапными озарениями моральных прописей да неотрефлектированным эстетическим умилением перед красотой идиллически воспринимаего Божьего мира!..

Но в огромном, сложном, разветвленном мире гениальной художественно-философской мысли Достоевского — при всей его любви как романиста к внезапностям сюжетных перипетий — нет никаких случайностей и внезапностей. Здесь всё глубинно сопряжено друг с другом, всё образует единую и неразложимую художественно-смысловую целостность. И тот «внезапный вывод», который так шокирует В. Шмида, что он готов зачислить его всего лишь по разряду стихийной этической прагматики, тоже входит в единое художественно-смысловое целое романа.

Более того, — вместе с исходным символом веры Алеши и Зосимы в Бога как в Бесконечную Любовь, он образует самое ядро, самую сердцевину той *метафизической* логики романа, которая как раз и противопоставлена впрямую «рациональной критике» Бога Иваном. И, таким образом, представляет собою вполне «рациональный» же на нее ответ.

Но эта логика, выраженная во всей совокупности программных религиозных принципов, мотивов и «формул» романа, действительно требует по отношению к себе от читателя вовсе не снисходительного «немалого добродушия». Она требует как раз очень серьезного и уважительного отношения прежде всего к самому уровню философской мысли Достоевского, о котором Н. Бердяев не случайно писал как о «великом мыслителе», «гениальном диалектике», «величайшем русском метафизике», творчество которого «есть настоящее пиршество мысли»*. Только тогда и становится очевидно, что именно в этом романе впервые в истории русской мысли были обозначены совершенно отчетливые и поражающие своей дерзновенностью контуры той **христианской метафизики**, разработка которой составила, может быть, самое великое завоевание русской религиозно-философской мысли конца XIX—начала XX века.

---

* Ср.: «Мерзавцы дразнили меня *необразованною* и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в «Инквизиторе» и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога». И еще: «И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и *не было*. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт» (27; 48, 86. Курсив Достоевского. — *И.В.*).

* *Бердяев Николай.* Миросозерцание Достоевского. Париж,YMCA-PRESS, 1968. С. 7, 9.

Это контуры христианской метафизики **человеческой свободы**, — метафизики, которая в своем видении и понимании мира, его «устройства» и природы человеческой истории как раз и исходит из основополагающей значимости **свободы** человека — сотворенности человека существом со свободой нравственной воли, главным признаком его **богоподобия**. И суть здесь не просто в том, что именно свободная воля и вносит в мировой процесс зло («первородный грех»), а следовательно, и становится его источником. Этот религиозный постулат так же древен, как откровение, а проблема свободной человеческой воли как источника зла — традиционнейшая философская проблема, немало занимавшая, в частности, и метафизику догматического рационализма. Русский религиозно-философский идеализм конца XIX—первой половины XX века сосредоточил главные усилия на вопросе о самом, если можно так выразиться, *качестве и масштабе* человеческой свободы — на возможностях и пределах внесения ею зла в мировой процесс, в развитие человеческой истории. А соответственно — и на возможностях и пределах противодействия и сопротивления *Бога* свободной человеческой воле в ее *злых* устремлениях. И в лице таких крупнейших своих представителей, как Сергей Булгаков, Семен Франк и особенно Николай Бердяев, русский философский Ренессанс далеко ушел от той первоначальной метафизической «гипотезы», посредством которой попытался объяснить «согласие» Бога на бесчинства зла в мировом процессе Владимир Соловьев. Ему представлялось, что, конечно же, акту творения должна была предшествовать некая «игра» Божественной Премудрости, как бы развернувшей перед собою в своем всеведающем «воображении» весь предстоящий мировой процесс. И Бог должен был «убедиться», что сотворенная и «допущенная» в мир свободная воля, способная ко злу (у Соловьева — уже на уровне «Мировой души», которой и «доверено» творить мировой процесс), всё равно не сможет в своем стремлении ко злу превысить силу воздействия Божественных «внушений» Любви и Добра и мировой процесс завершится преображением всего тварного мира и слиянием его с Ним. И потому Бог и дал, так сказать, «добро» бытию...

Но это и есть ведь как раз то самое «добро» Бога сотворенному Им бытию со всем его заранее «запланированным» Богом предстоящим злом, которое Иван и ставит Ему в вину!..

Русская метафизическая мысль рубежа веков, вся вышедшая из Достоевского, как когда-то русская литература — из «Шинели» Гоголя, дерзнула пойти другим путем. Она дерзнула утверждать, что свобода не была бы свободой, если бы ее можно было заранее просчитать. Более того — если бы можно было ей и *противодействовать* каким-либо *внешним* вмешательством в те ее акции, в которых она как свобода способна себя проявлять, раз уж ей дано бытие и, так сказать, действительная *свобода* этого бытия в рамках отпущенных ей земных ее возможностей. Иначе она тоже была бы не свободой, а всего лишь призраком, иллюзией свободы — игрушкой, которой Бог играл бы Сам с Собой, Сам Себя и обманывая.

Но Бог — не кукловод. Он сотворил нас свободными в надежде, желании и ожидании от нас нашей ответной свободной к Нему Любви, самой драгоценной. И потому-то свобода — это нечто куда более серьезное, чтобы даже и внутри земных отпущенных ей пределов ее бытия можно было бы любым Высшим вмешательством вдобавок еще и допускать ее тоже только от каких-нибудь «сих» до каких-нибудь «сих». Знаменитая апория спрашивает: «Может ли Всемогущий Бог создать такой камень, который Сам не в состоянии поднять?» Русская метафизика отвечает: может. И создал. Ибо этот камень — человек с его свободой. Если он действительно свободен, то он именно таков.

Но в мировом процессе, в котором *так* и *такая* действует свобода, и усилия самого Бога по внесению в этот процесс Добра могут осуществляться, следовательно, только через акт *свободного сотрудничества Его с человеком*.Это может быть только акт движения Бога *навстречу* свободной воле человека, если он *сам* устремлен к Нему за Его Благодатной Божественной Помощью, которую он жаждет получить в своем свободном стремлении быть в этом мире проводником Любви и Добра, переделывая и укрепляя свою грешную и слабую природу, искаженную существующим в мире злом, для этого свободного, светлого и страшного в своей ответственности служения. Только через акт *такого — свободного* — обращения человека к Богу за Добром и Любовью и может происходить благодатное вмешательство Бога в мировой процесс, в который «впущена» свободная человеческая воля, всё в нем — через бесчисленное сочленение ее индивидуальных проявлений — в конечном счете и определяющая.

Вот почему точно так же, как акт творения человека Богом может и должен был понят в этой логике мировидения только как акт непредсказуемых даже для Бога последствий, акт, если угодно, риска, — точно так же только непредсказуемым, не имеющим никакого гарантированного финала может и должен быть осознан в этой логике метафизического мировидения и весь дальнейший ход этого процесса. И вот почему вся полнота ответственности за этот процесс, за его исход и за всё зло, которое в нем существует и будет существовать, ложится здесь тоже только на человека. Ведь *единственной* Божественной альтернативой такому, самим же Богом выпущенному в бытие свободному раскладу вещей может быть лишь прекращение всякого бытия свободы *вообще* — «конец» человечества, «изъятие» людей из бытия как свободных существ в принципе — не только тех, чья злая воля переполняет мир страданиями и кровью, но и тех, кто вносит в него добро, любовь и свет, кто устремлен в своем бытии к Богу, уповает на Него и во имя служения Ему и сотрудничества с Ним готов идти на страдания и идет на них. Частичная «ампутация» у свободы только ее способностей творить зло невозможна — с такой ампутацией свобода тотчас же прекращает быть свободой. А как тотальное уничтожение свободной человеческой породы может быть совмещено с тем же требованием Высшей справедливости и безусловной Любви, которое гневно предъявляет Богу Иван Карамазов, ему самому, так любящему

жизнь, следовательно, и решать. Ничего не поделаешь — так устроен мир, вернее — так он *устроился* свободной волей самого человека, которому Бог в своей любви к нему и ожидании от него любви ответной, дал бытие. И единственное, что может сделать здесь Бог, не прекращая этого бытия вообще, — это то, что Он и делает, отдавая Себя всякому, кто действительно к нему устремлен и жаждет любви и спасения от рабства у зла, греха, смерти, вечного небытия...

Конечно, вся эта лишь бегло и в общих чертах воспроизведенная здесь метафизическая логика ставит человеческое сознание перед весьма трудными вопросами. В последнем счете, она уходит своими корнями в глубинную мистическую тайну — почему у зла такая сила в мировом процессе и откуда оно вообще онтологически берется, становясь при этом даже как бы своего рода непременным исходным условием существования и самой человеческой свободы, поскольку она не может реализоваться вне выбора между добром и злом? Недаром черт так издевается над Иваном, заявляя, что сам жаждал бы своего уничтожения, а ему, де, говорят, что без него в мире вообще «ничего не будет» (15; 77). В своих итоговых устремлениях метафизика свободы (особенно у Бердяева) ищет ответы и на эти вопросы, предлагает их, и иные из них *именно в плане рациональной логики* впрямую выводят нас к необходимости очень нелегкого и трезвого осознания всей серьезности той таинственной и грозной мистерии борьбы между Добром и Злом, которая определяет собою реальный ход мирового процесса. И в особенности — всей таинственной и фундаментальной значимости того факта, что Сам Бог должен был сойти на землю, воплотиться, стать человеком и пройти весь крестный путь безвинных и страшных страданий, чтобы открыть людям путь к спасению от вечного небытия и искупить их для этого спасения «от власти ада» (Ос.13;14) и «князя мира сего» (Ин.14;30). Ибо именно дьявол, приготовивший для Христа последнее испытание самой смертью, дабы ужас ее и вонзил в Него, наконец, главное «жало смерти» — «грех» (I Кор.15;56), — именно дьявол и должен был обнаружить, что «не имеет» в Нем «ничего» (Ин.14;30), что дало бы ему право «отказать» в таком искуплении...

Понятно, развертывать здесь всю сложную и многоплановую панораму этой метафизической логики нет никакой возможности. Да и необходимости. Не могла быть, естественно, представлена эта логика во всей своей дискурсивной развернутости и в романе Достоевского, хотя даже в отношении самых таинственных и сложных ее опор есть все основания думать, что и они, похоже, были глубочайше им продуманы. Об этом свидетельствуют и дерзновенные эпатажные выходки черта, дразнящего Ивана своей «необходимостью» (что выдает его, Ивана, собственные же тайные сомнения в оправданности своего бунта), и знаменитый монолог Мити Карамазова о страшной двойственности красоты, о том, как страшно широк человек, постоянно раздираемый между двумя безднами, Божьей и дьяволовой, — о том, что сердце человека — это настоящее «поле битвы», где «дьявол с Богом борется» (14; 100). Да и те постоянные

возвращения в романе к истории Иова, о которых так много говорит В. Шмид, получают в этом контексте совсем иное звучание, чем он в них отыскивает. Он верно подмечает в изложении этой истории Зосимой некоторое усиление, по сравнению с библейским текстом, мотива противостояния Бога и сатаны в споре об Иове (или, как он выражается, «агонально-дуалистическое переосмысление книги Иова»). Но он тут же приспосабливает это наблюдение всё к той же своей idée fixe об авторском «надрыве», утверждая, что здесь именно и виден скрытый след авторского «противосмысла» — скрытое обвинение Бога за то, что Он даже судьбу своего праведника делает предметом сугубо игрового соревновательного спора с сатаной ради чистого, так сказать, самохвальства. Так даже Зосима мобилизуется в невольные союзники Достоевского-«богоборца», и мимо внимания В. Шмида совершенно проходит вся самостоятельная значимость именно самого этого «агонально-дуалистического» акцента. Ведь в контексте той метафизической логики, которая стоит за романом, библейская история Иова потому более всего и может вспоминаться Зосимой с таким мистическим трепетом, что свидетельствует не о каком-нибудь, а именно о *соревновательном*, то есть ведущимся, в сущности, *почти как бы на равных*, споре между Богом и дьяволом из-за человека. Мотив этот, иными словами, приобретает в метафизическом контексте романа совершенно определенный и очень важный смысл, становится, можно сказать, одним из главных концептуальных его звеньев. И не только потому, что фиксирует внимание на всей нешуточности происходящей в мире мистерии борьбы между Добром и Злом, если Сам Бог вынужден спорить с дьяволом чуть ли не на равных. Еще важнее то, что в этой мистерии именно позиция *человека*, именно *его* способность быть верным Богу до конца, именно *его* вера в Него, в Его благость и справедливость (даже когда Иов в отчаянии вопиет к Богу и упрекает Его в несправедливости) приобретают, оказывается, настолько важное значение и для самого Бога, и для дьявола, что именно это и становится главным предметом верховного спора высших мировых сил. Какая уж тут игра, какое самохвальство, когда речь идет о судьбоносных для всего бытия вещах...

Повторяю: та метафизика человеческой свободы, схематический портрет которой набросан выше, никак, конечно, не могла быть представлена в романе Достоевского во всей своей собственно дискурсивной, последовательно-систематической развернутости. Роман — не богословский трактат и не философская монография.

Но неопровержимая его реальность состоит в том, что все предложенные в нем читателю программные для Достоевского религиозные идеи, максимы, убеждения, представления и чувства действительно сопрягаются в нем в некое единое метафизическое целое именно той логикой, которая принадлежит метафизике человеческой свободы. И не могут быть соединены никакой другой. Потому что все эти программные религиозные реалии романа в своем *рациональном, метафизическом* измерении и представляют собою в своей совокупности не что иное, как, в сущности,

совокупность всех основных опорных вех этой метафизики, неразрывно связанных друг с другом и только в этой связи и раскрывающих свое метафизическое содержание.

И это прежде всего и доказывается тем, что главной программной этической максимой романа, настойчиво и постоянно исповедуемой и Алешей, и Зосимой, и Маркелом, и Митей, и Таинственным посетителем, становится именно максима: «всякий человек за всех и за вся виноват».

10. «Вина перед всеми» и «деятельная любовь»

В самом деле — ведь если, согласно исходной «формуле» веры Алеши, Зосимы и Достоевского, Бог никак не может быть архитектором мирового процесса, движущегося к некой конечной гармонии по слезам, крови и страданиям безвинных существ, то единственный ясный и недвусмысленный свой ответ на неизбежно возникающий тут же вопрос, откуда же берется в таком случае в мировом процессе зло и кто за него несет ответственность, роман и дает именно этой максимой.

Человек несет ответственность. Его свободная воля.

Никакого другого смысла эта максима в том неразрывном сопряжении с символом веры Алеши и Зосимы, которое сразу же и придает ей метафизическое измерение, не имеет и иметь не может. Вне этого сопряжения она действительно может восприниматься как всего лишь образно-метафорическая формула некоего нравственного тренинга, помогающего человеку быть добрым и нравственным. Но недаром герои Достоевского так настаивают на *буквальном* ее понимании, на ее *буквальной* истинности. Потому что в пространстве их веры, в неразрывном соединении с первой и главной опорной «точкой» их метафизики — Богом абсолютной Любви, она сразу же обретает всеобъемлющее метафизическое значение. Она сразу же становится совершенно точной, *буквально* точной религиозно-*философской, метафизической* формулой той *безусловной и полной ответственности* человека за всё зло в мировом историческом процессе, на которую его обрекает его *свобода.* Та самая свобода, о которой потому так много и говорится в романе. Особенно в «Великом Инквизиторе». Ведь именно свобода и только свобода и может сделать волю человека, входящую в этот мир и своими действиями полностью определяющую *всё* его состояние и движение, точно так же полностью и ответственной за всё происходящее в мире. А его *злую* волю — *за всех и за вся виноватой,* ибо не будь этой злой воли, не было бы в этом мире и зла. И как человеческая воля вообще подпадает в ситуации свободы под этот неотвратимый закон, так и воля всякого отдельного человека не может его избежать, ибо не вноси она в это мир своего индивидуального зла, уменьшилась бы в мире и та общая его сила, которая действует на всех и на вся.

Перед нами, таким образом, и в самом деле поразительно полная, емкая и точная образная формула самого существа метафизики свободы. Недаром Таинственный посетитель Зосимы, человек умный и в философ-

ских проблемах сведущий, впервые услышав от него эту формулу, говорит ему, пораженный: «...удивительно, как вы вдруг в такой *полноте* могли *сию мысль обнять*» (14; 275). Мысль ведь действительно удивительная, всеобъемлющая, мысль *опорная* для всего метафизического сознания Достоевского, ибо она как раз и показывает, куда перемещен в метафизическом мировидении Достоевского — в отличие от мировидения Ивана — источник появления зла в мировом процессе.

Вот почему вместе с символом веры Алеши и Зосимы в Бога как в бесконечную и безусловную Любовь, не способную быть источником зла, она и образует самое ядро метафизической логики романа.

И вот почему такой настойчивой, постоянным лейтмотивом проходящей через весь роман, становится в «Братьях Карамазовых» тема *деятельной любви.* Не случайно к ней возвращается во всех своих беседах и поучениях старец Зосима, не устающий повторять, как важно каждому сделать именно «*себя* за всё и за всех ответчиком искренне» (14; 290), как важно сознавать и помнить, что «мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил» и что «тот, который совершил злодейство, может быть, не совершил бы его при свете твоем» (14; 292). Это так потому, настаивает Зосима, что хоть дар деятельной любви и «трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок» (14; 290), однако именно «смирение любовное» и есть как раз та «страшная сила, *изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего*». Потому что это сила, которая одна только и может вносить в мир добро, которой одной только и можно мир этот преобразить и «покорить» (14; 289).

Перед нами опять, стало быть, вовсе не какая-то очередная умилительно-благостная «мораль» сентиментального религиозного проповедника, как это представляется В. Шмиду. Перед нами еще одно, иное выражение всё той же всеобъемлющей мысли об ответственности человеческой свободы, что и формула «всякий за всех и за всё виноват». Другими словами, это снова очень трезвая, точная и, в сущности, весьма жесткая *метафизическая* констатация реального положения дел в этом мире, где всё дано, так сказать, «на откуп» свободной человеческой воле. Не случайно же Зосима говорит, что деятельная любовь «есть дело жестокое и устрашающее» (14; 54). Она и вправду такая — жестокая и устрашающая. И не только из-за тех усилий, которых она, в сравнении с «любовью мечтательной» от человека требует. Но прежде всего по неотменимой единственности той *решающей* роли, которую именно ей и приходится играть в определении самих судеб человечества. Ничего опять-таки не поделаешь — так устроил сам человек свое свободное бытие в этом мире, который дан был ему в драгоценное достояние.

Тема «деятельной любви», раскрывая перед нами свое метафизическое содержание в неразрывном соединении с символом веры в Бога, не могущего быть источником зла, и формулой «всякий за всех и за вся виноват», прямо выводит, кстати сказать, и к тому важнейшему «догмату»

метафизики свободы, который гласит, что вхождение Божественного добра в человеческий мировой процесс может происходить только через встречу Бога со свободной человеческой волей, только через сотрудничество с человеком. Об этом — хотя и не только об этом — говорит, в частности, та беседа Зосимы с «маловерной дамой», к которой мы еще вернемся и в которой как раз и утверждается, что именно «деятельная любовь» — это и есть то самое «место», где происходит встреча человека с Богом, идущим навстречу его свободному усилию в добре.

11. Кана Галилейская

Но если это так, если единственный проводник зла в мировой процесс — сам человек, а Бог тут, что называется, ни при чем; если, напротив, все Его усилия на том как раз и сосредоточены, чтобы в сотрудничестве с человеком вывести и его, и весь мир из-под власти трагической обреченности злу, греху и смерти, то что же тогда бунтовать против Него и «почтительнейше» билет Ему возвращать? Ведь в этой ситуации «честному человеку» нелепо и думать, будто кто-то тащит его на аркане в «конечную мировую гармонию», не испрашивая у него на это никакого согласия, и его «честная» нравственность обязана по этому поводу взбунтоваться. При чем тут, действительно, Бог? Разве человек не свободен? И разве не обладает всякий из нас свободным правом присоединиться к неоскудевающим в нашем мире легионам тех, кто свободно, ведая и зная всё, выбрал зло, — тех, как говорит Зосима, страшных и свирепых, проклявших Бога и приобщившихся сатане уже всецело, которым никакая «мировая гармония» не нужна, для которых «ад уже добровольный и ненасытимый»? (14; 293). Разве их кто-то тащит и может затащить в эту мировую гармонию любви?

Но «честная» нравственность, возвращающая Богу свой билет, не имеет никакого нравственного же права и *отказывать* в праве уповать и жаждать «жизни будущаго века» не в добровольном и ненасытимом аду, а в высшей гармонии света, любви, милосердия и прощения тем, кто и *здесь* стремится жить по правде Божией, кто хочет и способен к очищению себя от злой воли, к покаянию и к реальной «деятельной любви». Она, эта «честная» нравственность, не имеет права решать *ни за кого* из них, прощать им кого-то *там* или не прощать, отказывать или не отказывать в любви и милосердии кому-то, кто жаждет этой любви и милосердия, молит о них и был устремлен к ним муками истинного покаяния и хоть малым подвигом «искренней деятельной любви» уже *здесь*.

И уж тем более Иван и те, кто с ним, теряют всякое право винить Бога за то, что Он открывает людям эту возможность «жизни будущаго века», если это не Он виноват в том, что земная жизнь людей столь чудовищно «унавожена» кровью, насилием, всяческим злом и безвинными страданиями. И если эту возможность для людей Он Сам выкупил крестной мукой своих собственных безвинных человеческих страданий, вплоть до самой своей смерти.

Какую, повторим, альтернативу может предложить Богу в этом случае этический бунтовщик, переполненный самым благородным нравственным пафосом и нравственно оскорбленный тем, что такой порядок бытия допущен к бытию? Прекратить это бытие вообще? Но как «честное» нравственное сознание, для себя, может быть, и согласное на такой исход, нравственно управится со своей готовностью решать *за других* — за тех, кто *своим* свободным решением хочет и продолжает все-таки жить для того, чтобы по свободной воле своей, устремленной к Божьей правде, служить этой правде своей «деятельной любовью», помогать Богу спасти от зла, греха и смерти как можно большее число таких же, как они, свободных существ? И для кого вовсе не «безнравственно» поэтому обетование, что для всех, кто свободно жаждет этого и стремится к этому, действительно возможна Гармония вечной жизни и в Царствии Небесном, и в мире Новой Земли и Нового Неба Второго Пришествия Христа?..

За других и даже за Бога всегда ведь решать легче, чем за себя. Потому-то Зосима и говорит, что именно «скидывая свою лень и свое бессилие на людей», непременно и «кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщешь» (14; 290). Другого объяснения злу в этом мире ведь нет — либо ты, либо Бог...

Вот ответ, который дает Достоевский бунту Ивана против Бога, унавозившего мир страданиями ради конечной гармонии. Он дает этот ответ и своей верой в бесконечную Божью Любовь, и неотделимым от этой веры программным утверждением, что «всякий человек за всех и за вся виноват», и выражающим ту же мысль об ответственности человеческой свободы категорическим императивом «деятельной любви».

Это, конечно же, ответ Достоевского и самому себе — тем собственным своим сомнениям и бунтам, через которые он прошел, от которых поднялся-таки к своей убежденной и страстной «осанне» и которые, конечно же, он потому только и решился впервые в своей жизни с такой силой выразить через Ивана, что победил их и дал им свой ответ. И, конечно же, именно потому, что он прошел этот путь и выстрадал свою «осанну», его гениальное художественное воображение и озарило его тем вдохновенным образом-символом, одним из самых у него поразительных, который как бы вобрал в себя, сгустил в себе и всё упование его веры, и весь высший смысл, всю живую правду его метафизического мировидения.

Это — знаменитая «Кана Галилейская» — та глава романа, где Алеша возвращается в келью умершего Зосимы от Грушеньки, которая, сердцем поняв его состояние после страшного искушения «тлетворным духом», сумела «подать» ему «луковку» любви и сострадания. И вот Алеша в келье у гроба — он стоит на коленях, молится и незаметно задремывает, слушая чтение отцом Паисием Евангелия от Иоанна, той его главы, где рассказывается о первом чуде Христа, пришедшего на землю для «великого страшного подвига своего», — чуде, совершенном Им в Кане Галилейской, на свадьбе, куда был Он зван и куда пришел вместе с Матерью своей и учениками, чтобы разделить нехитрую людскую радость... И вот мнится

Алеше, будто комната вдруг как бы раздвигается, и он видит пиршественный свадебный стол, и множество гостей за ним, и среди них... «Как? ... И он здесь? Да ведь он во гробе...», — а старец уже встает из-за стола, и идет к нему, и Алеша слышит над собой тихий его голос: «Тоже, милый, тоже зван, зван и призван [...] Зачем сюда схоронился, что не видать тебя... пойдем и ты к нам [...] Веселимся, пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь сколько гостей? [...] Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его? — «Боюсь, не смею глядеть...» — шепчет Алеша. — «Не бойся Его. Страшен величием перед нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, и новых беспрерывно зовет и уже на веки веков»... (14; 327).

Вот он, тот финал, та «мировая гармония» *Достоевского*, которую он выставляет против «мировой гармонии» *Ивана* — ведь, наверное, она, эта Иванова «мировая гармония» и для него, как и для его героя, была бы точно так же неприемлема, верь он в нее. Вот Он, Бог Достоевского, — не тот Бог, который приглашает Ивана насладиться «осанным» финалом мирового процесса, устроенным Им на страданиях замученных деток, и которому Иван, будь Он таким, и вправду должен был бы вернуть свой билет. Это Бог милостивый *бесконечно*, нам, людям, из *любви уподобившийся* и ради нас совершивший *великий и страшный подвиг* Свой, — Бог, который, глядя со Своего престола в «Кане Галилейской» на нас, людей, и на нашу земную жизнь, устраиваемую нашей свободной волей, обращается всё время к нам только одним-единственным актом Своей воли — *беспрерывно зовет* к Себе, за пиршественный Свой стол, *всё новых и новых гостей* — тех, кто жаждет встречи с Ним и находит ее в тот момент, когда подает кому-то хотя бы «луковку» своей деятельной любви.

А вот — и те, кого видит Алеша в своем чудном сне сидящими вместе с Ним за этим столом, — здесь нет *свирепых* и *страшных*, сюда никто их насильно не тащил на аркане *не их* решения, никто не насиловал их свободную волю, имевшую полную возможность вполне вменяемо определиться и определившуюся там, на земле. Здесь только те, для кого безвинные детские страдания так же непереносимы, как и для Ивана, и кто хоть малой «луковкой» такой же свободной своей воли старался реально, деятельно уменьшить хотя бы свою долю мирового зла, созидающего наш жестокий человеческий мир. И их, видит Алеша, — множество, их целая «веселая толпа» вокруг стола. «Видишь сколько гостей?» — радостно указывает ему на них старец, и это тоже ответ Ивану, который устами своего Великого Инквизитора бросает Христу обвинение, что Он пришел со своей проповедью свободы лишь для немногих избранных, «великих и сильных», а «десяткам тысяч миллионов» обычных «существ», слабых «бунтовщиков», бремя ее непосильно и, значит, «не для таких гусей» (14; 231, 238) и будущее спасение, и Его гармония...

Толпа гостей «Каны Галилейской» — это тот же ответ Ивану, каким отвечает ему и *весь роман* — отвечает и Зосимой, и Маркелом, и Таинственным посетителем, и отцом Паисием, и Алешей, и его мальчиками, и Митей, и Грушенькой, и верующими бабами, и даже «маловерной дамой», матерью «бесенка» Лизы, и самой Лизой. Все эти «существа» очень разные, обычные и выдающиеся, те, кто уже владеет своей волей, и те, кто всё еще раздираем страстями и всё еще путешествует «вверх пятами» в бездны своих соблазнов, но все-таки и из этих бездн уже начинает свой путь к Богу, уже пытается из них выкарабкиваться, уже поет Ему гимн даже из самой глубины своего «позора», сознавая этот позор и мучась им. Ведь и там, за Его столом, «многие [...] только по луковке подали, по одной только маленькой луковке», ибо «что наши дела», если их мерить перед Богом, отдавшим за нас жизнь, не милостью Его, а мерой нашей жертвы в сравнении с *Его* жертвой?.. Важна ведь именно сама *направленность* — «искренняя», как говорит Зосима, направленность — нашей свободной и деятельной человеческой воли, и вот почему если воля эта уже начала деятельно подавать свои «луковки» *любви*, то это и значит, что ее встреча с Богом уже произошла и путь к Нему для нее уже открыт...

Всё это — вовсе не «мораль», не абстрактное умозрение, а живой мир живой жизни романа. Всё это — сами герои романа, их живые судьбы, которые именно своей неопровержимой жизненной реальностью и опровергают безнадежно-мрачный приговор, выносимый Великим Инквизитором человечеству как племени слабосильных бунтовщиков, не способных вынести свою свободу. Всей мощью своей художественной правды, всей живой несомненностью своих героев роман утверждает обратное: человек *способен* к деятельному добру и любви, ему *открыто* это пространство его свободной воли, в котором он может начинать свой путь к Богу — пусть поначалу даже и с самых малых «луковок». Но — не устрашаясь того, что дело это и вправду жестокое и устрашающее, а помня об этом и в самой устрашающей полноте своей ответственности за весь мир встречая непрестанно и неизменно непрестанную и неизменную помощь и любовь Бога.

Можно не верить в этом Достоевскому. Можно считать, что он никого не в состоянии убедить этой своей «богоревнительностью», и констатировать, что лично вас, например, он именно и не убеждает. Но *не прочесть* это ясное и недвусмысленное его «послание», не услышать его внятный смысл, не осознать весь объем даже и собственно *рационального* метафизического его содержания?..

12. Живая жизнь веры

Что ж, пришла пора подвести некоторые итоги нашим усилиям, которые до сих по преимуществу и были направлены на то, чтобы попытаться воссоздать именно «рациональную» логику той метафизической картины мира, которая встает за верой Алеши и Зосимы.

Мы видели, что такая картина, единая и цельная, действительно перед нами в романе возникает. И что ее контуры — это, несомненно, контуры христианской метафизики человеческой свободы, ибо только логикой этой метафизики, и никакой другой, связываются в цельное, внутри себя непротиворечивое концептуальное единство все основные опорные вехи их веры, все программные религиозные формулы романа.

В свою очередь и они в этой и только в этой взаимосвязи обозначают свое место в метафизическом мире Достоевского. Мы видели это и в отношении формулы отказа Алеши и самого Достоевского представить себя архитекторами мировой гармонии на слезах и страданиях замученных, и в отношении этической максимы «всякий за всех и за вся виноват», признающей именно за свободной человеческой волей полную ответственность за мировое зло. Мы видели это, наконец, и в отношении одной из самых главных, стержневых тем романа — темы «деятельной любви», которая утверждает тот же принцип ответственности человека за содержание мирового процесса.

Но только в этой же общей метафизической взаимосвязи получают свое объяснение и раскрывают свой действительный смысл и все остальные религиозные мотивы, темы и образы романа. Здесь нет возможности останавливаться на этом подробнее, но напомню хотя бы некоторые, важнейшие — те, на которых, кстати, опять-таки спотыкается В. Шмид.

Так, он упорно пытается зачислить по разряду традиционной «космодицеи», якобы противопоставленной в романе Иванову трагическому видению мира со всем его злом и страданиями, ту хвалу Божьему миру, которая раздается из уст старшего брата Зосимы Маркела, Таинственного посетителя и самого Зосимы. В. Шмид рискует даже предположить, что имей Зосима философское образование, он скорее всего с восторгом принял бы теодицею Лейбница, построенную на утверждении, что наш мир — лучший из миров, ибо даже зло служит здесь для увеличения степеней его совершенства и иерархии этих степеней. И это говорится о Зосиме, имеющем в виду всё время лишь красоту и совершенство Божьего природного мира, где «всё, кроме человека, безгрешно» и один лишь человек «живет в позоре», «бесчестит» его «Божию славу», «гноит землю своим появлением на ней» и «след свой гнойный оставляет после себя» — «увы, почти всяк из нас!» (14; 263, 268, 289)... Да разве и Иван, в свою очередь, отрицает красоту клейких зеленых весенних листочков и голубого неба? Перед нами тема, опять совершенно прямо вписывающаяся во всё ту же развертываемую в романе метафизическую картину мира, где одна только человеческая свободная воля и вступает в противоречие с прямой Божьей волей, запечатленной в безгрешности и совершенстве дарованного человеку природного космоса.

Но точно так же обстоит дело и с упомянутым выше парадоксом тех наставлений, которые обращает Зосима к безутешной матери, когда говорит ей, что и не должно быть у нее утешения, и в то же время обещает, что Бог непременно даст ей постепенно и утешение. Этот парадокс перестает быть парадоксом опять ведь только в логике всё той же ме-

тафизической картины мира, где никакое примирение с земным злом этически недопустимо и страдание от него может и должно быть неутешным, но в то же время человек может в самом этом неутешном страдании находить утешение, если он живет «соприкосновением мирам иным» — надеждой на милосердие и любовь Божию в таинственной перспективе продолжения нашей жизни и жизни наших близких у Его престола.

Да ведь даже и та как будто бы наивная, снисходительно упоминаемая В. Шмидом вера Зосимы и Маркела, что возможен рай и на земле, — это тоже всего лишь другая сторона и иное выражение всё той же убежденности Достоевского в том, что вся полнота ответственности за всё происходящее на земле ложится именно на свободную волю человека. Ведь если бы действительно все, как говорит Зосима, «поняли», что только от них всё и зависит, и стали жить только в любви друг к другу, разве не наступил бы тотчас рай и на земле? И было бы странно и нелепо, если бы святой старец, для которого святая жизнь в любви — не что-то мечтательное, а живая реальность повседневной жизни его собственной души, не считал, что такое доступно и всем другим людям. И от всего верующего своего сердца не призывал бы их восторженно к этому, не выставлял перед ними этот высший земной идеал и не верил в возможность его осуществления с Божьей помощью...

Так всё сливается в метафизическом измерении романа в единую, строгую и цельную художественно-философскую картину мира, как бы скрепляющую изнутри воедино всё его «внешнее» образно-событийное наполнение. Вот почему мы и вправе утверждать, что на «рациональную критику» Бога Иваном в романе действительно дан — вопреки всем разуверениям В. Шмида и его единомышленников — вполне «рациональный» же, в сущности, ответ. Причем совершенно ясный и недвусмысленный. Только дан он, говоря словами самого же Достоевского, не «прямо», «не по пунктам», то есть не посредством какого-либо прямого дискурсивного «диспута» с инвективами Ивана, а иным путем. Он дан *цельным* противопоставлением Иванову метафизическому видению и пониманию мира той метафизической картины мира, которая встает за верой Зосимы и Алеши — за всем тем, во что они веруют, и за тем, как они веруют.

Но ведь тем самым ответ этот дан даже как раз и «по пунктам», хотя, повторяю, это и не «пункты» последовательно-дискурсивного *разбора* логики Ивана. Зато это все те основные «пункты» Ивановых метафизических постулатов и вытекающих из них обвинений, которым и адресована метафизическая логика Алеши и Зосимы. Ведь она тоже имеет, как мы видели, свои опорные вехи и узлы, свои опорные «пункты», и они-то как раз впрямую и соотносятся с опорными вехами и узлами Ивановой метафизики. Так что, по сути, ответ вполне как раз даже и *прямой*.

И вот тут мы сталкиваемся с новой загадкой. Во всяком случае, *непредвзятый читатель*, не сумевший найти в романе вообще никакого «рационального опровержения критики Бога Иваном», вряд ли избавится от своих претензий, даже и признав, что такой «рациональный» ответ

Ивану роман всё же в себе содержит. Напротив, это приведет его, пожалуй, в еще большее недоумение.

Действительно: ведь если, как обнаруживается, Достоевский оказался вполне в состоянии ответить метафизической логике Ивана столь же определенной логикой противоположного метафизического мировидения Алеши и Зосимы, то что же, спрашивается, мешало ему в таком случае ответить Ивану и более прямым, дискурсивным разбором его инвектив? Почему он предпочел хотя вроде бы и «прямой» (*по сути*), но все-таки именно «не прямо прямой» ответ Иванову бунту? Почему он не предоставил, например, возможность Алеше или Зосиме действительно *впрямую* «поопровергать» метафизические построения Ивана иной метафизической логикой? Что, — разве Алеша и особенно Зосима, среди записанных Алешей бесед и поучений которого мы находим такое поразительное по мысли чисто метафизическое «рассуждение» о том, что такое ад, не способны были бы поразмышлять о том метафизическом видении и понимании мира, в сущности, традиционном, на котором основывает Иван свой бунт? Что, — они совсем уж так не владеют логикой?

Что ж, в определенном резоне таким вопросам и недоумениям не откажешь. И, надо думать, Достоевский вполне отдавал себе в этом отчет, если сам же предупреждал, как бы предвидя эти вопросы и недоумения, что ответ Ивану будет лишь «косвенный», не «по пунктам».

И все-таки, как видим, даже и предчувствуя все эти недоумения, он предпочитает почему-то отвечать именно так, «косвенно», и явно не хочет противопоставить Ивановой логике дискурсивную же логику прямого ее обсуждения. Он явно предпочитает почему-то ответить Ивану именно *цельным* образом метафизического мировидения Зосимы и Алеши, который вырисовывается из всей совокупности их религиозных верований и принципов и логика которого хотя и очевидна, хотя и внятна при сколько-нибудь внимательном и вдумчивом метафизическом их прочтении, но тем не менее не развернута, а представлена в этой совокупности верований Алеши и Зосимы лишь имплицитно.

Мало того, — обратим внимание, что он и вообще ведь не делает никакого специального акцента на метафизическом мировидении Алеши и Зосимы как на собственно *мировоззренческой*, «рациональной» стороне их восприятия мира. Не случайно оно и представлено в романе вовсе не с этой стороны, то есть даже не как собственно метафизика, а «спрятано» в совокупность сугубо *религиозных* представлений, состояний, чувств, убеждений его героев — их религиозных *верований*, выраженных в соответствующих программных максимах и «формулах» романа. Это *мы*, читатели, по характеру и рисунку этих верований, можем воссоздать контуры того мировидения, которое встает за ними, когда мы придаем им метафизическое измерение. Мы можем даже обозначить их и в *рациональной* форме — дабы соотнести их с рациональными же контурами Ивановой метафизики. Но для Зосимы и Алеши их мировидение, выраженное в «формулах» их верований, — вовсе не сама по себе метафизика, не логика.

Для Зосимы и Алеши их метафизическое мировидение — это *сама их живая вера*. И вот именно так — как живая вера в бесконечную любовь Бога и в полноту человеческой ответственности за всё в мире происходящее, а не как совокупность тех или других «рассуждений» Алеши и Зосимы, их умозрений и логически выстроенных метафизических конструкций, — оно, это мировидение, в романе и представлено.

Мало и этого, — ведь если говорить о романе в целом, то как ни важны все те прямые религиозные «формулы» близких Достоевскому героев, через которые, сопоставляя их, мы ближайшим образом проникаем в логику их метафизического мировидения, однако приходится признать, что совсем не одним только им доверено представлять в романе это мировидение. И даже в гораздо большей мере как раз не им, хотя, конечно, именно им — в первую очередь. Ведь Алеша, Зосима и другие близкие им герои заняты в романе вовсе не тем только, чтобы декларировать свои религиозно-этические верования и «формулировать» их. Они прежде всего *непосредственно живут* в романе согласно этим своим верованиям и убеждениям. А потому и метафизическое мировидение их представлено в романе более всего именно самой этой непосредственной их жизнью в своей вере — самой реальной жизнью их веры в непосредственном романном движении их характеров и судеб — в их поступках, решениях, состояниях, переживаниях, в их общении с другими и во внутренних «разборках» с самими собой. Другими словами, оно более всего представлено в романе такими его реалиями, как та же, к примеру, «луковка» Грушеньки или «Кана Галилейская» Алеши и Зосимы. Она представлена «гимном» Мити и его мучительной жаждой что-то сделать, чтобы не плакало больше «дитё», верующими бабами, пришедшими к Зосиме за утешением и поддержкой, и тяжким покаянием Таинственного посетителя, освободившим его душу для Бога, надрывом капитана Снегирева и клятвой мальчиков у Илюшечкиного камня, радостным умилением умирающего Маркела перед красотой Божьего безгрешного мира и той поразительной сценой, когда Алеша, только что переживший чудо Каны Галилейской у гроба Зосимы, выходит, потрясенный, из монастыря и видит над собой широко, необозримо опрокинувшийся небесный купол, полный тихих сияющих звезд, и белые башни и золотые главы собора сверкают на яхонтовом небе, и свежая, тихая до неподвижности ночь, облегающая землю, обступает его со всех сторон, как бы сливая тишину земную с небесною, тайну земную — со звездною, и он вдруг падает, как подкошенный, на землю и, сам не зная для чего, сам не отдавая себе в этом отчета, начинает обнимать ее, плача и целуя ее, и, рыдая и обливая ее своими слезами, исступленно клянется «любить ее, любить ее во веки веков»... «Никогда, никогда не смог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты» — «Кто-то посетил мою душу в тот час», — говорил он потом с твердой верой в свои слова» (14; 328)...

Вот этот заполняющий весь роман мир живых образов, рассказывающих нам о той реальной, непосредственной жизни в вере, какой живут и

Алеша, и Зосима, и другие близкие им по духу герои романа, и есть та *главная, основная* сфера внутреннего мира этих героев, через которую мы более всего вступаем в прямой «контакт» и с их «метафизикой». И это и не может быть иначе, поскольку применительно к образам этих героев изображение их веры именно *во всей ее целостности*, во всей совокупности и ее программных «формул», и их живого воплощения в самой жизни героев, и было, конечно, как свидетельствует об этом сам роман, его реальная «конструкция», *главной художнической задачей Достоевского.*

Но если это так, то это значит, что и в том ответе Ивану, который должна была дать вера Зосимы и Алеши, решающая «ставка» делалась Достоевским вовсе не на одну лишь и тем более не на саму по себе «рациональную» метафизическую «проекцию» этой их веры, способную стать логической контраверзой метафизической логике Ивана. Ставка делалась прежде всего на **целостный образ** их веры. Или, как выражается Достоевский, — на *«художественную картину»* этой веры. То есть именно на тот ответ, который он и имел в виду, говоря, что ответ этот будет «косвенный».

Но если и это так, если Достоевский, который вполне мог бы, как мы видели, представить читателю метафизическую логику Алеши и Зосимы, противостоящую логике Ивана, и в более развернутом «рациональном» выражении, сделал ставку все-таки на ответ именно *«косвенный»*, то это значит, что на это у него тоже был, надо думать, какой-то свой и очень серьезный резон.

Какой же?

13. В метафизический мир со своим уставом не ходят

Здесь, однако, нам снова придется вернуться ненадолго к Канту.

Дело в том, что еще Кант, совершивший своим критическим исследованием «прав» нашего земного «чистого разума» подлинный переворот в философии, убедительно продемонстрировал, что подлинно «доказательная», «научная» метафизика — это, в сущности, полный нонсенс. В «неэвклидовой», метафизической области мысли никакой безусловной логической доказательности никаких метафизических конструкций просто не может быть. Ибо точно так же, как «голым понятиям рассудка» не предоставлено права выносить приговор, красив ли данный предмет или нет, — точно так же не предоставлено человеческому разуму и права принимать в сфере метафизики, обращенной к трансцендентному («неэвклидову») миру, какие-либо окончательные решения и выносить об «объектах» этого мира какие-либо окончательные — «доказательные» — суждения. Например — есть Бог или нет. В чисто рациональном плане мы всегда будем и можем иметь здесь дело только с антиномичными «гипотезами». Так что большая или меньшая, на чей-то взгляд, вероятностная убедительность какой-то из них еще не означает ее способности быть действительно доказательным основанием для какого-либо *безуслов-*

ного метафизического утверждения, равнозначного по своей безусловности утверждениям веры. Потому что в метафизическом мире лишь утверждения веры не выступают в ранге «гипотез», хотя в чисто рациональном измерении и остаются лишь «гипотезами». Это парадокс, но это так, ибо в пространстве веры вообще нет места «гипотезам». Раз «гипотеза», то уже, стало быть, и не вера.

Но ведь если ситуация с метафизическими утверждениями именно такова, то это значит, что и «богоотступник» Иван отвергает Бога (или отрицает Его) на самом деле тоже чисто экзистенциальным, в сущности, актом. Он отвергает Его актом *неверия*, то есть, другими словами, актом *отрицательной веры* (каким всегда и является неверие, так же не доказуемое, как и вера), а вовсе не потому, что влечется к этому неотразимой логикой, опирающейся на якобы аксиоматически очевидное (и тем безусловно доказательное) основание: Бог полностью ответствен за созданный им мир со всем его добром и злом, следовательно... и т.д.

Ничего не «следовательно», ибо метафизических моделей, которые могли бы служить действительно неопровержимо доказательным основанием для логических выводов, именно и не существует. Вообще.

И это, кстати, отлично сознает и сам Иван, — то, что его метафизика — всего лишь «гипотеза». Недаром, как уже упоминалось, он категорически отказывается решать такие вопросы, есть Бог или нет, — это, говорит он, эвклидовскому разуму не под силу, тут одни только «гипотезы». Вот почему образ несправедливого Бога, которому он возвращает билет, — это лишь одно из тех *двух предположений*, которые могут, с его точки зрения, как-то объяснить наличие в мире безвинных страданий. И потому-то вся логика его бунта против этого бесчеловечного Бога и может быть выражена лишь условной формулой: «если принять существование Бога, то вот что получается. А потому...» и т.д. И по этой же причине и неверие его, соответствующее второму возможному, с его точки зрения, объяснению мирового зла (*либо Бог бесчеловечен, либо его вовсе нет*), тоже не может быть окончательным и твердым. Оттого он и жаждет верить, оттого и колеблется всё время между неверием и верой, и недаром Зосима говорит, что если вопрос о существовании Бога не разрешится в его сердце в положительную сторону, то никогда не разрешится и в отрицательную. И он прав в этом своем предсказании не только потому, что таково «свойство» высшего сердца Ивана, взыскующего абсолютных этических ценностей, но прежде всего потому, что небытие Бога всё равно останется для эвклидовского разума, главного руководителя на пути к неверию, всегда лишь метафизической гипотезой, которую никогда нельзя *доказать*.

Вот почему опять-таки для Ивана, как и для всякого человека, никогда и не закрыта возможность веры. Ибо это возможность, которая и для него, и для любого другого была бы исключена только в том случае, если бы человеческий разум действительно располагал логически неопровержимыми доказательства небытия Божия или Его этической несостоятельности.

Но Иван не верует не потому, что такие доказательства существуют и он, нашедший их, подчиняется, так сказать, их неодолимому диктату. Он не верует потому, что чего-то в нем самом явно не хватает ему для веры — чего-то такого, чего не в состоянии дать ему никакие логические построения.

Что же не хватает Ивану для веры?

Это, кстати, хороший вопрос, чтобы и вообще послужить нам в дальнейшем нашем сопоставлении бунта Ивана и веры Зосимы и Алеши своего рода путеводительным ориентиром. Во всяком случае, он вполне может помочь нам понять, почему же все-таки Достоевский решил отвечать Ивану именно цельной «художественной картиной» веры близких ему героев, а не пошел по «прямому» рациональному пути «прямого» с ним «диспута».

14. И в мир Достоевского — тоже

Ответ здесь, в сущности, очень прост. Хотя, может быть, и много неожиданнее для тех, кто вместе с В. Шмидом уверен, что Достоевский предпочел этот путь вовсе не от хорошей, так сказать, жизни, а «сознавая», что Иванова «рациональная критика Бога не поддается опровержению» — настолько она неотразима. Потому, де, и пришлось ему довольствоваться вместо ответной логики разного рода «прагматической» и «эстетической» аргументацией. И вообще — «художественными картинками»...

Но, господа, логика подобного рода объяснений, ожиданий и претензий — это и есть ведь как раз типичная логика того способа мышления, которому уже более двухсот лет назад Кант вынес свой абсолютно безоговорочный приговор, с тех пор никем и никогда еще не опровергнутый. Это, увы, характерные мыслительные привычки даже и не какого-то «чистого» рационализма «вообще» — это уровень и характер рационализма именно еще докантовского, архаичного — рационализма того «докритического» толка, которому как раз и свойственна была наивная догматическая уверенность в том, что даже в области метафизических реалий не может быть ничего окончательнее и убедительнее верховных логических вердиктов «чистого разума».

Но отправляться в метафизические миры Достоевского, всё еще не проснувшись от догматического сна докантовского рационализма, — дело безнадежное. Трудно, правда, сказать, какая доля вины за неудачу такого рода путешествий и в этом случае падает на гений всё того же enfant terrible философии XVIII века, хотя есть много данных, свидетельствующих о том, что великий переворот в философии, совершенный Кантом, не прошел мимо весьма пристального внимания Достоевского*. Некоторые из уже упоминавшихся мыслительных конструкций Ивана, решившего «никогда не думать» о том, «что не от мира сего», потому что там одни «гипотезы» (14; 214), могут служить тому очень хорошим подтверждением.

---

* См. об этом: *Голосовкер Я.Э.* Достоевский и Кант. М., 1963.

Но так или иначе, виноват ли здесь и Кант, или исключительно сила собственного философского гения Достоевского, — всё равно адекватно понять и оценить метафизический мир Достоевского, мир его метафизического интеллекта, мир тех решений, ожиданий, запросов и предпочтений, которые движут его мыслью в «неэвклидовском» пространстве метафизических проблем, можно только на уровне кантовской критики «чистого разума». Потому что это мир, который и располагается именно на ее уровне, который, в сущности, конгениален ей. А одним из подтверждений этому как раз и может служить тот факт, что выстроившая этот мир художественно-философская логика Достоевского так и не поддалась соблазну ответить на «рациональную критику» Бога Иваном посредством ее «опровержения», которое устроило бы разве лишь слепой и самодовольный в своей слепоте рационалистический рассудок. Ведь предоставь Достоевский возможность Алеше или Зосиме поспорить с Иваном «по пунктам» и все свои усилия сосредоточить именно на том, чтобы связно и логично продемонстрировать ему возможность совсем иного, чем у него, и притом логически ничуть не менее убедительного способа видеть и понимать мир, как это сразу же перевело бы их спор в область чисто умозрительного сопоставления таких же чисто умозрительных, в сущности, метафизических «гипотез». И задача действительного противостояния той мощной жизненной установке Ивана, в которую вложена вся страсть его экзистенциального «Я здесь стою и не могу иначе», сразу же была бы начисто провалена бесплодьем того «умственного тупика», в который неминуемо заходит всякий такого рода умозрительный метафизический спор, привлекательный разве лишь для догматики докантовского рационализма.

Но Достоевский давно уже, еще до «Братьев Карамазовых», понял, осознал, усвоил всем тяжким опытом своей души, выстрадавшей свою «осанну» в мучительнейшем «горниле сомнений», что в тех последних вопросах, которые могут решаться только верой («положительной» или «отрицательной»), нелепо и бессмысленно пытаться «опровергать» чье-либо неверие, противостоять каким-либо религиозным сомнениям или жизненным решениям логически, рациональными аргументами и доводами, сколь бы убедительны они ни были. Ибо они никак не обладают и не могут обладать в этой сфере той безусловной «доказательностью», которой только и могло бы принадлежать здесь последнее слово.

Конечно, из этого вовсе не следует, что аргументы и логика такого рода вообще для Достоевского не имели серьезного значения. И мы уже убедились в этом. Да, в его ответе Ивану рациональная сторона не была специально акцентирована, не была выведена, так сказать, на первый план. Но ведь за отчетливым и строгим сопряжением основных религиозных «формул» романа в то сложное, но столь же отчетливое концептуальное метафизическое единство, каким являет нам себя мировидение Зосимы и Алеши, выраженное в их вере, почти осязаемо проступает такая глубочайшая продуманность, такая громадная работа метафизической мысли Достоевского, что это уже и само по себе может служить высшим

подтверждением тому, какое значение придавал Достоевский такой работе. Я не беру уж сам масштаб этой мысли — недаром же, как уже говорилось, Достоевский стал, в сущности, духовным отцом русского религиозно-философского Ренессанса конца XIX—начала XX века, а та христианская метафизика свободы, в разработку которой так много вложили и С. Булгаков, и Д. Мережковский, и особенно Н. Бердяев, была создана ими в огромной степени именно под влиянием его творчества, где и были впервые рождены и, как мы видели, отчетливо явлены в живых художественно-философских символах ее основные, опорные идеи. Н. Бердяев действительно имел право назвать Достоевского «величайшим русским метафизиком», — и как великий метафизик он и не мог не понимать, что если никакая вера (как и неверие) не берется рациональным путем, то из этого вовсе еще не следует, что в рациональном плане и то, и другое может падать просто с потолка. И если никакая метафизическая «гипотеза» (из тех, что всегда стоит за любой верой и неверием) не обладает правом окончательного голоса в экзистенциальном акте веры или неверия, то это еще не значит, что те из этих «гипотез», которые выглядят наиболее убедительными и вероятными, не могут быть весьма серьезным «аргументом», способным «склонять», как говорит Достоевский, к вере или неверию, подталкивать человека к принятию соответствующего экзистенциального решения. А уж если говорить об аргументах Ивана, о том неотразимом вопросе об истоках зла в мировом процессе, к непременному ответу на который обязывала именно «сила» его «атеистических выражений», то весомость всей этой «рациональности» была и в самом деле слишком велика, чтобы можно было не придавать важности тому, насколько убедительны или не убедительны те или иные метафизические «гипотезы» и «аргументы».

И всё же, повторяю, Достоевский столь же хорошо понимал и то, что не им, этим «аргументам», принадлежит в делах веры и неверия последнее слово. И поэтому его решение противопоставить Иванову неверию именно самое *веру* Алеши и Зосимы во всей целостности ее «состава», а не одну лишь рациональную ее проекцию для «чистого разума», и было решением поистине гениальным. И художественно, и философски.

Художественно — потому, что живому образу Иванова неверия, его экзистенциальной мощи мог на равных противостоять тоже лишь неотразимый в своей художественной достоверности образ веры близких Достоевскому героев, экзистенциальная сила, живое биение этой их веры.

А философски — потому, что именно у веры и есть как раз во всяком споре с неверием («отрицательной верой») такой «аргумент», какого у неверия нет и не может быть. И именно этот аргумент в их споре всегда и может дать вере безусловное преимущество над неверием, хотя это и не значит, что такой спор способен обратить неверие в веру.

Но зато он способен доказать истину слов Зосимы, сказанных Ивану, — о том, что если вопрос о существовании Бога не разрешится в его сердце в положительную сторону, то никогда не разрешится и в отрицательную.

Почему *никогда* в отрицательную — об этом уже говорилось.

А вот почему в положительную все-таки *может* — это и есть тот главный «аргумент», который Достоевский, знающий (как показывает вердикт Зосимы) ответ на это «почему», выставляет в своем романе против неверия Ивана и против своих былых сомнений. Ибо только этим «доводом» они и могут быть преодолены. И которым они и были преодолены.

15. «Это испытано, это точно»

И вот здесь мы снова должны обратиться к тем словам старца Зосимы из его беседы с «маловерной дамой», о которых я уже не раз упоминал, но ни разу еще не цитировал.

Вот они, эти слова, которые произносит он в ответ на искренние, хотя и несколько истеричные, а в этой истеричности не лишенные и позы жалобы маловерной дамы на то, что она страдает неверием в будущую жизнь, что мысль о будущей жизни волнует ее до страдания, что ей ужасно думать, что вот «умру, и вдруг ничего нет, и только «вырастет лопух на могиле», как прочитала я у одного писателя. Это ужасно! Чем, чем возвратить веру? [...] Чем же доказать, чем убедиться? [...] Это убийственно, убийственно!»

И Зосима отвечает ей:

«— Без сомнения убийственно. *Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно.*

— Как? Чем?

— *Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу. Это испытано, это точно*» (14; 52).

Вот он, этот главный «аргумент», который вера Зосимы и Алеши может выставить неверию Ивана. Потому что, в отличие от неверия, у веры совсем другой источник, хотя и вера, и неверие («отрицательная вера») всегда носят экзистенциальный характер. Неверие действительно питается обычно прежде всего той реальной картиной мира с его злом и страданиями, которая столь знакома нашему человеческому взгляду. И — рациональной логикой того типа, которую развертывает перед нами Иван, не видящий никакой возможности совместить эту картину с метафизической «идеей» (как сказал бы Кант) Всевышнего Всеблагого Существа. Именно эта картина и эта логика и подталкивают обычно наше сознание к тому, чтобы принять вытекающую отсюда хоть и недоказуемую, но такую убеждающую «модель» мира за окончательную — исходную для жизни. Так повелевает, де, трезвый разум.

Но религиозная вера рождается вовсе не усилием человека принять в качестве «окончательной» для себя иную, противоположную, *религиозно-*

метафизическую модель мира, сколь бы убедительно ни была она выстроена теоретическим разумом. Вера — не логический вывод из такого рода убедительности, хотя и может на нее опираться. Она была бы мертва, не будь она основана на том непосредственном, *живом опыте жизни в Боге и с Богом*, который и есть ее истинный источник, постоянно ее питающий.

Вот этот живой опыт, этот постоянно питающий ее живой источник и есть тот главный и высший ее «довод», который сверх всех своих метафизических «доводов» и «соображений» она всегда может предъявить неверию в своем споре с ним и на который неверию *нечем ответить*. Это то, чего у него самого нет, чего ему всегда *нехватает*. И на что поэтому она и может как раз указать ему всегда в ответ на любые *его* доводы. Ты не веришь в существование Бога? Но я не могу здесь помочь тебе никакими доказательствами. Потому что *доказать* здесь действительно ничего невозможно. Зато *убедиться* в существовании Бога — возможно. И убедиться неопровержимо. *И об этом я тебе и свидетельствую всем своим собственным живым опытом. Это испытано, это точно.*

Вот это свидетельство и выставляет в романе вера Зосимы и Алеши против неверия Ивана как главный свой «аргумент». Это свидетельство веры, которая тем и отличается от неверия, что хотя и не может никому *доказать* существование Бога, но зато открывает возможность *убедиться* в нем, приглашая испытать свой живой опыт. Неверие же ни *доказать* небытие Бога не может, ни *убедиться* в Его небытии. В его опыте такой возможности нет и не может быть. Потому что Бог — *есть*, а Его небытия — *нет*. И в этом как раз и можно убедиться — через Его бытие, то есть через живую встречу с Ним в живом опыте веры.

О чем и свидетельствует Зосима, давая свой совет «маловерной даме», как ей победить свое неверие.

Но и это еще не всё. Потому что вера Зосимы и Алеши выставляет в романе против неверия Ивана свой опыт деятельной любви отнюдь не только как опыт, позволяющий убедиться в самом по себе существовании Бога, открывающегося нам в этом акте. Ведь по всему своему характеру опыт деятельной любви — это такой опыт, который непосредственно удостоверяет, в сущности, даже и то, что Бог, открывающийся нам в этом опыте, — это воистину Бог именно Любви и только Любви. Потому что только в деле Любви и ни в каком другом и можно, оказывается, убедиться в Его существовании, только так и никак иначе открывает Он человеку Себя, только в этом акте делает Свое ответное движение навстречу человеку.

А удостоверяя это, опыт деятельной любви тем самым удостоверяет, стало быть, и то, что Бог идет навстречу только *свободной воле самого человека*, устремленного к Нему в акте верующей деятельной любви. И что *только через это свободное обращение человека к Нему* Он Сам приходит в этот мир, только через *его* волю осуществляет «вмешательство» Своей нравственной воли в нравственную «энергетику» этого мира, определяющую, в конечном счете, всё его движение. А это значит, что опыт

деятельной любви подтверждает тем самым и *всю полноту ответственности свободной воли человека за всё в его мире происходящее*, всю действительность той истины, что «всякий человек за всех и за вся виноват». И то, что именно дело деятельной любви и есть главное дело человека на земле, главное его призвание, раз Сам Бог открывается ему и идет ему навстречу только на *этом* пути. Дабы именно в *этом* деле и дать ему Своей помощью «узрить чудодейственную силу Господа» (14; 54). Это тоже, стало быть, именно самим живым опытом деятельной любви неотразимо и «испытано», именно им и удостоверяется «точно».

Но если это так, то ведь тем самым опыт деятельной любви подтверждает собою, в сущности, всё *собственно метафизическое содержание веры Зосимы и Алеши* — то ее содержание, которым она и противостоит Ивановой метафизике. Другими словами, он всем своим характером удостоверяет истинность не просто некой веры в Бога «вообще», а истинность именно *той* веры в Него, какой и веруют Зосима и Алеша, — истинность веры в Того Бога, в Которого они только и могут веровать.

Вот это и есть *самое важное* содержание того главного «аргумента», который выставляет в романе вера Зосимы и Алеши против неверия Ивана и его «богохульств» всем живым содержанием своего реального опыта — опыта деятельной любви. Ибо совсем нетрудно понять, какое значение в контексте этого центрального противостояния романа приобретает свидетельствование именно о такой вот глубинной укорененности метафизики Алеши и Зосимы в самом живом опыте их веры. Ведь она, эта укорененность, сразу же придает их метафизике совершенно новый, высший статус — статус, какого не может иметь никакая метафизика неверия и каким способно обладать даже и не всякое религиозное мировидение. Она не только окончательно утверждает ее принципиальное отличие от тех чисто умозрительных «гипотетических» конструкций, какими способно пробавляться разве лишь рациональное догматическое богословие, — она резко отделяет ее и от тех религиозных метафизик, которые утверждаются простым, безосновным постулированием верующей воли: «Я так верую, и всё тут». Потому что перед нами метафизика, как раз вполне *обоснованная*. И обоснованная как раз не умозрительно, а тем единственным «обоснованием», какое только и обладает правом голоса в сфере метафизических «объектов».

Можно сказать и так: перед нами метафизика, которая, вот именно, не с потолка взята, а подлинно *удостоверена*. Потому что удостоверена она именно *опытно* — тем единственным опытом самой веры, каким только и может быть удостоверена религиозная метафизика, способная полноценно постоять за себя в любом сражении с любым неверием и с любой его логикой...

Итак, замечательные слова Зосимы, сказанные им «маловерной даме», — это, как видим, поистине ключ ко всему роману. И не случайно ключ этот дан в самом его начале — как бы открывая дверь в его художественно-философское пространство: в его метафизику и в живые

уроки самих судеб его героев, в истоки их неверия и в смысл тех ответов, которыми обращена к неверию вера. В самое существо их спора.

Вот этот ключ и поможет нам дать, наконец, итоговый, завершающий ответ на давно уже занимающий нас вопрос о том, почему же все-таки Достоевский решил противостоять Ивану не дискурсивным диспутом с его «рациональной критикой» Бога, а цельным, полным образом веры Алеши и Зосимы, цельной «художественной картиной» ее.

Да потому, что даже метафизика Зосимы и Алеши, которую, как мы видели, Достоевский совершенно четко противопоставляет Ивановой метафизике по всем главным ее опорным «пунктам», важна для него в этом ответе Иванову неверию совсем не одной только собственно рациональной своей стороной. Он придает этой стороне очень большое значение, и потому и уделяет ей всё то внимание, которого она действительно заслуживает. Но он знает всем живым опытом собственной своей веры и своего пути к ней, что действительная сила метафизики веры состоит все-таки отнюдь не в самой по себе *умозрительной* убедительности той метафизической картины мира, которая и составляет собственно метафизическое содержание веры, ее метафизическую логику. Как бы эта логика ни была дерзновенна и как бы ни поражала своей интеллектуальной отвагой и продуманностью. Он знает, что главную свою силу метафизика веры обретает только тогда, когда она со всей своей логикой оказывается укорененной в самом живом своем опыте, *реально* убеждающем в существовании именно Того и только Того Бога, которого он исповедует. И не будь метафизика Зосимы и Алеши именно так вот, «опытно», удостоверена самой реальной жизнью их веры, никогда не получила бы и она силу той особой, высшей, той, я бы сказал м е т а р а ц и о н а л ь н о й убедительности, которая одна только и способна выстоять против любого неверия и бунта. Ибо только такая метафизика, рожденная самим опытом веры и постоянно им подтверждаемая, и способна каждому пункту Ивановой метафизики и Иванова бунта не только противопоставить свой, противоположный, логически не менее убедительный, но еще и сказать каждый раз: «Это — ИСПЫТАНО. Это — ТОЧНО».

Вот эту-то *метарациональную* убедительность метафизической веры Зосимы и Алеши Достоевскому и важно было донести до читателя как самый главный, самый «козырной» свой «довод» в своем споре с Ивановой «критикой» Бога.

И как же мог он это осуществить?

Только одним единственным способом — воссоздав в романе именно весь *целостный образ* их веры. Вот почему Достоевский сделал ставку именно на к о с в е н н ы й ответ Ивану — как на самый убедительный, самый адекватный, а в сущности — и самый *прямой* ему ответ.

Вот почему даже саму метафизику Алеши и Зосимы он «спрятал» в романе в их сугубо религиозные «формулы» и «максимы». И — в саму непосредственную жизнь их в их вере согласно этим принципам и формулам.

Вот почему художественная картина.

И вот почему ответом Ивану и предназначено было стать именно всему роману в целом.

16. «Весь роман»

И весь роман в целом и стал таким ответом. Он стал живым образным удостоверением великой животворящей силы веры, даже и «опровергая» которую, ни один неверующий герой или читатель романа не может отрицать ее живого биения в самом «веществе жизни» его верующих героев — в самом «веществе» их романных судеб, в их отношении к миру и другим людям и в их внутренних диалогах и борениях с самим собой, в их паденчях и взлетах — в самой жизни их души. Потому что совокупностью своих картин и образов, обращенных через неотразимую достоверность своей непосредственной психологической фактуры к мистическим потокам и энергиям духовной жизни и верующих, и неверующих своих героев, роман свидетельствует о неизменном и постоянном присутствии в жизни именно той Высшей Силы, Которую как раз и исповедуют его верующие герои. И только незримым мистическим соединением с Которой они и выстаивают во всех своих искушениях и падениях, когда «дьявол с Богом борется» в их сердце, побеждают безумие ревности, гнева и ненависти, ослепление страстями и искус страшных дьяволовых провокаций «тлетворным духом» или светскими приличиями, обязывающими поднять на поединке руку на брата твоего по человечеству, совершают свое нелегкое послушание деятельной любви, светлея и преображаясь душой с каждой поданной «луковкой», возрождаются и вновь обретают Бога страшным подвигом смертельного покаяния, получают дар слезного умиления и страстной молитвы и повергаются на землю во внезапном, неземной силой переворачивающим душу сотрясении исступленной любви к ней, ко всему Божьему миру...

Всё это — живая реальность романа, всё это — неотразимая очевидность его действительного образного мира. И всё это, следовательно, и доказывает, что приняв решение отвечать Ивану именно таким вот — «косвенным» — способом, Достоевский принял единственно верное, гениально верное решение, выявившее не слабость, а именно всю силу его позиции, Потому что это решение, которое говорит не только о высочайшем философском уровне его метафизической мысли, сумевшей решительно отвести от себя соблазн плоского рационального диспута с неверием Ивана и понять, что единственно адекватным ответом ему могло стать только живое свидетельствование веры о своей истине, обретаемой в самом ее опыте. Это решение, которое говорит и о подлинности его собственного живого религиозного опыта, оказавшегося в состоянии *дать* такое свидетельство веры. И оно говорит о его гениальном художническом чутье, подсказавшем ему, что его свидетельствование веры могло быть осуществлено в художественном пространстве романа только одним един-

ственным способом — всей полнотой и художественной неотразимостью *цельного образа этой веры*.

Вот эту-то логику романа как художественного свидетельства о всей полноте той веры Алеши и Зосимы, которую и выставляет Достоевский как свой ответ на неверие и бунт Ивана, развертывая ее и во всей собственно метафизической ее содержательности, и в неотменимой достоверности самого живого ее бытия в жизни героев романа, и не сумел увидеть В. Шмид. По причинам, о которых достаточно уже говорилось, чтобы опять к ним возвращаться. Слишком уж был зашорен его чисто сциентистский взгляд мыслительными привычками, заставлявшими его прикладывать к роману шаблонные мерки тех сугубо «рациональных» теодицей, составлением которых исчерпал себя когда-то метафизический догматизм.

Но логика романа Достоевского — это не логика рационалистических теодицей. Роман Достоевского — это прежде всего само *исповедание* его веры, это художественное *свидетельствование* о ней, это ее живой *образ*.

Это образ веры, единый и цельный голос которой, начисто лишенный надрыва какой-либо раздвоенности, звучит страстью подлинно экзистенциальной убежденности в неотменимости и непреложности Законов Высшей Этики, законов безусловного Добра и Любви, — страстью, которая не побоялась выразить и засвидетельствовать себя даже и через мучительные инвективы Иванова бунта, даже и через трагическую любовь к «малосильным бунтовщикам», дарованную Достоевским Великому Инквизитору, которого Христос Ивановой поэмы целует в его бескровные губы, а Алеша недаром же подтверждает этот поцелуй своим поцелуем Ивану.

Это образ веры, которая в атмосфере и под пристальным оком нерассуждающей косной догматики тогдашнего (да и нынешнего) церковного официоза, поистине потрясает своей дерзновенностью. И дерзновенностью поразительных откровений своей тотальной метафизики человеческой свободы, и дерзновенностью своей экзистенциальной этической первичности, которая дает человеку отвагу Самому Богу сказать: «Верую в Тебя и могу веровать только как в Бога бесконечной и абсолютной Любви, не могущей быть источником никакого зла и не способной ни с каким злом примириться, *хотя бы я был и неправ*».

Это образ веры, «жестокой и устрашающей» той своей бескомпромиссной категоричностью, с какой возлагает она на свободу человека всю полноту абсолютной ее ответственности за всё зло этого мира, — образ веры подлинно «огненного», как сказал бы Бердяев, мужества, которое как раз и необходимо человеку для того, чтобы принять на себя всю полноту этой ответственности, ни в чем не поступившись, не предав свою свободу, этот высший дар Бога ему, высший знак его богоподобия.

И это образ веры, в то же самое время светлой и радостной, веры, дарующей высшие минуты духовного просветления, счастье подлинной любви и таинственный мистический трепет поистине неземного сердеч-

ного ликования. Да, это образ веры, которая способна в своем уповании на Бога и в своей свободной смиренной Ему врученности порою даже и к утопическим упованиям и иллюзиям. Но это образ веры, которая даже к этим благородным иллюзиям и упованиям способна только потому, что в основе своей эта вера совсем не розовая, а в сущности, очень суровая и мужественная.

Это образ веры, прошедшей через тягчайшее «горнило сомнений» и потому и не побоявшейся рассказать об этом горниле, воссоздать всю страстность и отчаяние переплавленных в нем сомнений и мучительных вопрошаний, сделать этот преодоленный «конфликт своего существования» идейным сюжетом романа, чтобы и в романе тоже преодолеть его своей обретенной в долгом и трудном опыте деятельной любви, поистине выстраданной своей «осанной». Это «осанна» живого, реально испытываемого в самом опыте верующей жизни соединения с Богом, «осанна» прозревшего в этом соединении, избавленного от злой слепоты безверия нового взгляда на мир — взгляда ясного, трезвого, горького, но и освобождающего от былого отчаяния, приближающего к истине, скрытой в таинственной неэвклидовской глубине Божественного космоса.

Итак, перед нами образ той веры, которая действительно не имеет ничего общего ни с надрывной экзальтацией самоуговаривания, ни с прокрустовым ложем плоских нравоучительных прописей, ни с прочей «богоревнительной» чепухой всякого рода «натянутых аффирмаций» — со всем тем, что, увы, приписывает этому роману В. Шмид. Но это не так именно потому, что роман воссоздает перед нами образ той веры, которая *живет в живом сердце человека.*

А живая вера — это совсем не то, что привыкло думать о ней неверующее сознание, лишенное ее опыта.

Живая вера — это то, что может вбирать в себя и сомнения, и способность к отчаянию, и даже минуты неверия и богооставленности, и падения, и взлеты, и разочарования, и радость, и открытость всякой боли и страданию, и ненависть к ним, и слезы, и покаяние, и праздники преображения — всё то, что только способно вместить в себя живое верующее человеческое сердце.

И что и воссоздает в своих поразительных образах в е с ь этот поразительный и, может быть, всё еще единственный пока что в мире действительно **великий христианский роман**.

II. От Шигалева — к Великому Инквизитору

1

Напоминать о том, сколь провидческими оказались предупреждения Достоевского о возможной грядущей роли революционного бесовства в судьбах не только России, но и мира в целом, стало сегодня уже трюизмом. На этот счет существует целая огромная литература.

И всё же «бесовская» тема Достоевского отнюдь еще не закрыта историей. Сегодняшний ход ее явственно обнаруживает в уже изученных, казалось бы, вдоль и поперек художественно-философских прозрениях Достоевского некие новые пласты, в свое время не вполне, может быть, даже и отрефлексированные самим Достоевским. Ведь и нам они открываются сегодня лишь потому, что это именно в самой истории более полно развернулась к нынешнему дню глубинная природа тех общественных феноменов, которые привлекли к себе в свое время столь напряженное внимание Достоевского. И тем сильнее поражают, стало быть, глубина и мощь его художественно-философской интуиции, сумевшей проникнуть в эту природу так, что она оказалась схваченной и запечатленной даже в тех ее качествах и проявлениях, которые во времена Достоевского существовали скорее в потенции, чем в актуальном бытии.

Всё это и обязывает нас вновь и вновь возвращаться к знаменитым провидчески-пророческим текстам Достоевского, подвергая их внимательнейшему прочтению заново. И, если угодно, — актуальному **толкованию** в контексте пережитого и переживаемого нами сегодня опыта истории. Другими словами, история в который раз уже стимулирует обращение к творчеству Достоевского в том критически-публицистическом жанре, оправданность которого применительно к фигуре такого огромного духовного масштаба вряд ли, пожалуй, и вообще когда-либо станет меньшей, чем оправданность любых других его осмыслений — текстологических, эстетических, историко-литературных и всех прочих.

Я утверждаю это с тем большим беспристрастием, что сам как раз совсем не такой любитель этого жанра, как например, Ю.Ф. Карякин. Но в данном случае — в порядке почти исключения — я все-таки позволю себе предпочесть именно его. К этому толкает меня та самая история, в которой каждый современник живет не столько как в истории, сколько как в живой жизни, на своей живой шкуре протаскивая все ее выходки и проделки, живым собственным сердцем содрогаясь от ее угроз и перспектив, подстерегающих если не тебя, то твоих детей, и потому не испытывая никакого желания передоверять объяснение с нею будущим историкам.

Итак, я попытаюсь поставить здесь на обсуждение некоторые вопросы, настойчиво и очень болезненно возникающие, на мой взгляд, именно в нашем сегодняшнем историческом контексте и притом впрямую связанные с той самой темой, контуры которой как раз и обозначены в названии этого этюда. Я попробую раскрыть интересующее меня содержание этой темы,

приступив к сравнению того проекта наилучшего будущего устройства людей на земле, который предложен человечеству в «Бесах» Шигалевым, со схемой, развертываемой и убежденно защищаемой перед лицом Христа Великим Инквизитором в «Братьях Карамазовых».

2

Такое сравнение не раз уже, как известно, проводилось. Но обычно оно имеет в виду прежде всего очевидное **сходство** тех принципов, на которых строят свои модели идеального человеческого общества и Шигалев, и Великий Инквизитор.

Такое сходство здесь действительно имеется, и оно действительно очевидно. И тот, и другой претендуют, во-первых, на устроение единственно реального на земле социального **рая**, где люди будут подлинно счастливы и достигнут максимально возможного на земле удовлетворения естественных земных стремлений к сытой, обеспеченной и спокойной жизни. И оба, во-вторых, основывают свои жуткие утопии на том, что такое устроение общества реально только при условии деспотического управления социальным муравейником.

«Я запутался в собственных данных, — признается Шигалев, — и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Однако при этом он именно и убежден, что никакого иного «разрешения общественной формулы» просто не может быть. Хромой учитель, верный его последователь из кружка «Наших», так разъясняет позицию Шигалева: «Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать» (10; 310—311).

Та же схема и у Великого Инквизитора. Он, как разъясняет Иван, «именно и ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми» — «Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла» (14; 229, 236).

И точно так же, как и Шигалев, Великий Инквизитор тоже убежден в том, что никакого иного «разрешения» социального вопроса на земле быть не может. Потому-то он и объявляет Христу, что он — не с Ним, а с умным и страшным духом небытия — с князем **мира сего**.

Наконец, совпадают, в общем, Великий Инквизитор и Шигалев и в обосновании того, почему только деспотизм, основанный на отказе большинства человечества от свободы, может обеспечить построение единственно возможного «земного рая». Да потому (напомню эту аргументацию

Великого Инквизитора), что «никогда, никогда без нас они не накормят себя!.. Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собой». А не сумеют потому, что «малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики». Вся их свобода — свобода маленьких глупых детей, хоть и созданных бунтовщиками, но бунтовщиками слабосильными, которые просто не способны будут выдержать ту кровь, которою — в борьбе за хлеб земной, за то, чтобы «разделиться» между собою, — они сами же и зальют землю. (14; 231, 233).

Такую же картину кровавой смуты-раскачки, от которой «затуманится Русь, заплачет земля по старым богам» (10; 321—324), рисует Ставрогину и Петр Верховенский, объясняя ему необходимость шигалевщины тем, что без деспотизма «выпущенные на свободу» ничтожные людишки (особенно если их подогреть) способны только на бесчинства. В подготовительных материалах к «Бесам» находим и такое разъяснение, даваемое «Нечаевым» — то есть будущим Верховенским: лишь при деспотизме «уничтожается разрозненность и человечество работает сообща» (11; 209). И Верховенский окончательного текста романа не против был бы, как помним, уничтожить ради этого (если бы только это было возможно) хоть даже и 100 миллионов человек — это ведь только помогло бы, считает он, устройству общества на новых началах. А люди — что люди?.. И как характерно, что здесь с ним полностью согласен даже и куда более миролюбивый как будто бы Шигалев!

Впрочем, способы удержания людей в том повиновении, которое должно обеспечить счастье человеческого муравейника в системах Шигалева и Великого Инквизитора, — это как раз пункт, вплотную приближающий нас уже к самому существу тех вопросов, которые, как я сказал, ставит сегодня перед нами наша тема. Поэтому я задержусь на этом пункте несколько подробнее.

3

Итак, я напомнил о трех важнейших, главных чертах сходства, на которые и указывают обычно, говоря о системах Шигалева и Великого Инквизитора. И эти черты сообщают им, несомненно, определенную типологическую общность.

Но вспомним — ведь помимо действительно несомненного сходства есть между системами Шигалева и Великого Инквизитора и некое отличие. И оно, это отличие, только на первый взгляд может показаться второстепенным, тогда как на самом деле значимо для сопоставительного анализа и оценки этих систем ничуть не меньше, чем отмеченные черты их сходства.

В самом деле: ведь система Шигалева — это система атеистическая. Она основана на «исключении» Бога и всего, что с этой «инстанцией» связано. Отсюда и знаменитый монолог Верховенского о том, кого он

считает «нашими» («материалом»). К таким он относит всех, в ком уже *пошатнулась вера*. И отсюда же, несомненно, и растерянность Шигалева перед неожиданностью своей логики («начав с безграничной свободы я прихожу к безграничному деспотизму»). В этой растерянности явственно проглядывается уже осознание им (или приближение его к осознанию) той истины, что выразится позднее в знаменитой формуле Достоевского: «Если Бога нет, то всё позволено». Ведь именно эта максима, которую, несомненно, осознают выпущенные на свободу от Бога люди, и приведет их неизбежно в то состояние войны всех против всех, спасение от которой атеисту Шигалеву поэтому и приходится искать только в деспотизме. Эта логика Достоевского в понимании им перспектив атеистического социализма слишком известна, чтобы можно было сомневаться, что именно она и руководила им при создании образа шигалевщины. Отметим также, что здесь имеется в виду соответственно деспотизм прежде всего политического характера, хотя он и опирается на определенные психологические рычаги управления человеческой природой, — разумеется, в атеистическом варианте и ее понимания, и ее реального функционирования.

Но Великий Инквизитор, в отличие от Шигалева, — вовсе не атеист. Более того — не только сам он не атеист, но и всё понимание им человеческой природы тоже включает в себя некий важнейший *не-атеистический* пункт, которого нет и не может быть в атеистической концепции Шигалева—Верховенского. А вследствие этого и деспотизм, на который рассчитывает Великий Инквизитор, тоже существенно отличается от шигалевского деспотизма.

Великий Инквизитор, как помним, признает, что Христос не ошибся, сказав, что не хлебом единым жив человек: «В этом Ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы». Поэтому-то, признает Великий Инквизитор, и овладеет человеческой свободой, с которой человек был создан, лишь тот, кто овладеет его совестью — то есть тот, кто обеспечит ему, как сказал бы Толстой, неуничтожимый смертью (или, как сказали бы мы сейчас — безусловный) смысл жизни. И поэтому-то Великий Инквизитор и создает свою модель «земного рая», нацеленного исключительно на земные же цели, на религиозной основе. Вернее — на религиозном обмане, освящая строительство своего сугубо земного рая для слабосильных бунтовщиков высшей религиозной санкцией — именем Христа, Авторитетом, Тайной и Чудом якобы переданного Христом ему и его сподвижникам права быть представителями и проводниками Его воли на земле. Послушание человеческого стада, отдающего вождям свою свободу, тоже обеспечивается здесь, таким образом, насилием. Но насилием прежде всего духовным, основанном на грандиозной духовной мистификации — на подлинном духовном терроре, осуществляемом посредством дьяволовой лжи, освященной именем Христа.

Перед нами, следовательно, две совершенно, с одной стороны, *тождественные* (по целям и принципам организации), но в то же время и совершенно *разные* (по методам обеспечения человеческого послушания) модели устроения «земного рая»: открыто *атеистическая*, опирающаяся на сугубо *внерелигиозные* способы овладения человеческим стадом, и псевдо*религиозная*, основанная на обманной эксплуатации *религиозных* потребностей человеческой природы... Цели и содержание в обоих случаях одни и те же, технология — разная.

4

Теперь, имея в виду и это сходство, и это различие, попробуем поставить такой вопрос: каким же реалиям действительной исторической жизни человечества соответствуют эти грандиозные образы-символы, созданные гениальной художественно-историософской фантазией Достоевского? Каковы их, если можно так выразиться, реальные жизненные адреса? И в какой реальной исторической связи друг с другом эти «адреса» находятся?

Традиционный ответ на этот вопрос известен: в «Великом Инквизиторе» Достоевский обличает «католическую идею», «папство». В шигалевщине — атеистический социализм. Как в тех реальных его проявлениях, которые он обнаружил уже и во времена Достоевского, так и в предугадываемых Достоевским грядущих его исторических возможностях.

Но если в отношении шигалевщины это традиционное прочтение и сегодня не вызывает серьезных сомнений, то в отношении модели Великого Инквизитора дело обстоит совсем не так просто. Правда, сам Достоевский не раз подтверждал как будто бы именно такую, «католическую», адресацию своей знаменитой «Легенды». Напомню в этой связи хотя бы известные «показания» В. Пуцыковича, засвидетельствовавшего, что Достоевский, говоря с ним о смысле «Легенды», «прямо объяснил» ему, «что она — против католичества и папства, и именно самого ужасного периода католичества, то есть инквизиционного его периода» (15; 482). А попутно замечу также, что если согласиться с таким прочтением «Легенды» и принять вытекающую из него реальную историческую связь и последовательность тех исторических феноменов, которые, согласно этому прочтению, стоят за земным «раем» Великого Инквизитора и за шигалевщиной, то тогда, конечно, и тему моих размышлений следовало бы сформулировать совершенно иначе, поскольку она имеет в виду именно эту, *историческую* последовательность шигалевщины и инквизиторского муравейника, а не последовательность появления этих образов в творчестве Достоевского. Ее следовало бы сформулировать прямо противоположным образом: не «От Шигалева — к Великому Инквизитору», а «От Великого Инквизитора — к Шигалеву». Тем более, что именно на такую последовательность исторических реалий, запечатленных в «Легенде» и в «Бесах», не раз опять-таки указывал как будто бы и сам Достоев-

ский, считавший, как известно, современный ему социализм прямым следствием, продолжением и дальнейшим развитием именно «католической идеи», «папского» земного царства. Недаром у него в «Бесах» даже и Петенька Верховенский, как бы подтверждая эту прямую генетическую связь, признается однажды Ставрогину — не без ерничества, но в то же время и вполне серьезно: «Знаете ли, я думал отдать мир папе... Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина. Надо только, чтобы с папой Internacionale согласилась; так и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого и выхода ему нет...» (10, 323).

Потом, правда, он сообщает, что от этой мысли решил отказаться, ибо папа ему, в сущности, уже и не нужен — и без него всё образуется. Даже еще покруче. Но и этот Петенькин курбет лишь подтверждает, следовательно, ту же самую как будто бы трактовку «Легенды», согласно которой Достоевский имел в виду в ней именно «католическую идею» папского земного царства.

И всё же, повторяю, дело обстоит здесь совсем не так однозначно просто. Ибо если принять такое однозначно простое толкование «Легенды», пусть даже и подкрепленное как будто бы высказываниями самого Достоевского, мы немедленно становимся в тупик по крайней мере перед двумя очень существенными мотивами, настойчиво звучащими в интересующих нас текстах Достоевского.

5

В этой связи я позволю себе несколько задержать внимание читателя на одном очень любопытном споре, который возник в 1993 году на парижском симпозиуме по творчеству Достоевского* между крупнейшим современным православным богословом Христосом Яннарасом, с одной стороны, и Сергеем Аверинцевым и некоторыми другими русскими участниками симпозиума (в частности, Ольгой Седаковой), с другой. С. Аверинцев построил свое выступление на выявлении тех противоречий у Достоевского, фиксация которых заставила его, в конце концов, бросить Достоевскому, безусловно претендовавшему, как признает Аверинцев, на роль *проповедника*, тяжкий упрек в неясности, двусмысленности, непроявленности его авторской позиции. «Достоевский, горячий приверженец православного чуда, православной тайны, но в особенности безусловного авторитета православного старчества и абсолютного патернализма православной монархии, — этот же самый Достоевский мечет громы и молнии против чуда, тайны и авторитета!» — поражается С. Аверинцев. И не без язвительности добавляет: «Вот это и называется, по Бахтину, «полифонией»: двусмысленность, непроясненность как творческий принцип».

У самого Аверинцева объяснение этой «двусмысленности» совсем, конечно же, другое. Он уверен, что «хитроумие» Достоевского, этого

---

* Отчет о нем опубликован в журнале «Искусство кино» — № 4, 1994.

«мастера уклончивости», который не желает отвечать на подобные вопросы, не может иметь никакого другого объяснения, как только и именно то, что Достоевский находится *внутри контекста межконфессиональной полемики*. Он адресует свои инвективы *католицизму* и тщательно делает вид, что православие от этих грехов — апелляции к чуду, тайне и авторитету — свободно.

Объяснение, конечно, весьма изящное и притом достаточно красноречиво выраженное. Однако при всей его красноречивости, оно выглядит тем менее убедительным, чем красноречивее и рельефнее демонстрирует перед нами С. Аверинцев «лукавые» противоречия Достоевского. Они действительно настолько *очевидны*, настолько *бросаются в глаза*, что очень трудно поверить в наивность Достоевского, который мог якобы сделать вид, что никакого противоречия в своих позициях он не видит. Скорее всего — при уме-то Достоевского! — это можно объяснить как раз именно тем, что он *действительно* не видел здесь никаких противоречий. А это могло быть только при том условии, что те чудо, тайна и авторитет, по поводу которых он вовсе не метал громы и молнии, были просто *совсем иного рода*, чем те, которые он клеймил как орудие духовного насилия над человеком.

Вот об этом-то и сказал на симпозиуме — и сказал очень убедительно — Христос Яннарас. Свое выступление он назвал так: «Великий Инквизитор» и религизация Церкви», имея в виду под этой формулой смысловую оппозицию, построенную на противопоставлении Церкви, которую следует понимать прежде всего *литургически* (как реальную *живую связь* между Богом и человеком в живом опыте евхаристического единения, общения и соборности), и Церкви как *идеологии*, как некой самозамкнутой системы убеждений, верований и чувствований, догматически, культово и институционально закрепленной. Яннарас напоминает, что в ходе исторического развития постепенно произошла *подмена* первого вторым: ведь первоначально Церковь была как раз вовсе не новой метафизикой, не новой моралью, но прежде всего возможностью *реального существования, побеждающего смерть*. Она призывала к радикальному изменению *самой жизни*, утверждала истину Церкви именно как *живой опыт* соборности в любви.

Со временем, однако, это определение церковной истины трансформировалось — Церковь стала перерождаться в *религию*, живая литургическая соборность уступила место ритуальности, церковной институциональной организованности и индивидуальной религиозности. Ведь «индивидуум, хорошо подкрепленный авторитетом, ритуалом, юридической дисциплиной, — заметил Яннарас, — уже не нуждается в отношениях. Он не живет в Церкви — он приходит в нее».

Так вот, — опираясь на это различение Церкви как Литургии и Церкви как «религии», Яннарас и возразил Аверинцеву и Седаковой, заявив, что видит в «Братьях Карамазовых» не столько обличение самого по себе католицизма, сколько, и прежде всего, «защиту *истинной Церкви* против *религии* под видом католицизма».

С. Аверинцева и О. Седакову смущает в старце Зосиме (как олицетворении православного старчества) та же опасность власти немногих над многими, что и в обличаемом Достоевским католицизме?

Это можно понять.

Но ведь в том-то и дело, напомнил Яннарас, что послушание старцу есть нечто совсем иное. Это акт *добровольной* отдачи воли, основанный *на любви* и потому *радостный*. Он совершается в том живом опыте общения в любви, который и есть опыт истинной Церкви — в отличие от опыта Церкви как религии. Здесь воля старца есть тоже воля человека, неотторжимо связанного с другим именно в равной любви, ибо если любви нет, то нет и послушания, а есть лишь дисциплина, всегда чреватая бунтом раба против господина. Недаром, напоминает Яннарас, Великий Инквизитор, этот *князь религии*, так настаивает на том, что люди — бунтовщики. Они такими становятся и так проявляются *только в системе религии*, тогда как истинная Церковь — это всегда *живое действие любви*, а не моральный кодекс или ритуал. *Церковь есть всегда прежде всего СОБЫТИЕ*, дает Яннарас итоговую формулу различения, и здесь я не могу не отметить, что именно русское слово «событие» наиболее удачно и передает этот *событийный* смысл истинной Церкви: «событие» как «со-бытие», как всякий раз живой акт *совместного бытия* —со-бытия — в Боге. И, конечно же, только по отношению к *такой* Церкви и можно сказать, что церковный авторитет тем и отличается от всех прочих, что его, в сущности, нет.

Но разве не точно так же обстоит дело и с чудом, и с тайной в такой Церкви? Ведь в такой Церкви как реальном *со-бытии* с Богом уже сама эта жизнь в Боге, сама эта живая реальность и есть самое настоящее чудо и самая настоящая мистическая тайна, ставшие живой реальностью, — в отличие от чуда и тайны *как магически-мистических инструментов духовного давления, духовного принуждения и даже духовного террора*.

Почему я так подробно остановился на том различении Церкви как религии и Церкви как Литургии, которое провел в споре с С. Аверинцевым и О. Седаковой Христос Яннарас, и на его толковании текстов «Легенды» и глав, относящихся к Зосиме и Алеше? Да потому, что при сколько-нибудь адекватном, внимательном и добросовестном осмыслении того, что говорит в «зосимовских» главах Достоевский, никакое иное их прочтение просто, на мой взгляд, невозможно. Церковь Зосимы и Алеши, Церковь Каны Галилейской и «луковки», Церковь-соборность, возникающая у Илюшечкиного камня, — это и есть та Церковь, которая всегда СОБЫТИЕ, живой акт жизни в Боге, а не магический ритуал или инструкция.

Но если это так, то это значит, что ни о какой «двусмысленности» в позиции Достоевского действительно не может быть и речи. И если такое ощущение и возникает, то разве лишь по причине вербальной неразличенности и потому как бы смешения в нашем восприятии двух совершенно разных понятийных рядов, просто выражаемых одними и теми же словами. А это, в свою очередь, означает, что и инвективы Достоевского

в «Легенде» имеют, очевидно, куда более широкую и принципиальную нацеленность, чем всего лишь сугубо конкретный, чисто «католический» адрес. Во всяком случае, объективный захват этих инвектив, этих образов-символов в контексте сопоставления с «зосимовскими» главами действительно таков: это страстная защита подлинной Церкви, Церкви любви, Церкви Алеши и Зосимы от всего, что делает Церковь институционной религией, утверждающей себя *как царство мира земного.*

Да и об одном ли только объективном смысле этих инвектив допустимо в данном случае говорить? Разве не сам же Достоевский признавал, что русское общество и русская Церковь — *в параличе*? Разве не ему принадлежит признание, сделанное именно в этом контексте, что *в России, нельзя не сознаться, мерзко*? Или: «Что теперь для народа священник? Святое лицо, когда он во храме или у тайн. А дома у себя — он для народа стяжатель. Так нельзя жить. И веры не убережешь... Правду ли говорят маловерные, что не от попов спасение, что вне храма спасение? Может, и правда. Страшно сие» (Подготовительные записи к «Братьям Карамазовым», к высказываниям Зосимы. — 15; 253). И если в известном письме к Любимову, посылая ему в «Русский вестник» главы с «Легендой» и наставляя его в отношении возможных цензурных осложнений, Достоевский настойчиво внушал ему, что в ней имеются в виду вовсе не русское государство и вовсе не русская православная Церковь, можно ли принимать эти его слова за такую уж чистую монету? Вся логика «контроверзы», развернутой в «Легенде о Великом Инквизиторе», говорит как раз об обратном. Ведь если Достоевский еще в «Бесах» предупреждал об опасности именно *русского* социализма, то не наивно ли думать, что происхождение его он выводил из одной лишь *католической* идеи и закрывал глаза на всё то, что и в России могло и должно было социализму предшествовать и помогать его зарождению? И, в конце концов, так ли уж одному только Петеньке Верховенскому принадлежит та жуткая констатация, что правительство в России намеренно спаивает народ, чтобы легче было держать его в повиновении, и что «русский Бог уже спасовал перед «дешевкой»? — «Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: «двести розог, или тащи ведро». О, дайте взрасти поколению!.. Ах, как жаль, что нет пролетариев! Но будут, будут, к этому идет...» (10; 324).

6

И всё же даже и при таких коррективах, вносимых в традиционное, всего лишь *антикатолическое*, прочтение «Легенды», действительный масштаб заключенного в ней обобщения, ее адресной обращенности, отнюдь еще не охватывается. И в этой связи я хочу обратить внимание читателя еще на один очень важный мотив, который настойчиво звучит в «Легенде», но очень редко привлекает к себе внимание — тем более внимание, действительно адекватное его важности.

Итак, вспомним, что говорит Великий Инквизитор Христу. Дело наше, говорит он, «до сих пор *лишь в начале*, но оно началось. *Долго еще*

ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями...» (14; 234). И еще: «*О, пройдут еще века бесчинства свободного ума*, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией» (14; 235). «Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но всё же Ты бы мог избежать этой новой башни и на *тысячу лет* сократить страдания людей, *ибо к нам же ведь придут они, промучавшись тысячу лет со своею башней!* Они отыщут нас тогда опять *под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы)*, найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже *мы и достроим их башню*, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, и солжем, что во имя Твое» (14; 230. Курсив всюду мой. — *И.В.*).

Поразительные слова, поразительное предсказание, не правда ли? Но как к нему отнестись? Может быть, следует воспринимать весь этот пассаж как всего лишь мощное художественно-условное, чисто символическое «заострение» обличающей мысли Достоевского, не содержащее в себе каких-либо реальных прозрений его в отношении того, что может быть через 100 или 1000 лет?

Когда-то, наверное, так и могло казаться. И потому-то всё внимание при обращении к «Бесам» и к «Легенде» — и вообще к текстам Достоевского — и переносилось обычно только на такую связь: социализм, шигалевщина — как продолжение «католического» царства Великого Инквизитора.

Но сегодня, когда мы живем в посткоммунистической России и наблюдаем, как на духовную жажду людей, обманутых миражом социалистической идеи и потянувшихся к религии, официальная Церковь отвечает всё более мощным, жадным и торопливым сращением с господствующей властью номенклатурно-криминальной мафии, правящей Россией, — сегодня в этих когда-то вполне как будто бы условно-символических образах всё отчетливее начинает проступать слишком реальный, слишком живой и грозный смысл, чтобы можно было не задуматься: а не было ли заложено Достоевским в «Легенду» прямое предупреждение, что возможна именно и обратная последовательность — от атеистической шигалевщины к организации тотального псевдорелигиозного человеческого муравейника? И разве опыт окружающего мира — та же, к примеру, угроза всё более настойчиво поднимающего голову безоглядного исламского фундаментализма или многочисленные войны и конфликты в самых разных «горячих» точках планеты, всё чаще освящаемые именно

религиозными знаменами, — разве всё это не заставляет нас поражаться, как глубоко в корень мировых событий еще в XIX веке заглянул Достоевский, сумевший уже тогда, когда и социализм-то был весь еще впереди, понять, что эта идея, в конце концов, непременно утратит когда-нибудь свою привлекательность для общества и тогда люди вновь потянутся к куда более адекватной духовным потребностям человеческой природы религиозной вере? И что вот тут-то их и ожидает новая и еще более грозная опасность — тотальный «религиозный социум» Великого Инквизитора, освящающего свое дьявольское царство именем Христа. Или — Аллаха.

Конечно, всё это тоже только еще возможность — как когда-то только возможностью была и атеистическая шигалевщина. Но как шигалевщина из возможности обернулась реальностью, так и великое инквизиторство тоже имеет, похоже, сегодня все шансы для того, чтобы мы познакомились с ним не только по Достоевскому. Как когда-то обнадежил нас один известный писатель — «Всё впереди»...

Да, приходится признать, что Достоевский действительно ухватил некую глубинную логику исторических событий, делающую вполне возможным и такой их поворот. И потому-то, мне кажется, мы и вправе сказать сегодня то, с чего я начал это размышление: именно наше время заставляет увидеть в образах-предупреждениях Достоевского те новые глубинные смыслы, которые, может быть, еще всего лишь каких-то десять или даже пять лет тому назад могли восприниматься скорее как чисто художественная метафора, но уже сегодня начинают всё громче и тревожнее звучать тем колоколом, который завтра, может быть, будет звонить по всем нам...

Анджей ЛАЗАРИ

ДОСТОЕВСКИЙ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ НАШИХ ДНЕЙ

Если бы диалог людей, апеллирующих к истории, мог начинаться с определения этических норм, безусловно обязательных для любого человека в любой социокультурной общности, а также — с признания ряда ценностей за вневременные и тем более за вненациональные... Тогда, быть может, история перестала бы играть роль поставщика аргументов для деления на *Мы* и *Они*, а стала бы прежде всего свидетельницей тех драм и трагедий, к которым ведет возвеличение Мы (Мы-народа, Мы-государства, Мы-класса, Мы-религии). К сожалению, этноцентрические и коллективистские тенденции в некоторых культурах так сильны, что мечта об «общем доме», в котором важнейшей ценностью являлось бы достойное, подлинно человеческое *Я*, остается в сфере утопии.

Некоторые культуры содействуют толерантности больше, другие значительно меньше. Посткоммунистические культуры, в том числе русская, принадлежат, пожалуй, к последним. Поэтому удивляет оптимизм Анджея Дравича (польского ученого и борца с коммунизмом), который утверждает, что в России «лед тронулся» и появляется всё больше шансов на семантическое, смысловое взаимопонимание культур[1]. Я вполне разделяю мысль Дравича, что пугать сегодня Достоевским и признавать его героев за эманацию худших черт русского характера не имеет никакого смысла. Однако не потому, что наследие Федора Михайловича полифонично (благодаря Бахтину, на которого ссылается Дравич, Достоевского в «стране Советов» стало можно печатать: раньше автор «Бесов» был символом консерватизма и только благодаря «полифонии» его прочли заново как революционера, защищающего униженных и оскорбленных, не обращая внимания на его одноголосую публицистику). Достоевский-мыслитель — это уже история, а история как таковая сама по себе никому не угрожает. Угроза исходит от тех ее интерпретаторов, которые выкликают из прошлого в современную жизнь ненависть и нетолерантность. К сожалению, примеров спекуляции именем Достоевского в современной «патриотической» печати предостаточно. Вместе с Николаем Данилевским, «Россия и Европа» которого было недавно переиздана как теоретическая основа недружественных Западу историософских концепций, Достоевский — в известных кругах — опять стал духовным отцом неутихающей злобы по отношению ко всему нерусскому. Говорю «опять», так как имя Достоев-

[1] *A. Drawicz.* Lody ruszyly... — «Znak», 1994, № 1(464). С. 104—107.

ского уже многократно становилось авторитетом в борьбе против «ненаших» и в дореволюционное и в советское время[2].

Сегодняшних «патриотов» привлекают в наследии Достоевского те же «вечно живые» русские (потом ставшие и советскими) идеологемы *народа, народности* и *всечеловечности*. Дальше всё по своим местам: *православие* на место *идейности, самодержавие* на место *партийности, соборность* на место *социализма, народ-богоносец* заменил *советский народ*; а *Запад, Европа, Польша, Америка, жиды, рационализм, право* и *капитал* остались символами сил, враждебных русскому самосознанию. Изменилась семантика, но методология вражды прежняя, и не приходится удивляться, что покойный митрополит Петербургский Иоанн, который был вторым лицом в православной Церкви, печатал свои выступления в коммунистических журналах.

Русская мысль не перестает искать ценность более «высокую», чем достойное человеческое *Я*. Казалось бы, провал коммунизма дал возможность русскому самосознанию сосредоточить внимание на освобождении личности от произвола коллектива — от *Мы*, облеченного в идеологемы общины, класса, государства, религии, народа. Казалось бы, русская мысль будет стремиться теперь в первую очередь создавать основы правового государства, в котором *Я*, независимо от происхождения, вероисповедания и мировоззрения, будет свободным в рамках закона, а законы будут создаваться во имя человека, а не во имя класса, народа или другого коллектива. К сожалению, в широком масштабе, на всем пространстве общественных умонастроений этого не происходит. Так называемая «патриотическая» русская мысль всё борется за избранное *Мы*, а имя Достоевского остается аргументом в этой борьбе.

«Кто соблюл и сохранил нашу народность в течение стольких веков, после стольких переворотов, посреди стольких врагов, посягающих на нее?» — спрашивает митрополит Петербургский Иоанн и отвечает: «Святая вера Православия. Она очистила, освятила и укрепила в нас любовь к Отечеству [...] Россия есть государство народа русского, которому Господь вверил жертвенное, исповедническое служение народа-богоносца, народа — хранителя и защитника святынь веры... Вы же род избран, — говорит далее митрополит Иоанн — Россия имеет громадный опыт мирного сосуществования многих народов. В основе этого опыта — уникальное качество русской души, ее *всечеловечность*, о которой хорошо сказал еще Достоевский»[3].

Всечеловечность, провозглашенная Достоевским («Что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности»), опять в обиходе. Еще в советское время

---

[2] См.: J.B. Dunlop. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton, 1983. С. 209—211 и др.

[3] *Иоанн* (митрополит). Будь верен до смерти (Православие и современность). — «Собеседник православных христиан», 1993, № 1(3). С. 2, 4, 12.

мысль о *всечеловечности* как о сущности русского национального самосознания со ссылками на Достоевского (и... Ленина) развивали В. Кожинов и Е. Троицкая[4]. Сегодня к ним присоединились (уже без сносок на Ленина) многие другие литераторы, профессора и идеологи. Правда, некоторые, ссылаясь на Достоевского, путают понятия *всечеловечности* и *общечеловечности*, которые писатель различал (*общечеловек* — это западный «никто», муравей из муравейника; русский — это *всечеловек*, по образу Всечеловека Христа). Доктор педагогических наук профессор Е. Белозерцев во имя «национальной школы — надежды России» призывает словами Достоевского «стать русскими во-первых и прежде всего», а от себя добавляет: «И если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой»[5]. Я уверен, что несколько лет тому назад доктор педагогических наук во имя *общечеловечности* (советского муравейника!) воздвигал «советскую школу» и призывал русских детей стать коммунистами. Думаю, что такую же деятельность вел доктор филологических наук профессор Э. Баграмов, который сегодня убежден, что «*всечеловечность*, выявленная и сформулированная еще Ф.М. Достоевским, действительно выражает суть русского национального характера»[6].

Не менее категоричен в признании правоты Достоевского в том, что «национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое объединение», Арсений Гулыга. По его мнению, «русская идея» объединяет человечество в его извечном стремлении утвердить мир и справедливость на земле. Это всемирная соборность, та подлинная общность, без которой человечеству сегодня не выжить[7]. Давно ли «подлинной общностью» были социализм и коммунизм? Виктор Аксючиц, ссылаясь на Достоевского, также провозглашает «универсализм» и «всечеловечность русской идеи», не принимая во внимание того, что другие народы-культуры предпочитают свои «идеи» и исходя из этого опыта истории никак не поверят ни в советский, ни в русский «универсализм». Аксючиц же, цитируя Достоевского («Ужиться народ русский со всяким может, ибо много видел видов, многое заметил и запомнил в долгую, тяжелую жизнь свою двух последних веков»), говорит об идее «националь-

---

[4] *В. Кожинов.* «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» (Заметки о своеобразии русской литературы). — «Наш современник», 1981, № 11; (См. также: За алтари и очаги. — М., 1989. С. 229—282); *Е. Троицкая.* Русская социалистическая нация. — «Молодая гвардия», 1988, № 1.

[5] «Национальная школа — надежда России». Из выступлений на конференции по проблемам русской национальной школы, проведенной в Свято-Даниловском монастыре. — «Наш современник», 1995, № 3. С. 137.

[6] *Э. Баграмов.* Эволюция национального сознания и национальной психологии русских. — «Кентавр», 1993, № 2. С. 18.

[7] *А. Гулыга.* Понять Германию — понять Россию. — «Наш современник», 1995, № 2. С. 143.

ного единства», что это «жизненная проекция соборной всечеловечности», не учитывая, что не всякий может и хочет «ужиться» с русским народом, а особенно с русской властью (хотелось бы сказать, что пример «не за горами», но Чечня как раз за горами)[8].

«Русская идея» у ее сегодняшних пропагандистов часто выступает как некий аналог «всечеловечности». Александр Казинцев говорит о Достоевском и «русской идее», которая «призвана стать великой *землеустроительной* концепцией»[9]. Дмитрий Ильин объявляет Достоевского пророком и призывает к исповеданию «вечно живой» «русской идеи»[10], а другой автор, Юрий Бородай, опять же апеллируя к Достоевскому, заявляет о «всечеловеческой доминанте» русской культуры, отмечая при этом, что «закат Европы уже на наших глазах становится реальностью»[11].

«Наша терпимость к другим, увенчанная Достоевским славой всечеловечности, доходит до самозабвения»[12], — пишет Валентин Распутин в «Беседах о русском». Но в другом месте он сам забывает о «терпении» и «забвении», обижаясь, что «в наше время и до того добралось, что бывшие турецкие славяне неприкрыто стали вздыхать о турках, а немецкие славяне — о немцах, посылая проклятия освободителям. И в этом не ошибся Достоевский...»[13]

Как раз терпимость и самозабвение могли бы подсказать Распутину мысль, что народы, «освобожденные» СССР, освобожденными себя не считали, и лишь распад коммунистической империи дал им возможность подлинного освобождения. И Достоевский здесь ни при чем, а тем более пресловутая «всечеловечность», которой — после опыта русских и советских тюрем, ГУЛАГа, пакта Риббентропа—Молотова, Катыни — ни славяне, ни другие народы не признают, так как им вполне хватает собственной *человечности.*

На страницах «Москвы» некий Михаил Дунаев, отрицая плюрализм в мышлении, призывает «вникнуть в слово Достоевского». Согласно Дунаеву, Достоевский предвидел, что «истина для демократии не нужна, ибо несовместима с торгашескими идеалами «нового мышления», что демократия — не свобода, а «рабство от денег», что вся беда России в «наносной грязи», что «смысл существования Руси — в служении Истине Православной» и если б не эта «наносная грязь», «враг рода человеческого» до России

---

[8] *В. Аксючиц.* Русская идея. — «Москва», 1993, № 7. С. 123, 124.

[9] *А. Казинцев.* Новая мифология. — «Наш современник», 1989, № 5. С. 167; его же: Не уступать духу века. — Там же, 1991, № 12.С. 177—181.

[10] *Д. Ильин.* «Русская идея» на полигоне «демократии». — Там же, 1991, № 3. С. 5—28.

[11] *Ю. Бородай.* Третий путь. — Там же, 1991, № 9. С. 147; См. его же: Пути становления национального единства. — Там же, 1995, № 1. С. 112—132.

[12] *В. Распутин.* Восстань душа моя. — «Москва», 1994, № 2. С. 113.

[13] *В. Распутин.* Что дальше, братья-славяне? — «День», 1992, № 14. С. 5.

не добрался бы[14]. Дунаев, отрицая плюрализм во имя Достоевского и «православной Истины», призывает к тому же самому, что и очередной священник-«патриот»: «Пришло время вновь соединить православие и народность. Это поможет в решении многих острых проблем»[15]. Оба они не отдают себе отчета в том, что во имя единомыслия сводят *народность* опять к своего рода «партийности» (в соцреализме высшим проявлением *народности* была *партийность*, теперь — *соборность, православие*; методология опять та же, меняется лишь семантика).

Пророком называет Достоевского и предводитель современных русских фашистов А. Баркашов. В одиозной книге «Азбука русского националиста» (Москва, 1994), коверкая в поддержку своего антисемитизма цитаты, он пишет: «Вот что предсказал гениальный русский писатель: "Интернационал распорядился, чтобы Европейская революция началась в России. И начнется... Ибо у нас для нее нет надежного отпора — ни в управлении, ни в обществе... Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы и стойла, зальют мир кровью, а потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских...»[16]

Такие «ссылки» на Достоевского отдают духом черной сотни. И их не так уж мало: «пробный номер» газеты «Русский стяг» движения Русского Национального Единства в списке книг, «советуемых для чтения», ставит «Еврейский вопрос» Достоевского рядом с «Протоколами сионских мудрецов» и с книгой А. Романенко «О классовой сущности сионизма». «Всесоюзная газета» «Истоки» не менее Баркашова радуется антисемитизму Достоевского (№ 6 за 1992 г.). «Русская газета» выпускает антисемитскую брошюру под заглавием «Творцы катаклизмов» (вып. 3, Киев, 1994), в которой кроме заглавной статьи митрополита Иоанна печатается «Информация к размышлению» с фрагментом письма Достоевского к Н. Гриценко о том, что «жид распространяется с ужасающей быстротой» (с. 29).

Самую большую работу о пророчествах Достоевского создал Карен Степанян. В 1992 г. он выпустил книгу «Достоевский и язычество (какие пророчества Достоевского мы не услышали и почему?)», в которой автор «Бесов» представлен старцем-пророком, а его произведения неким Новым Заветом, обожествляющим русский народ и сулящим ему спасение мира от язычества западного Антихриста[17]. Такие авторы, как Степанян, всё еще не в состоянии представить, что создавая себе новых кумиров (на место Сталина, Ленина, советского народа) — будь то Достоевский, будь

---

[14] *М. Дунаев.* Тупики плюрализма. — «Москва», 1993, № 6. С. 135—140.

[15] *А. Салтыков.* Русское православие и духовное возрождение нации. — «Кентавр», 1993, № 2. С. 40.

[16] *А. Баркашов.* Азбука русского националиста. — М., 1994. С. 10.

[17] *К. Степанян.* Достоевский и язычество (какие пророчества Достоевского мы не услышали и почему?) — М., 1992.

то русский народ, — они сами невольно становятся «язычниками» и выступают против заповедей христианства, которое на словах признают источником своего миропонимания и жизненного пути.

«Мы должны строить Россию нравственную — или уж никакую, тогда и всё равно»[18] — говорит Александр Солженицын. Казалось бы — прекрасная мысль, с которой и Достоевский вполне согласился бы. Однако о какой, а точнее — о чьей нравственности говорит Солженицын? Ведь не о нравственности же Баркашова, митрополита Иоанна или современного евразийца А. Дугина (редактора журнала «Элементы» и члена редколлегии газеты «Завтра»), который в своей «терпимости» действительно «дошел до самозабвенья» (см. выше слова Распутина) и провозглашает: «Так вот русское православие, русский народ соответствуют Духу Святому — третьей фигуре Троицы [...] Россия... двигается к реализации идеи всечеловека, богоносного человека Духа Святого... Оставаясь русскими, мы должны признавать и определенным образом осуществлять миссию русского народа-богоносца, который является не только старшим братом и не только солью земли, но абсолютно богоизбранным народом, аналогичным в каком-то смысле народу еврейскому, то есть наделенным совершенно особой эсхатологической миссией и не имеющим аналогов в современном мире»[19].

Сознание «избранности» (Богом, человеком) до сих пор никогда еще не приводило к примирению и согласию, наоборот — эта идея всегда приносила смерть и поражение «избранным» и «неизбранным», всегда вела к тоталитаризму. Национальная же нравственность, к счастью, всё еще остается чем-то относительным. Благодаря этому, Салману Рушди есть где скрываться.

Осознавая относительность такой нравственности и невозможность подчинения чему-либо относительному, многие народы-культуры из уважения к каждому отдельному человеку согласились, что существуют ценности общечеловеческие и поэтому возможны права человека (права каждой личности в каждой культуре и в каждом государстве). Эти народы-культуры решили создавать правовые государства, где право не зависит от понимания нравственности отдельной личностью или какого-либо коллектива, где каждый человек свободен в границах права, где законы созданы для защиты человеческого достоинства личности, а не для ее принуждения, где каждый может объединяться в Мы-народ, Мы-религию, Мы-другой коллектив, но где *Я* — определенный, конкретный субъект, а *Мы* — только нечто производное, условное. К сожалению, многие русские авторы, для которых Достоевский является идеологическим авторитетом, идею такого правового государства отклоняют.

«Наше время, — пишет Г. Беловолов в статье «Общеевропейский дом» и Вавилонская башня. Заметки Достоевского на полях Апокалипсиса», —

---

[18] *А. Солженицын.* «Русский вопрос» к концу XX века. — «Новый мир», 1994, № 7. С. 176.

[19] *А. Дугин.* Русские — этнос или нация? — «Кентавр», 1993, № 2. С. 41.

время нового языческого культа «общечеловеческих ценностей». Мы живем во времена торжества нового мифа несуществующих реально «ценностей». И в жертву этому идолу приносятся вполне реальные христианские ценности. Народы превращаются в цивилизацию, личности смешиваются в массы. Вместо Церкви Христовой строится некий таинственный «общечеловеческий дом». Вместо Богочеловека провозглашен общечеловек. Всё это признаки апостасии последних времен. Так называемый «приоритет общечеловеческих ценностей» есть по сути форма дальнейшей дехристианизации человечества. Утверждение «общечеловеческих ценностей» подготавливает не что иное, как воцарение антихриста, должного, по пророчествам, объединить под своей властью всё человечество. Строительство Вавилонской башни ныне продолжается в форме строительства «общеевропейского дома». Различить дух времени, определить природу нового культа и оценить так называемые «общечеловеческие ценности» помогает Достоевский [...] Ныне время чтения Апокалипсиса — этого Пятого Евангелия Нового Завета, благой вести о втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И нам, чтобы не быть обманутыми и прельщенными, необходим соборный опыт апокалиптических прозрений пророков последних времен, к числу которых относится и Федор Михайлович Достоевский»[20].

В таких высказываниях больше всего удивляет нежелание мыслящих людей вырваться из замкнутого круга советских, по-существу, идеологем. Это всё та же советская религия ненависти к «ненашим». Только на смену одним идолам пришли другие, а психология осажденной крепости осталась. Христианские заповеди, являющиеся одной из основ общечеловеческих ценностей и законов в правовом государстве, что известно всем, — русскими «всечеловеками» как бы забыты или неосознаны.

Виктор Ерофеев в провокационной статье под заглавием «Будь я поляком...» пробует доказать, что между русским и поляком общего дискурса, диалога быть не может, что «система понятийности разнится кардинально». Поляк якобы ведет «диалог на картезианском уровне», русский же «рассуждает на основе общей витальности, интегрирующей противоречие как элемент «живой жизни», и поэтому поляк якобы не верит, что у русских есть литература, а Достоевский для поляка — «рупор русского самодержавия»[21].

Другой писатель, Владимир Крупин, решивший, что «не жалко жизнь загубить на пропаганду Достоевского», объяснял во время симпозиума «на одном из островов Средиземноморья» западному человеку, что «Россия — последний бастион, который не одолел Сатана [...]», что «если Россия погибнет, остальные погибнут автоматически, и почему же нас не любят,

---

[20] *Г. Беловолов.* «Общеевропейский дом» и Вавилонская башня. Заметки Достоевского на полях Апокалипсиса. — «Вече», 1992, № 46. С. 74, 75.

[21] *В Ерофеев.* Будь я поляком... — «Московские новости», 1995, № 36.

за что? За то, что предпочитаем материальному пути развития — путь духовный, что экономику выводим из нравственности» и тому подобное. Здесь же, на этом острове, автору «Нашего современника» исповедывался *«Враг России»*, некий сионский мудрец, управляющий миром, и в «путевых раздумьях», озаглавленных «Слава Богу за всё», В. Крупин пишет: «Верить в Россию значит верить в Бога [...] Господа иностранцы никогда не поймут России, и не надо им ничего объяснять [...], вообще для иностранцев мы непостижимы. Прости, Господи, я не видел никого глупее и самоуверенней американцев [...] Спасем Россию — спасем мир [...] Демократия — гениально созданная античеловеческая система [...] Мир не смог подняться до русской культуры, до русской души и поэтому потащил к себе вниз, к своему уровню, стал топить в деньгах и похоти...»[22]

Этот образчик «нравственности» напечатан не в партийной листовке, а в журнале Союза писателей России. Правда, автор сознается, что «лет до тридцати был продуктом (коммунистической) идеологии». По-моему, таким *продуктом* он, к сожалению, до сих пор и остается.

Всё тот же тютчевский постулат: «Умом Россию не понять!» Какой же я тогда «всечеловек», если меня никто не понимает?

Виктор Ерофеев, Владимир Крупи, давайте будем просто людьми — не «всечеловеками», не «общечеловеками», не «сверхчеловеками» и не «хищными обезьянами» (как в одной из своих недавних статей назвал человека Станислав Лем), а просто людьми. В наших культурах много общего, хотя бы десять христианских заповедей, принятых всеми как этическая норма. И в Польше «живая жизнь» была и осталась ценностью, не напрасно ведь Мицкевич говорил: «Чувство и вера больше мне говорят, чем мудреца стеклышко и глаз»; а было время, когда и Польше мечталось быть «Христом народов». Но сегодня никакому поляку даже в голову не придет соперничать с русскими, кто из нас «народ-богоносец» и кто пророк — Мицкевич, Норвид, Пушкин или Достоевский. Время романтизма ушло, а при социализме и вообще никакой «живой жизни» не было, и мы вместе с вами могли лишь мечтать о ней.

Давайте не будем ждать общего врага из космоса, чтобы понять и принять друг друга, а начнем перечитывать человеческую историю, в том числе Достоевского, исходя из ценности каждой отдельной личности, а не во имя «избранного Мы». Не сомневаюсь, что тогда мы поймем друг друга.

---

[22] *В. Крупин.* Слава Богу за всё. Путевые раздумья. — «Наш современник», 1995, № 1. С. 90, 100—110.

МАРКИЗ ДЕ САД И ДОСТОЕВСКИЙ

Донасьен Альфонс Франсуа граф де Сад, в литературе выступавший под именем Маркиза де Сада, долгие годы был известен лишь как порнографический писатель, оправдывавший и эстетизировавший насилие и разного рода половые извращения — особенно те, которые в его честь были названы позднее садизмом. И трудно не признать, что поводов к такому восприятию своей личности и своего творчества он и в жизни своей, и в творчестве давал более чем достаточно.

Де Сад родился в 1740 году в Париже, в старинной аристократической семье. В молодости он служил в кавалерии, участвовал в Семилетней войне (в отставку вышел лишь в 1771 году, в чине полковника) и, как большинство дворянской молодежи того времени, отнюдь не был, разумеется, монахом — разврат считался тогда, напомним, непременным атрибутом жизни аристократии. От других его отличала, однако, повышенная склонность к гетеросексуальной содомии, которая по закону квалифицировалась как уголовное преступление (существует мнение, что склонность эта была связана с неким интимным анатомическим дефектом). А кроме того он нередко порол своих любовниц — по тоже свойственной ли ему склонности и к флагелляции, или с сугубо познавательными, так сказать, целями, судить трудно. Известно только, что когда в 1768 году он завлек в свой загородный дом нищенку Розу Келлер и выпорол ее, раны ее он смазал после этого мазью, которая, по его предположению, должна была способствовать их заживлению и действие которой он хотел якобы испытать. Роза Келлер не оценила, однако, ни сострадательности маркиза, ни его исследовательских устремлений и подала на него в полицию жалобу — похоже, впрочем, что сильно преувеличенную. И хотя позднее, соблазнившись отступным вознаграждением, она сама отказалась от своего заявления, делу был дан ход, и маркиз впервые на достаточно длительный срок — около двух месяцев — угодил в тюрьму. Начало было тем самым положено, и впоследствии его арестовывали и отправляли в заключение по обвинению в разврате неоднократно. В ряде случаев, впрочем, это было вызвано, по-видимому, прежде всего происками тещи де Сада, недовольной его похождениями (маркиз прозвал ее «свиным рылом»); сама же мадам де Сад, супруга маркиза, сохраняла любовь к мужу и в 1773 г. даже способствовала его бегству из Миоланской крепости, куда он был в очередной раз заключен.

Революцию 1789 г. маркиз де Сад встретил в Бастилии. 2 июля он кричал из окна своей камеры, что в Бастилии убивают заключенных, и призывал толпу прийти на помощь. За эту выходку его перевели в Шарантон, в психиатрическую лечебницу, и когда 14 июля Бастилия была

взята, что стало одним из поворотных пунктов во всемирной истории, на судьбе де Сада это отразилось не сразу — ему еще пришлось ждать освобождения до апреля следующего 1790 г., когда был отменен королевский указ, согласно которому он находился в заключении без суда. Маркиз примкнул к якобинцам, стал председателем влиятельной секции Пик, однако террора не принял, отказался одобрить смертную казнь, хотя был присяжным революционного трибунала и даже помог бежать одному из «бывших», находившемуся под следствием, Его снова арестовали — на этот раз по страшному в ту пору обвинению в «умеренности», и только падение Робеспьера спасло де Сада от гильотины.

Литературную деятельность маркиз начал еще в 1782 г. и затем написал десятки новелл и пьес. Но главную — по преимуществу скандальную — славу ему принесли романы «Философия в будуаре», «Жюльетта», «Жюстина» и «120 дней Содома». Последний роман считался утерянным во время перевода де Сада из Бастилии в Шарантон и был обнаружен и впервые издан только в 1904 г. «Жюстина» существовала в трех различных редакциях, последняя из которых, «Новая Жюстина», опубликованная в 1797 г., составляет одно произведение с «Жюльеттой». Это — история двух сестер, добродетельной Жюстины и порочной Жюльетты; первая пытается сохранить свою добродетель, несмотря на все сексуальные насилия и пытки, которым подвергается, и отказывается соучаствовать в преступлениях, — в результате ее преследуют сплошные несчастья. Вторая же сестра, Жюльетта, наоборот, охотно принимает порок и с наслаждением участвует в преступлениях, испытывая наслаждение от мучений своих жертв и достигая успеха, богатства и почестей. Та же утверждаемая де Садом закономерность прослеживается и в «Философии в будуаре», и в «120 днях Содома». Кроме того, во всех этих произведениях чрезвычайно подробно описаны сексуальные извращения, пытки, убийства и прочие насилия, что и привело к обвинениям де Сада в порнографии. Современному читателю, ко многому привыкшему, эти романы вряд ли, конечно, покажутся порнографией, да вряд ли и читатели конца XVIII — начала XIX века воспринимали романы де Сада как настоящую порнографию. До нас дошло немало собственно порнографических произведений французской литературы XVIII века. Так, например, в нашумевшем в 40-е годы «Сладострастном монахе»[1] откровенные эротические описания и в самом деле направлены исключительно на возбуждение эротических чувств у читателей. Романы же де Сада, напоминающие собою скорее многотомные философские трактаты, воспринимать в этом качестве почти невозможно — если только не выжать из них некий дайджест, состоящий из одних «клубничных» сцен. Что же касается остальных, «пристойных» произведений маркиза — вроде философского романа «Алина и Валькур»

[1] См. текст этого романа и фрагменты других французских порнографических сочинений конца XVIII века в сборнике: Сладострастный монах. М.: 1993.

«руссоистская утопия добра» или новелл сборника «Преступления во имя любви», — то они близки к набиравшему в то время силу в Европе сентиментализму, поскольку главное внимание автор уделяет здесь чувствам героев. Впрочем, следы сентиментализма можно обнаружить и в главных десадовских произведениях, хотя в целом его романы настолько оригинальны по стилю и форме, что несводимы к какому-либо из существовавших тогда литературных произведений.

После выхода из заключения в 1790 г. и развода с женой де Сада ни разу больше не обвинили в сексуальных преступлениях, и в последний раз он пострадал, похоже, за чужие грехи. В 1800 г. был опубликован порнографический памфлет «Золоэ и два ее спутника», направленный против Напалеона Бонапарта. Авторство этого сочинения молва приписала маркизу, однако никаких данных в пользу этой версии до сих пор не найдено (здесь нет, в частности, сочетания секса и жестокости, характерного для романов де Сада). Тем не менее первый консул приказал установить за де Садом негласный надзор. Однако полиции удалось найти только доказательства авторства де Сада в отношении романов «Жюльетта» и «Жюстина», рукописи которых были обнаружены в марте 1801 г. во время обыска у издателя. Маркиз был снова арестован, заключен в тюрьму, а в апреле 1803 г. помещен в уже знакомую ему лечебницу в Шарантоне — здесь ему и суждено было остаться до конца своих дней. Очевидно, власти опасались доводить дело до суда, не будучи вполне уверенными в надежности улик против маркиза и опасаясь, что на процессе может всплыть антинаполеоновский памфлет. Де Сад, таким образом, стал одной из первых жертв «карающей психиатрии», столь хорошо известной советским диссидентам, и любопытно, что и сменивший Наполеона Людовик XVIII оставил маркиза де Сада в Шарантоне. Здесь автор «Жюстины» пользовался относительной свободой, имел возможность ставить пьесы собственного сочинения, используя душевнобольных в качестве актеров, а в 1813 г. даже смог издать в Париже свой роман «Маркиза де Ганж». В нем, естественно, читателю уже не предлагалось шокирующих описаний, но это уже не имело значения. В «Жюльетте», «Жюстине» и особенно в «120 днях Содома» их оказалось более чем достаточно для того, чтобы на долгие десятилетия вперед обеспечить их автору ту громкую скандальную славу, которой он и пользовался вплоть до наших дней. И лишь в 60-е гг. XX века — полтораста лет спустя после его кончины, случившейся 2 декабря 1814 г. в психиатрической лечебнице в Шарантоне, — де Сад и на его родине, во Франции, и на Западе в целом был избавлен наконец от малопривлекательного титула порнографического автора, и его окончательно признали большим писателем, достойным куда более серьезного внимания, чем авторы разного рода литературных непристойностей. В России же, где книги маркиза стали издаваться лишь недавно, в 90-е гг. нашего века, общественное мнение до сих пор воспринимает его романы по преимуществу именно как чисто порнографическое чтиво, в качестве какового они и находят у нас массовый спрос среди той

специальной публики, которая дорвалась, наконец, до подобного рода опусов[1].

Естественно, что эта традиция восприятия произведений маркиза, только сравнительно недавно преодоленная на Западе, была характерна и для русского общества XIX века. Имя де Сада превратилось у нас в нарицательное и стало символизировать крайнего развратника, склонного к жестокости — недаром, повторяем, именно в честь маркиза нарекли садизмом вид сексуального извращения, столь тщательно описанный в его трудах. Так, Аполлон Григорьев, критикуя французские романы, отмечал, например, что присущее им «лицемерство сентиментальности и нравственности — вещь весьма понятная после чувственных сатурналий, начатых философом Дидро и законченных маркизом де Садом»[2].

А Михаил Кузмин в записи от 15 сентября 1905 года так охарактеризовал свои собственные дневники, отразившие, в частности, его гомосексуальные наклонности и запечатлевшие ряд скандальных подробностей жизни петербургской богемы: «Я спрашивал у К.А. (художник Сомов — *Б.С.*): неужели наша жизнь не останется для потомства? — Если эти ужасные дневники сохранятся — конечно, останется; в следующую эпоху мы будем рассматриваемы, как маркизы де Сады. Сегодня я понял важность нашего искусства и нашей жизни»[3].

Русские модернисты, к которым в самом широком смысле могут быть отнесены и Кузмин, и Сомов, не изменили принципиальной оценки де Сада как апологета зла и творца скандала, просто поменяв в оценке минус на плюс. Подобным же образом в свое время воспринимал творчество маркиза и западноевропейский авангард. Еще Гийом Аполлинер называл

---

[1] Вот перечень только некоторых из того ряда публикаций произведений маркиза де Сада, который был в 90-е годы осуществлен в России: Жюстина. М., Интербук, 1991 (здесь помещена первая редакция романа); Новая Жюстина. М., Мистер Икс, 1992 (здесь переведены только первые шесть глав третьей редакции романа; в дальнейшем именно этот фрагмент неоднократно переиздавался); Философия в будуаре. М., МП Проминформо, 1992; 120 дней Содома. М., Живое слово, 1993; *Маркиз де Сад.* Соперница собственной дочери. Тинэр М. Мадам де Помпадур. М., Республика, 1993; Жюльетта. М., НИК, 1993. Тт. 1—2; Жюстина. М., НИК, 1994 (здесь впервые помещен полный перевод третьей редакции романа «Новая Жюстина», составляющий единое целое с романом «Жюльетта»); Преступления любви. М., Панорама, 1995 (здесь помещен перевод обширного фрагмента второй редакции романа «Жюстина»). См. также переиздание биографии маркиза де Сада: *Д-р Альмера.* Маркиз де Сад. М., Молодежный центр АПН, 1991 и посвященный ему сборник произведений, переведенных, как и работа Альмеры, с французского: Маркиз де Сад и XX век. М., РИК «Культура», 1992.

[2] *Григорьев А.* Воспоминания. М., 1988. С. 72.

[3] Встречи с прошлым. Вып. VII. М., 1990. С. 234.

де Сада «самым свободным из когда-либо существовавших умов», а Поль Элюар — апостолом «самой абсолютной свободы»[1].

Многочисленные упоминания де Сада в текстах Достоевского тоже принадлежат, на первый взгляд, именно этой и только этой традиции. Достоевский вспоминает де Сада практически всегда в одном и том же оценочном ключе — для обозначения высшей степени разврата.

Так, в «Униженных и оскорбленных» князь Валковский, рассказывая об одной своей знакомой, попутно замечает: «Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться».

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский подробно описывает телесные наказания и тут опять же вспоминает де Сада: «Я не знаю, как теперь, но в недавнюю старину были джентльмены, которым возможность высечь свою жертву доставляла нечто, напоминающее маркиза де Сада и Бренвилье».

В 1861 году, полемизируя с М. Катковым, редактором «Русского вестника», по поводу «Египетских ночей» Пушкина, Достоевский опять вспоминает де Сада: «Уж не приравниваете ли вы «Египетские ночи» к сочинениям маркиза де Сада?» И замечает при этом, что у Пушкина перед Клеопатрой сам маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. А через три года, набрасывая в своей записной книжке (29.08.1864) конспективный план задуманного произведения (зародыш будущей Легенды о Великом Инквизиторе), Достоевский обрушивается на католицизм, папство, иезуитов, западное христианство вообще, ответственное, по его мнению, за Французскую революцию и за идеи «естественного человека» Руссо, и, упомянув в этой связи о безбрачии католических священников, их нечистом отношении к женщине на исповеди и о характерных для них эротических болезнях, замечает: «Есть тут некоторая тонкость, которая может быть постигнута только самым подпольным постельным развратом (Marquis de Sade). Замечательно, что все развратные книжонки приписывают развратным аббатам, сидевшим в Бастилии, и потом в революцию, за табак и за бутылку вина». Опять совершенно недвусмысленный по своему оценочному смыслу, откровенно издевательский намек на де Сада, действительно сидевшего в Бастилии и позднее, в эпоху революции, хотя маркиз так и не смог заработать своими книжками на табак и вино.

Примеры такого рода можно было бы продолжить; все они, повторяем, не выходят за рамки традиционного восприятия де Сада именно как певца «разврата», и, возможно, именно по причине этой «обычности» оценок Достоевским де Сада тема «Де Сад и Достоевский» до сих пор и не привлекала к себе особого внимания исследователей творчества Достоевского. Обычно здесь либо ограничиваются частностями — вроде констатации влияния французской литературной традиции, в том числе и произведений де Сада, на изображение развратного аристократа князя

[1] Цит. по: *Ерофеев Виктор.* Метаморфоза одной литературной репутации (Маркиз де Сад, садизм и XX век)//Вопросы литературы. 1993. № 6.

Валковского в романе «Униженные и оскорбленные»[1], либо вообще ставят под сомнение сколько-нибудь серьезное знакомство Достоевского с книгами маркиза[2].

Между тем внимательное изучение десадовских мотивов в творчестве Достоевского обнаруживает куда более глубокую связь романов великого русского писателя с романами скандально знаменитого француза, зачисленного традиционным восприятием на убогую роль всего лишь одного из родоначальников современной порнографии. Во-первых, многие тексты Достоевского заставляют предположить, что уже и само по себе знакомство Достоевского с произведениями де Сада носило, судя по всему, гораздо более основательный характер, чем это кажется многим исследователям и чем это действительно было бы, если бы Достоевский знал де Сада лишь понаслышке или из вторых рук. Вспомним хотя бы «Бесов» — слова Шатова, обращенные к Ставрогину: «А правда ли, что вы, — злобно ухмыльнулся он, — правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей?» Тут ведь упоминание о некоем «секретном» обществе представляет собою не только своеобразную пародию внутри романа на другую, революционную организацию «бесов», но, похоже, и пародию на знаменитое десадовское «Общество друзей преступления» из «Жюльетты», которое, в свою очередь, пародировало созданное якобинцем Жильбером Роммом «Общество друзей закона».

Да ведь вряд ли случайно и сама биография Ставрогина, аристократа и сына генерала, во многом совпадает с биографией де Сада. Маркиз тоже был, как уже сказано, аристократом (отец его, по некоторым данным, стал послом в России); он тоже был отставным офицером, участником Семилетней войны (Ставрогин у Достоевского — участник Польской кампании 1863 года, где он получил крестик и вновь выслужился в офицеры, будучи ранее за дуэли разжалован в рядовые); он тоже содержал в Париже квартиры — «маленькие домики» для разврата (причем инцидент с Розой Келлер в одном из таких домиков и привел к его первому аресту). Ставрогин описывает, какое наслаждение доставляла ему порка розгами Матреши, им самим спровоцированная. Но именно во флагелляции (порке для получения сексуального удовольствия) обвиняла маркиза и Роза Келлер. Отметим, что в произведениях де Сада розги вообще играют большую роль и, как и у Достоевского, несправедливость порки усиливает наслаждение истязателя. Да и интрига, замысленная Ставрогиным, вполн-

---

[1] *Назиров Р.Г.* Трагедийное начало в романе Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные»//Филологические науки, 1965. № 4.

[2] *Бицилли П.* К вопросу о внутренней форме романа Достоевского//Годишник на Софийския университет: Историко-филологический факултет. Т. 42. 1945/46.

не типична для маркиза и неоднократно встречается в его романах. Ставрогин женится на уродливой хромоножке Лебядкиной, бросая вызов общепринятым «правилам приличия» и издеваясь над таинством брака, а для многих десадовских героев-либертинов тоже была характерна, как мы знаем, страсть к уродам.

Но дело не только в такого рода прямых предметно-тематических перекличках. Взаимодействие творчества Достоевского с десадовскими произведениями открывается нам и в более глубинных, художественно-философских их пластах.

В самом деле, вспомним, например, хотя бы те самые страницы Достоевского, посвященные пушкинским «Египетским ночам», по поводу которых он, как мы уже отмечали, сказал, что у Пушкина перед Клеопатрой сам маркиз де Сад выглядит ребенком. Вот эта поразительная интерпретация, которая вряд ли, конечно, совпадает с подлинным пушкинским замыслом, но которая чрезвычайно характерна зато для самого Достоевского.

«Клеопатра, — пишет Достоевский, — представительница того общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера [...] Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Всё уходит в тело, всё бросается в телесный разврат, и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает. Клеопатра — представительница этого общества. Ей теперь скучно [...] Ей нужно теперь сильное впечатление, она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком [...] Но это душа сильная, сломить ее еще можно нескоро; в ней много сильной и злобной иронии. И вот эта ирония зашевелилась в ней теперь. Царице захотелось удивить всех гостей своим вызовом; ей хотелось насладиться своим презрением к ним, когда она бросит им этот вызов в глаза и увидит их трепет и почувствует в себе стук этих дрогнувших страстью сердец. Но ее мысль уже овладела и ее душою вполне. Страсть уже пробежала ядовитой струей и по ее нервам. О, теперь и ей хотелось бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов! Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! сколько демонского счастья целовать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать рабой этой жертвы, утолить все желания ее всеми тайнами лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва, этот минутный властитель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую дерзость своего мгновенного господства над нею. Гиена уже лизнула крови; ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется

душа мрачно-фантастического, страшного гада; это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки. Всё это похоже на отвратительный сон. Но всё это упоительно, безмерно развратно и... страшно!.. и вот демонский восторг наполняет душу царицы, и она гордо бросает свой вызов»...

Далее Достоевский отмечает на мгновение вспыхнувшее у Клеопатры чувство любви к юноше, готового жизнью заплатить за ночь, проведенную с нею. «Но, — пишет он, — только на одно мгновение. Человеческое чувство угасло, но зверский дикий восторг вспыхнул в ней еще сильнейшим пламенем, может быть, именно от взгляда этого юноши. О, эта жертва всех более сулит наслаждений! Замирая от своего восторга, царица торжественно произносит свою клятву... Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух... и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный искупитель. Вам понятно становится и слово: искупитель...

И странно было бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички! (Курсив мой — *Б.С.*)

Примечательные слова! И в нашем контексте тем более знаменательные, что читая этот разбор «Египетских ночей» Достоевским, трудно отделаться от впечатления, что речь на самом деле идет о каком-то эпизоде десадовского романа. Тут и вполне «маркизий» естественно-научный пример с самкой паука, тут и Клеопатра — типичная десадовская либертина, тут и та, открытая автором «Жюстины» и «Жюльетты» странная закономерность, что между садистом-мучителем и его жертвой парадоксально возникает в какое-то мгновение сильнейшее чувство любви. И тут, наконец, — подчеркнем это особо — и одна из излюбленных идей маркиза о том, что если Бога нет, то всё дозволено!

Да, да! Тем, кто до сих пор видит в романах де Сада лишь «клубничку» и смакование жестокости, следовало бы помнить, что именно он был тем писателем, который первым в своих сочинениях сформулировал этот принцип, ставший впоследствии жизненным кредо многих героев Достоевского. Вот почему трудно не согласиться с переводчиком произведений де Сада на русский язык Евгением Храмовым, который пишет, что когда «десадовские мерзавцы возражают на апелляцию к Богу решительным утверждением, что Бога нет и бояться тут нечего, разве не вспомним карамазовское «Бога нет и значит всё позволено»? Конечно вспомним, да только сказал это французский маркиз за семь десятилетий до великого русского писателя», причем все построения десадовских негодяев-атеистов «рушатся от одного короткого вопроса: «А Бог?» И порнографический писатель оказывается моралистом. Рисуя отвратительные по своей наглядности сцены, он, задолго до Достоевского (вспомним исповедь Ставрогина), предупреждал: «В человеке скрыто невероятно много грязного, темного, преступного. Человек способен на всё. Обуздать его не могут ни штыки, ни тюремные решетки, ни осуждение близких».

Но это лишь о тех, для кого нет Бога и всё позволено»[1].

Можно напомнить в этой связи и тот эпизод из «Братьев Карамазовых», где старик Карамазов рассказывает сыновьям Ивану и Алеше некую «остроумную», по его мнению, историю: «В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: «Мы оченно, говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть, и пороть даем всё парням. После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно». Каковы маркизы де Сады, а? [...] Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел да монахам про Мокрых девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. Меня, брат, зло берет. Ведь коли Бог есть, существует, — ну, конечно, я тогда виноват и отвечу, а коли нет его вовсе-то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают».

Случайно ли опять-таки соседствуют здесь — и так тесно соседствуют! — имя маркиза и мысль о том, что, если Бога нет, то всё дозволено — мысль, столь характерная и для Ивана Карамазова, который, кстати, тоже вспоминает в своем разговоре с Алешей эпизоды с садистскими наказаниями розгами?

Конечно, здесь сразу же встает вопрос, насколько сходно звучала эта формула для Достоевского и для де Сада. Ведь что касается Достоевского, то мы знаем: для него признание этой истины служило сильнейшим антиатеистическим аргументом. А для де Сада?

Здесь ситуация несколько иная.

Да, де Сад не раз заявлял, что его писательская цель — вызвать ненависть к пороку. Вот, к примеру, его собственные слова из эссе «Мысль о романах»: «Я не хочу, чтобы любили порок, у меня нет, в отличие от Кребийона и Дора, опасного плана заставить женщин восхищаться особами, которые их обманывают, я хочу, напротив, чтобы они их ненавидели; это единственное средство, которое сможет уберечь женщину; и ради этого я сделал тех из моих героев, которые следуют стезею порока, столь ужасающими, что они не внушают ни жалости, ни любви [...] Я хочу, чтобы его (преступление — *Б.С.*) ясно видели, чтобы его страшились, чтобы его ненавидели, и я не знаю другого пути достичь этой цели, как показать его во всей жути, которой оно характеризуется. Несчастье тем, кто его окружает **розами**».

Словам этим, правда, чаще всего не верят. Так, Виктор Ерофеев, цитируя этот пассаж де Сада и приводя мнение Ж. Леля о гуманизме де Сада, как бы предвидевшего ужасы тоталитаризма XX века, отрицает искренность де Сада на том основании, что в этом же самом эссе де Сад отрицает свое авторство по отношению к «Жюстине», а, главное, потому, что в «Жюстине» в лице героини романа показано бессилие и жалкая

---

[1] *Храмов Е.* От переводчика//Маркиз де Сад. Новая Жюстина. М., 1992.

судьба добродетели: «В представлении Сада добродетель была связана с христианской моралью и «богом». Отвернувшись от этих «химер», Сад отвернулся и от нее, достаточно показав ее немощность в истории Жюстины. Он сомневался в самодостаточности добродетели». К тому же, по мнению Виктора Ерофеева, «в своем творчестве Сад не предложил и даже не попытался предложить никакой серьезной альтернативы пороку»[1].

Что по этому поводу можно сказать?

Что касается «неискренности» де Сада, отрицавшего свое авторство в отношении «Жюстины», то В. Ерофеев не учитывает того прискорбного факта, что сознаться в этом авторстве де Сад просто не мог — по достаточно кровожадным цензурным условиям. Напомним, что ведь позднее — уже в эпоху Наполеона — именно принадлежность ему «Жюстины» и «Жюльетты» и послужила поводом для его последнего ареста и заключения в тюрьму.

Что же касается обвинений де Сада в безбожии, в отношении его к Богу и к христианской морали, как к «химерам», в неверии в «самодостаточность» добродетели и в отсутствии в его книгах какой-либо серьезной альтернативы пороку, то и В. Ерофеев, и другие критики де Сада безусловно правы лишь в одной их части. А именно в том, что маркиз действительно отождествил Добродетель с Божеством (не обязательно христианским) и при том сомневался в самодостаточности Добродетели и веры в Бога для искоренения пороков общества и предотвращения преступлений. Но значит ли это, что он отрицал и Добродетель, и Бога всего лишь как «химеры», что он был своего рода предтечей Гитлера, стремившегося освободить людей от пустой иллюзии, именуемой совестью?

Ответить на этот вопрос сколько-нибудь уверенно-утвердительно все-таки невозможно. И дело не только в том, что хотя де Сад, как потом Достоевский, всю жизнь боролся с собственными религиозными сомнениями (вспомним ранний «Диалог между священником и умирающим»), он, как можно судить по позднейшим его произведениям, все-таки продолжал верить (возможно, с элементами пантеизма) в существование некоего высшего Божества (пусть даже и трудно предположить, что этим десадовским Богом был Христос). Дело еще и в том особом характере этой веры, из которого проистекали соответственно и особенности его отношения к пороку, к проблеме борьбы с ним.

В произведениях де Сада порок написан настолько выразительно, с таким очевидным смакованием и эстетизацией его проявлений, что, конечно, трудно поверить в сугубо отрицательное к нему отношение со стороны автора подобного рода картин. Тем более, что де Сад и сам не отрицал за собой порочных пристрастий. «Да, — писал он, например, своей жене, — я распутник и признаюсь в этом, я постиг всё, что можно было постичь в этой области. Но, — добавлял он, — я, конечно, не сделал

---

[1] *Виктор Ерофеев.* Указ. соч.

всего того, что достиг и, конечно, не сделаю никогда. Я распутник, но не **преступник** и не **убийца**...»[1]

Это очень существенная оговорка. И она, кстати, прямо перекликается с теми словами де Сада, которым не поверил Виктор Ерофеев, — о том, что он не хочет, чтобы любили порок, и потому изображает его во всей его жути.

Дело в том, что у де Сада мы находим действительно весьма неоднозначное понимание и самой природы порока, и его реальных возможностей и последствий. С одной стороны, как уже сказано, порок вызывает у него отнюдь не одни только чисто отрицательные по отношению к себе чувства. И это впрямую связано с тем, что присутствие и даже своего рода необходимость зла и порока заложены, по де Саду, в само устройство мира, в его, так сказать, онтологическую природу. Де Сад был одним из первых, кто отчетливо сформулировал идею как бы некой «взаимодополняемости» добра и зла, порока и добродетели, их немыслимости друг без друга, и вот вам еще один поразительный пример переклички некоторых важнейших философских мотивов в творчестве Достоевского с книгами де Сада.

Действительно, — вспомним хотя бы тот знаменитый разговор Ивана Карамазова с чертом, центральная тема которого так выразительно была развита уже в XX веке у Михаила Булгакова в его «Мастере и Маргарите», где Воланд, обращаясь к Левию Матвею, издевательски говорит ему: «Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? [...] Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и всё живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп». Ведь весь этот пассаж, почти впрямую повторяющий то, что говорит черт Ивану Карамазову, так же впрямую перекликается соответственно и с тем, что говорил в свое время де Сад. «Ты хочешь, чтобы вся вселенная была добродетельной, и не чувствуешь, что всё бы моментально погибло, если бы на земле существовала одна добродетель»[2], — писал он, например, одному из своих корреспондентов. А эта десадовская убежденность в онтологической укорененности зла была, в свою очередь, непосредственно связана с его уверенностью и в том, что подобное устройство мира было бы невозможно, если бы в самой природе человека, созданной Творцом, не было потребностей и стимулов, делающих для человека зло и порок естественно притягательными. Он видел несоответствие этих природных стимулов и потребностей требованиям христианской морали, но в то же время подчеркивал именно укорененность их в самой природе человека, в его инстинктивном,

---

[1] Цит. по указ. соч. *В. Ерофеева.*

[2] Там же.

непреодолимо заложенном в нем природном стремлении к удовольствию и наслаждению. И осмеливался даже утверждать, что если Творец создал виноградную лозу и половые органы, «то будьте уверены в том, что он сделал это для нашего удовольствия»[1]. Так не наталкиваемся ли мы и здесь, если вдуматься, еще на одну явную перекличку десадовских мыслей с теми мыслями, которые так характерны были для многих героев Достоевского? Для того же Свидригайлова, например, который, вспомним, так парирует обвинение со стороны Раскольникова в том, что он, Свидригайлов, только на разврат один и надеется: «Ну так что ж, ну и на разврат! Дался им разврат [...] В этом разврате по крайней мере есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще, и с летами, может быть, не так скоро зальешь. Согласитесь сами, разве не занятие в своем роде?»

Вот почему де Сад и не верил в самодостаточность добродетели, в ее способность собственными, так сказать, силами, преодолеть и победить порок, стремление к которому укоренено так глубоко в самой природе человека. Вот почему он и был убежден в «химеричности» такой веры, — убежденность, покоившаяся, в частности, у де Сада на трезвой констатации того реального порядка вещей, который царит в этом мире. «Полные пустого, смешного, суеверного почтения к нашим абсурдным условностям, мы, добродетельные люди, встречаем только тернии там, где злодеи срывают розы, — писал он в предисловии к «Новой Жюстине». — Люди порочные от рождения или ставшие таковыми разве не убеждаются, что они правы, рассчитывая более на уступку пороку, нежели на сопротивление ему? И нет ли известной правоты в их утверждениях, что добродетель, сколь бы прекрасной она ни была, слишком слаба, чтобы победить порок, что в этой борьбе она испытывает жесточайшие удары, и не лучше ли в наш развращенный век поступать так, как поступает большинство? Не правы ли те, кто ссылаясь на ангела Иезерада или Задига, утверждают, что всякое зло непременно служит добру и, следовательно, окунаться в порок означает лишь один из способов творить добрые дела? И не правы ли они, прибавляя к этим рассуждениям еще и то, что природе абсолютно безразличны наши моральные принципы и поэтому гораздо лучше быть преуспевающим злодеем, чем погибающим героем?»

Не возлагал де Сад, судя по всему, особых надежд и на силу воздействия положительного эстетического примера, на идеал красоты. Во всяком случае, ему никак не была свойственна уверенность Достоевского в том, что именно красота спасет мир — мысль, непосредственно заимствованная, как известно, Достоевским у его любимого Шиллера, который убеждал своих читателей, что «красота должна вывести людей на истинный путь», ибо «человек в его **физическом** состоянии подчиняется лишь

[1] Цит. по указ. соч. *В. Ерофеева.*

своей природе, в **эстетическом** состоянии он освобождается от этой силы и овладевает ею в **нравственном** состоянии»[1].

У де Сада же взгляд на красоту совсем не столь оптимистический и идиллический, как у Шиллера и других деятелей Просвещения. Он уже видит и другую, темную сторону красоты, связанную с низменными инстинктами человека, и здесь мы опять должны констатировать прямую перекличку его романов, наполненных соответствующими картинами и откровениями его героев, с одним из важнейших мотивов в художественно-философской логике произведений Достоевского.

Вот Жюльетта и Сбригани посещают знаменитую картинную галерею во Флоренции. Они видят «Венеру» Тициана и восхищаются ею — «красота Природы возвышает душу, между тем как религиозный абсурд ввергает ее в уныние». Но описание шедевра, которое мы слышим при этом из уст Жюльетты, открывает нам именно порочную сторону красоты: «Прелестница возлежит на белом ложе, одной рукой она ласкает цветы, другой, изящно согнутой, пытается прикрыть свой восхитительный бутончик; вся ее поза дышит сладострастием, а детали этого прекраснейшего тела можно рассматривать бесконечно. Сбригини заметил, что, на его взгляд, эта Венера поразительно похожа на нашу Раймонду, и я согласилась с ним. Прелестная наша спутница залилась краской, когда мы поделились с ней своим открытием, и жаркий поцелуй, запечатленный мною на ее губах, показал ей, насколько я разделяю мнение своего супруга».

А вот десадовская героиня видит статую Гермафродита: «Гермафродит лежит на постели, выставив напоказ самый обольстительный в мире [...] исполненный сладострастия зад, который тут же, не сходя с места, возжелал мой супруг и признался мне, что ему однажды довелось заниматься содомией с подобным созданием и что полученное наслаждение он не забудет до конца своих дней».

И еще одно характерное место. В другом зале Жюльетта видит гробницу, наполненную сделанными из воска трупами, изображающими все стадии разложения: «Этот шедевр производит такое яркое впечатление, что вы не в силах оторвать от него взгляд; вас пробирает дрожь, в ушах, кажется, слышатся глухие стоны, и вы невольно отворачиваете нос, будто учуяв тошнотворный смрад мертвечины... Эти жуткие сцены воспламенили мое воображение, и я подумала о том, сколько людей претерпели подобные, леденящие душу метаморфозы благодаря моей порочности. Впрочем, я увлеклась, поэтому добавлю лишь, что это сама Природа побуждает меня к злодейству, если даже простое воспоминание о нем приводит мою душу в сладостный трепет».

Не правда ли, всё это сразу же заставляет вспомнить опять же Достоевского — того же Митю Карамазова с его знаменитым: «Хочу

---

[1] *Шиллер Ф.* Философские письма//Собр. соч. в 8 тт. Т. 6. М.-Л., 1950. С. 36, 39.

сказать теперь о «насекомых», вот о тех, которых Бог одарил сладострастьем [...] Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живет и в крови твоей бури родит [...] Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что непреодолимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. [...] Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей»...

Итак, де Сад не верил ни в самодостаточность добродетели, ни в спасительную силу самой по себе красоты, ее эстетически и морально преобразующего воздействия на человека. Не верил именно потому, что стремление к удовольствию, открывающее прямую дорогу к пороку и поддержанное искусительной притягательностью «темной» красоты зла, слишком глубоко укоренено, считал он, в самой природе человека.

Но, с другой стороны, де Сад в то же время трезво отдавал себе отчет и в том, что безудержное следование принципу удовольствия — это прямая дорога не просто к пороку, но и к преступлению, вырастающему на почве порока, — особенно когда для человека не существует никаких сдерживающих его религиозных скреп (ибо если Бога нет, то действительно «всё дозволено»). Его романы переполнены картинами, где он на примере своих героев-либертинов показывает разрушительные для окружающего мира и, в конечном счете, для них самих последствия неограниченного воплощения в жизнь принципа удовольствия. Да, исповедующие у него этот принцип либертины гибнут вовсе не от мук раскаяния, но они все-таки гибнут, взаимно уничтожая друг друга, ибо в их мире наслаждение жизнью становится слишком безудержной верой, которой следуют слишком многие. Отсюда и его стремление найти все-таки путь, способный спасти человечество от этой угрозы самоистребления — выработать, как он писал в предисловии к «Новой Жюстине», «подлинную философию», способную указать этот путь, «раскрыть все способы и средства, которыми располагает судьба для достижения целей, возложенных ею на человека, и наметить вслед за тем какие-то черты поведения для несчастного, идущего по тернистой дороге жизни».

Но как найти этот путь, как выработать эту «подлинную философию», если «несчастного» человека подстерегает на его жизненной дороге столько коварных соблазнов, если так властно диктует ему его жизненное

поведение заложенный в него природный инстинкт стремления к удовольствию и наслаждению?

И вот де Сад, хорошо понимавший, что одной добродетелью, одним Богом в душе это природное стремление к удовольствию не победить, приходит к выводу, что единственным средством спасти жертвы от преступлений, а возможных преступников — отвратить от будущих злодейств, способно послужить лишь изображение преступления и преступников во всей неприглядности, без всякой романтической дымки или демонического очарования. Именно это проповедует де Сад и в своих «Мыслях о романах», и в предисловии ко второй редакции «Жюстины»:

«...Привычное развитие сюжета, когда добродетель одерживает верх над пороком, добро вознаграждается, а зло терпит наказание, сегодня уже всем приелось, — пишет он здесь. — Я попытаюсь достичь цели по-иному, с помощью средств, которыми мало кто пользовался. В моем романе предстанет картина порока, повсеместно одерживающего победу, а на долю добродетели выпадут одни лишения. Я изображу несчастную девушку, которая, попадая из одной ловушки в другую, станет игрушкой в руках распущенных злодеев, претерпев их ужасные и варварские наклонности. Моя героиня будет одурачена дерзкими и тонкими уловками ума, окажется жертвой ловких мошенников, которые станут соблазнять ее с помощью самых сильных приманок, и, хотя несчастная и обладает по природе сильным духом, ее чувствительная натура, сопротивляясь многочисленным ударам судьбы, окажется не в силах победить столь великие несчастья.

Одним словом, какой автор осмелился бы прибегнуть к таким дерзким описаниям, изобразить столь необычные ситуации, цитировать столь ужасные максимы и позволить себе такие эффектные удары кисти ради того, чтобы извлечь, в конце концов, великолепный и невиданный дотоле урок нравственности?

Констанция, неужели я добился успеха? Разве появившиеся на твоих глазах слезы не подтверждают мой триумф? Прочтя «Жюстину», ты скажешь: «Как сильно изображенный в романе порок заставляет любить добродетель! Сколь величествен вид предстающей в слезах добродетели! Как украшают ее несчастья!»[1].

Таким образом, де Сад исходит, как видим, из надежды, что можно попробовать спасти мир именно благодаря безобразию преступления и порока, — благодаря тому отвращению и ужасу, которые они внушают людям. Именно это безобразие преступления и порока должны необходимо дополнять красоту добродетели, ибо лишь два этих взаимодополняющих принципа и способны отвратить от гибели человечество, стремящееся к наиболее полному удовлетворению своих желаний, к следованию принципу удовольствия.

---

[1] Маркиз де Сад. Преступления любви. М., 1995. С. 277—278. Перевод А. Царькова.

Но ведь принцип «Безобразие порока спасет мир» — это же, в сущности, всего лишь другая сторона столь любимой Достоевским максимы, впервые высказанной в романе «Идиот»: «Красота спасет мир», «красотой мир спасется!»

Перед нами, таким образом, налицо еще одно почти что совпадение основополагающих принципов творчества де Сада и Достоевского.

Конечно, в этом уповании де Сада не столько на внутреннее нравственное преображение человека, не столько на голос совести, добродетели, сколько на ужас человека перед безобразными и разрушительными для всех последствиями пути порока, больше, как сказали бы мы сейчас, от прагматически-условной, *конвенциальной* морали, чем от морали, построенной на абсолютных религиозных принципах и связанной прежде всего с категорией совести. И потому вполне можно понять Достоевского, который не находил у де Сада этого важнейшего для него самого исходного принципа и потому восклицал язвительно: «Совесть, совесть маркиза де Сада — это нелепо!» (Запись от декабря 1880 г.)

Но так или иначе, а другого пути де Сад не видел, и следует признать, что эстетическое воздействие его романов, при всей двусмысленности содержащихся в них картин, безусловно заключающих в себе определенную эстетизацию порока, в целом все-таки соответствует его исходной установке и подтверждает серьезность его намерений — возбудить у читателей отвращение к пороку и его носителям. Поэтому именно эстетический критерий — самый надежный при оценке личности и творчества маркиза де Сада. При чтении его романов действительно ведь нарастает чувство отвращения к либертинам, а Жюстина, единственный, по сути, носитель добродетели в десадовском мире (не считая, пожалуй, некоторых жертв в «120 днях Содома»), вызывает сочувствие и жалость, сознательно усиливаемую маркизом за счет многочисленных призывов в тексте к противному — презрению и насмешке над трагической судьбой добродетели.

А вспомним «Жюстину» и «Жюльетту», где громоздятся гекатомбы трупов, где число обесчещенных и убитых девушек и юношей, мужчин и женщин заведомо превышает всё тогдашнее население Франции, где сексуальные возможности либертинов гиперболизированы, превращены в миф, и где все они, осыпающие бога всеми мыслимыми и немыслимыми проклятиями, — отчетливо отрицательные культурные герои! Де Сад сознательно уходил здесь от общего правдоподобия, — но именно для усиления впечатления. Впечатления отрицательного.

Для нашей темы главное, однако, даже не в этом. Можно, в конце концов, сомневаться в искренности десадовских деклараций о его ненависти к пороку, о его стремлении искоренять его посредством изображения его безобразия. Можно не верить в его религиозность и подозревать кощунственное лукавство в якобы антиатеистической заостренности провозглашенной де Садом максимы: *если Бога нет, то всё дозволено.* Но невозможно отрицать то, что в своих размышлениях о природе человека

и в своих изображениях этой природы, в своем постижении причин, условий и стимулов, способных объяснить человеческую устремленность к пороку, де Сад действительно вышел на уровень тех глубочайших прозрений и констатаций, которые прямо обращают нас к творчеству Достоевского, к важнейшим мотивам его философско-художественной логики. Вот почему мы и вправе все-таки назвать де Сада одним из несомненных предшественников Достоевского, с творчеством которого творчество великого русского писателя находится, как мы только что наблюдали, в слишком очевидной перекличке, чтобы можно было ее не заметить или счесть ее какой-то несущественной и случайной.

Достоевский давно уже принят во всем мире как величайший писатель, и когда в XX веке состоялось «открытие» творчества де Сада, его, естественно, восприняли уже во многом сквозь призму Достоевского. Но действительная последовательность была обратной. И если ныне никто не сомневается в гениальности Достоевского, то нет никаких серьезных оснований для того, чтобы не воздать должное и маркизу, ибо их идеи слишком созвучны и взаимодополняющи. Поэтому изучать сегодня творчество Достоевского, стремиться к адекватному постижению его глубинных смыслов, его истоков и его связей с предшествовавшей Достоевскому художественной и философской культурой без обращения к творчеству маркиза де Сада уже невозможно.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы и литературной критики. А раз в полгода (в нечетных номерах) — в области историко-культурной, религиозной и философской мысли*.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих

* В порядке исключения обзор по этому разделу будет дан за весь 1996 год в следующем, 91-м номере.

судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

В прозе, дошедшей до читателя летом и в начале осени 1996 года нет явных фаворитов, нет произведений, способных претендовать на особую значимость и исключительное внимание публики. Да и вообще картина настолько пестра, что и всего лишь упорядочить панораму литературно-журнального рынка тоже не так просто. Во всяком случае традиционный для БСК прием организации материала по хронологической логике в данном случае не срабатывает, поскольку история очень нечасто становится на страницах журнальной прозы III квартала 1996 года предметом для осмысления или хотя бы поводом для нравоучения.

Пожалуй, самые интересные прозаические произведения **современной темы** за этот период посвящены *интеллигенции*, ее блеску и нищете. Писатели размышляют о роли интеллигенции в советском и постсоветском культурном пространстве, живописуют интеллигентскую среду.

Местом действия **в романе Владимира Кантора «Крепость»** («Октябрь», №№ 6—7) избрана Москва 80-х, предперестроечных лет. Автор подробно, «изнутри» описывает жизнь столичной интеллигенции: застолья и посиделки, разговоры, любовные драмы, скандалы и дрязги на руинах разрушающихся семей. Роман написан в манере Вл. Кормера («Наследство»), но это вещь гораздо более камерная, локальная по проблематике. Ее пафос скорее лирический, чем аналитический. Мечется между двумя женщинами журнальный работник Илья Тимашев, то приближает, то отталкивает его неврастеничная Лина, в одиночестве умирает

старая большевичка Роза Моисеевна... Все герои ощущают свою вину перед близкими, все несчастны и обречены на гибель. Люди не умеют помочь друг другу, и нет в этой среде, вопреки названию романа, ничего крепкого, ничего прочного. Не забывает Кантор и подростков, которым посвятил несколько предшествующих своих сочинений. Здесь он рассказывает о трудной и счастливой любви внука Розы Моисеевны Пети и девочки Лизы; учитель-начетчик возводит на Петю ложное обвинение, в этой связи возникает в романе и мотив антисемитизма... В контраст к столичному обществу выведен преподаватель марксистко-ленинской философии из Сибири Каюрский — человек здоровый, сильный, душевный, заботливый, убежденный, — подлинный наследник бессеребреницы-идеалистки Розы Моисеевны, желавшей всем добра. Уже наступают новые времена, и Каюрского зовут работать в ЦК, где он намерен принести много пользы родине. Вся надежда на него, да еще на верную своему избраннику Лизу...

Роман Михаила Панина «Труп моего врага» («Звезда», № 6) — исповедь инженера-неудачника, который не сумел найти себя в советской жизни. Один из друзей его одесской молодости капитулировал перед обстоятельствами, пошел в профсоюзные работники и сделал советскую карьеру. Другой приятель попал за решетку по политической статье и оказался в эмиграции, о чем, кажется, не жалеет. Главный же герой тоже оказался, за компанию, под прицелом органов, вынужден был бежать из Одессы в Ленинград, где с трудом пристоился на птичьих правах и обречен годами тянуть служебную лямку за место в общежитии. Он прозябает, будучи не в силах победить обстоятельства. Все его мечтания рушатся. В каком-то оцепенении он живет прошлым и не видит никаких перспектив. Есть в романе и любовная линия с криминальным оттенком. В новые времена герой каким-то образом преуспел, но об этом упомянуто только вскользь. Вообще роман написан, однако, довольно увлекательно — не открывая америк, автор сочетает верность историческим реалиям с легкостью, незанудностью изложения своей достаточно «обыкновенной истории».

Близок по общему настроению роману Панина **рассказ Алексея Козлачкова «Библиофил»** («Постскриптум», № 3). Нечаянная встреча в книжном магазине давних университетских товарищей дает автору повод рассказать о сегодняшнем существовании русского интеллигента. Речь идет и об утрате, с концом социализма, того смысла жизни, который, по определению автора, располагался «где-то поблизости» от тогда еще дешевых книг, и «о вечном» — о сумеречном возрасте середины жизни, поздней зрелости, когда надежды уже не сбылись, печаль пустоты подступила к сердцу, а до всепримиряющей старости еще далеко, хотя и не настолько, чтобы не думать о смерти. Для двух историков, когда-то подававших надежды, но оставивших профессию ради заработка, единственной (скорбной — поскольку она заменяет живую жизнь) страстью остается собирание книг, которым не суждено питать живой труд. Печаль-

ная смесь зависти, грусти, сожалений, чувства одиночества, острой тоски по ушедшей юности владеет ими — осознавшими, что для них, лишних людей, теперь имеет значение только островок частного существования — семья.

Рассказ Глеба Горышина «Чья резина лучше» («Наш современник», № 9) — нечто среднее между притчей и анекдотом. По-русски добродушного, широкого, простого директора гуманитарного НИИ Гостомыслова в эпоху обкомов и КГБ всячески подсиживают его подчиненные. Регулярно стучит на него несимпатичный карьерист ученый секретарь Челобаев. У последнего есть супруга, еврейка Мика, хваткая, хищная особа, изображенная средствами злой сатиры. После развода Мика уезжает из СССР и систематически компрометирует своего бывшего уже мужа телефонными звонками из Рима к нему на службу. А тот меж тем снова женился — и очень счастливо, не на еврейке. Органы приказывают Гостомыслову уволить Челобаева. Как говорится, стучал и достучался. Уходит и сам Гостомыслов, тем паче, что он давно тяготился административными обязанностями. «Не в свои сани сел, покатался и будя, — объясняет Гостомыслову его планиду мудрый сторож гаражного кооператива Кириллыч. — Русскому человеку что-нибудь возглавлять, как шею в хомут, завсегда несподручно»... Тут же напечатаны еще **два рассказа** Горышина. Один, **«Грибы поздней осени»**, — о прелестях грибной охоты. Другой, **«Неубитая птица»**, о мистическом событии, приключившемся с пожилым охотником: только было вскинул он ружье, чтоб убить глухаря, как у него прихватило сердце, и понял он, что под Богом ходит. И — задумался...

В повести Рустама Ибрагимбекова «Золотое сечение» («Дружба народов», № 9) встреча пятерых коренных бакинцев-интеллигентов, старых, еще с детства, друзей, заканчивается тем, что они вступают в групповую драку с «ераэами», то есть беженцами из Армении, которые с нехорошими намерениями пристают к паре молодых людей. В итоге один «ераэ» погибает, затевается следствие, по ходу которого возникает повод рассказать о прошлом каждого из пятерых героев, вставить в текст отрывки из сценария основного рассказчика об Америке, поразмышлять о культурной специфике Баку и о судьбе особой, космополитической бакинской культуры в постсоветское время. Автор ставит целью создать коллективный портрет бакинца, оказавшегося в кризисной личной и социокультурной ситуации. И если в финале подозрения в убийстве с друзей сняты, то основная проблема, омрачающая их жизнь, отнюдь не решена. Удары, нанесенные по Баку и бакинцам, ведут к исчезновению бакинской цивилизации, почвенное, сельское начало подавляет гулявший здесь дух вселенскости. Изначальная яркая жизнерадостность обогащается ностальгическими и меланхолическими красками.

Повесть Юрия Кувалдина «Поле битвы — Достоевский» («Дружба народов», № 8) — это злая сатира на современную российскую интеллигенцию, ученых-гуманитариев. Скромный научный работник Егоров на-

вещает на дому академика Давидсона, мастодонта советской науки, с заявкой на исследование по творчеству Достоевского и намерением выхлопотать через Давидсона субсидию из некоего научного фонда, к которому академик имеет доступ. Меж персонажами затевается ученый диспут, а параллельно мы соучаствуем в рефлексии Егорова и становимся невольными свидетелями того, как он пускает в ход все средства ради обретения вожделенного вспомоществования, в душе весьма скептически относясь к оппоненту-академику. В итоге Егоров берет подряд на книгу о творчестве... Давидсона, еще и обязуясь делиться с академиком получаемой из фонда зарплатой. Кувалдин создает рельефные образы с отчетливой социальной мотивацией и генеалогией, обличает конъюнктурно-цинические нормы научной жизни в столице наших дней. Вся коллизия в целом и, в частности, возникающая побочно еврейская тема позволяют воспринять повесть как реплику-пародию на пьесу Горенштейна «Споры о Достоевском». Работает, разумеется, и скрытая в названии повести цитата из самого Достоевского.

На сатирическое обличение советской интеллигенции определенного сорта претендует и **повесть Владимира Еремина «Роковая спираль»** («Москва», № 7). Ее герой, академик Бурак, небесталанный карьерист, умело обустроивший в годы застоя свою жизнь «на стыке химии и биологии», вынужден подать в отставку как «тормоз перестройки» (в самом начале повести отказывает в поддержке проходимцу, предлагающему выращивать «искусственные брови любой загущенности»). Оказавшись не у дел, академик проводит время на даче, общается с «отцом русского рока», неприкаянным Колей Махорочкиным, косит траву и доит соседкиных коров. За этим занятием его застает иностранный фотокор, которому академик, куражась, рассказывает выдуманную историю о своих «новейших разработках» химического молока. Затем появляется статья в американском журнале о «революции», произведенной академиком Бураком в области молочной промышленности, и в результате Бурак вынужден возвратиться к научной работе по созданию им же выдуманного продукта. Он активно принимается за это шарлатанское дело, ни секунды не беспокоясь о результате. На фоне этих событий кончает с собой Коля Махорочкин, не умевший угождать эстрадной конъюнктуре и не понявший, как надо себя вести в борьбе за выживание. В финале повести перед читателем предстает академик Бурак, по сути ничем не отличающийся теперь от выращивателя искусственных бровей. Он вписался в «замысловатые виражи перестройки», но не науки ради, а чтобы не затеряться в «калейдоскопической суете новой жизни», основа которой — искусственные молоко, брови и песни. Сюжет избит, отношение автора к своим героям неопределенно, что делает чтение скучноватым.

Интеллигент в современном российском мире — тема эта, как можно было видеть и по уже проаннотированным текстам, почти неизбежно вписана всегда в некую более общую и по-прежнему чрезвычайно будо-

ражающую наших прозаиков тему, связанную с их стремлением так или иначе выразить свое видение и понимание сегодняшней ситуации в стране в целом. Это, как и раньше, делается в разных жанрах и с разных позиций, и, как и раньше, немалый удельный вес принадлежит романам, повестям и рассказам, обращенным прежде всего к тому или иному *отчетливо идеологическому осмыслению постсоветской российской жизни.* Так, **Аркадий Тюрин** в фантазийном **рассказе «Прогулки с Фрейдом»** («Постскриптум», № 3) причащается к нескончаемому спору с Фрейдом (а через него и со всей западной «ограниченностью» с ее признанием «объективных законов»), который ведет русофильствующая интеллигенция. Этот опыт русофильства (окрашенный, впрочем, автоиронией), как водится, включает апелляции к Блоку и восторги по поводу «нашей» исключительности («Это вам не Азия. И не Европа») и свободы от заморочек чуждой цивилизации. Рассуждения автора призваны дополнить изображение им некоего гротескного мира, вырастающего из «свободных ассоциаций».

В близкой идеологической тональности звучат и «свободные ассоциации» **Владимира Крупина** в его **«Тюремном рассказе»** («Москва», № 9). Рассказчик «из лингвистического интереса» посещает тюрьму особого режима, попутно досадуя на невыводимые из русского языка тюремные жаргонизмы — «хазы, мазы и шмары» (невыводимые потому, что «всё время удабривается почва, на которой они растут»). Заключенный рассказывает автору о своем покойном боссе, уголовном авторитете Хмуром. В ходе беседы выясняются удивительные подробности жизни и деятельности Хмурого: он предугадал чеченские события и просил милицию не мешать ему «расправиться с ихним кланом»; летал в Америку искать поддержки в своих благих начинаниях, но вернулся оттуда разочарованным в Западе и уверенным, что «у России нет друзей, а кругом измена, трусость и предательство», ненавидел валютчиков, жвачку и т.д. Да и вообще, по мнению бывшего «коллеги», Хмурый не был преступником, потому что понял, где живет и как надо жить в стране, где «интеллигенция науськивает... убивать». Формулировка способа выживания, выведенная автором в конце рассказа, проста и жизнеутверждающа: «вшей или выжечь, или вымороэить».

Столь же откровенно и плоско тенденциозен и **рассказ Николая Шипилова «Лом»** («Молодая гвардия», № 8). Герой рассказа, гидролог Константин Ломиворотов (Лом в просторечии) защищает в 1993 году Белый дом, потому что «осознал присутствие на баррикадах как главное событие своей судьбы». 19 дней скитался по канализационным трубам, спасаясь от «охотников на ведьм», а потом «уехал в Сербию, где вошел в боевые порядки», — видимо, найдя свое истинное призвание.

По-прежнему заметно в прозе обозреваемого периода и стремление многих авторов к более обобщенному, претендующему на тот или иной *философский подтекст* художественному видению и современной российской действительности, и жизни вообще.

Назовем в этой связи прежде всего **повесть В. Отрошенко «Персона вне достоверности. Триптих»** («Постскриптум», № 3) — повесть-мистификацию, но мистификацию «прозрачную». Автор является в маске культуролога (историка? филолога?), изучающего судьбу странного издательства начала XX в. «Донской арсенал», учрежденного еще более странным издателем, невесть откуда возникшим и вскоре буквально затерявшимся в мирах (параллельных). Цитируя «документы», приводя свидетельства современников и пр., автор с любовью и любованием наносит грим эпохи, со вкусом, например, поясняет разницу между орешковыми и ализариновыми чернилами или упоминает о «крохотном и трогательном музее стеклянных бомбилаток» в Париже и проч. и проч. Бесконечные, экзотические для современного восприятия подробности обихода минувших времен и иных культур (одно из мест действия в повести — государство Бутан), однако, не самоценны для автора. Его задача — представить бытие как вечное (но не бесконечное) Единое, в котором ничто не рождается и не исчезает бесследно, нет прошлого, настоящего и будущего, а есть лишь Настоящее, вмещающее в себя и прошлое, и будущее. По мысли автора, «Единого едва хватило на этот пестрый балаган воплощений», а потому в мире возможны лишь повторения — возрождения душ, судеб, текстов, и, значит, экзотизмы прошлого непосредственно прикосновенны современности (всё сущее — лишь игра перемещений и перестановок). С этим мистическим законом связано и существование «неизбежных текстов» (фрагментов всеобъемлющего Текста), которые не «сотворяются, а открываются» и которым в случае их утраты суждено быть повторенными — иными авторами и в иные времена.

Повесть Юрия Красавина «Русские снега» («Москва», № 9) сперва воспринимается как фантастическая бытовая сказка о деревне, погребенной под снегом. Ее жители довольно быстро приноравливаются к такой «подснежной» жизни, изредка отваживаясь выглянуть поверх наста. Странные бледные тени давно умерших людей обретают в подснежном царстве плоть, ведут призрачные разговоры, исчезают, растворяясь в снегу. Только из эпилога мы узнаем, что все эти миражные, как сквозь метель увиденные, события — снятся мечущемуся в горячке мальчику Ване-дурачку. В бреду он просит «защитить святую русскую землю от нашествия злоумышленных инопланетян, татаро-монголов и немецко-фашистских оккупантов». Мальчику кажется, что он обнимает осколок неба с отблесками радуги, и он засыпает (видимо, навсегда), уверенный, что снега сошли, солнце пробуждает жизнь, земля свободна. Беспорядочная череда сюжетов, рваный темп повествования, вихрь таинственных видений и образов — всё это закружевает читателя, но, в общем, не затрудняет восприятие текста. Фантастический мир бедного дурачка позволяет автору создать некий свой образ России, на которую он смотрит с нежностью и грустью.

Рассказ Климентия Борисова «Глава из диссертации лесничего» («Урал», №№ 5—6) повествует о добром лесничем Андрее Фокиче, добившемся для своего «лесного массива» статуса заказника («чтобы

зверье и птицу люди беспокоили как можно меньше») и абсолютно уверенном в том, что «из зверей наиболее близок к человеку медведь, способный усваивать человеческий язык». Лесничий даже зачитывает медведям «прокламацию, в которой сказано, что «всем лицам медвежьей национальности следует пройти регистрацию — кто где предполагает залечь на зимнюю спячку, во избежание столкновения с охотниками». Но все-таки не во власти лесничего не пустить в свои владения «именитого гостя», югославского генерала со свитой; охотники убивают медведя Рваноухого, которого Андрей Фокич «знал с пестуньего возраста» и все эти годы берег, чтобы наблюдать продолжительность медвежьего века. Медведя убили, а записки лесничего («диссертация», как он их называл), остались неоконченными. Щемящий, грустный рассказ.

«Белые горы над синей водой» А. Волкова («Постскриптум», № 3) — **рассказ-элегия**, в котором всё узнаваемо. Неторопливое бессюжетное повествование об украинском селе доперестроечного времени начинается с поэтической фигуры слепого музыканта, у которого «и дела другого нет, кроме как ходить целыми днями по селу, играть на бамбуковой свирели». Поэтически освещены и другие лица, выхваченные авторским взглядом из потока будничной жизни, и сама повседневность — с повторяющимися изо дня в день занятиями, с неизменным ходом вещей. В рассказе подчеркнуто отсутствуют события драматические (недаром пистолет местного милиционера стрелял на памяти сельчан дважды — на свадьбе и на похоронах), хотя упоминаются и война, и лагеря, и зримо представлена скудость быта. Но драматизм жизни обнаруживает себя в действии «общего закона» — в череде «бесконечных белопольских крестин, свадеб, похорон, поминок», в жизни детей, загадывающих желание, чтобы лето не кончалось; в жизни стариков, медленно и неизбежно вступающих в область безысходного одиночества, когда Бог понимает лучше, чем люди.

Из произведений, обращенных к тем или иным *более конкретным и локальным темам современной жизни* и связанных прежде всего со стремлением их авторов передать сам «образ и давление времени» (Тургенев), назовем прежде всего трагическую **повесть Валентина Филимонова «До последнего дня»** (подзаголовок — «Вянгозерская быль»; «Север», № 7) — своего рода житие крестьянки Марии, многодетной матери, обманутой жены, изнуренной работой и болезнями, но не позволявшей себе умирать, пока не поставит на ноги хотя бы старших детей.

Повесть Николая Бойко «В отвале» («Молодая гвардия», № 9) — притча о молодом солдате Иване по фамилии Отченаш (данной в детдоме), прошедшем Чечню. Лишившись ноги, потеряв мужскую силу, Иван не озлобляется, ищет в мире, где он никому не нужен, доброту и смысл, но смысла не находит, вместе с бомжами едет побираться в Москву, спивается и тихо умирает на обледенелом перроне. Судьба человека, использованного властью в своих милитаристских целях, проста и трагична, в первую очередь потому, что мы, общество, позволили себе п р и-

выкнуть к войне, к побирающимся изувеченным солдатам, «асоциальным личностям» (читай — бомжам), к смерти таких людей, и сам факт смерти воспринимается нами, как досадное неудобство. Автор судит общество в первую очередь по тому, как оно относится к обездоленным и беззащитным, способно ли оно страдать и сострадать.

Тему чеченской войны поднимает и **Любовь Терентьева** в своем **рассказе «Двойник»** («Север», № 7). Речь ведется от первого лица мальчика-подростка Юрки, ждущего любимого брата Андрея с войны. Он случайно видит его в телепередаче из госпиталя, и мать с отцом отправляются забирать старшего сына. Когда же его привозят, долго боятся сказать Юрке, что Андрей получил травму черепа и страдает амнезией.

В немалом количестве в журнальной прозе о сегодняшнем или недавнем вчерашнем — советском — дне представлены *истории о превратностях, перипетиях и странностях любви.* И количество это столь неожиданно велико, что возникает искушение выделить такие повествования в отдельную группу, тем более, что многие из них связаны общим лейтмотивом. Чувство, объединяющее героев, воспринимается как якорь в житейском море, где нет прочных опор и не видно надежного берега. Читатель вправе соотносить такого рода логику с конкретной социокультурной ситуацией середины 90-х годов.

В **повести Виктора Астафьева «Обертон»** («Новый мир», № 8) комиссованного в нестроевики солдатика в 45-м году направляют дослуживать в почтовую часть на Западной Украине. Здесь ждет его главная в его жизни любовь, чувство, которого он спервоначалу даже не понял и не оценил, как должно. В жестоком, беспощадном мире люди ищут счастья и мечтают о нем, а когда оно уже вроде бы привалило, что-то мешает его удержать. На долю героя выпадают и тяжелые испытания. Гибнут от руки партизан-бандеровцев его друзья — семья, присланная из России налаживать колхозную жизнь. Драматический центр повести — история русских девушек, когда-то мобилизованных на работу в Германию. Сначала над ними надругались в плену, потом «немецких подстилок» не пожалели советские особисты, а в итоге они оказались в западноукраинской деревне, вроде как бы на трудперевоспитании. И были здесь сожжены бандеровцами. Мотив потерь и утрат — едва ли не главный в повести, написанной с живым сердечным чувством и со вкусом к бытовым подробностям.

Действие **повести Василя Быкова «Полюби меня, солдатик...»** («Дружба народов» № 6) разворачивается в том же 45-м году — только в Австрии, где стоят советские части. Молодой советский лейтенант, белорус, познакомился с землячкой Франей, которая служит в доме у престарелого немецкого профессора. История влюбленности завершается трагично: и девушка, и ее хозяева становятся жертвами чьей-то зверской расправы. По ходу повествования звучат мысли профессора о том, что нацизм и коммунизм — два конца одной палки, и Франи о том, что нельзя народу выжить без Бога. Это выглядит как своего рода завещание от ушед-

ших живым: те азбучные истины, которые вместе с лейтенантом должны усвоить и читатели повести.

В рассказе Леонида Кокоулина «Победа династии Зубовых» («Наш современник», № 7) отважного красавца сибиряка покалечило на фронте. Лицо ему сшили заново. Жизнь кажется Зубову поломанной. В госпитале он знакомится с сестрицей Тамарой, но не хочет притязать на ее внимание и с болью в душе уходит, не сказав ей самых нужных слов. Каково же было его изумление, когда, добравшись до родной деревни, он увидел среди встречающих свою Тамару. Значит, жить и жить династии охотников Зубовых.

В рассказе Сергея Михеенкова «Запах яблок на рассвете» («Наш современник», № 8) в наше время уволившийся из армии офицер Иван, не зная куда себя деть, нанимается на покос в крестьянское хозяйство Бредовых. На него бросила глаз Таня — хозяйская дочь-разведенка, молодая ядреная баба, неудачно искавшая счастья в городах. Начали они встречаться по ночам. Неизвестно, куда бы это всё вывело, если бы не приезд армян-перекупщиков, один из которых пытается возобновить прежние интимные отношения с Таней. А Таня и не прочь: свежа оказалась память о знойных восточных ласках. Вспылил Иван, пригрозил, что убьет неверную подругу, если что. Тут поняла Таня, что отношения у них завязались всерьез и надолго, — и пришла ночью не к Ашоту, а к Ивану, принесла свой яблочный запах. Словом, победил наш русский Иван ихнего Ашота.

В другом **рассказе Михеенкова, «Ночные велосипедисты»** (там же), речь идет о первой летней любви мальчишки-девятиклассника и чуть более зрелой девицы. Родители парня что только ни нафантазировали про их отношения, а всего и было: солнечные ванны, стремительная езда на велосипедах. Но это запомнилось на всю жизнь и вспыхнуло острым чувством спустя много лет, когда случилась мимолетная встреча.

В повести Феликса Розинера «В обнимку с Хроносом» («Звезда», № 7) рассказана чем-то похожая история. Рассказчик, заехав как-то в Ленинград, познакомился с прекрасной библиотекаршей Марией и долго гулял с ней по жгучему морозу. Ни на что, однако, не решившись, герой отбыл восвояси. Но и много лет спустя не дает ему покоя эта история, крепко запала в душу особа с невских берегов, к которой герой возвращается то письмом, то воспоминанием, то в телефонном разговоре (уже из Бостона). Эта повесть, датированная 70-ми годами, актуализирована, как о том сказано в небольшом послесловии, посвящением ее Виктору Некрасову, который некогда отнесся к ней доброжелательно.

Александр Цыганов в рассказе «Под окном» («Наш современник», № 7) изобразил терзания молодых супругов, под окном у которых расположился пьяный бомж. Им и кусок в горло не идет, и тревожно как-то: а вдруг умрет, замерзнет. В конце концов дозвонились до милиции, дождались, когда приедет за бомжом фургон — и только тогда почувствовали огромное облегчение и горячую друг к другу любовь. Автор очень одобряет своих героев за их беззаветную заботу о ближнем.

В романе Александры Созоновой «Если Ты есть» («Нева», № 7) главная героиня — «жестокая максималистка», которая зовет себя Агни: взбалмошная, капризная особа с высочайшим запросом к миру, с любовью к свободе и жаждой новых впечатлений. Ясно, что у такого романтического персонажа отношения с мужчинами не могут складываться гармонично. Возлюбленный Агни, модный бард Колеев, украшал, было время, ее жизнь. Но теперь Агни ждет ребенка; дни счастья сменились днями печали — то ли оттого, что бард не решался расстаться со своей женой ради Агни, то ли потому, что Агни кажется, будто она любит его больше, чем он ее, а это досадно. Ей пытаются помочь истовая христианка Таня, диссидент Митя и прочие милые люди. Но помочь Агни нельзя. Она уже решила, что Колеев — это бес, что ему нужно мстить, что его нужно убить. До убийства, однако, кажется, не доходит. Всем в этом мире чего-то недостает. Агни, судя по всему, мог бы удовлетворить своей готовностью объявиться по первому вызову только Бог. Но Бог молчит, и Агни дуется на него, швыряет крестик в угол и не хочет крестить будущего ребенка. Для автора жизненный опыт и стиль Агни имеют самодостаточную значимость. Стильная, акцентированно *красиво* (то есть не без манерности) выписанная беллетристика.

Михаил Умнов представил **в повести «Present continuous»** («Юность», № 7) литовскую эстетку и интеллектуалку, сексуальную гедонистку, напрочь лишенную каких бы то ни было моральных тормозов. Ее дружка, финансиста Артура, кто-то убил, и она пытается понять, почему так получилось. Жизнь — жестокая игра; в дело оказались замешаны как коммерческий шантаж, так и слепая женская ревность. Тут и Эрос, тут и Танатос в декадентском камуфляже, столь привычном на страницах «Юности», отданных прозе. Эротико-детективное повествование начинается так: «Я всегда подозревала, что Бог сотворил мир от скуки, после чудовищной зевоты, схожей с потугами разрешения от плода, но более приятной по сути». Автор, похоже, тоже ловит кайф от таких «потуг».

Роман Валерии Нарбиковой «...и путешествие» («Знамя», № 6) — о даме по имени Киса, которая живет с мужем, не без намека названным автором Александром Сергеевичем, и изменяет ему с поэтом, «русским евреем, почти египтянином». «Она мучительно от всего сердца думала, ну почему она ему изменяет. Ведь она его любит. И вдруг она поняла, что она изменяет ему, потому что она живая и он живой». Обычная для Нарбиковой героиня — наивно-бесстыдная сексуальная рекордистка, чающая красивой жизни и имеющая ее вдосталь (живет, кстати, зачем-то в Германии). Обычный акцент на интимные взаимоотношения полов. Обычный поток сознания: механическое нанизывание банальных, профанных мыслительных конструкций, манерный, инверсированный синтаксис, общий дух инфантильности и искусственности. В современной литературе по многим приемам Нарбикова являет собой Виктора Ерофеева в юбке.

У Валерия Козлова в повести «Непогода» («Наш современник», № 8) на любовном фронте у молодого матросика случаются и неудачи, и

успехи. Вообще-то он обаяшка, и ему совсем нетрудно закрутить скоропалительный роман с девушкой Олей из Севастополя. По этому поводу у автора образуется разливанное море всякой лирики и смежных околичностей, но тут Оля неожиданно куда-то пропадает, оставляя героя неутешенным. Он намерен ее отыскать. В **рассказе «Островитяне»** (там же) Козлов выводит героя, любви не знающего, а потому несчастного и одинокого. Чулков, геолог в московском НИИ, нашел ошибку в проектных расчетах своего отдела — и за это его третируют все сотрудники, которым грозит потеря премии, остановка в карьерном росте и т.п. Всеобщая неприязнь дает ему повод почувствовать свою неприкаянность и уйти в безысходное странствие по улицам Первопрестольной. К замятинским «Островитянам» рассказ Козлова, кажется, отношения не имеет.

В **повести Андрея Волоса «Жестяная дудка»** («Знамя», № 7) поэт Лялин влюбился. В манере автора — загружать повествование прямой речью героев, не утаивая от читателя ни единого их словечка. Он тщательно выписывает перипетии недолгого романа, завершившегося гибелью героини. Возникает в романтическом антураже и тема творческой миссии поэта, неизбежности выбора между любовными утехами и художественной аскезой. Так что в каком-то смысле смерть возлюбленной оказывается платой за дар. Среди рассказов того же автора в «Новом мире» (№ 9) наиболее интересен **«Таджикские игры»**. Это забавная картинка с натуры: в советские времена рассказчик должен перевести с таджикского языка некий очерк, коего не существует в природе. И он исхитряется все-таки что-то кондиционное сотворить.

Рассказ Владимира Паперного «Движок» («Знамя», № 8) — это герметичный этюд о том, как двое долго любили и мучили друг друга — и, наконец, разлюбили. Тщательно, «по-набоковски», исполненная вещица автора из Лос-Анджелеса, более известного своей книгой «Культура Два»: теперь мы знаем, что на досуге модный культуролог балуется прозой.

Петр Кожевников в повести «Не отвергни меня...» («Звезда», № 7) создает впечатляющую картину совершенно беспросветной ленинградской бытовухи-чернухи (кромешная пьянка, драки, избиения, внешнее и внутреннее уродство героев, чуть ли не монструозных). На этом фоне разворачивается банальная история дружбы рассказчика с забулдыгой Эдиком и не столь стандартная повесть случайного кровосмесительства (рассказчик по незнанию сошелся с сестрой), вызвавшего трагические последствия, как в какой-нибудь драме рока. Повесть поражает степенью концентрации житейского мрака даже на фоне современной, падкой на изнанку жизни, литературы. Но Кожевников в финале как будто обещает дать герою и выход из ада: он вознамеривается вызволить оттуда, спасти свою сестру и их общую дочь.

В **рассказе Виктора Сапчука «В самом начале августа»** («Знамя», № 6) рассказчик долго и нудно возвращается из казахстанской экспедиции в Подмосковье. Как выясняется — к жене. Томительный, тягостный путь завершается блаженным воссоединением любящих.

Ирина Поволоцкая в рассказе «Утка по-пекински» («Новый мир», № 7) на фоне московской студенческой жизни 50-х годов передает историю некоего молодого студента, который покончил с собой — то ли от несчастной любви, то ли оттого, что вскрылся факт кражи им общественных денег. В другом **рассказе, «Пештик и Плуштик»**, дачнице кажется, что ночью у ее хозяев случилось смертоубийство, а утром выясняется, что это одна хозяйская собачка съела другую. В **рассказе** же **«Куда скачут всадники»** описываются многонациональные отношения при съемках фильма в советской Киргизии.

Дмитрий Радышевский в рассказе «Всадник-праведник» («Знамя», № 7) изобразил стариков, преданных друг другу до конца. Тяжело и страшно умирает дед, и болит о нем сердце у бабушки. Рассказ, мнится, основан на житейских впечатлениях; в нем много красноречивой патетики и сентиментальной дидактики.

Парадоксам семейных взаимоотношений посвящена **повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом»** («Октябрь», № 7). Ворчливая хлопотунья бабушка окружила болезненного внука навязчивой, принудительной любовью и заботой. Она не хочет доверить его своей дочери, его матери, более того — порочит ближних, скандалит с ними. А мальчик любит и мать. В итоге мать выкрала сына и отказывается его возвращать. В повести схвачен драматизм современного расхристанного быта.

У Алексея Колесникова в рассказе «Каждый день на всю жизнь» («Наш современник», № 9) передана гораздо более светлая история. Родители мальчика уехали «за бугор», он остался с доброй, работящей бабушкой — живет у нее, как у Христа за пазухой. Трогательный рассказ.

Самид Агаев в «Романе нелюбящих» («Юность», № 3) сводит вместе таксиста Алексея и снабженку Ольгу. Они пытаются полюбить друг друга, Алексей даже расстается с постылой женой. Но Ольга не хочет отказаться от уз брака, оставить своего нелюбимого мужа, и роман разлаживается. Любовь так и не состоялась. Всё выстыло. Это повесть о вялых чувствах современных граждан.

Юрий Петров в рассказе «Дикарь» («Наш современник», № 9) повествует о цепном псе, действительно диком, необузданном существе. Его, однако, приручил зять хозяина, приехавший как-то в гости. Вывел собаку погулять — и ей открылись новые горизонты, пес почуял запах свободы... А потом зять уехал — и Дикарю осталось только умереть, отказавшись принимать пищу.

Еще один блок прозаических публикаций можно, пожалуй, собрать по признаку интереса их авторов *к маргинальному, странному, необычному.* Здесь и специфические социальные среды и слои, и экстраординарные обстоятельства, и фантазийные причуды... В сущности, и многое из того, что могло бы проходить по ведомству постмодернизма, — это ведь не что иное, как просто современные квазиромантические сказки, затейливые изобретения самовластного художника-«гения».

Распространенный сюжет — скитания нищего, бомжа или бича, по городу. В **рассказе Михаила Гиголашвили «Похлебка для человечества»** («Знамя», № 6) это безобидный, добрый тбилисский дурачок Кола, детская душа. Автор старательно воссоздает ход его помраченного мышления и сопровождает хронику сочувственным комментарием. В финале Кола по неосторожности гибнет от включенной электроплитки.

У **Михаила Умнова** в **рассказе «Коан Нью-Йорка»** («Юность», № 2) герой более притязательный. Московский интеллектуал Тиунов ищет себя в Америке: нищенствует на улицах, медитирует, чуть ли не разваивается — и в конце концов возвращается в Москву, чтобы здесь умереть. Вещь довольно вялая и невнятная и на коан никоим образом не похожа.

Герой **рассказа Юрия Буйды «Казанский вокзал»** («Новый мир», № 8) ближе к Коле, чем к Тиунову, даром что бродит по Москве. Тихий старик Овсенька выбирается сюда из Подмосковья вместе с дурачком-внуком. Они терпят насмешки и тычки, но у них бывают свои праздники в кругу тех, кого величали когда-то «отбросами общества». Рассказ у Буйды получился неожиданно добрый, сентиментальный — чего за этим автором не замечалось. Впрочем, в других его последних рассказах (там же и в «Октябре», № 7) меньше наивно-трогательных нот и житейски точных подробностей современного быта. Это в основном по-прежнему этюды о странностях жизни (обычно болезненных), об ее причудах и превратностях. Грубые нравы соседствуют здесь с подвигами самоотречения. В новомирском **рассказе «Синдбад Мореход»** одинокая женщина изо дня в день переписывает стихотворение Пушкина «Я вас любил...» — до самой смерти. В **рассказе «Продавец добра»** дурачок торгует рукодельными коробочками с «добром» (это слово написано внутри на дне). В **рассказе «Рыжий и рыжая»** кавалер, чтобы доказать даме чистоту своего чувства, отхватил себе ножом гениталии. Потом они больше сорока лет жили семейно, удочерили девочку и втроем замечательно пели в фабричном хоре и просто для себя. В рассказе **«Что-то оранжевое»** робкий фельдшер стал свидетелем самоубийства роскошной женщины, что явилось главным событием в его жизни. Наконец, в **рассказе «Вита Маленькая Головка»** городского сумасшедшего женили на большой кукле, и он ее нежно любит.

Вышел в «Знамени» (№ 8) и новый **роман Юрия Буйды «Ермо»**. Это очень подробно рассказанная биография вымышленного современного писателя русского происхождения Джорджа Ермо, который живет в основном в Венеции. Обширный текст впечатляет качеством стилизации, интеллектуальным и культурно-историческим ресурсом, но в то же время подчас производит впечатление ученической работы по прописям Набокова.

В **рассказе Владимира Крупина «Костя отмучился»** (окончание повести «Прощай, Россия, встретимся в раю»; «Наш современник», № 7) забулдыга Костя — балагур и весельчак — перед смертью вспоминает о

жизни, о плене, о том, как счастливо избежал советского лагерного срока по возвращении на родину. Ведутся и политические дебаты на современные темы. Автор прощается с Костей не без слезы.

У **Бориса Фалькова в рассказе «Круги»** («Октябрь», № 7) алкоголик-музыкант Крюков никак не найдет свою судьбу. Только было собрался он завязать с пьянством, как в его жизнь вмешивается цыганка, и от этого происходит много неправдоподобной и безысходной чертовщины, увлекающей Крюкова куда-то в небытие. Отчего, зачем — кто знает. В другом **рассказе, «Ракоход»** (там же), время течет назад. Найденное в конце 1980-х годов письмо Чехова настигает в конце концов своего автора на смертном одре.

Дмитрий Ценев в повести «Полюбить свой страх» («Юность», № 2) изобразил демонического маньяка, гипнотизера-убийцу, который продолжительно философствует о роли страха в жизни людей. Манерно-декадентская вещь. А герой **рассказа Николая Якушева «Вампир Карягин»** («Волга», № 4), некий лихой выпивоха просто покупает страшные вставные «зубы вампира» и пугает всех, кто попадется, — жену, тещу, собутыльника. Такой рассказ-однодневка, хотя и неплохо написанный.

Столь же маргинальный персонаж и героиня **рассказа Марины Филатовой «Гадости»** («Постскриптум», № 3), одержимая мстительной страстью говорить гадости — подмечать изъяны, отравляя миг радости, воодушевления, любви. Реплика о бессилии зла и ненависти.

Есть произведения, где необычным является место действия.

Владимир Яницкий в соответствии с мрачным характером своего дарования избрал таковым тюрьму в Тобольске (**«Чрево тюрьмы»**, «Знамя», № 8). Возможно, чтоб подготовить читателей к переменам в судьбе после вероятных политических катастроф этого лета, он подробно описал топографию тюрьмы, режим ее канцелярских служб, а затем передал и несколько тюремных легенд, подчас довольно интересных. Повествование ведется бесстрастно, с тяжелой серьезностью и флегмой.

У **Бориса Агеева в его записках кинолюбителя «Лов»** («Юность», № 7) место действия — дикая тундра, где ведется отлов лосей в экологических целях, для переселения их на новое место обитания. Автор заполняет повесть разговорами ловцов, подчас до невозможности глубокомысленными, о гармонии мироздания и о природном балансе. Есть и сцены лова зверей. Агеев кропотливо передает всё, что попадает в поле его зрения, радуя читателей и весьма замысловатым, вязким слогом.

У Александра Эбаноидзе в «триптихе» «Ныне отпущаеши...» («Дружба народов», №№ 7—8) площадкой основных событий становится некий фантастический Дом в Тбилиси, за стенами которого идет гражданская война. А в Доме собрались представители самых разных воззрений, политические маньяки, ведущие бесконечные разговоры обо всем на свете. Сюда попадает главный герой, журналист. Судя по всему, перед нами лирико-сатирическая проекция безумия недавней эпохи в Грузии.

Вещь интересно начата полудокументальными фрагментами, относящимися к тбилисскому расстрелу 1991 года.

В «детективном романе» Елены Сазанович «Все дурное в ночи» («Юность», №№ 4—6) тоже есть свой таинственный дом, где помещается Клуб отчаявшихся сограждан. По его поводу и разворачивается криминальная интрига. Опыту главного прозаика «Юности» в коммерческом жанре вредят, думается, длинные, тягучие разговоры, которыми проложено действие.

У Валерия Пискунова в рассказе «Кормление дракона» («Знамя», № 6) необычайно всё: нарочито запутанная манера изложения, сами обстоятельства, едва уловимые в потоке квазифилософской речи, психика героев... В одном из эпизодов отвоевавший в Грозном парень вернулся в степную станицу и здесь на своей собственной свадьбе сходит с ума (если это кому-то не помстилось). В другом эпизоде боевики захватывают автобус, в котором едет рассказчик (если только это не его бред). Словом, «простое физическое единство события превосходит всякую несовместимость его частей» (как заметил однажды сам автор). Ясно одно: жизнь в прозе Пискунова — не сахар.

На всякого рода «необычностях» построены и **рассказы-миниатюры Михаила Гаёхо** («Постскриптум», № 3) — **«Апокрифы 1910 года», «Антон Семенович», «Семыкин», «Знаки судьбы», «Тайная сила взгляда»**, объединенные мотивом паранормальных явлений (явление призраков, таинственные знаки судьбы, ворожба, психотронное воздействие, общение, минующее вербальный уровень). Разнообразные «потустороннести» вплавлены в рассказах в сниженно-бытовые ситуации, что призвано, видимо, обнаружить авторскую иронию над современными предрассудками.

Евгений Юшин в рассказе «Зеркало снов» («Молодая гвардия», № 9) создает тревожную, угнетающую картину потустороннего мира видений, размышляя о природе человеческих сновидений и о том, что может вызвать к жизни кошмарные, любовные, бытовые, маетные сны — «намеки на бессмертие». В отличие от «Зеркала снов» его же **рассказ «Террорист»** («Молодая гвардия», № 8) обращен к более привычной реальности: автор поднимает здесь риторический вопрос о загадочной русской натуре: спёрва люди делают всё, чтобы высадить из автобуса пьяного забияку, а остаток пути сокрушаются о содеянном.

Мотивы таинственности эксплуатируются и **в рассказе Галины Джугашвили «Последний виток»** («Молодая гвардия», № 9). Анну, молодую замужнюю женщину, случай сталкивает с незнакомцем (который, заметим в скобках, очень напоминает героине фоторобот маньяка, орудующего неподалеку от ее дачи). Этот «эпизод», как про себя станет называть Анна эту встречу, заставляет ее жить ожиданием нового поворота событий, она и боится этого человека, и очень хочет верить, что он изменит ее судьбу, «день да ночь — сутки прочь». Семья Анны рушится, жизнь циклично однообразна. Незнакомец еще два раза возникает, и каждое его появле-

ние — возобновление ожидания и надежды. Последний виток — приезд Анны на заброшенную дачу, куда вызывает ее этот странный человек, и так мы и не узнаем, почему же это *последний* виток: то ли потому, что она нашла единственного человека своей жизни, то ли потому, что незнакомец действительно оказался маньяком-убийцей. По жанру рассказ можно обозначить как женский детектив. (Следует отметить, что «Последний виток» — не первое художественное произведение Галины Джугашвили, дочери сына Сталина Якова. До этого она написала любопытнейшую с точки зрения истории и литературы автобиографическую повесть «Дед, отец, Ма и другие», Москва, ОЛИМП, 1993.)

Среди произведений, построенных на всякого рода *ситуационных казусах*, стоит упомянуть **рассказ Олега Тарутина «Все мы от Адама»** («Нева», № 7), в котором некий прибор, омолаживающий человека, стечением обстоятельств был запущен на безостановочную работу — и началась цепная реакция: люди не просто омолаживаются, но становятся детьми и рождаются «обратно», пропадают вовсе, поколение за поколением, до Адама включительно. В финале автор рассуждает о морали сей басни. В другом **рассказе, «Фотографии двадцатилетней давности»** (там же), фантазийная посылка менее ясна. В семейном альбоме начинают меняться изображения на некоторых фотографиях, и это создает критическую коллизию в жизни героя.

В рассказе Иосифа Ольшанского «Человек в черном смокинге» («Октябрь», № 8) киношнику-неудачнику представляется случай осуществить свою давнюю, уже полузабытую за недостижимостью мечту: снять фильм по бунинскому «Господину из Сан-Франциско». Тут в действие вмешиваются мистические силы, и в итоге герой якобы спасает какую-то инкарнацию этого «господина» от смерти на съемочной площадке.

Здесь, впрочем, мы уже вплотную подходим к достаточно большой (по-прежнему) группе текстов, авторы которых на все лады эксплуатируют так называемую *постмодернистскую поэтику* — по большей части совершенно самоцельно, хотя иной раз и не без претензии на какое-то более или менее содержательное художественное осмысление современности.

Так, именно к современности обращается например, **Виктор Посошков**. Начало его **повести «Всё кувырком»** («Москва», № 8) обманчиво обещает веселую «комедию положений»: два абсолютно разных человека, преуспевающий телевизионщик Патрогин и чертежник Сева Щукин, в буквальном смысле столкнувшись лбами, внезапно меняются телесными обличьями, т.е. оказываются друг в друге. Попытки вернуть всё на круги своя ни к чему не приводят, герои расходятся в разные стороны. Щукину в облике Патрогина, казалось бы, больше повезло — до перевоплощения он был невзрачным, робким субъектом и брошенным мужем. Оказавшись в могучем теле Патрогина он, «храня суставов равновесье и сухожилий торжество», спасает от хулиганов девушку («которой еще утром доходил до подбородка»). Девушка моментально окручивает Щукина, женит на

себе, но Сева, хоть и освоился вполне в чужом теле, никакого счастья не испытывает, понимая, что девушка влюбилась не в него, Севу-чертежника, а в накачанное тело Патрогина. Сам же Патрогин после всяческих злоключений понимает, что повернуть время вспять нельзя, а обрести мало-помалу душевное равновесие — можно. Это понимание приходит к нему ровно через год после «столкновения лбами» — 19 августа 1991 года. Напрасно читатель ждет разрешения коллизии — каждый герой так и остается «при чужом». Кончается повесть маловнятными рассуждениями Патрогина, взирающего на танки у Белого дома, о том, куда катится страна.

Столь же «современен» и **«Монолог в одном действии: родимое пятно» Николая Коляды** («Урал», №№ 5—6) — тщательно выписанный поток сознания актрисы «Юлии, Юлианы, Джулии, Жульки». Нелепое существо, чудовищно загримированное («У меня большое родимое пятно цвета старой крови, я художница, я пианистка!») мечется по сцене и беспрерывно говорит, говорит, говорит о какой-то комете, парализованной матери, умершей дочке, кошке, постоянно перебивая себя, неистово хохоча и играя на рояле что-то истерически-веселое. На протяжении всего действия она изрезывает фотографии — «я выкидываю из себя, из своего дома всех неугодных мне личностей, ненужных, ненужных, навожу порядок, а вот и дедушка на фотографии, а рядом свинья лежит убитая; зачем ты, дедушка, резал хрюшку с пятачком, теперь я тебя отрежу, а себя, маленькую девочку, оставлю, а свинью зачем оставлять — не надо, ее съели давно, много лет назад». Постоянным рефреном — не говорить «да» — это ад, не говорить «нет» — это тень, страх конкретности, она забалтывает себя и зрителей, прерываясь только для вопля: «Мама, не кричи!!!». На веревочке у Юлии-Жульки болтается куриная лапа (дьяволова нога?) — «для кошки»; чем ближе к концу, тем невнятней, безумней становится речь героини и заканчивается полным отрицанием предыдущего текста: кошка — копилка, рояль — гроб, мама — три дня мертва, дочь — никогда не было детей, пятно — какое пятно?.. В общем, «шизофрения, как и было сказано».

Рассказ Айвара Валеева «Марина и Алексей» («Соло», № 17) выдержан, напротив, в характерном для современной молодой литературы стиле нарочитой «совковой» усредненности, казенности («Накануне отправки атмосфера в семье Б. накалилась... Следствием раздора явился уход» и т.п.), что, конечно, не отражает реального авторского стиля мышления, но зато свидетельствует, что автор знаком, знает о существовании подобного стиля мышления. Задача простая: автор отстраненно наблюдает изображаемое, демонстрируя усталый взгляд интеллектуала на незатейливую жизнь вокруг. Отсюда и выбор сюжета — намеренно тривиального: жена офицера изменяет ему с его командиром; отсюда и «невсамделишность» (несмотря на узнаваемость) героев, их чувств и отношений. Неожиданно драматический финал — офицер убивает (случайно, в азарте ссоры) красавицу-жену — не компенсирует общей анемичности повествования.

Роман-фантазия Юрия Цыганова «Гарри-бес и его подопечные» («Постскриптум», № 3) открывается пространными размышлениями (не лишенными, впрочем, автоиронии) о выборе жанра и героя. Заявив, что литература утомлена всевозможными шаблонами, в том числе и шаблонными персонажами («правдоборцами, диссидентами, пророками, художниками и бомжами»), автор все-таки населяет свой полусказочный-полумистический мир и художниками, и бомжами, и другими героями сегодняшней жизни. Грубая мешанина современного существования и современного сознания отражена в романе в мешанине стилевой, демонстрирующей более всего стилевое чутье автора, хотя он и стремится вести речь о вещах трагических — о бесовском начале современной жизни, о гибели любви, о потере души.

Рассказы Наталии Кузьминой («Из дневника Розы Люксембург», «Полет», «Когда лучше всего бомбу в царя бросить», «О дикой радости и глубокой печали», «Весенняя сволочь», «Любовь на фоне семейного интерьера», «Серафима и ромашка»), Игоря Карлова («Разомлел», «В постели») и **Михаила Новикова «Фазан»** («Соло», № 3) тоже демонстрируют в гораздо большей степени общие — родовые — черты современной литературы, нежели авторскую индивидуальность. Обычно рассказы бессюжетны или имеют сюжет фантазийный, часто трудно прочитываемый, едва проступающий сквозь наплывы причудливых ассоциаций, прихотливых деталей и прочих вычурностей. Безусловно, авторы тяготеют к монологической речи, которая, впрочем, внутренне диалогична (как научили нас Бахтин и Достоевский), а потому составлена из вопросов, восклицаний, обращений. Обязательны также всевозможные «сексуальности» и «агрессивности» в гротескном исполнении (у Кузьминой, скажем, «большая и теплая женщина», приняв в свое лоно поток едущих по эскалатору людей, отправляется в полет над городом). И всё это принципиально не принадлежит живой жизни, которая в мире *этой* литературы отвергнута раз и навсегда — как пошлость. Редко прорвется в этой прозе живое чувство или правдивая мысль (например, в рассказе Кузьминой «Серафима и ромашка»), что воспринимается на общем фоне как нежданный подарок.

Наконец, три довольно больших текста являют собой нечто *причудливо-историософское: субъективистский миф на полях реальной* российской истории. Это тоже постмодернистская в основе своей продукция, не претендующая, однако, на соответствие какому бы то ни было канону. Единственным законом в создаваемых художественных мирах становится авторская изобретательность. Здесь каприз и причуда небездарных беллетристов созидают новую реальность, а уж читатель судит о готовом продукте. Бессмысленно предъявлять к такого рода прозе серьезный содержательный запрос, ждать от нее подлинных свидетельств о жизни или духовных прозрений и открытий. Создаваемый мир здесь — это своего рода игровая доска. И тогда в первую очередь нам важно, чтобы игра была красивой. Чтобы не приходилось тормозить на каждой странице. Чтоб

художник-игрок умел по-настоящему развлечь и ободрить замотанного рутиной будней читателя. С этой точки зрения, повествование **Дмитрия Липскерова «Сорок лет Чанчжоэ»** («Новый мир», №№ 7—8) — отнюдь не худшее изделие. На «старинный русский город» Чанчжоэ обрушивается нашествие кур, а потом и у людей начинают расти на затылке куриные перышки. В тексте появляются ищущие всюду выгоду отцы-градоначальники, озлобленный подросток, мстящий курам за погибшего отца, дама-сомнамбула, сочиняющая шифрованную летопись городка, маньяк, зверски убивающий детей, и еще немало экзотических героев с разными странностями и психозами. Быт автор пытается срастить с фантастикой и даже с мистикой в манере то ли Габриэля Гарсиа Маркеса, то ли Виктора Пелевина. Содержательное ядро повести — эротизм, садизм, немотивированные мании всякого рода. Взгляд автора снова и снова возвращается к мужским гениталиям. Мир Липскерова маниакален, но писатель знает меру и владеет красивым, закругленным слогом, отчего очень нетрудно без трения скользить по нарядной и пестрой поверхности его повествования, хотя в целом вещь довольно все-таки скучновата.

Журнальный вариант сочинения **Евгения Перемышлева «Сентиментальное путешествие. Записки Ингредиента Субботия»** («Октябрь», № 8) — еще одна эксцентриада, где провинциальные реалии застойных лет (работа в газете, амуры, уличная шпана) сочетаются с фантазмами. Правдоподобное плавно перетекает в бессмысленное по логике сатирического гротеска (как бы антисоветского и антиармейского, поскольку заглавный герой умудряется поучаствовать и в какой-то абсурдной войнишке). Основной прием автора — материализация метафоры. Так, хулиган по прозвищу Гусь время от времени гогочет и машет крыльями, а фамилия у него, как выясняется, конечно же — Лапчатый... Как сатира опус устарел, а как игровая безделка — донельзя скучен. Автору плохо удается соизмерить желание сочинительствовать с учетом восприятия его шедевра возможным читателем.

Вячеслав Пьецух — признанный мастер квазиисторических монтажей. Такова и его новая **повесть «Государственное дитя»** («Знамя», № 7). Автор отталкивается здесь от архетипической российской ситуации — смерти царевича. Получается наполовину — римейк о новом Лжедимитрии, выполненный в манере анекдота в сверхусловных декорациях какой-то будущей России, в которой древнерусское смешалось с постсоветским. Эта линия перебивается другой — о том, как некто Вася Золкин (самозванец в первой версии) ищет по всему миру некоего Орхана Туркула и нигде не успевает схватить его за рукав: Туркул меняет адрес. Притом Вася стережется Асхата Токаева — и в конце концов оказывается в одной с ним камере КПЗ. Наконец, в повести есть еще и длинные письма жены Васи, полные подробностей мирной деревенской жизни. Можно искать в повести Пьецуха футурпрогноз, можно — развлечение. А можно ничего не искать, что тоже будет правильно.

Считать ли сочинение бывшего посла СССР в Германии, а ныне постоянного автора «Нашего современника» **Юлия Квицинского**

«Искариот» (№ 9) исторической повестью — или постмодернистской игрой? Кажется, намерения у автора были серьезные. Он пытается оправдать Иуду Искариота, уходя от канонической трактовки евангельского сюжета (на что не без сожаления указывает врезка от редакции). Премудрый Иуда хочет примирить Иисуса с Синедрионом, найти золотую середину, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. А его подставили и использовали. Рискуя жизнью Учителя, Иуда невольно оказался предателем. Впрочем, и другие ученики Иисуса предали его, не пошли за ним в решающую минуту, но, в отличие от Иуды, отнюдь себя за это не казнили. «Сбылось пророчество, что вселится дьявол в иудеев, превратив их в детей ехидниных, и увлечет на путь злобы, предательства и греха». Автор подробно прописывает размышления и переживания Иуды, коему, кажется, и сочувствует: ныне это уже общее место для многих сочинителей, эксплуатирующих евангельскую тему.

Среди произведений **исторического характера — «Житие колокольного литца» Фреда Солянова** («Новый мир», № 8) — история о Иване Моторине, отливавшем «Царь-колокол». «Колокола — как люди. Люди — как колокола». В России у тех и у других можно укоротить язык. Живописный, написанный колоритным слогом рассказ из фрагментов.

В рассказе Валерия Ганичева «Сенат и Синод» («Наш современник», № 7) Екатерина II добилась от Сената и Синода разрешения для подданных креститься двуперстным сложением невозбранно, без тяжких последствий. Ганичев одобряет ее заботу о примирении подданных и с симпатией изображает властителя, который может приказать Сенату и Синоду.

Остроумные **рассказы Исаака Башевис-Зингера** из цикла **«Крахмальная улица»** («Урал», № 7) — маленькие новеллы о жизни еврейского квартала в Варшаве начала нашего века. Образы яркие, экзотичные, диалог своеобразен и выразителен, одна емкая фраза часто раскрывает душевный облик персонажа; например, говоря о молочнике Ошере, рассказчик восклицает: «Вся жизнь его была большое «ДА!» Во всех героях Башевис-Зингера, будь то праведный иудей, польская прачка, проститутки или рабочие, «жила гордость и не угасала любовь к труду... возложенному на себя порой по нужде, но не по принуждению — по доброй воле».

В повести Роберта Балакшина «И в жизнь вечную...» («Наш современник», № 7) в первые советские годы уполномоченный из Москвы по борьбе с контрреволюцией Гедров (угадывается прозрачный отсыл к небезызвестному пламенному большевику Мих. Кедрову) обрушивает террор на провинциальный город. Ему содействуют и местные чекисты. Арестован священник отец Панкратий, который решился отправлять службу в каземате. За это его и других арестантов расстреливают. Автор хроники нескольких страшных дней сочувствует жертвам террора.

Рассказ Вячеслава Дегтева «Кум» («Москва», № 8) — монолог бывшего опера, служившего в женской колонии усиленного режима.

Неправдоподобная история о романе приехавшего в колонию во главе «авторитетной комиссии члена ЦК» и «девочки-диссиденточки», которую определили, так сказать, обслуживать высокого гостя. Девочка беременеет, член ЦК без нее жить не может и в итоге женится на ней. Только оставляя за автором право на художественный вымысел, можно забыть, что осужденные по 70-й статье («агитация и пропаганда, порочащая советский общественный и государственный строй») женщины содержались отдельно от уголовников, в так называемой политической зоне, куда, во-первых, не приезжали «авторитетные комиссии из ЦК», а во-вторых, для «обслуживания» «члена ЦК» «обслуживающие» должны были иметь кристально чистую в политическом смысле анкету.

Фридрих Горенштейн назвал свой **сценарий «Летит себе аэроплан»** («Октябрь», №№ 8—9) свободной фантазией по мотивам жизни и творчества Марка Шагала. Это первый опыт художественной биографии художника. Сцены из его жизни разворачиваются в еврейском квартале Витебска, в Петербурге, Париже. Художник и мир, евреи и Россия — размышления об этих и других проблемах сочетаются с великолепной пластикой бытовых сцен.

В **рассказе Семена Шуртакова «Вещие сны Соболева»** («Наш современник», № 8) крестьянин Иван Соболев пропал без вести в войну, а гадалки уверяют, что он жив. Вот и ждут его жена и сын. Не кончается для них война. Автор намекает на некие мистические обстоятельства, не вдаваясь, однако, в особые подробности. А в **рассказе «Живая история»** (там же) ветерана флота привезли в детдом на выступление. Он же расчувствовался и прямо на сцене заплакал от сочувствия к детишкам, осиротевшим в мирное время и при живых родителях.

Особый разряд прозы — **мемуары, рассказы о себе, лирические заметки, автобиографические повествования.** Таковы, например, **«Дороги и дни» Елены Ржевской** («Дружба народов», № 6) — «толчки памяти», обрывки жизни: война, немцы, крестьяне, дети, ифлийцы... Среди прочих военных сюжетов — дневник немецкого офицера 1941—1942 гг., фрагменты других документов.

Главы из книги **Эдуарда Шульмана «Последний свидетель»** («Дружба народов», № 6) — записи самого разного содержания, сделанные со слов свидетелей и очевидцев. Главный критерий — необычность. Сам способ переложения этих известий добавляет им еще некую толику фантастичности.

Израильские **записки Михаила Козакова «Третий звонок»** («Знамя», № 6) — это поток сознания известного актера о России, Израиле, ремесле актера, о еврействе, христианстве, о Боге, о друзьях, знакомых... Автор ощущает дискомфорт, неудовлетворенность своим местом в мире — и пытается осмыслить себя на перепутьях своей судьбы, осознать себя христианином, понять, как теперь быть обрусевшему еврею.

Воспоминания Новеллы Матвеевой «Мяч, оставшийся в небе» («Знамя», № 7) — небольшой фрагмент о детстве поэтессы, проведенном в Царском Селе. Автор передает свои эстетические впечатления, вдохновенно повествует о родителях.

В своих рассказах художник **Семен Файбисович** повествует о разных случаях из своей жизни («Октябрь», № 6). Его из-за окладистой бороды путают то с Солженицыным, то с православным батюшкой, то с Карлом Марксом. Он неудачно менял доллары и попался на удочку мошенников. Ему предложили сделать портрет Горбачева на обложку журнала «Тайм». Он испугался пуэрториканских подростков в нью-йоркском Ю. Бронксе. В рассказах много юмора.

Еще один пример автобиографической прозы, принадлежащей перу художника, — **«Наброски чернилами» Романа Мерцлина** («Волга», №№ 5—6). Среди набросков, затерявшихся в мастерской, автору попадается на глаза старый блокнот — «отрывочные записи, мозаика лиц, наброски городских пейзажей, неосуществленных картин... это ничтожное вдруг обрело иной смысл». Описывая содержание блокнота, художник изъясняется не цветом и рисунком, а словом (дар образного видения — един, средства разнятся), в первую очередь его привлекают «архаизмы городской среды».

«Убегающий от печали» Георгия Семенова («Новый мир», № 9) — записи покойного московского прозаика. Воспоминания, профессиональные наблюдения. Автор остро переживал события августа 1991 года («Слава Богу, народ победил»). Лейтмотив записей — смирение перед Богом.

«Жизнь без нас» Андрея Битова («Новый мир», № 9) — «стихопроза». В основном здесь старательно собраны заметки об умерших друзьях, знакомых, родных: некрологи, эпитафии, стихотворения, почеркушки, предисловия... От начала до конца автор исполнен большой, спокойной печали. Возможно, это диалог писателя с самой смертью, лишенный как патетики, так и страха.

Евгений Пастернак («Из воспоминаний», «Звезда», № 7) рассказывает о своем отце, выстраивая повествование от первых своих детских впечатлений до последних дней Бориса Пастернака. Вводится много фактов и суждений поэта. Вот, например, одна из последних его предсмертных фраз: «Вся жизнь была только единоборством с царствующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант».

«Рождественская сказка» Марины Урусовой («Октябрь», № 6) — лирический этюд о жизни зимой на даче. Рассказ овеян тихой грустью и воссоздает атмосферу затворничества, творчества, полуфантазии-полуреальности... Одиночество нарушают поселковый поклонник рассказчицы, разведенный муж хозяйской племянницы, улетающая за границу пожилая подруга.

Рассказ Василия Белова «Душа бессмертна» («Наш современник», № 7) — это тоже хроника отшельничества в деревенском доме: поток

сознания, окрашенный то меланхолией, то сентиментальной жалостью к матери, к корове, то брюзжанием в адрес масонов, «господ демократов», то умилением перед простыми радостями жизни.

Сцены из захолустной жизни **Олега Ларина «С Егорычем в магазин. Туда и обратно»** («Новый мир», № 7) — увлекательный очерк о современной жизни в костромской глубинке: разговоры крестьян, нравы, изменения и константы. Автор бывает в этих краях уже несколько лет и успел составить представление о тутошней жизни. Он убежден, например, в том, что «возникла новая поросль «двуногих», эдаких человекоподобных мутантов, лишь внешне похожих на гомо сапиенса, с совершенно иной системой мышления и морали». На такой вывод Ларина навел анализ динамики дачных и домовых краж. В итоге он решил теперь и вовсе не запирать свою дачу — всё равно ее не уберечь от лихого человека. На страницах очерка появляется колоритный старожил Заволжья, баюн-забавник Егорыч.

Автобиографическая **повесть Валерия Королева «Добрые люди»** («Москва», № 9) вызывает в памяти горьковское «Детство». Автор вспоминает людей послевоенной деревни, среди которых вырос — контуженного солдата Бойка, водящего ораву голодных ребятишек на рыбалку; прабабку, строгую, но, конечно, справедливую, научившую молиться; мать, отца... Беседуя с состарившимися «добрыми людьми», рассказчик неизбежно пускается в рассуждения о судьбе России, терпящей «бесхозяйственность, лихоимство, голод, предательство, обман» и наводненной «бесами и дьявольщиной» с помощью вездесущих экранов TV. «Раньше, — сетует один из героев, — меня от Бога отрешали, но бесов не подпущали. Раньше грешить не дозволялось». Подобная категоричность выходит на первый план и губит всю галерею портретов «добрых людей», обедняя их и обезличивая. О том, что же такое есть «добрые люди», автор коротко говорит: «...они любили ближнего, как самих себя, вот и весь секрет». Повесть оканчивается описанием вполне символического сна: люди изо всех сил сдерживают распадающуюся красную стену. «Всё будет хорошо», — уверенно ставит автор точку, истолковывая нам смысл сна.

Эдуард Лимонов в рассказе «Первый панк» («Юность», № 5) поведал об уже не очень свежем посещении гала-концерта поэзии и панк-групп в Нью-Йорке. «Первым панком» был, оказывается, Маяковский, чье стихотворение «Левый марш» его юные американские единомышленники принимают на ура. Встреченного на концерте Андрея Вознесенского автор недолюбливает, а потому посылает в мужской туалет, где спариваются «счастливые уроды»: «посмотреть на разложившийся Запад крупным планом».

Наталия Толстая в новой подборке рассказов («Звезда», № 9) делится впечатлениями от жизни. В **рассказе «Студенты»** она поведала о том, что как преподавательница отмякла к студентам после одного случая: забритый в армию со студенческой скамьи красавец Юра вернулся со службы на атомной подлодке смертельно больным. В **рассказе «Женское**

движение» автор удивляется молодым женщинам своей страны, с которыми свела ее судьба: молоденьким домработницам, беременеющим без гарантии; матерям первоклассников и пр. В **рассказе «Гуманитарная помощь»** сопоставлены заезжая благотворительница Анна-Лиза, которая творит добро играючи, и наша простая баба Анна Михайловна, измученная добровольно принятыми на себя заботами о безногом и слепом инвалиде.

Повесть Рустема Юнусова «Из жизни сельского врача» («Волга», № 4) не может не ассоциироваться с «Записками юного врача» М.А. Булгакова. Роднит эти два произведения многое: спокойное, самоироничное повествование от первого лица; герой — молодой врач, поставленный во главе сельской больницы; беспросветность «тьмы египетской» (с той лишь разницей, что у Булгакова мужики наклеивали горчичники на тулуп, а у Юнусова врачи не смогли отличить отек мозга от алкогольной интоксикации). Автор подробно, ровно, скупо излагает историю своего двухгодичного «главврачовства», практически бессмысленных усилий привести в порядок запущенное больничное хозяйство, безнадежность попыток борьбы с безответственностью и невежеством персонала, алчностью и хамством главврача района и т.д. Сухость повествования может показаться следствием равнодушия героя к этим проблемам, но чем больше непростительных ошибок допускает новый назначенный «сверху», удобный начальству врач, тем отрывистей и безнадежней становится повествование автора. Юнусов делит героев не на черных и белых, но на спокойно смотрящих, как умирает по их недосмотру человек, и на тех, кто и смотреть не может, и изменить ничего не в силах.

Автобиографические **«Воспоминания — время собирать камни» Александра Романова** («Волга», №№ 5—6) написаны человеком, который был осужден и отбывал наказание в 19-й политзоне в Мордовии. Подробные, документальные записи, которым автор «придает особое значение, потому что люди, находящиеся со мной в заключении, не ставили перед собой задачи вписать свою историю в историю современного ГУЛАГа».

Отрывки из дневников **Лидии Тхоржевской**, озаглавленные **«Да святится имя твое»** («Урал», №№ 5—6), практически не содержат описания внешних событий, это исповедь, заклинание, молитва женщины, муж которой пропал без вести в 1941 году и «нашелся» в 1946-м в соликамских лагерях, куда попал как боец первой власовской дивизии. 15 лет разлуки (Владислав Тхоржевский был освобожден в 1956 году) Лидия Александровна каждый день писала мужу письма, каждый день — признание в любви; когда (в 1993 году) Владислав умер, Лидия Александровна пишет: «...счастье было коротким — 37 лет. Сижу на вокзале жизни и жду, когда мы встретимся навсегда».

И закончим наш обзор мемуарной прозы **романом княжны Екатерины Александровны Мещерской «Жизнь некрасивой женщины»** (подзаголовок — *«История одного замужества»*; «Москва», №№ 7—8). Записки

княжны Мещерской относятся к периоду ее жизни в Москве 20-х годов (отрывки из воспоминаний о ранней юности Екатерины Александровны — Китти — были опубликованы в журнале «Новый мир» в 1989 году). После 1917 года Китти и ее мать, княгиня Мещерская, были лишены средств к существованию, права на труд и выселены за пределы Москвы. Лишь благодаря «счастливому стечению обстоятельств» княгине с дочерью удалось вселиться и прописаться в двух комнатах своей бывшей квартиры на Поварской. Начало романа описывает зиму 1922 года, когда в жизнь восемнадцатилетней княжны Китти и ее семьи врывается известный летчик Николай Васильев (типичный «русский мужик») , за которого она, в конце концов, выходит замуж. И начинаются ее мучения в неравном браке. Несколько раз пытается княжна Екатерина разорвать отношения с Васильевым, убегает от него, скрывается, но всё время возвращается к нему. Екатерина Мещерская несколько раз отчетливо повторяет: я не любила этого человека. Что же удерживало рядом с ним хрупкую, гордую аристократку, которая даже обвенчалась в итоге с этим «разъяренным быком», «агрессивным невеждой», «авантюристом, мерзавцем, уголовником»? Единственный раз, пытаясь объяснить читателю (или в первую очередь — себе?), почему она в одночасье решилась венчаться с Васильевым, автор пишет: «Я была молода и верила в свои силы, кроме того, я убедилась в том, что он любит меня... он — моя судьба, я должна отдать свою жизнь, но сделать его полноценным человеком... Во мне заговорила та жертвенность, которая живет в каждом женском сердце». Потом не раз раскается она в своем решении, поняв невозможность примириться с характером летчика или «приручить» его. Их отношения заведомо были обречены, они превратились в бесконечный поединок — поединок социального неравенства, твердых характеров, железной воли и темперамента. Победителей в этой борьбе нет — Васильев «гибнет во время испытаний на аэродроме», этой фразой безо всяких комментариев оканчивается роман. Мемуары княжны Мещерской показывают нам ее человеком достаточно холодным (но не расчетливым), жестким, умным и наблюдательным — прописаны мельчайшие детали быта, улиц, людей, даже погоды. Роман отлично написан, увлекателен и заставляет сожалеть, что продолжение — не следует.

2. Литературная критика

В критике середины 1996 года обнаружился явный дефицит **обобщающих обзорных статей**. Как будто концептуальный всплеск в начале года, когда в первых номерах журналов появилось немало сочинений с крупными мыслями, на время если не исчерпал, то сильно истощил интеллектуальный ресурс нашей критики — и она отдыхает от больших, глобальных тем на портретах и рецензиях. А может быть, дело в другом: не меняется ли сама функция критики, не становится ли неактуальным пережитком сам жанр обзорной, проблемной статьи? На эту мысль наводит поучитель-

ный обмен мнениями в «Новом мире» (№ 7). **Сергей Костырко в статье «О критике вчерашней и сегодняшней». По следам одной дискуссии»** разбирает волной прокатившиеся в текущей прессе статьи о критике газеты «Сегодня», останавливаясь на мнениях Евгения Ермолина и Павла Басинского. Для Костырко эти критики — «вчерашние». Из своего вчера они и интерпретируют современное состояние литературы как кризисное. А на самом деле литература двинулась в сторону нормы. Она просто меняет функции. Костырко по нраву и критика газеты «Сегодня», на которую обрушилось столько поношений. Акцент на эстетическую проблематику соответствует смене задач литературы, отказывающейся быть «частью общего дела». Басинский же и Ермолин, по Кастырко, претендуют на знание того, какой должна быть литература, на представительство от чего-то высшего, от истины. (Забавно в то же время, что, воспринимая названных критиков как однопартийцев, Костырко то и дело очень сильно удивляется различию в их мнениях по разным поводам.) Но критика не больше литературы, «критика помогает нам максимально приблизиться к тому, что содержит литература, и только». Критик — это просто представитель публики, один из читателей, только «специально обученный». Таков Немзер: но его никто не любит, потому что он трудолюбив и профессионален, а прочие все — дилетанты. Немзер, по Костырко, идет за литературой, а не учит ее. «Если хотите, он принципиально неопределенен». Как видим, Костырко тоже хорошо знает «какой должна быть литература».

Ирина Роднянская в отклике на статью Костырко (**«Герменевтика, экспертиза, дегустация, санэпиднадзор»**, там же) соглашается с тем, что кончается прежняя критика, которая не абсолютизировала Литературу, а была саморефлексией литературной жизни, непрерывным спором между архаистами и новаторами; критик представительствовал не от читателей (что Костырко кажется извечной «нормой»), а от своих убеждений. Именно это было нормально. Теперь же критика перестает быть органом литнаправлений, таков общемировой процесс. Идейная установка вытесняется товарной, критик становится информатором публики, облегчая ей акт выбора среди пестроты возможностей. А убеждения тут ни при чем. Роднянской неинтересна эта «беспредпосылочная критическая практика», но именно она «имеет преимущественное будущее». Это «признак культурного упадка» — но Роднянская «тут настроена фаталистически».

Когда оптимисты и фаталисты соединяются в признании того, что будущее — за критиком, который держит свои убеждения при себе, шансы концептуальной, аналитической критики, конечно, уже не кажутся слишком большими. Но история — это не пуля, летящая в одном и только в одном направлении. И, как знать, не откроется ли завтра спрос на идеи, на веру, как сегодня открылся и возобладал (?) спрос на торговое посредничество? Пока же от «концептуалистов» в текущей журналистике представительствует Михаил **Эпштейн** с обширной, глобальной по замаху статьей **«Истоки и смысл русского постмодернизма»** («Звезда», № 8). Американский аналитик исследует советские корни постмодернизма, вскрывая его тесную связь с

коммунистическим проектом. Их общие черты — создание гиперреальности, детерминизм и редукционизм, антимодернизм (неприятие авангарда в искусстве), идеологический эклектизм, эстетический эклектизм, цитатность, среднее положение между элитарным и массовым, постисторизм и утопизм. Затем Эпштейн анализирует национальные корни постмодернизма, связывая его со спецификой русской истории и ментальности. Постмодернистские слои русской культуры — это культура вторичности, религиозная интуиция пустоты (то есть разоблачение обманности всякой культуры, всякого положительного делания), опустошение понятий (отбрасывание всех положительных теорий), «всё как ничто» (культ целостности и тождественность «всего-ничего»). По Эпштейну, постмодерность — состояние культуры, отбрасывающее в прошлое «модерный» (нововременный) проект. В России Новое время не успело закрепиться, поэтому постмодерные тенденции и обнаружили здесь себя раньше всего, что предвещает «постмодерный» порядок вещей с его машинами бессознательного и галлюциногенным растворением реальности в гиперреальности. Эпштейн призывает осознать всю меру постмодерности культурного и исторического наследия.

Дополнением к статье Эпштейна выглядит работа **Дмитрия Бавильского «Человек без свойств»** («Октябрь», № 7). Наступил, по критику, «компьютерный период» русской литературы, появились писатели-компьютерщики (Шаров, Бородыня, Соколовский, Левкин, Королев). Это, в частности, отразилось на поэтике, на разрушении потребности в контактах с читателем. Писательство переводится «в статус виртуального рукоделия, лишенного обязательной материальной подосновы».

Валентин Курбатов в рубрике **«Современные заметки»** («Москва», № 8) сетует на «пошлую публицистичность» современной прозы, превратившейся в политический лубок, иллюстрируя свои рассуждения цитатами из рассказа **В. Аксенова «Второй отрыв Палмер»**. Критик устало констатирует, что политизированность нашей жизни «чудовищно, бесовски» отражается на литературном процессе, он объединяет таких полярных писателей, как Белов и Сорокин, Бондарев и Слаповский, потому что «и те, и другие — только рупоры идей», разучившиеся отражать жизнь. Автор, впрочем, оптимистичен: он убежден, что скоро читателю политика надоест и он окажется «достоин своей литературы, ее главного, лучшего, возвышающего, святого...» (чего именно, к сожалению, не уточняется). В другой статье **«Право на обязанность»** («Москва», № 9) критик размышляет о судьбе «сельской публицистики» на страницах толстых журналов. Ностальгируя о тех временах, когда «дело и человек были еще сцеплены», например, в очерках В. Овечкина, Ф. Абрамова, Ю. Черниченко, А. Стреляного, В. Курбатов обращается к публицистическим отделам «Знамени», «Нашего современника», «Октября» за последние полгода. Статьи отделов ограничиваются, по мнению критика, общими неглубокими философствованиями о ценностной переориентации и «изменении отношения к труду и земле». Завершает В. Курбатов свои заметки так же, как и предыдущую статью,

надеждами на читателя, который должен «вернуться к лучшему и сберечь землю и отвечающего за нее с крестьянской полнотой русского писателя».

Вячеслав Курицын в статье «Великие мифы и скромные деконструкции» («Октябрь», № 8) ищет истоки постмодернистской литературы в повести «Москва—Петушки» Вен. Ерофеева и «Пушкинском доме» А. Битова. Анализируя литпродукцию В. Шарова, И. Яркевича, А. Иванченко, В. Пелевина, критик приходит к выводу, что литература выходит в масскульт и в виртуальную реальность.

Александр Агеев в статье «Бѣсъ борьбы» («Знамя», № 6) пишет, что закончились споры «патриотов» и «либералов» в литературе, она распалась на множество «сублитератур». Правда, спорят теперь уже внутри самих, монолитных в прошлом, «лагерей». Кроме того, иные писатели ударились в новую крайность: сочинители-либералы сотрудничают в махровом «патриотическом» альманахе «Реалист». Агеев призывает отказаться от такого плюрализма.

Дмитрий Бавильский («Урал», № 7) рассуждает **о современной журнальной прозе**, которая напоминает критику классическую коммуналку. Более удачливые и богатые разъехались, поменяли гражданство, остальные кукуют у разбитого корыта. Потерян главный адресат литературы — массовый читатель. Бавильский условно выделяет два направления журнальной прозы — «новый сентиментализм» (Петрушевская и «другие чернушники и чернушницы», поздний Аксенов) и «новый субъективизм» (поздний Войнович). Появление обоих направлений закономерно, никто сегодня со всей степенью ответственности не может сказать, что есть «реальная жизнь», ибо сколько людей — столько мнений и интерпретаций. Сама нынешняя культурная ситуация интересна критику своей неоднозначностью и множественностью.

Упомянем также о ценном **обзоре А.В. Блюма «Как было разрушено «министерство правды»: советская цензура эпохи гласности и перестройки (1985—1991)»** («Звезда», № 6).

Обзор **портретной критики** начнем со статей о поэтах. Здесь выделяются публикации к 60-летнему юбилею Александра Кушнера. Таковых в одной «Звезде» (№ 9) три. **Фазиль Искандер в эссе «Поэт нормы»** характеризует Кушнера как поэта жизнеутверждения, поэта дома, уюта, окультуренного мира, врага всякой мистики. Он не знает упоения трагизмом, никогда не зависает над бездной. **Евгений Голлербах в статье «Genius loci»** считает Кушнера поэтическим антагонистом Бродского, русским национальным автором и даже патриотом. Он весь здесь, на своей земле и в своем времени — абсолютно зависимый от условий существования, истовый коллективист. От тотальной зависимости, однако, его избавили домашний быт, личная жизнь, время сна. Социальная несвобода, по Кушнеру, сняла с частного гражданина бремя ответственности; осталась тихая радость дышать и жить. Антиромантик Кушнер и полагается на течение жизни. Он не умствует, предпочитая глуповатую поэзию. «Музы А.С. Кушнера — это муза оседлой жизни, муза покоя и муза заведенного порядка. Это очень

по-русски». **Яков Гордин в статье «Выход за межу»** считает, что Кушнер выдвигает вперед упрощенного двойника — дорожащего душевным равновесием, живущего в мире родных предметов и простых ценностей и чувств. И в то же время он постоянно возвышается над этим персонажем. Это борец, чья позиция может быть сопоставлена с богоборчеством Иакова. **Михаил Визель в статье «И муза громких слов стыдится». Двенадцатикнижие Александра Кушнера»** («Литгазета», № 30) пишет о том, что в молодости творческую позицию поэта отличали горацианство (стремление говорить ровным голосом), аутсайдерство (стремление быть вне строя), звериное чувство вещи. С середины 70-х начались изменения, о которых, однако, автор статьи говорит не очень определенно.

Сергей Гандлевский в статье «Литература^2» (литература в квадрате): **мрачная веселость Льва Лосева»** («Знамя», № 7) отмечает парадокс поэзии своего персонажа. С одной стороны, для нее характерны окультуренность, камерность. С другой — критик именно здесь нашел лучший образец гражданской лирики за последние десять лет (стихотворение «Извини, что украла», — говорю я воровке...» цитируется целиком). Лосевские стихи на случай, обаятельные пустяки, филологические дурачества впадают в течение отечественной поэзии. Щегольством, словесной эквилибристикой, виртуозностью он обязан и эмиграции. Творчество Лосева имеет отношение к смеховой традиции: он проверяет на прочность культурные авторитеты, «задирает целый ряд святынь» («деревенская проза», Пастернак, Маяковский). Лосев — артист. У него нет благочестия. Это последовательный пессимист, выбирающий мрачную веселость.

Станислав Рассадин в статье **«Грань. Портрет поэта на фоне поэзии»** («Дружба народов», № 9) пишет о Владимире Соколове, пытаясь попутно заново осмыслить движение поэзии последних десятилетий, отчего разговор (как это водится у Рассадина) затевается сразу обо всем на свете. Соколов у критика — поэт улицы, противостоящий предшествующей гиперболистике, а затем и эстрадной поэзии, для которой были свойственны синдром актерства, жажда сиюминутного успеха и всечасная зависимость от него, борьба за первенство. У Соколова же мы находим программу высокого одиночества, самоуглубленности. Он уходит в самомучительную даль. Поэт являет свою сущность на грани, на рубеже, в «зоне слома». В этом же номере публикуется анкета Вл. Соколова — его ответы на 19 вопросов.

Михаил Копелиович в отклике из Израиля **«Явление Седаковой»** («Знамя», № 8) бесхитростно делится впечатлениями от стихов поэтессы. Преобладает у него восторг перед ними. «Здесь мир цветущий, многоцветный и — покорный Творцу, наделенный иммунитетом против ядов злобы, недоверия и мстительности». Автор указывает на высокую оценку стихов Ольги Седаковой такими «священными коровами» культуры, как Вяч.Вс. Иванов и С.С. Аверинцев. «Велика честь (хотя и невелика заслуга) присоединиться к подобной компании».

Вячеслав Куприянов в статье «**Злоба века. Об Антологии русской поэзии** (составитель — **Евгений Евтушенко**). **1995**» («Наш современник», № 8)

резко критически отзывается о труде Евтушенко. Там много плохой поэзии, много эмигрантской поэзии (последних волн), много субъективизма в заметках о поэтах. Куприянов считает антологию некачественной работой.

Творчество Виктора Сосноры — это грань поэзии и прозы или даже что-то, находящееся вообще за гранью. **Иосиф Нелин** в обзорной статье **«Этот «трудный» Виктор Соснора»** («Звезда», № 7) называет его «будетлянином наших дней»: он весь устремлен в будущее. Это «обуянный непомерной гордыней одинокий волк, исполненный скепсиса и сердечной доброты». Онтология Сосноры безрадостна, «он убежден в заброшенности и обреченности человека» — но при этом «сохраняет мужественный оптимизм и веру в человека».

Ушедший от нас Сергей Довлатов и сегодня актуален, как не многие из живущих. И если **Игорь Сухих** посвящает ему вполне академический разбор **«Зона: два ада и чужие голоса»** («Нева», № 9), то **Михаил Нехорошев** в статье **«Веллер и Довлатов: битва героев и призраков»** («Нева», № 8) включает Довлатова в контекст современной литературной жизни. Критик отвергает претензии Михаила Веллера на конгениальность Довлатову. У одного анекдотизм, сарказмы, грубость, убойный юмор — у другого родительская нежность к героям, точность юмористического попадания в цель. Веллер производит товар полупромышленного производства, а афиширование связи с Довлатовым с его стороны — это просто рекламный трюк.

Ирина Роднянская в статье **«....И к ней безумная любовь»** («Новый мир», № 9) пишет о новом романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Пелевин — превосходный писатель. Может быть, и не желая того, он написал роман о России — о той, которую уже потеряли и которую теряем опять. «Красота/безобразие — вот главный ценностный критерий». Пахнуло К. Леонтьевым и — заодно — Маяковским. В романе сравниваются две эпохи: Гражданская война и современность. И эстетические симпатии отдаются первой. Положительный эстетический полюс — старое сословие, «мистический барон Юнгерн». Но красоты в мире становится всё меньше. За XX век ее извели. У писателя вызывает острое неприятие сегодняшняя «жизненная проза», Россия в объятиях масскульта. Этот «романтический рецидив» смущает критика. Но она видит весьма показательный симптом в том, как Палевин пытается уйти в пустоту от безобразия, уродства жизни, наряжая в буддийский кафтан романтическую абстракцию.

Роман Арбитман («Урал», №№ 5—6) тоже обращается к роману Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота», последнее время столь активно обсуждаемому на страницах газет и журналов. Арбитман уделяет внимание «одной из главных особенностей парадоксальной прозы Пелевина» — умению увидеть жизнь как «неразрывную причудливую амальгаму реального и идеального, мистического и предельно рационального, культурного и варварского». Упреки в адрес Пелевина Арбитман объясняет тем, что при всей своей зоркости к деталям писатель избавляет свой мир от строгой

иерархичности, стирает стеклянную границу между действительностью и зазеркальем, это — раздражает, но не умаляет глубины романа.

Евгений Ермолин в статье **«Жизнь на нелегальном положении. Авантюристы советской эпохи в прозе Анатолия Азольского»** («Литгазета», № 35) сопоставляет персонажей Азольского й Остапом Бендером, указывая на их манеру существования, свободную от следования моральной норме, внешним авторитетам. Но герои Азольского живут в другую, слишком серьезную эпоху, когда им приходится бороться за элементарное — ради сохранения жизни, своей и своих близких. Они не ходят общими путями. И в борьбе за жизнь они подчас заражаются от противника вирусом жестокости. Жизнь советской эпохи у Азольского — это брожение в недрах строя такой вот абсолютной свободы, которая гибнет и выживает, прокладывая себе путь через мертвую режимную зону. Иногда автор насылает на своих героев моральное возмездие. Но более ценным критику кажется способность Азольского открыть в человеке жажду смысла, потребность в истине бытия. В мире без Бога живет огромная, беспредельная тоска по Богу.

Ольга Славникова («Урал», №№ 5—6) **рецензирует** произведение Людмилы Петрушевской «Маленькая волшебница. Кукольный роман». Подчеркивая обстоятельность слога, восхищаясь «оттенком подлинного случая, стилизацией городского фольклора с его самодельной мистикой и наивным живодерством», Славникова именует кукольный роман Петрушевской «переиначенной страшилкой», выявившей дополнительные оттенки черного «в творческой палитре Петрушевской, столь щедрой именно на этот ночной, густо замешанный цвет». Игру в куклы критик называет не только способом построения романа, но и способом жизни, предлагаемый как возможный. «Самодельное миниатюрное счастье из цветных лоскутков доступно всем, но вот хватит ли силы воображения, чтобы не видеть при этом законченную, черную жизнь», — сомневается Славникова, заканчивая статью сожалением о том, что если верить Петрушевской, на «счастье своего размера» не остается надежды.

Никита Елисеев в статье **«Морок Александра Бородыни»** («Новый мир», № 7) пишет о последних произведениях этого автора. Герои Бородыни — кукольные, резиновые манекены. Литература для него — компьютерная игра. А временами автор удачно передает искреннее чувство ужаса.

Статья **Никиты Елисеева «Сюжет усреднения» в русской истории»** («Постскриптум», № 3) — полемическая реплика о цикле рассказов В. Маканина «Сюжет усреднения». Маканинский упрек русской, прежде всего писательской, интеллигенции XIX века в стремлении раствориться в человеческом море, массе, народе, осуществление которого обернулось репрессиями, лагерями, коллективизацией, по мысли критика, справедлив лишь отчасти. Наряду с тенденцией к «рассторению в», родившейся в среде интеллигенции, существовала и иная: от «мы» — к «я», свойственная среде народной. Вот это-то движение навстречу друг другу и породило эффект «усреднения» — «спекшуюся массу икринок тоталитарного общества, застывшую в очередях».

Статья **Виктора Топорова «Гибель Нагибина»** («Постскриптум», № 3) — анатомия личности писателя в форме критического очерка о последних изданиях его сочинений. «Дневник» Нагибина, сданный писателем в издательство за несколько дней до смерти, изобличает изумляющую мизантропию писателя, отвратительное соединение бережно-любовного отношения к себе, склонности оплакивать себя ежечасно — и прагматизма, «пробивной силы» и ненависти ко всему сущему — людям, странам, книгам. По наблюдению Топорова, Нагибин «включает счетчик жизни», и «навар» неизменно оказывается (или кажется) меньше назначенного (сговоренного)». Герой «Дневника», однако, как считает критик, не представляет всего Нагибина. Дополняет нагибинский образ его художественное творчество, последние сочинения — «Любовь вождей», «Моя золотая теща», «Тьма в конце туннеля» — вещи столь же «интеллектуально и морально разнузданные», сколь и талантливые. Очевидный талант в соединении с жадным желанием «иметь», точнее — «и иметь, и быть», и породил торжество «телесного низа» в личности писателя и неизбывную обиду (тайное свидетельство несостоятельности).

Евгения Щеглова в статье **«Если говорить о Лакшине...»** («Нева», № 8) создает апологетический портрет покойного критика. Для петербургского автора Владимир Лакшин — это образец культурности, интеллигентности, благородства, истинный просветитель, человек «негромкой, кропотливой и тщательной, но неизменно благородной и многотрудной деятельности».

Яков Гордин в фельетоне **«Черная магия и ее разоблачение»** («Нева», № 8), отзываясь о сочинении академика Ю.К. Бегунова «Правда о суде над Иосифом Бродским», демонстрирует вопиющее невежество и тенденциозность «академика», опиравшегося на выдумки известного борца с «тунеядцем Бродским» Якова Лернера.

Лазарь Лазарев в полемических заметках **«Ни стыда, ни совести. Литературная жизнь в воспоминаниях одного генерала»** («Дружба народов», № 6) пишет о книге генерала КГБ Филиппа Бобкова «КГБ и власть». «Это душещипательные воспоминания старого волка, который хочет втереть очки развесившим уши несмышленышам, убедить их, что на самом деле он был родной бабушкой Красной Шапочки. Книга наполнена циничным пропагандистским враньем, с помощью которого автор старается обелить и опоэтизировать одно из самых гнусных и бесчеловечных учреждений тоталитарного режима».

Владимир Бушин в памфлете **«Зачем не послушал он брата Марка!..»** («Наш современник», № 7) с грубым, злым остроумием обозревает книгу воспоминаний Льва Копелева «Хранить вечно». Памфлетист уличает писателя в самолюбовании, себязахваливании, «хлестаковском комплексе», сластолюбии, чрезмерном сочувствии боевым врагам, смешении и сближении Гитлера со Сталиным. Особое внимание привлекают амурные похождения мемуариста и его слабость к спиртному, на которые Бушин обрушивается со всей силой морального неприятия.

Поправки:

В № 87 в статье Ю. Каграманова на с. 239 (1-я строка сверху) вместо «не может не вселить в нас» следует читать: «не может вселить в нас»

В № 89 в статье Р. Гальцевой на с. 318 (2-я строка снизу) вместо «Дж. Элиот» следует читать «Т. С. Элиота»

Художник *В. Лаврентьева*
Компьютерный набор и верстка *М. Егоровой*

ЛР № 010184
Подписано в печать 14.02.97. Формат 84×108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84. Тираж 8000 экз.
Заказ № 278

Адрес издательства «Московский рабочий»
и редакции журнала «Континент»:
101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Тел. редакции: (095) 928-97-42

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати
107005, Москва, Денисовский пер., 30

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

впервые в книгоиздательской практике предпринимает масштабную культурную акцию по объединению в одной издательской серии всей русской литературы XX века, разделенной ранее по пресловутым идеологическим принципам на эмигрантскую и советскую литературу. Издательство приступает к выпуску «Русской библиотеки 1900—2000».

В этот крупный литературный материк войдут как произведения русских писателей зарубежья, не издававшихся в советское время, так и книги отечественных авторов, в той или иной мере испытавших на себе пресс тоталитарной системы. В библиотеке будут представлены также наиболее выдающиеся произведения современной литературы.

«РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА 1900—2000»

включает в себя:

Собрания сочинений И. Шмелева в 8 т., Д. Мережковского в 11 т., М. Осоргина в 4 т., М. Булгакова в 6 т., Е. Замятина в 4 т., Б. Зайцева в 6 т., А. Куприна в 5 т., В. Набокова в 6 т., А. Ремизова в 5 т., Ф. Сологуба в 4 т., И. Бунина в 8 т., А. Платонова в 6 т., М. Алданова в 6 т. ...

Двух- и трехтомные издания сочинений А. Блока, А. Белого, К. Бальмонта, М. Цветаевой, С. Клычкова, Н. Гумилева, Г. Адамовича, Б. Пастернака, И. Бабеля, М. Шолохова...

Книги И. Анненского, А. Ахматовой, М. Волошина, Г. Газданова, С. Есенина, Н. Клюева, М. Зощенко, В. Ходасевича, И. Северянина, О. Мандельштама, Вяч. Иванова, М. Кузмина...

Мемуары С. Маковского, Ю. Терапиано, И. Одоевцевой, П. Бицилли, П. Струве, Н. Берберовой, В. Яновского...

Книги наших современников: А. Твардовского, В. Некрасова, К. Воробьева, Ю. Казакова, В. Шукшина, Ю. Трифонова...

В 1996—1997 гг. выходят в свет издания Г. Адамовича, С. Клычкова, М. Осоргина, И. Анненского, Д. Мережковского, И. Шмелева, К. Бальмонта, И. Бабеля, П. Бицилли, С. Маковского, К. Мочульского, Ю. Казакова, Ю. Трифонова.

Издания снабжены вступительными статьями, комментариями, приложениями, биохрониками, вклейками редких фотографий.

Программа рассчитана на пять лет. В ее составе более 200 томов. Каждый том — 30—40 печ. л., тираж 10—20 тысяч экз., формат 84x108/32, переплет, суперобложка с тиснением «золотой» фольгой.

Продажа по подписке и в розницу. Подписаться можно на всю серию, на отдельные собрания сочинений, на отдельные издания.

Тел.: 921-01-86, 921-35-05 • Факс: 924-42-33

CONTINENT

THE TRANSREGIONAL PUBLIK BANK Corp

МЫ ОБЕЩАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ!

АО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК «КОНТИНЕНТ»

Регистрационный №11
Основан 11 октября 1988 года

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
Россия, 423830, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д. 14

ПРЕЗИДЕНТ: ОНУШКО ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

Уставный капитал: 5,0 млрд. рублей
Акционерный капитал: более 30,0 млрд. рублей

Ф И Л И А Л Ы :

Филиал №1 — г. Казань, Татария, ул. Чистопольская, д. 3
тел.: (8432) 43-99-94

Филиал №2 — г. Елабуга, Татария, ул. Марджани, д. 2
тел.: (84357) 3-69-89

Филиал №3 — г. Сафоново Смоленской обл., ул. Советская, д. 5
тел.: (08142) 4-44-44

Филиал №4 — г. Набережные Челны, Татария, ул. Пушкина, д. 14
тел.: (8552) 52-05-66

Филиал №5 — г. Владимир, ул. Луначарского, д. 14
тел.: (09222) 3-23-54

Филиал №6 — г. Лакинск Собинского р-на Владимирской обл.,
ул. Мира, д. 41
тел.: (242) 4-21-02

Филиал №7 — г. Менделеевск, Татария, ул. Пионерская, д. 7
тел.: (249) 3-18-56

Филиал №8 — г. Калининград (обл.), Литовский вал, д. 38/10
тел.: (0112) 46-62-30

Филиал №9 — г. Москва, Милютинский пер., д. 18а
тел.: (095) 924-15-06

CONTINENT

THE TRANSREGIONAL PUBLIK BANK Corp

МЫ ОБЕЩАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ!

ПО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК «КОНТИНЕНТ»

НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИМ, НО И УМНОЖИМ:

Расчеты в любую точку ближнего и дальнего зарубежья

Широкая гамма валютных операций

Отработанная система вексельного обращения

Надежные и высокодоходные вкладные операции

Вторичный рынок акций «КамАЗа», «Татнефти», «Алданслюды», других крупных акционерных обществ России и Поволжья, собственных акций 5-ти выпусков

Доверительное управление капиталом и вкладами

Инвестиционная поддержка высокорентабельных и быстроокупаемых проектов

Любые сложные многоступенчатые операции по заявке Клиента

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК «КОНТИНЕНТ»

ФИНАНСИРУЕТ В 1997 ГОДУ
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»
ДЛЯ ДЕСЯТИ БИБЛИОТЕК ТАТАРИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наш подписной индекс в каталоге «Роспечати»

73218

* * *

«КОНТИНЕНТ»

высылается по индивидуальным заказам агентством «Книга-сервис» (тел.: (095) 129-29-09)

Жители Москвы и Московской области
могут покупать выходящие номера журнала в редакции,

а также:
в «Доме книги» (Новый Арбат);
в книжном салоне «19 октября» (Казачий пер.);
в магазине «Эйдос» (Чистый пер.);
в магазине «Человек читающий» (Зубовский бульвар)
и в киосках «Роспечати» Киевского района.

* * *

«КОНТИНЕНТ»

приглашает на льготных условиях распространителей
и рекламных агентов

Продолжение с. 2 обложки

В разделе «РЕЛИГИЯ»

Статья **Дж. Йодера** «Нет власти, аще не от Бога»
Статья священника **Льва Шихлярова** «Христианство и секс»
Очерк священника **Иллариона Алфеева** о поездке в Тибет

В разделах «ПРОЧТЕНИЕ» и «ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ»

Статьи **Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Юрия Кубланов-ского и Григория Померанца**

В разделе «ИСКУССТВО»

Беседы о современном искусстве. Интервью с **Анатолием Васильевым, Аллой Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Евгением Колобовым, Эрнстом Неизвестным, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским**

Читайте также в нашем журнале постоянный раздел

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» —

подробный аннотационный обзор прозы, литературной критики, культурологической, философской и религиозной мысли в текущей российской прессе

ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ?

Продажа в рассрочку:
АО "Автоплан"
тел. 276-87-80



"МОСКВИЧ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Оптовая продажа
тел. 276-83-08
276-82-32
факс 179-49-81

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ * ОПТОВАЯ ПРОДАЖА